



ДРУЖБА НАРОДОВ



ДРУЖБА НАРОДОВ 3/2010

- *Кирилл Ковальджи*
Палитра
Стихи
- *Ольга Кучкина*
Косой дождь, или
Передислокация пигалицы
Записки соотечественницы
- *Иван Наумов*
Мальчик с саблей
Повесть
- *Сона Ван*
Земля как воздух
Стихи
- *Василий Голованов*
Эпоха рок-н-ролла

3'2010

ДРУЖБА НАРОДОВ



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал*

3'2010

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Кирилл КОВАЛЬДЖИ. Палитра. <i>Стихи</i>	3
Ольга КУЧКИНА. Косой дождь, или Передислокация пигалицы. <i>Записки соотечественницы</i>	6
Владимир МОЩЕНКО. Март-беззаконник. <i>Стихи</i>	54
Иван НАУМОВ. Мальчик с саблей. <i>Повесть</i>	58
дВОЙНОЙ ПОРТРЕТ	
Марина КУДИМОВА. Неразрывный пробел. <i>Из цикла «Красота». Стихи</i>	81
Сона ВАН. <i>Стихи. С армянского. Перевод Марины Кудимовой</i>	83
к 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ	
Рада ПОЛИЩУК. Лапсердак из лоскутов. <i>Три фрагмента новой книги</i>	88
Владимир КОРОБОВ. Изменчивый пейзаж. <i>Стихи</i>	113
Илья ОДЕГОВ. Чужая жизнь. <i>Из цикла рассказов</i>	116
Алексей УСТИМЕНКО. Китайские маски Черубины де Габриак. <i>Повесть</i>	130

Публицистика

Василий ГОЛОВАНОВ. Эпоха рок-н-ролла	151
Константин ФРУМКИН. Политкорректность — это судьба	179

Нация и мир

Александр ДЖУМАЕВ. Исчезающий город как знак и мироощущение в культуре Центральной Азии	182
--	------------

Критика

Илья ФАЛИКОВ. Прозапростихи. Три этюда	188
Захар ПРИЛЕПИН: «Я люблю мир, где "Илиада" и "Одиссея"».	
Беседуведет Наталья Игрунова	198

Книжный развал

Валентин КУРБАТОВ. Глаза в глаза	207
Владимир ШПАКОВ. Пока не перекрыли кран	213
Елена МОВЧАН. Книга о вечных ценностях	215

Эхо

Тихий. Стойкий. Усмешливый. Этнический самообраз белоруса в сказочном отражении. Рубрику ведет Лев Аннинский	218
Summary	224

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И



МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (ИФГССО)

Главный редактор
Александр ЭБАНОИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Наталья ИГРУНОВА, Галина КЛИМОВА,
Владимир МЕДВЕДЕВ, Леонид ТЕРАКОПЯН (заместитель главного редактора)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Вячеслав АР-СЕРГИ, Сухбат АФЛАТУНИ, Муса АХМАДОВ,
Резо ГАБРИАДЗЕ, Алла ГЕРБЕР, Денис ГУЦКО, Иван ДЗЮБА, Валерий ИСХАКОВ, Александр
КЛЯЧИН, Валентин КУРБАТОВ, Ольга ЛЕБЕДУШКИНА, Давид МУРАДЯН,
Захар ПРИЛЕПИН, Кнут СКУЕНИЕКС, Валери ТУРГАЙ, Сергей ФИЛАТОВ, Эльчин,
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

© «Дружба народов», 2010

Кирилл Ковальджи

Палитра

* * *

Мне военная кинохроника
демонстрирует те года
черно-белыми, как похоронка,
как обугленные города.

— Мы живем на цветной планете,
За палитру цветов в ответе!

— Но когда тебя ставят к стенке,
то решительно черно-белым
мир становится — все оттенки
отменяются под прицелом!

* * *

Туча с солнца сошла,
тень моя на траве проступила.

Туча вновь напозла
утюгом травяного настила.

Ухожу я — дела! —
тень останется там, где ее поглотило.

.....
Тени наших тел
на земле,
а блики наших душ —
в просветах туч.

Ковальджи Кирилл Владимирович — поэт, прозаик, переводчик, редактор сетевого журнала «Пролог». Родился в 1930 г. в бессарабском селе Ташлык (ныне Каменское, близ Одессы) в болгарско-армянской семье. Публикуется с 1947 г., первая книга вышла в 1955-м. Окончил Литературный ин-т (1954). Автор более 10 книг стихов, в т.ч. «Обратный счет» (М., 2005), «Избранная лирика» (М., 2007). С 1959 г. в Москве: сотрудник журналов «Советская литература», «Литературное обозрение», зав. отделом критики журнала «Юность» (1977—1990). С 1992 г. — гл. редактор издательства «Московский рабочий». Известен как руководитель поэтической студии журнала «Юность» в 1980-х гг. Лауреат литературной премии СП Москвы «Венец» (2000), заслуженный работник культуры РФ (2006). Живет в Москве.

* * *

За окном воробьи тусуются...
Я вышел на улицу,
а на улице
все оказались младше меня:
на скамейке старушки...
новости дня...
мерседесы, мобильники, банки-конторы...
облака и орлы...
И горы?
И горы.

* * *

О как я теперь понимаю Давида:
он зябнет от старости вроде меня.
Я не был царем, как Давид, но обида
одна, и нам холодно с ним у огня.

Но царь — это царь: привели Ависагу
в постель, чтоб ее молодые лета
его отогрели.. А я, как ни лягу —
с боков продувает меня пустота.

И если бодрюсь и шучу, то для виду, —
а сам я брожу среди северных скал...
Завидую и удивляюсь Давиду:
ее не познал... он ее не познал.

Наверное, понял, чего ей не надо —
пусть просто прижавшихся встретит заря:
еще горячей молодая награда,
еще благодарней — без права царя.

Мучительный миф или сладкая сага,
но молодость рядом со мной, и опять
целует меня, уходя, Ависага,
которую мне никогда не познать...

Под окнами

Под окнами
строим тюльпаны,
как на параде — желтые, красные
(неизбежное эхо — прекрасные!)

Под окнами
тихо струятся фонтаны,
играют лучами, свечение майское
(отзывается — райское!)

Тюльпаны, фонтаны, солнце и птицы.
А окна? Окна —
больницы...

.....
Наутро — тюльпаны стали червонными,
чернотой огорченными.
Цветам в раю увядать не резон, —
электрокосилка срезает газон...

.....
Снится больному — он мальчик босой,
Он бежит по траве, увлажненной росой.
Чья-то тень полосой,
словно кто-то с косой...

* * *

Услышан ли буду?
Непостижимому чуду
«люблю» говорю —

Благодарю зарю
и самую малую малость,
что мне досталась.

* * *

Я удивляюсь чуду
дарованной мне жизни,
еще с тобой побуду
в неласковой Отчизне.
Судьбу и звезды славлю,
вселенскую дорогу;
уйду — завет оставлю:
благодаренье Богу!

Ольга Кучкина

Косой дождь, или Передислокация пигалицы

Записки соотечественницы

Замечу кстати: Гейне утверждает, что верные автобиографии почти невозможны и человек сам об себе наверно налжет.

Ф.М.Достоевский

Шпионка Мата Хари

1.

Первый мемуар пигалица написала в восьмилетнем возрасте. Листки сохранились.

Я помню себя с четырех лет. Я была слабая, не могла взойти на лестницу. Меня надо было нести на руках. Как меня принесут, я ложилась на диван. Но потом я стала все-таки покрепче. Мы гуляли во дворе с подругами. У меня был брат. Он был старше меня на два года три месяца. Его звали Вова. Потом у нас была дача. С ранней весны мы всегда жили на даче. Дело было летом. Шел дождь. Мы с братом шлепали по лужам и промочили ноги. В наказание мама засадила нас домой. У нас было радио. Мы сидели дома, а мама собирала смородину. Папа возился в сарае. Вдруг радио заговорило и сказали, что началась война. Но я не поняла, что это война, и сказала маме, что началась светомаскировка. Мама прибежала, послушала радио и ушла. Началась война.

Мы очень тревожно проводили ночи. Раза по три мы вставали ночью, потому что была тревога. Через месяц все мы уехали, а папа со Стешей (у нас была няня) остались. Когда мы уезжали (это было, когда мы стояли у вагонов), началась тревога. Мы залезли в вагон под нары. Но тревога скоро кончилась. И мы поехали. Ехали мы в теплушках. Потом мы приехали в Уфу. Там мы постояли сутки и поехали в Дюртюли. В Дюртюлях мы поселились на улице Чеверева, дом № 5. Жили мы у одной тетеньки, в плохонькой комнатке. У хозяйки была хорошенькая комнатка. Она была покрашена. На окнах стояли цветы. Напротив нас жила девочка Тамара. Жили мы вместе с одной семьей, Шелюбскими. Семья составлялась из трех человек: матери, сына Павлика и дочери Зои. Мы всегда вместе играли. Мой брат с Павликом, а я с Зоей. И с Тамарой. Павлик был маленького роста, шлся и был очень нервный.

Однажды был такой случай. Вдруг куда-то исчез Павлик. Мать Павлика очень забеспокоилась и побежала в милицию. Она была такая же нервная, как Павлик. Его проискали часа два и потом нашли.

В Дюртилях было много меду. Мы его покупали и пили с ним чай, потому что сахара у нас не было. Питались мы яичницей с огурцами...

2.

Тут пигалица дала волю своему пылкому воображению. В детских мечтах шкворчала яичница. Вот вернетесь из эвакуации в Москву, шкворчала она, а там я уже буду ждать вас на сковородке, ваша яичница, которую так вкусно заедать зеленым пупырчатым огурцом!..

В Москву, в Москву! — донеслось в старших классах, отозвавшись сотрясением организма не на уровне чувства, а на уровне вкуса.

Дни и ночи *составлялись*, если использовать словарь мемуаристики, из чтения и фантазий в смутных волнах преобразений. Реальность просматривалась сквозь них как сквозь марлю, какой занавешивали окна от мух.

Я предпочитаю месяцы, а не годы. Месяцы повторяются, годы нет. Это немножко страшно. Даже не немножко. В месяцах можно что-то поправить, они возвращаются. Годы — невозвращенцы. И они непоправимы.

Хотя непоправимое тоже имеет месячную прописку.

3.

Февраль.

Влажный воздух наполнен предчувствием весны, необязательные легкие мысли взлетают первыми бабочками-капустницами, свет лиловеет.

Четыре дня назад в Британии отмечался День ничегонеделания. Праздник устроили с тем, чтобы напомнить, что карьера — не самое важное, есть нечто важное и помимо работы.

Как я люблю это прелестное итальянское выражение: *дольче фарньенте* — сладкое ничегонеделание.

И как я люблю работу.

Сладкая работа прерывается сладким праздником. Мы с Таней идем на концерт Лены Камбуровой. Мы в ожидании волшбы, которая есть Лена.

Мы дружим с Леной. Когда Валеша по собственным чертежам воздвиг в нашем загородном доме деревянную прелесть, уютную финскую баньку, пахнущую травами, Лена приехала и парилась. Мы радовались ее приезду, непременно с кучей чего-нибудь вегетарианского. Это она научила нас рвать плебейскую траву сныть, какой всплошную зарастал участок, и подавать к столу в качестве живых витаминов. Сама она поглощала полезного салата столько, сколько позволяла врожденная деликатность.

С финской баней тоже сюжет. В то время как Валеша увеличивал ради нее длину дома, я вопила, точно хабалка какая, что теперь будет не дом, а корабль. Муж оскорблялся: дуракам полработы не показывают. Я оскорблялась в ответ. Дурная философская бесконечность. Соотношение неопределенностей Вернера Карла Гейзенберга погибало под напором соотношения определенностей хабалки и мужа.

К силуэту дома-корабля привыкла как к родному, а сауна делала визиты к нам еще желательнее, чем раньше, когда без нее.

Мы были страстно привязаны к даче. Десять лет назад родительский дом, разрушавшийся, замызганный, с насовсем вьевшейся грязью, давно избывший детство, вставал и встал, как птица Феникс из пепла. В пальцах зашевелились банкноты, результат четырехлетнего существования программы «Время "Ч"» на телевидении, и мы, со слезами, скандалами, упованием и счастьем, все переделали-перестроили, и получилось легкое, ненавязчивое, пронизанное светом, плывущее или даже летящее жилище.

Утром прежде нас встававшее светило заливало дерево спальни медом. Первый взгляд на стену, второй в окно — пейзажи сходились. За окном летний, на стене зимний. Тот, что на стене, писал художник Юра Косаговский. В одно прекрасное новогоднее утро, глядя из этого самого окна, макал деревяшку, обмотанную куском

ваты, во что-то разведенное черное и оранжевое, нашедшееся на месте, и мазал на куске ватмана. Бумажный пейзаж полюбили не менее природного. Юра развесил двенадцать своих картин в просторной гостиной, в которую мы превратили две жалкие нижние комнатенки, сломав перегородку. А вдобавок разрисовал фантастически травами стены гостевой комнаты и прозрачную дверь в туалет наверху. Прекрасным можно было любоваться, не сходя с унитаза.

26 февраля 2007 года мы были не за городом, а в городе.
Лена Камбурова давала концерт в театре на Трубной.

Этим флейтовым, колокольчиковым,
фиолетовым, нежно игольчатым,
родниковым, прозрачным, чистейшим,
мальчиковым и августейшим,
цирковым, пролетарским, бритвенным,
роковым, гусарским, молитвенным,
золотым, молодым, оплаченным,
проливным, площадным, потраченным,
мотовским, подземельным, стильным,
колдовским, запредельным, сильным,
птичьим, дуриковым, окаянным,
покаянным и океанным,
этим голосом иссушает,
создает, воздает и прощает.
Низким виолончельным,
высоким венчальным...

Проведя с виолончельным-венчальным два часа, мы возвращались чистые и светлые, как после молитвы. Так всегда на концерте Лены и по окончании.

Дома в глаза бросился сверток, который приготовила для дачи, — Серега обещал зачем-то приехать и заодно забрать. Не приезжал? — спросила я. Валеша странно смотрел и ходил мимо. Что случилось, поинтересовалась я и перебила сама себя: погоди, схожу пописать. Сходи, разрешил мой милый, потом скажу. Я мыла руки, он стоял в кухне, я подошла, он крепко взял меня за плечи, прижал к себе и произнес где-то за моим ухом: у нас сгорела дача. Ну что же делать, спокойно произнесла я в ответ.

Спокойно не потому, что не поняла, я все очень хорошо поняла.

Но он держал меня в руках и таким образом помогал мне держать себя в руках. Я и держала.

4.

Неделей раньше рассказывала Раде Хрущевой, что читаю студентам лекции. Одна посвящена Аджубею. Его вдохновенному упрямству, тому, сколько сделал для советской журналистики, из которой вышвырнули тотчас вслед за тем, как из власти вышвырнули тестя, отца Рады. Заканчиваю историей про сгоревшие одна за другой две их дачи и философическое перенесение ими потери, что открыло для меня нового Аджубея и новую Раду. На одной даче я бывала: большая, удобная, много дерева, много воздуха, Аджубей построил ее своими руками.

С чего бы на ум прийти чужим пожарам за неделю до своего?

А эта фраза, написавшаяся сама собой: *родительский дом, который вставал и встал из пепла, как птица Феникс...*

Как встал из пепла, так в пепел и обратился.

А пятью годами раньше сочинилась поэма «В деревянном доме», где героиня, сгорая от страстей и буквально дотла, переживает пожар в воображении.

А ровно за десять дней до пожара, 16 февраля 2007 года, закончила роман «В башне из лобной кости»¹, где и вовсе неосторожно баловалась с огнем.

¹ Опубликован в журнале «Дружба народов», 2008, № 1.

Диктат воображения?
Как и откуда проходит сигнал?
Не надо об этом думать.
Все происходит в башне из лобной кости.
Переходишь из вчера в сегодня, как из комнаты в соседнюю комнату и обратно.

5.

Вчера пигалице четыре года, дети с родителями живут на даче, они живут на даче круглый год, поскольку у детей слабое здоровье, а у папы туберкулез, правда, в спящей форме, но скоро он проснется, потому детей пичкают свежим воздухом, как маслом, пигалица лежит в высокой траве, лицом к небу, излюбленное местоположение, солнце лучами, как мягкими лапами, трогает тщедушное тельце, мыслей нет, какие мысли у четырехлетнего человека в травяных зарослях, только глазастость и пальцастость, чутким зрачком проследить, как по травинке ползет и замирает какая ни то козявка, пальчиком погладить ее хитиновую спинку, козявкой зовут пигалицу домашние, и смутное чувство сродства всех козявок меж собой в мире, частью которого является, внезапно озаряет ее.

В башне из лобной кости все происходит в действительности.

В той самой действительности, про которую все равно никто ничего не понимает. Лобная кость. Лобное место.

6.

В четыре года пигалица впервые осознает, что смертна. Откуда пришло осознание, кто бы сказал, но вот он, смертный ужас, явился незванный и расположился на постели, холодный, как лягушка, и заполз внутрь, наполнив весь внутренний объем целиком, от упрямого, как у бычка, лба до розовых пяток. Пигалица отчаянно кричит, входит мама: что случилось? Пигалица не умеет объяснить и громко рыдает, сквозь рыдания страстно моля пообещать, что она никогда-никогда не умрет. Мама, сидя на краешке постели и глядя дочь горячими руками, не может как честный человек обмануть ребенка и, уговаривая успокоиться, повторяет ничтожное и не утешающее: *если будешь пить кефир, будешь жить долго-долго. Я не хочу долго-долго, захлебывается слезами ребенок, я хочу всегда.*

Придет время, и моя маленькая дочь заплачет вдруг перед тем, как уснуть: *я не хочу умирать, я умру, а все будет продолжаться без меня, и я ничего не увижу и не узнаю, лучше бы я не рождалась.*

Точное взрослое выражение смертной тоски.

Примусь что-то говорить, говорить и долго не перестану, стараясь заговорить и ее, и себя, и мы обе уснем от усталости, а делу не поможем.

Ах, некому защитить людей от жизни и от смерти.

7.

Умная, из самых умных женщин, встреченных по дороге, Инна Соловьева, пристально поглядев, сказала: *а вы знаете, что живете не свою судьбу, вы должны были стать чем-то вроде шпионки Маты Хари, чтобы, с одной стороны, на балах, а с другой — выполняя тайные шпионские задания.*

Бывшая пигалица остолбенела.

Засмеялась.

С какой стати?

Задумалась.

Маска комильфо скрыла пигалицу.

Шутка прозорливой Инны могла касаться маски как таковой.

Всеобщности масок.

8.

Есть фото: мелкая козьявка в группе таких же. Расположились под лозунгом: Es Lebe Genosse Stalin! Не то что они в Германии — они в советской сельской школе. В Германии тех лет царил другой лозунг: Es Lebe Genosse Hitler! Между обоими Genosse шла смертельная война. Написанный по-немецки, наш вариант победоносно утверждал: никаких Genosse Hitler нигде и никогда, а будет вам сплошной Genosse Stalin всегда и везде, как миленькие будете повторять Es Lebe наш, а не ваш.

В первый класс пигалица не поступила, умея писать, читать и считать. Сразу во второй. Так что на фото — класс второй или третий. Или четвертый.

В пятый, оставив сельскую начальную школу, где учили немецкий, пошла в городской школе, где учили английский.

9.

На самом деле английский дался в девятом.

Ровно девять месяцев длились частные уроки Лидии Алексеевны Пикаловой, шикарной одноногой тетки. Пигалица влюбилась в нее с ходу и, тщательно таясь от своих, чужой открывалась безоглядно, обрушивая каскад признаний, словно на лучшую подружку. С подругами как раз сложнее. Пигалица и в них влюблена — всякий раз неутоленно. Спустя десятилетия зоркий Зорин Леонид Генрихович напишет, что все у нее (цитата) *наполнено тем же самым чувством, которым мечена ее жизнь, чувство это — неутоленность.*

В Москве часть класса говорит на английском как на родном. Хочется так же, да не может. Они *другие*. Другие лица, косы, стрижки, походка, портфели, тетрадки, ручки, школьная форма — все не такое. У наших — заурядное, советское. У них — заграничное. Они интернатские. Они дети внешторговцев. Точнее, дочери: обучение раздельное, школа женская. Пока были маленькие, жили с папой-мамой за границей, подросли — отправлены в отеческие пределы. Внешторговцы — те же дипломаты, по коммерческой части. Возвращенных на родину подростков определяют в интернаты. Малые дети, должно быть, не так подвержены разлагающему буржуазному влиянию, как дети постарше. Света Бурцева из наиболее эффектных. Персиковая кожа, во рту жемчуг, две небогатых косы, зато прямая спина, большая грудь и круглые плечи, с одного неизменно спадает бретелька школьного фартука, не такого, как у нас, высокие сапоги из натуральной кожи цвета терракоты, того же цвета и качества портфель. У нас портфели из дерматина, на ногах потертая обувь неопределенного грязного цвета. Пигалица поглядывает на Свету Бурцеву искоса, издали, исподлобья, интернатские дружат друг с другом, с нами — редко. Из наших Света Бурцева дружит с черноглазкой Таней Бабчиницер. Продвинутая в математике, Таня единственная достойна продвинутой в математике Светы. У пигалицы с Таней — тоже отношения. Ревниво-болезненные со стороны глупой пигалицы, уравновешенно-утешительные со стороны умной Тани. Они обмениваются записочками, которых пигалице мало. Света маячит рядом, вежливая, немногословная, вещь в себе. Интернатских связывает общая тайна. Тайна эта — за граница. О ней не говорят. Возможно, им запрещено говорить. Возможно, им запрещено сближаться с советскими, чтобы не выдать тайну.

И тогда Мата Хари включает тайный свет воображения. Оно освещает затемненные девичьи дортуары, строгую, но изысканную столовую, столы с накрахмаленными салфетками, зал в зеркалах, где, аккуратно сделав уроки, чинные школьницы чинно отдыхают за чтением, рисованием, вышиванием, игрой на фоне, ненароком поглядывая на себя в блестящую амальгаму, в какой тенями живут страстные и нежные дружбы, шепоты и признания, многообещающие вечера танцев с приглашенными мальчиками и прочее, и прочее, и прочее, вычитанное из книг, недоступное обыкновенным школярам.

Мама всегда говорила, что дочь — *воображала*.

И пусть.

Вот увидите, она еще доживет до первой влюбленности. Не ее в кого-то, а кого-то в нее.

10.

Увлечения долго распределялись по сезонам: мальчикам принадлежали лето и дача, девочкам — Москва и зима.

Москва и зима, а пигалица захлебывается от эмоций, пересказывая шикарную одноногой англичанке: вечеринка у подруги, двоюродный брат подруги, без двух, ну, без трех минут офицер, курсант военного училища, прибыл в отпуск из Киева, белая полоска подворотничка гимнастерки на гусиной шее, волос русский, мягкий, волнистый, подтянут и одновременно развязан, глаз с болотной поволокой, едва увидел — за столом с ней, все танго и вальсы с ней, ни на шаг, как нитка за иглой, с другими резкий, с ней послушный, робкий, пошел провожать, мороз, грел ее ладони в своих, и ах ты, Боже мой. Развязность и стеснительность по отдельности — скучно. Вместе — весело. Только как толково объяснить? А учительница, пользуясь моментом, еще настаивает: *на языке*. Пигалица и на русском не умеет — Лидия Алексеевна неумолима: *in English*.

Лидия Алексеевна, что называется, женщина в теле, широка в кости, с плавными повадками, ухоженными руками, густо наложенной помадой, в дополнение к губам захватывающей часть прилегающей кожи — пигалица впервые видит такой способ окраски и поражена обольстительностью результата. Англичанка часто покусывает яркие губы и залиvisto смеется, живо реагируя на пигалицыны признания, смеется не обидно, а одобрительно, не забывая возобновлять окраску и поправлять: *the boy*, а не *a boy*, это же определенный мальчик, а не неопределенный.

Англичанку рекомендовал родителям Юра Вислоусов. Фамилия на редкость шла молодому человеку, без усов, а все равно похожему на хитрого, вежливого кота с суперграмотной русской речью, работнику МИДа, а как с ним познакомилась пигалица — спросить не у кого. Лидия Алексеевна в МИДе преподавала, в том числе Юре. А прежде трудилась в Англии — отсюда чисто английское произношение. В качестве кого? Юная Мата Хари умирала от любопытства — деликатность не позволяла задавать лишних вопросов. Профессию выберет, где любопытство не стыдное, а непременное условие, — где логика? Но жизнь растет, цветет и кустится нелогично.

Учительница рассказывает ученице значительно меньше, нежели ученица ей, хотя что-то рассказывает. Учительницына биография насыщена романами, как до потери ноги, так и после. Лидия Алексеевна обретается в крошечной узкой комнате на Смоленской площади, рядом с МИДом, где, переваливаясь, как гусыня, перемещается от кровати к столу с помощью палки или костыля и никогда не теряет приподнятого настроения. Встречи с ней носили праздничный характер до самого последнего дня. В последний день она нервничает, кусая пастозно намазанные губы чаще обычного, так что кармин пачкает кончики зубов, отчего рот выглядит вовсе кровавым. Женатый мужчина, время от времени возникавший в проговорах и оговорах, неизменно окрашенных иронией, — филологические игры с *привязанностью* и *беспривязанностью* были тут в ходу, — животное это на привязи внезапно объявило о возвращении в стойло, удар оказался сильнее, чем ожидала самодостаточная козубойка. Посреди урока учительница внезапно потеряла контроль над собой и пролила горячую слезу прямо на тетрадь ученицы, и у той заныло-застонало внутри от неловкости и смертельной жалости к взрослой, самостоятельной и веселой женщине, которой ничем нельзя помочь.

Себя почему-то стало жалко тоже.

Уроки закончатся. Фигурка курсанта, которую успели обсудить, пропадет где-то в Киеве. А кусок важной детской жизни, не дождавшийся своего часа, останется за кадром.

Но что нам мешает ввести нужное в кадр?

11.

Говорят, что после большой войны приходит большая любовь.

У пигалицы с братом после настоящей Отечественной войны пришла игрушечная дачная.

Наша армия сражалась против вражеской. Мы с братом — между собой родные. Вражеская — Витька и Вовка — между собой двоюродные. Вовка — бесцветный коренастый пенек. Витька — стройный дубок. Плечами широк, глазами миндалевиден, ресницами густ, чуб причудливо изогнут в силу природного роста волос. Увидя на экране американского актера красавца Грегори Пека, пигалица обомлеет: Витька, один в один. Слухи ранили: местные девы падают штабелями, он снисходительно меняет их, как перчатки. Оборот *как перчатки* — из книг. Из книг практически все. Воинственный дух возрастал. Сердечко билось и замирало. От ненависти, понятно. Витька — противник. Зато Вовка краснеет так, что, очевидно, готов к сдаче в неравном бою. Страшно сказать, но и пигалица готова — если. Если б Витька попросил. Тяжелый том поэм Жуковского разваливается на привычном разломе страниц — пигалица упивается поэмой «Орлеанская дева», где французская девушка Жанна д'Арк и английский офицер Лионель. Они враги, но в Жанне просыпается любовь к Лионелю, и встает страшный вопрос — чем пожертвовать, любовью или долгом. Ситуация точь-в-точь. То есть пигалица думала, что у нее ненависть, а у нее уже была любовь. То есть она уже не думала, она уже знала, но себе не признавалась. То есть совсем в глубине своей маленькой души призналась, но знать не хотела.

Так и растянется эта тягомотина на годы в типовых страданиях: знать — не знать, признаваться — не признаваться, жертвовать — не жертвовать.

Дело осложнялось тем, что, навоевавшись вдосталь днем, ночью соперники пробирались в сарай, где пигалице с братом разрешалось спать ввиду духоты в доме. О, как изображалась перед родителями решительная невозможность дышать, как картинно задыхались и даже бледнели, утирая ладонью воображаемый пот со лба. В сарае раскинулись ковры, перевезенные из московской квартиры для летнего проветривания, это придавало сараю вид серала — так ребятишки думали, не зная в точности, что оно означает, но полагая, что именно в такой обстановке куда как уместна игра в карты. Да, приличные внешне дети были скрывавшимися картежниками. По ночам, когда взрослые засыпали, юные враги крались к врагам и, позабыв дневные баталии, упоенно резались в преферанс до петухов — кто обучил, неведомо, возможно, враг и обучил. Не прятаться в кустах, не нападать неожиданно, не отступать при передислокации, царапая локти и колени о дорожный гравий или лесные колючки, а возлежать на коврах, локоть к локтю, коленка к коленке, ловя случайный взгляд или случайно касаясь, показалось или правда, и небо падало на землю, и томно теснило грудь, которой нет, а есть два прыща, и до груди далеко, как до Луны, что романтически заглядывает в щелястое оконце. В эти минуты особо будоражил тайный испуг: а что если, как Лионель Жанну, он попросит выбрать любовь, а не войну, то есть изменить своим, — что тогда?

Он и не собирался. Ни разу и не взглянул на пигалицу так, как она того жаждала, засыпая в лунном свете, остужавшем картежный азарт в сарае-серале перед азартом завтрашной битвы.

Память босых ног в уличной мягкой пыли, разогретой солнцем, среди кошек, собак и привязанных к деревянным столбикам коз, возле соседних железнодорожных барачков, где дружки-подружки и внутрисемейный ор, доносящийся из открытых барачных окон и дверей, и шатающиеся фигуры бредущих со станции отцов семейств и их взрослых сыновей, уже принявших в пристанционном шалмане на грудь.

Теперь нет такой мягкой пыли — есть грязь, нет барачков — есть новорусские хоромы, но босые подошвы ног по-прежнему хранят бархатное тепло уличного детства.

12.

Первая большая любовь приходила не одна. В сопровождении.

Помимо Витьки, имелся Леонид Наумович. Загорелый, стремительный в речах и жестах майор, зеленая гимнастерка, синие галифе, с блеском начищенные черные сапоги, в которых отражалось небо, воплощение мужественности, подчеркнутое шрамом, наискось пересекавшим великолепный крупный нос с горбинкой. Леонид Наумович трепал пигалицу по голове и говорил усмешливо матери низким баритоном:

красавица растет. И в опасных глазах его, честное пионерское, таилось то самое, чего никогда, как ни старайся, не прочесть в Витькиных.

Леонид Наумович приезжал вместе с женой Елизаветой Ароновной, обладательницей такого же носа с горбинкой, только изящного, в отличие от могучего носа мужа, которого пигалица к ней ревновала. Леониду Наумовичу было лет сорок, пигалице — десять. Обедали в саду, за столом, накрытым клетчатой клеенкой, возле летней кухни, с кухни приносили суп в поместительной кастрюле, горячие пирожки и второе, а в финале ставили самовар и гоняли чай с клубникой с огорода. Елизавета Ароновна звонко восклицала: *у тебя живот не заболит столько ягод съесть?* По видимости шутила — по делу ставила соперницу на место. Странная сладкая сопричастность к их жизни выражалась популярной песенкой тех лет, которую пигалица уходила на гамак громко распевать: *Ты ждешь, Лизавета, от друга привета, ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне, одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне.*

Однажды Леонид Наумович приехал не в военном, а в штатском — широкие брюки, пиджак с ватными плечами. И что-то в пигалице надломилось. Ушла на огород переживать горе, природы которого не понимала. Вечером подслушала родительский разговор. Из него вытекало, что Леонид Наумович всю войну прошагал то ли разведчиком, то ли кем, служа в каких-то там органах, а что переоделся в гражданское, значит, так надо по службе. Кто такие органы, пигалице известно не было, но что такова часть спецзадания таинственного майора по внедрению в мирную жизнь, дошло и с ватными плечами кое-как примирило. Однако чувство к герою так и не восстановилось, а тихо-тихо ушло.

13.

Ни с папой, ни с мамой, ни с братом, ни с кем.

Она была скрытная, эта пигалица, и сопротивлялась любому вторжению в душевные секреты, которые умела сберечь, добровольно никому ни в чем не признаваясь. Она была в курсе, что помимо *воображалы* у нее прозвище *мальчишницы*. Очередной подслушанный родительский обмен репликами задевал эту тему. Влюбчивая она у нас, вздохнула мать. Да уж, с беспокоящей досадой согласился отец.

Существовал третий предмет, вызывавший у пигалицы трепет умственных чувств.

Умственных — поскольку все бури и штормы происходили в уме.

Предмет именовался Толей и приходился мужем папиной дочери Рите. Если покопаться в совокупностях, можно докопаться до парадокса, что на самом деле предметом являлась Рита, старшая сестра, у которой мама не пигалицына, а другая. Другую маму звали Марина, она иногда гостила на даче — дебелая, со следами былой красоты, с продолговатыми русалочьими глазами, подернутыми патиной времени: все определения почерпнуты из книг. Не былая, ничем не подернутая, а самая что ни на есть актуальная красота была у Риты. Высокая, гибкая, с нежным голосом и нежным румянцем на безукоризненных щеках, карие глаза блестят, темные волосы с золотистым отливом лежат естественно и прихотливо, Рита была тип Греты Гарбо. С Гретой выйдет точь-в-точь, как с Грегори. Пигалица увидит ее в кино, узнает Риту — и эталон красоты закрепится навсегда.

Здоровый увалень, молчун Толя добродушно улыбался, если к нему обращались, а обращались редко, поскольку он был чем-то вроде мебели. Он начинал лысеть, и пигалица, когда смотрела на него, мысленно, как на огороде, выращивала на его темени недостающую шевелюру, чтобы быть влюбленной все-таки в привлекательного молодца, а не в потрепанную рухлядь. Главным оставалось то, что Рита его избрала, что он удостоен находиться рядом с ней как избранник, хотя из прежнего источника — разговоров мамы с папой — просочилось, что он пил как лошадь, при том что, как пьют лошади, пигалица не знала.

Расстанутся на годы. Встретятся на папиных похоронах. Рита-Грета, раздавленная в ширину, утратит все, кроме нежного голоса, а нежный румянец превратится в апоплексический рисунок красных жилок, сомнительное украшение некогда мра-

морных скул. Окончательно облысевший Толя, в генеральской форме — даже и не подозревала, что он по военной части, — вынесет впереди себя большой живот. Стоя у папиного гроба, экс-пигалица вытирает слезы красным носовым платком, почему-то взяла платок этого цвета, а придвинувшаяся толстая Рита выдирает его из рук, шипя: какая гадость! Если по правде, не почему-то экс-пигалица взяла его, а потому что решила, что красное пойдет к черному, и, значит, суета возобладала над горем, и, значит, Рита права: гадость. В эту минуту экс-пигалица и расплатится. Смерть папы, как и мамина смерть за восемнадцать дней до папиной, будет мучительна, но сейчас экс-пигалица оплакивает не его, и не себя, и даже не Риту с Толей, а неотменимую закономерность, согласно которой со всеми людьми происходят деформации, трансформации и передислокации, включая окончательные, и нет спасения.

Меня поддерживал тогда муж Володя. Возможно, это тоже не понравилось Рите.

Но лишь то, что он у меня был, помогло пережить ужас над двумя разверзшимися могилами.

14.

К тому времени я знала историю всех троих: моего отца, Марины и Риты.

Отец, крестьянская беднота, уральский кузнец, сам себя выковавший, в Гражданскую служил комиссаром Двадцать седьмой дивизии. По соседству с Двадцать пятой, где в той же должности обрелся Дмитрий Фурманов, он прославится книгой о своем командире Чапаеве. Отец также напишет книгу, но как писатель не прославится. Прославится как ученый-историк. Красавица Марина, воевавшая бок о бок, стала его женой. Папа пылал к ней страстью. А она была слаба на передок, так у них про это говорили. Что-то до папы доходило. Не верил, пока не застал в постели с ординарцем Петькой. Отличаясь бешеным нравом, обозвал проституткой, выхватил револьвер, собираясь застрелить обоих, но то ли стрелял и не попал, то ли в последнюю секунду сработал тормоз — убийцей не стал. Марина была беременна Ритой. Отец пообещал, что будет содержать ее и ребенка, но жить с ней — нет. Марина ползала на коленях, стенала, давала клятвы, обещала покончить с собой — все напрасно, крутого нрава отца ей было не одолеть. Родилась девочка, Марина дала дочери свою фамилию — Крехова, отец помогал им, пока Рита не выросла. И когда выросла, помогал тоже.

Он женился на моей матери вторым браком через двенадцать лет после первого. О его любовном опыте этих двенадцати промежуточных лет я никогда не слышала и уже не услышу. Внутренняя жизнь моих родителей была terra incognita. Как и моя. Как и брата. В семье была тяжелая обстановка. Верно, из-за тяжелого отцовского характера. Он был, что называется, принципиальный товарищ, большевик по убеждениям, а я, наверное, меньшевик. Правдивый и справедливый, он пользовался любовью окрестной детворы, а над ближними нависал, как туча. Он любил мою мать. И нас любил. Не уставая сурово воспитывать. Мы постоянно чувствовали себя школьниками, не выучившими урока. Он сделал из упрямой лобастой пигалицы пай-девочку, приятную почти во всех отношениях, прятанную от чужого догляда тайные помыслы и поступки.

Я настойчиво защищала свою индивидуальность.

Всегда в ней сомневаясь.

15.

Платья, что переносила за жизнь, начиная с детства, проплывают в заглазном окоме за лобной костью, словно фантастические рыбы в фантастическом аквариуме. Невидимые, видятся в деталях: рисунок, ткань, фасон. Наряжаясь, вставляла на цыпочки, гляделась в старое, с порченной амальгамой, с металлическими разводами и черными мушками, зеркало платяного шкафа. Там отражалось невзрачное, тощее, длинношеее, узкоплечее, с торчащими ключицами. Могло ли такое нравиться? Страдала, что не как все, страдала, что как все. Платьица нравились. Коричневое полушерстяное с горизонтальными защипами на кокетке и на боковинах юбки, защипы

придавали стандартной школьной форме нестандартное изящество. Полупрозрачное креп-жоржетовое сиренево-розово-белое, сплошные мелкие цветочки, сплошное очарование. Где оно — хоть бы фрагмент тряпочки подержать в руках.

У Тани недавно обнаружилась картонная коробка, обшитая знакомым оранжевым сатином в крупных черных листьях. Таня, Таня, закричала я, у меня же было такое платье! Ну да, спокойно отозвалась Таня, я помню.

Ей было три года, когда я его носила, а сейчас она взрослая женщина.

Красный сарафанчик из штапельного полотна, сшитый домашней портнихой, всплыл среди прочего.

16.

Стукнуло то ли одиннадцать лет, то ли двенадцать, когда местный Лионель разглядел, наконец, местную Жанну д'Арк. Раскачиваясь на качелях, вопила песни советских композиторов — заслуженный антракт между актами трудового воспитания: прополкой моркови и поливкой помидоров. Грегори Пек приблизился незаметно, остановился за деревьями, делал вид, что ковыряет носком резинового тапка землю. Все заметила, Мата Хари глазастая. Со своей стороны сделала вид, что не замечает. А у самой озноб в жаркий день. А уж когда мама с папой официально пригласили двоюродных братьев на детский праздник на веранде — вообще залихорадило. Хмыкнула хладнокровно, скрыв истинные чувства. Это она думала, что хладнокровно. Мы же не знаем, что нас выдает, даже наиболее хитрых. Видно, родителям пришло в голову проинспектировать детские связи в расчете, что прилюдно какая-никакая улика да вылезет.

Она и вылезла.

Попив чаю с пирогом, пошли гулять в сад: родители лицемерно посоветовали.

Витька с ней — как кавалер с барышней!

Неслыханно!

Темнело. Обжигаясь о крапиву в малиннике и о малинник в крапиве, спотыкаясь о корни яблонь и утопая в мать-и-мачехе, делились неважным как важным, говорили пустяшные подростковые слова, не в словах было дело, смеялись, умолкали, стеснялись молчания и снова смеялись, пока не очутились в дальнем углу сада, где им вздумалось вдруг полезть через забор на улицу. Перелезая, пигалица зацепилась за штакетину подолом красного штапельного сарафанчика, по красному полю вразброс крохотные веточки, коричневые с зеленым. И, прыгнув в горячие Витькины руки, порвала подол.

Вот и все.

Ничего другого не было.

Ничего и не нужно было.

Счастье и так переполняло через край.

Перед тем, как заснуть, и после, как проснуться, — одно сплошное счастье.

17.

До завтрака, пока семейство спало, на цыпочках выбралась из дому и — в тот самый дальний угол сада. Растянула прихваченное с собой байковое одеяло и сама растянулась, лицом в небо. Трава уже не была такой высокой, как в четыре года, да к тому же она выбрала полянку возле дуба, покрытую низким ковром сиятельной кашки, так еще зовется трехлистный клевер, знак Ирландии, что появится на этих страницах в свое время, лежала, перебирала чудную мелочь вчерашнего вечера, набиралось раз-два-и-обчелся, и тогда она начинала обратный счет своим сокровищам, и этого с избытком хватало, чтобы весь объем сердечной сумки доверху заполнить счастьем. Над кашкиной полянкой вились: бабочка-капустница, бабочка-шоколадница и бабочка — павлиний глаз, и мнилось, что они и выются возле оттого, что примагничены пигалицыным счастьем. Мир и пигалица были заодно.

Пришла Стеша: *иди, тебя папа зовет*. Штешин тон не предвещал ничего хорошего.

Потащилась в дом с заранее упавшим настроением.

Папа начал тихо, и это было страшнее, чем если бы громко. Но когда стало громко — оказалось страшнее, чем тихо. Он не кричал, он орал, что его дочь — уличная девка, занималась развратом, запятнала свою честь, которой не отмыть, и все в том же роде. Порванный красный сарафанчик фигурировал как улика, самая что ни на есть красноречивая. Папа орал, что, если она вовремя не одумается, не остановится, не одолеет постыдной тяги к разврату, впереди ее ждет панель, и обещал выгнать из дому, видимо, на эту самую панель. Напрасно она пыталась вставить словечко, объяснить, как все было, то есть как ничего не было, папа и слушать не хотел, упиваясь собственным гневом.

Думаю, в ту минуту ему было больно.

Но именно в ту минуту я не могла этого думать.

Думать пигалица не могла ни о чем. Она могла только смертельно бояться и смертельно ненавидеть его с его гадкими подозрениями и отвратительными намеками, с его грубым вторжением в тот прозрачный мир, в котором подростки поворачиваются с предельной осторожностью, чтобы случайно не разбить, а он бил, бил хрупкое стекло и топтал осколки сапогами, хотя был в тапочках.

Услышав взрослой его историю с женой Мариной, поверила в нее сразу. Теперь приходит в голову: а может, и тогда он навоображал себе больше, чем увидел, и в результате поломал обе жизни, ее и свою. Хотя возможно и другое объяснение: обжегшись один раз и навсегда, он встал на страже нравственности как солдат, каким, собственно, и был.

Сломал ли он что-то в жизни дочери-подростка этим беспощадным унижением?

Что-то сломал определенно. Уверенность в себе — во всяком случае.

Читая переписку лорда Честерфилда, его поучения сыну, удивлялась: неужели сын послушно следовал этой скучище, неужто не отвращали его многочисленные рассудочные и ненужные отцовские советы? Письма сына отраженно светились в письмах отца. Да, все принимал, благонамеренно и учтиво.

Каково же было мое тайное торжество, когда узнала, что он лгал отцу.

Он был совсем иным, чем представлялось папаше, и чем он представлял себя папаше.

Так и должно быть, насколько я понимаю мир и людей в нем.

18.

О ребенке иногда слышишь: *маменькин сынок*.

Пигалица, несмотря ни на что, была *папина дочка*. Ходила на лыжах и бегала на коньках, лазала по деревьям и купалась в местном пруду, работала на огороде и пилила с отцом и братом дрова. Все равно болела. Может, родители были старые. Разница между отцом и дочкой — сорок восемь лет. Когда болела — и не болела тоже, — запойно читала. Меланхоличный, печальный такой ребенок. Противоречивый.

Помимо человеческой любви наличествовала животная. Объекты: белый козленочек, рыжая собака Найда, воробей-подранок и мышь. Козленок принадлежал к разряду наиболее самостоятельных существ. Бегал себе с подскоком, мемекал, щипал травку, останавливался на ходу, высыпал кучку черного гороха и продолжал задумчиво щипать. Изредка позволял себя погладить, но тут же взбрыкивал задними ножками, так что, если замешкаться, легко было обрести лишний синяк. Найда существовала не столь автономно, хотя подбегала, когда хотела, лезла целоваться, когда хотела, когда наскучивало, убегала. Воробушек ласкаться не умел, но и улететь не мог, с поврежденным крылом. Пигалица кормила его, изнывая от нежности, смотрела, как он ест. Однако наибольшую нежность вызывала мышка. Обыкновенная маленькая серенькая домашняя мышка. Почему-то не убегала, а теплым пушистым комочком сворачивалась на худой пигалицыной груди и сосала изготовленную пигалицей турундочку с молоком, блюдце с молоком стояло тут же. Иногда мышь убегала, но всегда возвращалась. Забиралась на привычное место и сосала свою турундочку. Иногда они вместе засыпали. Впрочем, *всегда и иногда* уложились в одну неделю. Как-то утром пигалица проснулась и увидела рядом с собой неподвижного холодного

зверька. Он лежал на спинке, подняв вверх скрюченные лапки, и был мертв. Что случилось, неизвестно. Пигалица пролила поток слез. Это было первое ее настоящее горе. Закопала мышь в могилку и ощутила глубокое одиночество.

Главное чувство, сопровождавшее детство, отрочество, юность, — одиночество и непонимание.

Не что ты не понимаешь, а что — тебя.

Я русский интеллигент. В России изобретена эта кличка. В мире есть врачи, инженеры, писатели, политические деятели. У нас есть специальность — интеллигент. Это тот, который сомневается, страдает, раздваивается, берет на себя вину, раскаивается и знает в точности, что такое подвиг, совесть и т.п. Моя мечта — перестать быть интеллигентом.

Пигалица была интеллигентка до мозга костей. Непонимание, сомнения, страдание, раздвоение, вина, раскаяние, готовность к подвигу — который, правда, ни вдаль, ни вблизи не просматривался, — все Юрий Олеша написал про нее.

Он ничего не написал про любовь. Должно, из деликатности.

Его любовь — Сима Суок по прозвищу Дружочек поматросила и бросила его. Заместительнице, Ольге Суок, сестре Симы, посвящены «Три толстяка», одна из самых притягательных книг пигалицыного детства.

Между тем в дневниках Олеша — о матери:

...передо мною ее фотография тех времен. Она в берете, с блестящими серыми глазами — молодая, чем-то только что обиженная, плакавшая и вот уже развеселившаяся женщина. Ее звали Ольга.

Жена Суок — как и главная возлюбленная. И Ольга — как мать.

Читающая пигалица всюду искала и находила ритмы, рифмы и иные упрятанные сочленения.

19.

В войну, в эвакуации, мы жили на улице Чеверева. До войны у папы вышла книжка «Чеверев». Такое сочленение.

Папа пытался в молодости писать прозу. А я пыталась в молодости ее читать.

Мне не нравилось.

В Первую мировую папа тянул солдатчину. В тетрадочках с записями, коим чуть не век, про войну ни слова. Исключительно про душевное состояние. Ему двадцать пять, и двадцатипятилетняя душа его мается.

1914. Воинская жизнь. Идем по тракту. На тракте грязь, колокольцы замирают, мелькнула мельница, в растворенные ворота — телега, на ней раскинутый полог. Воеет ветер. Кормежка в башкирской деревне. Татарка с девочкой и стариком из Уфимского уезда. Идут на богомолье в Троицк. Осень. Лес раздевается, и печальный мальчик-работник с башкирами — плачет.

Тоскливо в грязном бараке. Иду на улицу. Кругом красивая природа: поля, перерезанные группами леса, вдаль смыкаются горы. Ширь, простор. Но — тяжело, душно. Робко из-за туч выглядывает солнце. Хмурится серое небо. Вьется полотно железной дороги. То и дело мчатся поезда. И хочется лечь под поезд, так, без желаний умереть и жить, с полным равнодушием ко всему.

1915. 15 января. В воинском до Уфы — смотрю с моста. Едут на позицию с 6-недельным образованием. Безусые, цветущие. Не унывают. Спокойные, равнодушные. На смерть идут и как бы не чувствуют дыхания ее, что похоже на баранов, гонимых на бойню. Вот как быстро приспосабливается человек к условиям. Жалкие...

1916. 14 октября. Жизнь тяжела. Та, какую приходится жить в настоящем. Груба, безжалостна. Многие тягостятся, многие плачутся. У многих это связано с материальным состоянием. Но теряется и душа, лучшие ее качества: топчутся, гибнут великие задатки человека... Ах, как бы я хотел разорвать, уничтожить эту действительность...

Разорвет и уничтожит.

Вместе с товарищами.

Скоро.

Оттого ли, что в самодельных тетрадочках воздух, атмосфера, душа — моя душа тянется к его с такой силой, как редко случалось, пока был жив. Не давал. Не давался. Возможно, и рад был бы, да тот же панцирь, но несравнимо крепче ороговевший, чем у пигалицы, составлял неодолимую преграду. Душа с душою говорит спустя вечность, и спустя вечность я понимаю, на какой почве произошел Октябрьский переворот, и нет у меня ни ярости, ни злости ни в чей адрес, ни в царский, ни в большевистский, ни в красный, ни в белый, а одно горчайшее сострадание к судьбе России, к судьбе человека в России, и одна бессильная мысль: суди их Господь.

Или сильная.

20.

Вычитала названия сел в Нижегородской губернии. Поначалу губерния называлась Нова города Низовские земли.

Погибловка (советская власть переименовала в Садовое),

Тер-Клоповка (Вишневка),

Несытово,

Позорино (Лебяжье),

Дурашиха,

Вздернинога (Орехово),

Разгильдяевская,

Холуй,

Грехи,

Заглупаево.

Те села хоть через одно переименованы.

А эти так до сих пор и называются:

Худобабкино,

Гибловка,

Грабиловка,

Свиреповка,

Горюшки,

Карга,

Кобелево,

Содомово (их несколько).

Единственное Растяпино стало Дзержинском.

Вот и все. Все тут. И характер народа, и социальное его расположение, и прошлое, на почве которого возросло будущее.

21.

За участием в Первой мировой последует участие в Гражданской, за Гражданской — через двадцать лет — участие во Второй мировой. Отец давно не подлежит призыву, не крестьянин, не кузнец и не солдат, пятидесятилетний сотрудник Института истории Академии наук СССР. Москва держится на волоске. В ряду многих сродных он уйдет добровольцем на фронт. Война у них в крови, ибо они защитники. Идеалов, народа, Москвы, Отечества. Откроется старый туберкулезный процесс, температура сорок, горлом пойдет кровь — его отправят в госпиталь, а оттуда спишут как нестроевого и никакого. Вместе с институтом он эвакуируется в Алма-Ату, куда и мы доберемся по вызову из нашей башкирской эвакуации.

Ученые, артисты, балет Большого театра — все расселятся рядом.

Пигалица заделается артисткой. Отправится по госпиталям петь песенки раненым.

Скромненький синий платочек падал с опущенных плеч, ты говорила, что не забудешь наших взволнованных встреч. С берез, неслышен, невесом, слетает желтый лист. Старинный вальс «Осенний сон» играет гармонист. Вздыхают, жалуясь,

басы, и будто в забытьи сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.

Тошная птица пяти лет от роду старательно тянет мелодию, повесив нос, зная, что должно быть грустно, да ей и так грустно от грустных песенных слов, раненые слушают, смеются и плачут, отчего они смеются, пигалица не знает, а когда плачут, говорит то, чему научили медсестры: не плачьте, поправитесь и поедете обратно на фронт защищать родину. Многие без рук, без ног, но пигалица убеждает их, что они встанут в строй, так как без сомнения плачут они постольку, поскольку недовоевали. Бойцы смеются и плачут еще пуще и закармливают пигалицу огромными красными яблоками *апорт*, гордостью казахской советской земли.

Через сколько-то лет пигалицын отец защитит докторскую под названием «Советизация казахского аула». А еще через сколько-то бывшая пигалица в качестве приглашенного профессора проведет семестр в Иллинойском университете. Студентка по имени Алисия сообщит, что пишет диссертацию по современной экономике Казахстана. Профессор упомянет работу отца. Студентка воскликнет: really?!

С этим really у них умора. Одна американка видит другую, все равно из какого слоя, с каким образованием, просто одна обыкновенная американка завидела другую.

- Приятно встретить вас!
 - Приятно встретить вас!
 - Как вы?
 - Прекрасно! А вы?
 - О, прекрасно! Я только что встретила Салли (или Долли)!
 - Реально?!
 - Да.
 - И как она?
 - Прекрасно!
 - Реально?!
 - Да. Приятно встретить вас!
 - Приятно встретить вас!
- Расходятся.
О, really?! Реально?

Нереально забыть этот обмен восторженно-изумленными восклицаниями, как будто кто высадился на Марсе или, по крайней мере, выиграл сто тысяч баксов в лотерею. Непередаваемая интонация плотно застревает в ушах всякого, кто хоть раз ее услышал.

Короче, Алисино really воспринято как формальная любезность. Так же любезно Алисия закончит: о, как было бы приятно ознакомиться с диссертацией вашего отца! Я любезно разведу руками: вряд ли вы ее тут найдете.

На следующей лекции Алисия пороется в бездонном мешке-сумке и протянет московское издание 1966 года в светло-коричневой обложке. «А.П. Кучкин. Советизация казахского аула».

Взяла в библиотеке.

Такая библиотека в Иллинойском университете.

Такая встреча на другом краю земли.

Ты ли плетешь свою паутину жизни, паутина ли жизни обеспечивает движение, поражающее прихотливостью и точностью, Бог весть.

22.

Повествованию положено быть равновесным.

Приведя перечень лиц, по коим вздыхала малая, стоит набросать эскиз лица, вздыхавшего по ней.

Ранняя осень. Желто-рыже-красные декорации подсвечены гигантским небесным софитом. Известно, что в детстве софит включается на целый день, а если выключается на время дождя, то и дождь короткий, косой, с пузырями, которые весело лопаются под босыми ногами, сандалии в руке, чтобы не попортить — един-

ственные, и прекращается озорной дождик быстро, и воздух насыщен не мертвыми бензиновыми парами, а живыми запахами трав и листьев. Летние каникулы на исходе, но пока остаются праздные дни, и пигалица с мамой, принарядившись — что же на пигалице надето? — идут в гости в старый московский дом близ Патриарших прудов, которые при советской власти переименованы в Пионерские.

В общей квартире проживает несколько семей, поэтому на дверном косяке несколько звонков. Нажимаем тот, на который открывает либо мамин дядя, либо дядина племянница. Семья из двух человек занимает одну вместительную комнату в коммуналке, когда-то принадлежавшей дяде целиком. Об этом не упоминается, но каким-то образом до пигалицы доходит. Не исключено, племянница Изольда шепнула на ушко запретное. Дядя был известный то ли театральный, то ли концертный антрепренер, карьера давно изжита, он стар, сед, редковолос и нос багровой шишкой. Разумеется, у него имелось имя — Семен, — но все, включая папу, в глаза и за глаза звали его дядей, хотя он годился в дедушки не только пигалице, но и маме.

В дядиной комнате множество редких вещей, каких нет у нас: зеркала в тяжелых витых рамах, картины, старые фотографии, вазы с сухими цветами, продранные, но сохранившие остатки бывшего благородства кресла, этажерки с книгами, журналами и пластинками, столик, который называется странным словом *бюро* — пигалице известны лишь справочные бюро и бюро райкома комсомола, ей стукнуло четырнадцать, ее, как и положено, приняли на бюро в ряды.

Один из изольдиных женихов выразится позднее так: хорошо бы проредить мебель, а дядя, а то ногой ступить некуда. Ступить, правда, некуда, но ступают же, женихи в том числе, и жилище обжито и уютно. Стол застелен белой скатертью твердого крахмала, время оставило на ней неизгладимые следы, но следы аккуратно подштопаны и скрыты под фамильным серебром и кузнецовским фарфором — информация о фарфоре внедрилась тем же неотфиксированным путем. У пигалицы в доме все гораздо скромнее, стандартнее, партийнее. Папа строг и скромен и по характеру, и по принадлежности к коммунистической партии большевиков и по этой причине презирает все *мещанское*. У дяди — *мещанское* и, откровенно говоря, крайне привлекательное. Пигалица не знает, как совместить несовместимое, и откладывает подумать об этом на потом, что всегда делает, когда не совмещается, а потом поспекает думать о чем-то другом, вопросы копяются, не находя разрешения.

Гости раскинулись по диванам и креслам, между ними с предложением вина и воды сует очередной жених Изольды, которая никак не может выйти замуж, знакомые и родня присылали претендентов, те, коротко погужевавшись, исчезали, что не мешало немолодой девушке, слегка покашливая, добродушно-иронически щурить прекрасные черные глаза и иронически-добродушно улыбаться в прелестные черные усики. Щеки пигалицы, едва ее представили гостям, немедля заалели. Стеснение, часто чрезмерное, было основным ее состоянием в эти лета. Один из гостей ласково пригласил пигалицу занять кресло напротив своего и принялся как взрослую расспрашивать о культурных интересах, начав с музыки — и попав. Пигалица в охотку распевала не только песни советских композиторов, но и оперные арии. «Лючия ди Ламмермур», «Сельская честь», «Норма», не говоря о «Пиковой даме», «Евгении Онегине» и «Иване Сусанине» — таков ее репертуар. Не весь. Весь занимал много страничек в крошечной записной книжке с алфавитом, куда обычно записывают телефоны знакомых, у пигалицы знакомых не было, вместо знакомых значились названия опер, которые выслушивала по радио, влюблялась в музыку и исполняла самой себе ежедневно. Книги, Большой и радио были первыми воспитателями. Помимо папы.

Напойте мне из «Лючии ди Ламмермур», попросил гость, как бы в рассеянии забирая пигалицыну ручку в свои большие руки. Едва промурлыкав первые такты известной арии, она поглядела на свою ладошку в чужих ладонях и, вспомнив, что стесняется, умолкла и заалела с новой силой. Позвали к столу. Пигалица беспомощно оглянулась на маму, но поскольку гость уже вел ее уверенно сесть рядом, мама не пригодилась.

Он был дядин ровесник, то есть старый человек, но держался так, будто молод, и не просто молод, а живет будто не у нас, не в СССР, а где-то у *них*. Рыжина и

одновременно седина производили вкпе розовое с апельсиновым, маленькие розово-апельсиновые кудряшки обрамляли обширный лоб. Вместо брюк на нем были бриджи — пигалица и названия не знала, никто вокруг бриджей не носил, спросила на обратном пути у мамы, мама сказала. Высокие чулки, про которые не знала, что они называются гольфами, помещались в желтые ботинки. Под светлым пиджаком в клеточку надет тонкий бежевый свитер. *Все тон а тон*, заключила почему-то по-французски дома мама, хотя по-французски в семье никто не говорил. Говорил дядя. И этот странный гость. Он и по-русски странно произносил букву *p*, грассируя, как опять же пояснила мама, и «Лючию ди Ламмермур» выговорил как француз, а не как русский. Время от времени они с дядей обменивались чем-то французским, но тотчас, опомнившись, переходили на наш язык. Мама объяснила и это: оказывается, неприлично говорить между собой на языке, какого остальные не знают. Интересно, откуда маме, не знавшей языков, это известно. Время от времени странный старик склонялся к малой соседке и вопрошал, какое новое яство положить ей на тарелку, опустошенную от предыдущих яств. Малая отличалась отсутствием аппетита, однако в гостях, то ли от смущения, то ли оттого, что было вкуснее, чем дома, сметала все. Мама еще и затем водила дочь к родственникам, чтобы поправить костлявое дитя. При прощании дядя зазывал приходить в следующий раз. Гость смотрел молча, улыбаясь.

В следующий раз возле старика поместилась миниатюрная старушка, оказавшаяся женой и чистой француженкой. На глазах у жены муж протянул пигалице незапечатанный заграничный конверт цвета слоновой кости, сказав: *это вам*. Пигалица, по обычаю, залилась краской до бровей. Рука словно приклеилась к телу, она ее не протягивала, поскольку не знала, что делать с конвертом. Тогда старик ободряюще предложил: *хотите, я прочту вам?* Не дожидаясь ответа, достал из конверта бумагу того же цвета слоновой кости, с красивым тиснением, и прочел: сначала эпиграф: «*Увидеть Неаполь и умереть*», затем остальное.

Увидеть Вас и... умереть,
Истлеть на камнях преисподней,
Благословить судьбу и в муках сладких смерть,
Как дар любви, как дар Господний.
Я не хочу Вам льстить
иль с Вас писать Мадонну,
Как с Форнарины Рафаэль,
Ни в фимиамах благовонных,
Ни кистью мягкой, как пастель.
Мой стих правдив, правдив и чист пред Вами.
Он вестник истины: я твой.
Последний вздох, святое атеп,
Мой круг, очерченный судьбой...
Загадка — жизнь. Загадка — встреча с Вами...
Какой мудрец найдет ответ?
В глазах раскосых d'ingirami —
В твоих глазах — нашел свой рай земной поэт.

Пигалица была ошеломлена. Половины слов она не знала и не поняла. А что такое *d'ingirami* — не знает и по сю пору. Дошло главное: объяснение в любви. При живой жене.

Миниатюрная француженка улыбалась, и все улыбались, включая маму. Пигалица готова была сквозь землю провалиться. Огнем горела, хотелось захныкать, заскулить и запеть одновременно. Понятия не имела, что ответить, и понимала, что отвечать ничего не надо, и ничего не понимала.

Старик был отцом знаменитого танцовщика, руководителя знаменитого танцевального ансамбля Игоря Александровича Моисеева, и тогда довольно старого, с точки зрения пигалицы, а миниатюрная француженка — его матерью.

...Мы снимем программу «Время "Ч"» с Игорем Александровичем Моисеевым, когда тому перевалит за девяносто.

— Так случилось, — скажет он, — что мы из Полтавы переехали в Москву во время Первой мировой войны. И сидели в Москве, когда началась Октябрьская революция. Отец мой — юрист, человек очень образованный, я должен был пойти по его стопам. Но военный коммунизм, голод — было сложно найти свое место в этом мире. И для того, чтоб я не болтался по дворам, отец сказал: поступай в скауты. Чудесная организация, жаль, что до сих пор не дожила, потому что именно она блестяще занимается воспитанием мужчин, мальчиков, приспосабливает их к делу и отвращает от ненужных соблазнов. Но эту организацию буквально через месяц уничтожили — я опять в пустом пространстве. Кто-то сказал, что есть хорошая студия Масаловой, бывшей балерины Большого театра. Я пошел туда... Случайно я попадал туда, куда нужно. Поэтому говорю, что Его Величество Случай диктовал мою судьбу...

Его Величеству Случаю я тоже была представлена. Как и все.

Хотелось бы только знать, почему одним он дает величие, оставляя на долю других ничтожество. Может быть, надо не просто очень, а очень-очень-очень-очень-очень стараться?

Рассказала Игорю Александровичу о знакомстве с его отцом.

Улыбнулся, никак не откомментировал.

Верно, ему было слишком много лет для комментария.

Он ушел в сто два года.

23.

Известных пигалице женихов Изольды звали Август и Марк. Не Тристан, но тоже не слабо. Царственное тянется к царственному. Август обнадежил невесту вялым ухаживанием и исчез, как и ожидалось доброхотами, болельщиками за незамужнюю девушку. Место вальжного красавца Августа заступил тонкошей, сутулый, светлый Марк. Этого, наконец, удалось заставить оформить отношения, которые никак до того не оформлялись. Марк заинтересованным взглядом поглядывал на зеркала, картины, бюро, постоянно что-то подсчитывая и высчитывая, предлагая за счет *прореживания фурнитуры* какие-то мифические варианты обогащения, — нищий, в сущности, дядя развеивал их одним высокородным *кыш*. Изольда и свое замужество, и образовавшиеся сложные коллизии воспринимала со свойственными ей добродушием и иронией, обожая дядю в первую очередь, Марка во вторую. Покашливание перешло в сериальный затяжной кашель, обнаружился застарелый туберкулез, дядя умер, огорченный, так и не поняв, можно ли рассчитывать на новоявленного зятя как на опору любимой племяннице или нет. В туберкулезном санатории, среди целебных сосен, испускавших, как впоследствии выяснилось, губельные для Изольды фитонциды, у нее случился тяжелый аллергический приступ, из которого она не вышла. Марк, с красными, опеченными от слез глазами, женился на любовнице, которую завел между делом, тщательно скрывая этот факт, чтобы не травмировать Изольду, которую по-своему любил. Отпраздновав новый брак, он на скоростях распродал дядину мебель и совершил добавочное число каких-то хитроумных действий, о чем мы лишь смутно слышали, потому что никогда с тех пор в старый московский дом близ Пионерских-Патриарших не заходили.

Дневник:

В прошлое воскресенье умерла Изольда. В четверг была на кремации. В четверг же умерла мама моей подруги Риты Кваснецкой. Кремация в субботу.

Вот я и увидела мертвых. Тягостно, но не так страшно, как думала.

Рита сказала: мне все время хочется говорить о ней.

Моя одиннадцатилетняя дочь плакала. На стене комнаты обвела свою руку, к одному из пальцев провела черточку, как бы ниточку от квадрата, в котором написала: «28.X.71 у Риты умерла мама».

24.

Моя мама была очень красива в первой, второй и третьей молодости. Она родилась и выросла на Украине, в маленьком городе Алешки. В доме за стеклом

старая сепия — вид и цвет, производящие то же настроение, что летящая журавлиная стая, к примеру. Фото наклеено на картон, на нем выдавлен рисунок — подобие паутинки. На всех четырех углах картон повредился, и на свет Божий вылезла его составляющая — многослойная пожелтевшая хрупкая бумага. Трое полулежат на ковре: юноша в полушубке, девочка в шутовском колпаке, мальчик в косоворотке. Между ними — нелепая фигура в собачьей маске, то ли человек, то ли кукла. Во втором ряду — семеро взрослых, мужчины в белых рубашках и сюртуках, у одной женщины шаль на плечах, другая вся в бусах и с толстой косой на груди. В следующем ряду — шестеро: кто с подносом, кто в платке, кто в поддевке, одни как будто гимнастки, другие как будто горничные, третьи как будто барышни, посередине — живописный, бородатый, с глубоко посаженными глазами, усмехается. Крайний ряд — зеленая молодежь, кто серьезен, кто удерживает смех. Описание второго ряда неполно. Слева во втором ряду — мальчик с гитарой, а рядом с ним большеглазая девушка с низкой челкой, в бархатной тужурке, шляпка украшена цветами. Она сидит, немного склонив голову вбок, на лице играет полуулыбка. Она знает, что красива. Она самая красивая здесь, среди двадцати пяти человек, если не считать человечка-куклы. Это театральная студия. Они чего-то там ставили костюмное и всей труппой сфотографировались. Девушка с челкой — моя шестнадцатилетняя мама.

Почему я никогда не полюбопытствовала, какую пьесу они ставили, какая роль досталась ей и кто из участников был в нее влюблен? Ведь кто-то же был. Наверняка.

Между нами невозможны были интимные вопросы. Сохранялась перегородка, через которую не проходили необходимые сигналы. Я не знала ни женской, ни человеческой, ни духовной жизни моей матери. Только бытовую. Мы не были друзьями. Мы не были близки. Я не понимаю, почему, и горюю безмерно.

25.

На другой фотографии в компании из шести человек — мой папа. Мама и папа снялись в один год. По случаю. Независимо друг от друга. Эти шестеро также похожи на персонажей пьесы. Две девушки в длинных белых платьях, одна в белой шляпке, другая в черной, лупоглазый парень в картузе, второй — в фуражке, специально позирующий с газетой «Правда» в руке, третий, сумрачный, в очках и темном *грузинском* кепи блином. Самый красивый — молодой человек в гимнастерке, нога на ногу, мой двадцатисемилетний папа.

Были ли они близки между собой, мама и папа?

Должно быть, вначале. И точно — в конце. Научные штудии занимали у папы первое место, но когда мама тяжело заболела, на первое место зримо вышла она. Он сидел у ее постели, гладил руки, называл ласковыми именами, целовал, говорил о любви и плакал, не сдерживаясь, даже при мне. В середине лет ничего этого я не видела и не помню. Либо отсутствовало, либо умело пряталось от детских глаз. Возможно, просто такое время, в какое не принято миндальничать, строя коммунизм.

Мама будет болеть долго.

Отпустив меня в четырехмесячную экспедицию, папа пришлет радиogramму на судно «Дмитрий Менделеев»: *«Владивостока вылетай немедленно маме плохо»*.

Радиogramма придет четырнадцатого апреля 1972 года.

Мы войдем в порт Владивосток семнадцатого апреля.

Я вылечу немедленно.

Мама проживет еще год.

26.

У мамы была своя история до папы. Переехав из Алешек в Москву, она окончила один курс юридического института, и тут же на ней женился человек по фамилии Бессараб. Его я помнить не могу, потому что мама вышла за папу вдовой. Помню Валю Бессараба, их сына. Худощавый, смуглый, черноглазый — копия мамы. Старший Бессараб передал младшему по наследству болезнь, от которой скончался сам. Все тот же туберкулез, каким болели обе семейные ветви, сжег моего двадцатидвух-

летнего красивого брата. Мама показывала фотографии. Та, где она у гроба сына, как две капли воды похожа на ту, где у гроба мужа. Не потратила ли она на Бессарабов всю любовь до доньшка, так что на нас не хватило? Или мы с братом росли такими черствыми эгоистами, что не нравились ей, и она замкнулась?

Не знаю, не знаю, не знаю.

Она заботилась о семье, беззаветно отдавая нам всю себя и все свое время.

А душевно была за семью замками.

27.

Школьной подруге Наташе, с неиссякаемым плюшевым блеском ее какао-бобов в загнутых ресничных стрелах, повезло больше. Ее литовский папа Егудас жил далеко, неунывающая одинокая мама работала на фабрике по изготовлению шелковых косынок, но это было совершенно второстепенно и ей не шло, ей шла загадочная женская жизнь, какой жила она, со своими припухлыми губами и припухлыми веками над очами с поволокой, с ленивыми, плавными движеньями, какими напоминала благородное животное, кошку или львицу. Мы с Наташей видели ее изредка, когда она приходила к бабушке, которая Наташу и воспитывала, а мама была проходящая. Наташина бабушка выглядела так же, как ее дочь, и походила на нее точно так же, как Наташа походила на мать и бабушку. Наташин дед, из дворян, между прочим, декан МЭИ — куда, закончив школу, поступит не блиставшая отметками Наташа, — излучал благородство, носил серое, что отменно сочеталось с глазами и волосами того же колера, благожелательно улыбался женщинам с порога и удалялся к себе, не вмешиваясь в наше женское. О, если б наше! Пигалица выступала тут временным зрителем. Действующими лицами были те трое. Они понимали друг друга, они сердились, мирились, смеялись, обнимались, шутили — пигалица с завистью наблюдала за тем, чего была лишена в своей семье. Бабушку одолевал недуг, и она в основном возлежала в постели на высоко взбитых пышных подушках, прикуривая одну сигарету от другой и вставляя покровительственные, исполненные иронии замечания по любому поводу. Ее дочь тоже курила. У обеих были прокуренные низкие голоса и желтые от никотина указательные пальцы. Сбивая пальцем пепел в серебряную пепельницу и трясая золотыми серьгами в ушах, бабушка глядела на пигалицу насмешливыми глазами навывкате и спрашивала: *я надеюсь, ты уже научилась завлекать мальчиков, или я зря надеюсь?* Пигалица впадала в ступор от спокойного бесстыдства, с каким с ней говорили об *этих вещах*. У них дома похожие разговоры были решительно невозможны. Как были невозможны золотые сережки, серебряные пепельницы и высоко взбитые пышные подушки. Пигалица уходила домой, разбитая вдребезги, не умея собрать эти дребезги в целое. Все в чужом быту жестоко отвращало ее и жестоко манило в одно и то же время. Она должна была справиться с завистью к этому легкому существованию, столь контрастному по сравнению с их тяжким. Она должна была подавить жгучее желание длить и длить разговоры с Наташиными домашними на запретные темы, о чем и рта не могла раскрыть со своими домашними. Воспитанная в правилах строгой морали и столкнувшись с беспечным видимым попранием этих правил, она должна была разобраться, почему ее так тянет эта беспечность. Или папа был прав насчет *тяги к разврату?*

28.

Отпущенные вдвоем на юга, обе девушки потянулись к разврату со страшной силой.

В первый раз их отпустили с Наташиными родственниками в Евпаторию.

Во второй раз — со знакомой по имени Ляля в Новороссийск.

В Евпатории пигалица впервые увидела море. В рамках школьной программы учила Горького: *море — смеялось*. Нелепое и вычурное. Когда увидела море, случилось ровно наоборот: смеялась — она. Нервы так среагировали. Могли так же среагировать у Горького, потом произошло литературное замещение.

Пигалица не умела плавать, училась, смущалась, храбрилась, научилась. Ху-

дая, как палка, загорела дочерна и стала, как галка. Первые ухажеры — мальчики из Ленинграда, Виктор и Вадим. Вадим писал письма несколько лет, потом перестал. Через несколько десятков лет написал снова. Всего пять или шесть строк.

Оля! Привет и с днем рождения... Увы, Альфред (так его звали) не присоединяется. Он недотянул. В прошлом году... Падают, падают... Не только Листьев... А мы проживем еще. Ладно? Я на пенсии. Двенадцать лет — главный инженер УГАИ СПб. Здоровье? Чтобы да — так нет... Вадикиздетства.

Вадикиздетства.

Невозможно представить его лысым, предположим, или с вставной челюстью. В каждой строчке — тот же длинный, милый обалдуй, не выговаривавший четверти букв алфавита.

Был еще, оказывается, какой-то Альфред...

Валяясь на евпаторийском жарком песке, плаваясь, как колбаса на сковородке, пигалица и пигалицына подруга Наташа ссорились на идеологической почве. Яблочки от яблонь. Напомню: пигалицын отец — из крестьян, коммунист, Наташин дед — из дворян, антикоммунист. Пигалица неуверенно отстаивала отцовские идеалы, чем неувереннее, тем упорнее. Подруга противостояла язвительно и лениво.

В Новороссийск знакомая Ляля привезла двух родных маленьких детей и двух чужих больших. Мы только что окончили школу и как бы готовились в институт. Реально как бы. В Москве Ляля дружила с Наташиной матерью, в Новороссийске — с председателем горсовета, мэршей по-нынешнему. Мэрша гостеприимно расселила постояльцев по двум крохотным муниципальным квартиркам за бесплатно. Таковы были возможности советской власти.

Едва расположившись, вчерашние школьницы поспешили в порт. Прогулка выдалась незабываемая. На рейде стояли яркие нарядные иностранные корабли. Яркие нарядные иностранные матросы стайками бродили по набережной. С ума сойти! Иностранцы в СССР! Практически как свободные люди в свободной стране!

Запретный плод был сорван чуть не в первый день. Иными словами, состоялось запретное, к тому же уличное знакомство с двумя итальянцами: незабываемая папина *уличная девка* была из этого разряда. Но *уличное* — чепуха по сравнению с тем, что — *с итальянцами*. Общение с людьми из иных стран в СССР, спрятавшемся от остального мира за железным занавесом, приравнивалось к измене Родине. Смазливые, загорелые, сверкающие улыбками, все в белом, с итальянским, звучащим музыкой, — устоять перед соблазном коммунистка не сумела, как и антикоммунистка. Заливались смехом — возбуждение носило тот же нервный характер, что при первой встрече с морем: опасность грозила и там, и там. Наташа начала целоваться со *своим* почти сразу. У пигалицы со *своим* до такой степени близости не дошло. Чернышевский по той же школьной программе предупреждал: *умри, но не давай поцелуя без любви*. А вопрос, любовь или не любовь, был мучительно неясен.

Чуть подлиннее.

Чуть подлиннее.

Из дневников Олеси.

Разница в ударениях.

Олеша не проставил их в силу доверия даже не к слову, а к букве. И, конечно, в силу игры. Где хотите, там и ударяйте.

Подлиннее свидетельствует Наташа, ибо некоторые частности оказались напроць вытеснены из пигалицыной памяти. Память храбро сражается с тем, что смутительно. Наташа уточнила: итальянцы были не простые матросики, пигалицын — капитан, ее, Наташин, — старпом. Романтические часы безжалостно отбивали время. Сегодня прогулка по набережной, завтра свидание в приморском ресторане, послезавтра — отплытие. Никогда до той поры пигалица в ресторанах не бывала. В душевном переполохе переступила порог. Отступать некуда — позади детство, с которым так или иначе надо расставаться. Моряки уже сидели за столом, стол украшен фруктами, шоколадом, коньяком и сигаретами «Честерфилд». Бесстрашно, то есть подавляя страх, непьющие и некурящие девушки приступили к разврату. Молоденький капитан и молоденький старпом вели себя деликатно. Девочки написались в момент, но ни один из двоих их и пальцем не тронул. Насильно. Добровольно

сложилось поцелуи в Наташином случае, рука на плече — в пигалицыном. Сбежавшая с предгорий ночь мягко опустила свое звездное покрывало, возвышенные струны дрожали, ноги заплетались. Новороссийск пах каштанами, водорослями и мазутом. Итальянцы провожали до двора дома. Во дворе поджидали двое украинцев, заглядывавшиеся на столичных барышень. Драки не было. Была мирная процедура по передаче барышень из итальянских рук в украинские. Один украинец бережно переломил Наташу пополам, обеспечив, пардон, рвоту и облегчив существенным образом состояние бедной девицы. Вторым провожал пигалицу на расстоянии. Пигалица, держась прямо и ровно, как фарфоровая, прошла своим ходом наверх, в квартиру. Когда Наташа очутилась там же, ее нос учуял, еще раз пардон, нестерпимую вонь. Исследовать проблемную не было сил, подруга уснула, едва голова коснулась подушки. Утром та же нестерпимая вонь ее разбудила. Вопрос о природе запаха прозвучал, как только пигалица открыла глаза. В ответ она молча отодвинула подушку — под подушкой была спрятана резиновая шапочка с блевотиной: накануне она аккуратно блевала в эту шапочку. Гомерический смех и крокодильские слезы смешались, не разделить. Опасение, что нагрянут Ляля или мэрша, заставило подруг вновь обратиться к братской помощи украинцев. Общими усилиями невыносимую подушку вынесли тайно из дома и потащили стирать в море. В море подушка сбилась клоками, превратившись в ни на что не пригодный куль. Пришлось захоронить куль в ближайших кустах. Эпизод, как ни странно, обошелся без последствий, несмотря на пропажу подушки. Изобрели какое-то объяснение, никто, по всей видимости, в него не поверил, но, может быть, Ляля и мэрша были просто отличные тетки.

Три дня советско-итальянской дружбы подошли к концу.

Расставание бередило юные души. Было грустно до слез.

Интернациональные связи развязывались, не успев завязаться.

Корабль отходил, на его борту и на пирсе, как сумасшедшие, четверо махали руками друг другу.

Вечером подружки уныло потащились на танцплощадку, чтобы хоть чем-то заглушить девичью грусть.

Танцевали, хотя не хотелось. Ели мороженое, хоть оно не лезло в глотку.

Двое подошли. Итальянцы. Другие.

Господитыбожемой! Оказалось, что *их* судно, шедшее из Греции в Новороссийск, встретилось с *нашим* судном, направлявшимся в Грецию из Новороссийска. И на морском языке, азбукой Морзе, с помощью сигнальных флажков, с *нашего* судна на *их* судно поступил сигнал-просьба разыскать в порту русских девушек Наташу и Олю, флажки выдали краткое описание подруг, — и финальный аккорд: передать им сердечный привет от Дому и Антонио.

Наташа запомнила даже имена.

Двое сообразительных морячков нашли нужных девушек по описанию.

Можно ли вообразить себе что-либо подобное в действительности?

Исключительно в книжках.

Книжная любовь — теперь уже ясно, что это была любовь, — взлетела до небес.

Мы разошлись, как в море корабли, — повторяли подруги *мещанскую* фразу, неожиданно наполнившуюся высоким содержанием.

В Москве Наташу как более храбрую особу ждало продолжение: она оставила любимому адрес разведенного с семьей отца. У пигалицы как более трусливой адреса, который можно было бы оставить, не нашлось. Наташа была вознаграждена. Письмо из Италии пришло. Вскрыв его, папа, Петя Егудас, позвонил Наташиной бабушке и со всего размаху грубо отчитал за то, что девку распустили, и вот результат, заделалась проституткой, вступила в связь с иностранцем, и чем это кончится, неизвестно.

Стоя на страже морали и Родины как вкопанные, наши столь разные папы оказались более единообразны, нежели можно было предположить.

Экс-пигалица, слушая старую сказку, сначала плакала от смеха.

Потом стала плакать так.

29.

Подруга Наташа вспоминала одно. Дочь Наташа — другое.

В «Новом мире» в новом веке было опубликовано стихотворение под названием «Доктор Ложкин». Приведу его полностью, потому что оно не поэзия, а правда, — если соотнести с сочинением «Правда и поэзия» Гете.

Доктор Ложкин по коленке никогда не стучал,
глаз не выдавливал и не кричал,
а, почесывая пальцем одно из двух крыльев носа,
спокойно ждал моего вопроса
(как избавиться от страха смерти).
Доктор Ложкин на вопрос не отвечал,
а, взглядывая косенько, все отмечал
и продолжал высокопарно вещать чудное,
поправляя очки и увлекаясь мною
(хотите — верьте, хотите — не верьте).
Если не верите — то не верьте,
но однажды проснулась, свободная от страха смерти,
и мир протянул мне ножки целиком по одежке,
и я подумала: ай да доктор Ложкин.
Он был толстенький и лысоватый,
и речь его была радостной и витиеватой,
он говорил: ваш дар не ниже Толстого,
пишите романы, право слово.
Он видел, что я страдаю недооценкой,
прижата к пространству сжатым воздухом легких, словно стенкой,
и любя меня и меня жалея,
он внушал мне как манию ахинею.
Прошло двадцать лет. Я написала роман,
один и другой, и за словом в карман
я больше не лезу, а сосредоточена и весела,
потому что знаю, как талантлива я была.
Доктор Ложкин женился на школьнице-секретарше,
будучи на сорок лет ее старше,
почесывая крылья и шмыгая носом,
он, точно, владел гипнозом.
Он уходил к себе в подсознание, как в поднебесье,
доставая оттуда тайны с чудесами вместе,
а потом вкладывал нам в подсознание,
как дар случайный.
Доктор Ложкин, где вы, какой вы странный,
я б вам почитала свои романы!
Но он, вероятно, встал на крыло
и взмыл в поднебесье, и ветром его снесло.

Случай свел, и он же развел, мы жили в разных городах, затем в одном, затем снова в разных, я надеялась, он откликнется на публикацию, если жив, он не откликнулся.

— А ты помнишь, как мы в первый раз приехали к нему в город Орджоникидзе? — спросила дочь Наташа по телефону из Америки. — Ты прилетела брать у него интервью для газеты, а меня, с моими болячками, показать ему, и он преподнес тебе огромный букет роз, а ты отказалась принять.

Острый укол в сердце.

— То есть как отказалась?!

— Так.

— Я не помню.

— Совсем?

— Совсем.

— Мы вышли в коридор, и я сказала тебе, чтобы ты взяла, потому что он делает это для себя, а не для тебя, так велит ему душа, и надо позволить человеку быть великодушным.

— Ты так прямо мне и сказала?!

— Я так тебе прямо и сказала.

— Боже мой, какая дура!!

— Я?

— Я. Ты умница. Ты так умна, как я даже не подозревала. И что я сделала?

— Вернулась и взяла розы.

— Слава богу.

Память, не зная, куда деться от стыда, в который раз вытеснила из себя бывшее.

— А ты понимаешь, почему я так сделала? — спросила я у дочери. — Потому что совок. Нам, совкам, в башку было вбито: не одалживаться, не принимать никаких знаков внимания, никаких подачек, чтобы сохранить независимость и гордость, иначе взятка. Совок совок и есть, и никакой внутренней свободы. Может, цинизм тут где-то и неподалеку, но лучше цинизм, чем проклятая узость, от и до, а за них ни-ни.

— Не думаю, — отозвалась дочь. — Все-таки в тебе была чистота.

До этого я почти плакала от смеха.

Положив трубку, заплакала так.

30.

Июнь.

Хлопковая простыня неба, голубое в хлопок, в белые хлопковые коробочки, откуда лезет облачная вата, накрывает зеленую постель земли. Постель негладкая, неровная, вся в подъемах и впадинах, с дальними и ближними купами деревьев, между которыми проблескивает сизая лента реки, спуститься к ней можно по дороге, а можно по прямой, через обильное разнотравье. Мы — если смотреть сверху — ползем сперва по дороге, после, покинув ее, углубляемся в травы и цветы, подруга Наташа, ее молодой друг хирург Мамука, собака Дуся и я. Тишина вливается в нас, заполняя собой без остатка. Тишине можно отдаться, а можно слушать ее, как музыку, целительную для нервов, издерганных городом. Сегодня не просто какой-то день июня, сегодня канун войны. Двое с железом, кажется, миноискателями, пересекают нам путь. Черные следопыты, негромко говорит, глядя им вслед, Наташа. Елагино, где она снимает деревенское жилье на лето, близ Наро-Фоминска. Шестьдесят с лишним лет назад, возможно, в такой же жаркий день, раскинувшись под такой же голубой простыней, зеленая постель земли вспучивалась от насилия, на ней творимого, ползущие по ней маленькие живые существа вдруг замирали и навсегда оставались неподвижными, усеивая собой луга, взгорки и перелески. Они же и насиловали, они же и падали замертво. Мертвая тишина сменяла грохот взрывов. Мертвая, потому как не исцеление тут было, а умерщвление. Ген безумной жестокости сидит в человеке и человечестве.

Этой ночью тоже гремели взрывы. И слышались крики, и рвались петарды, и мы трое смеялись от радости, а Дуся от радости взолаивала звонко. Кругом праздновали выход наших в полуфинал на кубке Европы по футболу, одолевших голландцев. По Москве пойдет ходить анекдот: победа Димы Билана на «Евровидении», победа футболистов в четвертьфинале, не развязать ли нам по-быстрому, пока такая пруха, третью мировую? Народ сообразительно схватывает смыслы, выстраивая вертикаль насмешки.

Вопрос о третьей мировой, слава богу, отпадет сам собой через неделю, когда наши в полуфинале проигрывают испанцам.

Человеческая игра в футбол вместо бесчеловечной игры в войну.

У Наташи, не помню точно, в какой день, а спросить боюсь, была своя война. Не человеческая. Небо нависло над землей не голубое, а черное. Разрывы гремели там — не здесь. Молнии полосовали дневную темноту зигзагами, по горизонтали и вертикали. Одна ударила в пятнадцатилетнего мальчика. Мальчик, его бабушка и

собака бежали от грозы домой после купанья, не успев спрятаться. Мальчик упал и умер сразу. А бабушка думала, что он поскользнулся.

Так, кажется, не бывает в жизни. Только в книжках.

Но так случилось.

Мальчик был Наташин сын, бабушка — ее мама.

Красавец-грузин Мамука лечил Наташину маму в последние ее годы.

Он станет Наташе вместо сына.

Он спасет моего Валешу, успев положить на операционный стол в роковой момент.

Шестнадцатая аудитория

31.

Мама подарит бывшей пигалице первое настоящее кольцо с брильянтами в тридцать пять пигалицыных лет. С осколками брильянтиков. У школьной подружки Наташи такого не было.

Дневник:

Мама подарила на день рожденья бриллиантовое колечко.

Наташа Крымова получила писательский билет, обедали с ней по этому случаю в Доме литераторов.

Вечером был в гостях Юля Крелин. Сказал, что во французском языке нет выражения — выяснение отношений.

Давно нет Наташиных бабушки и дедушки, нет наших мам и наших пап — Наташа есть. Из школьной дружбы родилась вечная дружба, как бывает вечная любовь.

Из университетской вечной дружбы с Нелей ничего не получилось.

Вцепились друг в друга с первой минуты, как познакомились. Она длиннее, и руки у нее длиннее, укладывала свою оглоблю мне на шею, и так мы шлялись в полуобнимку по факультетским коридорам на Моховой, она, как все спортивные люди, шаркающей походкой, носками внутрь, я — во всем стараясь ей подражать; на лекциях вместе, в буфете вместе, на баскетбольной площадке вместе. Прыгучую и ловкую, ее с ходу взяли играть за факультет, я приходила болеть, меня взяли заодно, и совершенно напрасно, хотя я год тренировалась в спортивном обществе «Крылья советов» на Ленинградском проспекте, близко к будущей вечной работе в «Комсомолке», но до этого далеко. Рост не баскетбольный, выносливость сомнительная, фигура неспортивная, интересы, далекие от спорта. Тянуло к Неле. Неля тянула. Чем привлекала ее я, так и осталось неизвестным. Она — недоступной мне полной свободой. Смуглая, как цыганка, вольная, как цыганка, с блуждающей улыбкой и знанием чего-то такого, чего не знала я, она выростала в другой среде, была во всем самостоятельна, никого и ничего не боялась. Я думаю, что целый год подкоркой впитывала исходившую от нее свободу. Может быть, я сосала ее, как пиявка, а насосавшись, отвалилась? Или ей надоело, что ее сосут? Причина, по которой мы расстались, неясна. Просто пришло и прошло лето, и с осенним похолоданием неожиданно охладели наши отношения. Я страдала, не подавая виду, она была равнодушна и больше в мою сторону не смотрела.

Но пока мы неразлучны и, сражаясь с баскетбольными командами математиков и географов, находим каждая себе по объекту. Мой объект называется Боря, ее — Женя. Боря не знает, что он объект, и, так и не узнав, быстро сходит на нет. Женя не только знает — он инициатор. Фамилия Жени — Долгинов. Он долгий, то есть длинный, под стать фамилии. Фамилия Нели — под стать его: Логинова. Рифмы, ритмы и сочленения по-прежнему будоражат мое воображение. Они женятся. Или простейшее объяснение: он вытеснил меня из ее сердца?

Второй раз Неля выйдет замуж за знаменитого архитектора Сережу Бархина и

родит от него дочку Алину, знаменитый детский снимок которой сделает знаменитый Юра Рост, а Алина выйдет замуж за сына знаменитой Галины Старовойтовой, которую подло убьют, и Неля напечатает в толстом журнале записки об их общем внуке, который останется в каком-то смысле сиротой, потому что отныне у него всего одна бабушка вместо двух. А Сергей Бархин, помимо того, что осуществится как знаменитый театральным и книжным художник, выпустит три книги, в которых напишет свою родословную и воздаст должное предкам, учителям и друзьям, а также местам, в каких оставил свое сердце.

Ночь Венеции. Блики на вполне нешироком Гранд Канале, горельефная церковь Санта Мария дель Скальци. По мосту того же названия устремляемся в самые узкие улицы, скорее, проулочки мира, где в этот ранний час нет ни одного человека и почти нет света, а есть запах каналов...

Он любит улицы, как люблю их я. Мы — уличные.

Я тоже писала о Венеции.

Венеция, детский, человеческий праздник для взора моего и духа моего, средневековая бонбоньерка с секретами, театральная коробка, наполненная доверху волшебными декорациями, карнавал из бус, нанизанных на живую нитку, с хрустальным стеклом дворцов и бутылочным стеклом каналов; нераспечатанная колода карт, которую каждый распечатывает по своему усмотрению: бубновые короли кружевных соборов; крестовые тузы площадей; козырные пики набережных; червонные валеты гондол... Сепия, охра и кобальт, уголь и белила для специальных узких улочек, где двоим не разойтись, меж тем пестрая толпа расходится, обтекает вас, не затронув, не задев, не обидев...

Я читаю свою Венецию ему по телефону как брату, в преклонении перед ним как ответственным потомком предков своих.

32.

Дневник:

Влюбленные трагичны потому, что время для них кончается сегодня; а ведь будет и завтра, и послезавтра; но они этого не знают.

Ты слишком умная, осудит он, и будет прав. Умная — не от ума, а от умничанья. Лучше б не умничала, а любила, как все люди.

Не любит — влюблена. Кажется.

Ей то и дело кажется, что она влюблена, и она никогда не влюблена по-настоящему.

По-настоящему она все время занята одним: поиском смысла жизни.

Но не расписывать же эту материю всерьез спустя полвека, тем более, когда это сто лет как неактуально.

Дневник:

Мама говорит, что я изломана, начиталась книг и воображаю себя какой-то принцессой. Мама права, все из одного корня: я — «глубокая натура». Воображала.

Его зовут Сережа Дрофенко. Он болезненно желт лицом, проблемы с печенью, которую травит алкоголем. Он склоняет над пигалицей красивую голову, глядя горяче-горячими глазами, в них дерзко-кроткая печаль, убойное, как мы помним, соединение. Он нравится пигалице. Очень.

Почему-то между ними третьей лишней, как вода, стоит неловкость.

Дневник:

5 ноября 1954. Мы ездили в колхоз «Красный пахарь» выпускать стенгазету к празднику. Сережка Дрофенко — ответственный. Мальчики и Рита ходили в другую деревню за материалом. Я — взяла в этой, у одной свинарки. За работу сели в половине двенадцатого. В двенадцать погас свет, пришлось работать при керосиновой лампе. У Юрки Апенченко получился чудный очерк. Мне помогали кто как мог. Всю

ночь шутки, смех, острые словечки. К шести утихомирились. Утром Сережа показал мне стихи, а я... раскритиковала их в пух и прах. Они начинались так: «Всю ночь кричали петухи».

Он любит Пастернака и Блока.

В раздолбанном автобусе, которым студентов отправляли в незабвенный колхоз «Красный пахарь», пигалица плюхнулась на свободное место в спокойной уверенности, что Сережка плюхнется рядом. Напрасная уверенность. Место ему заняла другая, им покоренная. Она громко крикнула: Сережка, иди сюда! И Сережка поплелся туда. А пигалица не крикнула. Не смела она такого крикнуть. И всю дорогу пропадала от бурно протекавшей в организме химической реакции, названной Стендалем кристаллизацией любви. В Сережке, верно, бурлило похожее. Едва доехали до места, он первым выскочил из автобуса и ждал ее, чтобы подать руку, а, подав, задержал в своей, пронзив мгновенным проникающим взором. Пигалица мгновенно успокоилась: все в порядке. До любви было рано, до влюбленности — в самый раз. И дальше все не вместе, не наедине, все поврозь, на глазах у всех, и оттого кристаллизация еще шибче. Но вот уж когда наступила ночь в клубе вповалку, а точнее, наступил рассвет, до рассвета парочка держалась, а тут глаза окончательно слиплись, и стало решительно понятно, что нет иного выхода, как опуститься на пол среди соннища сонных тел, чтобы оказаться вдвоем там, где все вповалку, одетым, потому что холодно, и обняться, чтобы согреться, потому что холодно, и Сережка обнял ее, и она прижалась к нему, и они уснули счастливыми, и им было жарко, но она никуда не дела свой бывший холодный, а теперь горячий нос из его подмышки, а он не отнял затекших рук, с которыми не сразу справился наутро, и она приняла эту ночь в себя, чтобы вспоминать, когда плохо, чтобы сделалось хорошо.

11 ноября 1954. Все придумала. Придумала богему, которая будто бы засасывает меня, и его, который должен меня спасти. А он обыкновенный мальчик, не виноватый в моих бреднях. Он спросил, почему я такая скучная, а я не знала, что ответить.

20 ноября 1954. Снег. Сергей прочитал мне стихи: ноябрь, первый снег, любовь. Я спросила: чем ты живешь? Он тихо ответил: стихами и тобой. Кто он для меня? То огромная нежность, то равнодушие. Это не любовь, а желание любви.

29 ноября 1954. В меня вселился бес, захотелось помучить его, как я это делала с другими. Но он не такой, как другие. Я заслужила горькие и злые упреки. Вспомнила, как гуляли в сквере у Большого театра, он остановился закурить, я смотрела, как снег падал на его меховые отвороты рукавов, на руки. Вспомнила вечер Симонова, где случайно его увидела. Он проходил близко, сердце забилось, губы пересохли. А когда обрадованно сказал: здравствуй, — ответила что-то бесцветным тоном, именно потому, что переволновалась. Долго бродили по улицам, я знала, что мой, но хотелось услышать, а он не говорил, и вдруг я резко сказала, что замерзла и мне пора домой. Зачем? Девочка наоборот.

Он позвонил. Мы встретились. И... я опять не люблю его.
Из стихов, мне посвященных:

На любовь не ставят, как на карту,
Но ничуть не брезгуя гряздой,
Как ваятель, надевают фартук,
И, как он, творят ее резцом.

14 мая 1955. «Я, дичась, люблю тебя без памяти...»
Сережины стихи.

Было Первое мая, большая компания, он слегка пьян, я — непонятно что. Потом он плакал — узнала об этом случайно.

Может быть, меня никто не будет любить, как он.

4 июня 1955. Только что проводила Сережку на практику в Балашов. Я рада, что

пришла. Он близкий, милый, родной. Тронулся поезд, застучали колеса. Последний раз мелькнуло его мальчишеское лицо. Сердце щемит. На столе букетик незабудок.

12 июня 1955. Он пишет мне письма. Я пишу ему. Мы объясняем, объясняем-ся и не можем объясниться. Ему говорят: ей нравится, когда она тебе нравится. А я защищаюсь и не понимаю сама себя. И пишу ему, что не знаю... что такое любовь.

12 сентября 1955. Мое письмо ему: «Мне по-прежнему грустно. В голове бродят какие-то обрывки мировых идей. Кажется, вот-вот я поймаю одну из них за хвост и мне откроется смысл бытия. Но миг — и хвост вместе с идеей исчезает, ускользает, растворяется в неясности и неопределенности. И так досадна, и так противна эта неясность. Поэтому я хорошо понимаю тебя, когда ты пишешь: не знаю. Вот и я ничего не знаю. До зубовного скрежета хочется перемен, но я по рукам и ногам связана путами «высшего образования». Я говорю себе: два года, только два года, потерпи. Это один голос. Другой: ничего не изменится, ты просто боишься жизни и ничего не стоишь со своим умом...

33.

О разрыве — в его стихах.

Вот и все. И слов совсем немного.
И не к месту спрашивать: зачем?
Только грызнуть до крови ноготь,
Чтобы если сплунуть, было чем.

Пройдет пятнадцать лет. Я буду лежать в больнице с язвой. Придет похожий на утенка, с симпатичным утиным носом, детскими глазами домиком и растянутым в растерянную улыбку детским ртом, Андрей Вознесенский. Скажет: умер Сережа Дрофенко. Случилось это в ресторане в Доме литераторов, Сережа вдруг стал задыхаться, лицо посинело, рядом были Гриша Горин и Аркадий Арканов, врачи, они положили его лежать плашмя, решив, что сердце, вызвали скорую, та приехала, когда было уже поздно. Оказалось, не сердечный приступ, а подавился куском мяса, надо было не плашмя класть, а трясти за ноги вниз головой, чтобы кусок выскочил.

Он был давно известный поэт, давно женат — на той, что заняла ему место в автобусе, — я давно замужем, с десятилетней дочерью, а чувство вины как схватило, так никогда и не отпустило.

Андрей Вознесенский запишет мне в блокнот:

Сережа — опоздали лекари!
Сережа — не закуришь «Винстона»,
смущающийся до корректности,
служитель муз без раболепия...
Сережа — роковое свинство!
Еще во вторник, кукарекая,
я из окна тебя высвистывал
в живые заросли ветвистые
из заседания редколлегии!
А что слова! Одна софистика.
Такая чистота раздавлена,
бессильны заклинанья чайников,
и нет ни бога и ни дьявола,
и есть Вселенская Случайность.
Чего уж — все одно не выживешь,
Летучей Вечности товарищ,
из этой мглы тебя не вызовешь,
лишь ты ночами вызываешь.

Дневник:

Вечер в Пен-клубе. Сказала Вознесенскому, что пишу про то, как он приходит ко мне в больницу и сообщает об ужасном конце Сережи Дрофенко. Слушал без выражения, даже с каким-то безразличием, которое теперь часто на его лице, потом нахло-

нился и сказал тихо: я тебе тогда все хотел подарить «Былое и думы», я был влюблен в эту книгу. Он помнил, я забыла. Я тоже всегда была влюблена в нее.

В театр Петра Фоменко Вознесенского приведут в белом костюме и красном шарфе. С экрана и со сцены с юбилеем его поздравят Эрнст Неизвестный, Владимир Спиваков, Родион Щедрин, Пьер Карден, Алла Пугачева, Алла Демидова, Катя Максимова, Алексей Козлов, Олег Табаков, Марк Захаров, Алексей Рыбников... Лучше всех последние стихи Андрея прочитает Табаков — каким-то особенным, низким, мудрым и трагичным голосом. Лучше всех скажет Рыбников — искренне и по-человечески. Андрея поднимут из кресла в первом ряду, повернут лицом к залу, в руку вложат микрофон, он начнет говорить, в микрофоне один шип, пальцы беспорядочно сжимаются и разжимаются, лицо, как на знаменитом снимке Ленина, словами писать не хочу, какое. Андрей — не Ленин, он сохраняет ясный ум, он потерял только голос и координацию движений. Мужество его беспредельно. И даже это его мужское желание выглядеть красиво вызывает уважение.

Его назовут на вечере великим поэтом.

34.

В университет пигалица заявила, не зная толком, чего ей надо. В четвертом или пятом классе, зачитав до дыр книгу Михайлова «Над картой Родины», написала учебник по географии и долго воображала, что хочет стать географом. Учебник представлял собой бессовестную компиляцию, но с чего, как не с компиляции и бессовестности, мы начинаемся. Лишь бы ими не заканчивалось. Без умственных метаний нельзя. Без них особь тупая. Если ничего, помимо них, — особь никчемная. Увлекала физика. Через годы на ее место встала метафизика. Замирала над неопределенностями Гейзенберга, не говоря об относительности Эйнштейна, в том и в другом бывшая пигалица мало что соображала, — волновала философия физики, а там необязательно соображать, обязательно чувствовать и волноваться.

Поочередно хотела стать:

медсестрой,
кондуктором в трамвае,
вагоновожатым трамвая,
шахтером в шахте,
водителем тяжелогруза,
шахматисткой,
разведчицей
и пр.

В шахтерском городе Солнечногорске, прибыв туда на практику в районную газету и встретив горного Сашку, умирала — мечтала полезть в шахту. В пыльном Новосибирске, на практике в областной газете, где ждал геолог Женька, немедленно принявшийся таскать за собой в тайгу на съедение безжалостному гнусу, возжелала пойти в геологи. Кого встречала интересного в интересном месте, тем и хотела стать. В воображении можно стать кем угодно. Все воплощения светили, если стать писателем. Решила стать им, едва научившись читать. Потом забыла. Вспомнила спустя годы.

Придя в университет с золотой медалью, что давало право поступить без экзаменов, выбирала между двумя очередями — на филфак и на журфак. На филфак длиннее. Встала на журфак. Всегда шла по пути наименьшего сопротивления, считая и считывая знаки, сознательно и бессознательно, как показатели естественного и искусственного. Не строила здание, а поливала куст.

До размышлений на эту тему — тьма времени.

35.

Свет времени освещает ту очередь, что короче.

Нестерпимо хорошенькая натуральная блондинка с двумя аквамаринами чистой воды, вправленными в простой овал лица. Из Воронежа. Имя ничего не говорит.

Ия Саввина. Слава отыщет Ию раньше всех — она сыграет главную роль в пьесе Павла Когоута «Такая любовь» в Студенческом театре МГУ, и о ней заговорит вся Москва. Мы будем корпеть над конспектами, а Ия умчится на съемки «Дамы с собачкой», где в нее влюбится ослепительный Алексей Баталов, первый интеллигент советского кино.

Другая хорошенькая, оживленная, уверенная в себе москвичка Вера Максимова станет звездой театроведения.

Белозубый, кареглазый, статный молодец проносится стремительно, ни на кого не глядя, опережая всех, и звездная пыль осыпается с его подошв. Вася Лановой, успевший прославиться главной ролью в «Аттестате зрелости», пробудет с нами недолго и оставит университет ради «Щуки».

Крупная, статная Наташа Осмолова, с правильной косой и правильными чертами лица, зашла по делам, она уже учится тут, будущая жена уважаемого писателя Владимира Тендрякова и настоящая сестра уважаемого в будущем психолога Александра Асмолова — почему-то их родные фамилии пишутся с разных букв.

По плотности красавиц и красавцев факультет занимает первое место. Похожая картина — по плотности артистических талантов. На факультете и в театральной студии МГУ, моложе курсами и годами, — Марк Розовский и Люся Петрушевская.

Карьера артистки маячила в пигалицыных мыслях помимо и наряду с карьерой шахтера и кондуктора трамвая. От выступлений в военных госпиталях Алма-Аты и домашнего пения плавно перешло к школьной самодеятельности. На школьных вечерах под аккомпанемент пианино старательно выводила:

*Назаретыеенебудиназареонаслаждкотахспит,
Одинокостоитдомиккрошечкаоннасветглядитврикошечка,
Яквампишучегожеболечтоямогуещесказать.*

Сцена манила, тайное честолюбие дразнило, стеснительность одолевала, скованность вредила. В районном Доме пионеров в переулке Стопани не доверили роль Дамы приятной во всех отношениях — обошлись ролью Дамы просто приятной. Мечталось выйти на подмостки в образе, скажем, Джульетты или Ларисы Огудаловой, чтобы покориť публику проникновенным драматическим. Да кто бы вздумал ставить в Доме пионеров драматическое — исключительно комическое. Парик наезжал на лоб, заношенный костюм из костюмерной пах чужим потом и был велик, поясом в талии утянули так, что не продохнуть, ноги цепляли подол чересчур длинной юбки. В зале смеялись. Над персонажами или актерками? Удовлетворения не было.

Неудовлетворенная, в первом же семестре, бочком-бочком, по стенке, пошла и подала на конкурс в Студенческий театр МГУ, куда с блеском прошли Ия Саввина с нашего и Алла Демидова с экономического. Что читала — забыла. Не забыла пропавшего от внутренней паники голоса. Громче, просили тугоухие члены комиссии, громче. А она не могла громче, нечем было.

В артистки ее не приняли.

Преодоление — черта характера.

Случай — сопровождение судьбы.

Войдет в театр по случаю с другого входа.

36.

Благодаря платоническому роману с Сережей пигалица — пока длился роман — удостоилась быть принятой в самую интересную факультетскую компанию.

Ясноликий Юра Апенченко с девичьим румянцем на тщательно выбритых щеках, шел под номером один. Походка Юры требует отдельного описания. Он не ходил, он рисковал. Шаг — и нога пружинила, преображая падение в подъем, почти в полет, за чем вновь следовал риск падения и новый полет, ритм походки, когда он двигался навстречу вам, уже издали награждая вас ясной улыбкой, завораживал.

Совпадение наблюдений.

У меня — чистая физика. У Виктора Борисовича Шкловского — метафизика. С разницей в двадцать лет Виктор Борисович напишет — не про Юру:

Каждый новый шаг в литературе и искусстве — шаг вперед, и в то же время он кажется началом какого-то падения...

Человек, перемещая ощущение своего веса, как бы падает вперед. Другая быстрая нога исправляет падение.

Юра — поэт. Они все поэты в этой компании. Застенчивый, с птичьим обликом, Толя Горюшкин — фамилия ли определила характер, по характеру ли кому из предков досталась, — птица певчая, не ловчая, никогда не лез на первый план, оставаясь в тени Юры и Сережи, а вернее всего, оставаясь в себе, погруженный в себя, умея вдруг полоснуть острым серпом полускрытых зрачков, в которых взрослое понимание вещей, не выговариваемое всуе, только в неясных стихах. Женя Коршунов, любитель дам, почти всегда пользовавшийся взаимностью, несмотря на хромоту или благодаря ей, нес ее сходно с лордом Джорджем Байроном и дорожил сходством. Пигалице, зная Сережино отношение к ней, не постеснялся посвятить любовную поэму «Тигренок» — лежит где-то в бумагах, начертанная крупным, кудреватым почерком, — вызвав у адресата гремучую ответную реакцию: приятно-неприятно-досадно. Поэма не понравилась. Белокурая бестия Слава Холопов — страшно подступиться. Через годы боязнь прошла, в «Дружбе народов» началась дружба. Появляется Гарик Зайонц, он учится не у нас, геолог и поэт. Никто не злой, но Гарик светится сказочной добротой. Когда у пигалицы все валится из рук, он, тотчас вычислив ситуацию и ни на что не претендуя, включает обогрев своих ласковых угольных глаз. Однажды, на выходе компании из какого-то кафе, пигалица стремительно обернулась к нему и, тронув рукой, проговорила: *Гарик, я все вижу и за все благодарю*. И запылала. Она часто пылала. Витя Крутоус, суховатый, маленький, складный, писал стихи, как все, но гораздо выразительнее — статьи о стихах. Очень умен — его называли вторым Белинским. Почему им не стал, не знаю. Вторым Белинским стал сероглазый мальчик из Костромы, Игорь Дедков, а лучше сказать, первым и единственным Дедковым, сделавшим для литературы больше всех.

Наравне с Сережей.

Дневник:

В «НГ» журнальный анонс: Игорь Дедков. «Холодная рука циклопа». Дневниковые записи известного критика и литературоведа 83–84 гг., иной раз поражающие меткостью литературных и жизненных характеристик. Сформулированы взгляды на творчество Киреева, Кучкиной, Маканина, Петрушевской, Проханова...

В университете Игорь внимания на пигалицу не обращал. Впрочем, как и на других женщин. Удивительно цельный, он женится на своей Тамаре и проживет с ней до смерти в своей Костроме, выехав в Москву на короткий срок — поманит перестройка. Распознав манок на цвет и на вкус, вернется из столицы в провинцию — не как проигравший, но и не как победитель, просто потому, что вне — любого соревнования, любых игр, погруженный в честное и печальное размышление о фундаментальных законах литературы и жизни.

Свою Тамару найдет Апенченко. По нему женское население факультета томилось как ни по кому. Он мог выбирать из наших чаровниц любую. Но чаще других рядом с ним оказывался верный друг, товарищ по турпоходам, стойкая, некрасивая, заботливая Тамара Кутузова, имевшая, к тому же, московскую прописку, какой Юра не имел. Она поступит на работу в газету «Правда», где прогремит статьями о космонавтах, став своей в их отряде и добывая материал, недоступный другим. Ее Юра и выберет в жены, оставив и поразив этим остальных кандидаток.

Любовные стрелы летали по факультету как заводные.

Блистательные молодые люди учились на курс старше, разница огромная, в умных разговорах друзей пигалица участвовала редко, чаще сидя молча по причине сугубой умственной подростковости. Ее и приняли в этот круг не за ум, а за другое, в чем отдавала себе слабый отчет, желая, но не умея сделать так, чтобы женское, то есть девичье, не превалировало. Далеко впереди день рожденья, на котором любимый друг, живой Лен Карпинский, при значительном стечении народу, поднявшись с рюмкой, скажет незабываемое:

— Ты себе и Мастер, и Маргарита.

37.

Не секрет, что девушки прежде идей увлекаются носителями идей. Пигалица внимала, впитывала, образовывалась, поскольку был Сережка и другие. Ясен Николаевич Засурский, застывший на много лет в одном облике и в одном возрасте, мудрый, широко образованный, доступный, любил вспоминать, а пигалица любила слушать, как некая ледащая первокурсница, встав за университетскую кафедру, сказала: довольно жить по лжи. Шел 1954 год, и получалось, что сказала она это задолго до Солженицына — Александр Исаевич напишет знаменитую работу «Жить не по лжи» в сентябре 1973 года. Разумеется, девушка повторила то, что ходило-бродило в компании, в какую удостоилась чести быть принятой. Ходило-бродило во многих компаниях, повсюду люди страдали от навязываемого двоемыслия. Университетская конференция была посвящена выходу в свет романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Еще одна устроена в Центральном Доме литератора. В ЦДЛ не прорваться — туда двигалась привилегированная толпа с приглашениями, вокруг гарцевала конная милиция, людей без бумажек отсекали. Но и в МГУ царил ажиотаж.

Из автобиографической книги Юрия Карякина «Перемена убеждений»:

Общеуниверситетское обсуждение проходило в Ленинской аудитории старого МГУ. Почему-то я сидел в президиуме... «Не хлебом единым» сравнивали с «Что делать?» (ну и каша была у всех в головах).

«Не хлебом единым» с «Что делать» сравнивала — с кашей в голове — как раз пигалица, из-за трибуны не видать, Карякин и не видел, и не запомнил. Пигалица, взволнованная, Карякина не запомнила тоже. Дружба возникла годы спустя. В книге он приводит наш диалог, названный «После смерти». Ему придется пережить то же, что герою всей его жизни. Оба стояли на пороге небытия: Достоевский — на эшафоте, Карякин — пережив сердечный удар и клиническую смерть. Едва очнувшись, ринулся записывать на листочках мысли умирающего человека. Вышли закорюки — не смог разобрать. Пережив смерть, человек становится другим — лейтмотив диалога. Каким другим — вычерпывая себя до донышка, мне, как себе, истово выговаривал Карякин в больнице, куда позвал.

О Достоевском говорил:

— Он побывал там и вернулся оттуда, вернулся, открыв бесконечную ценность жизни, бесконечную ценность живого времени, бесконечную ценность каждой минуты, пока мы живы. И не этой ли встречей со смертью и объясняется еще, что все вопросы он ставил отныне в самой предельной остроте, как вопросы жизни и смерти... как вопросы неотложные? И не отсюда ли еще и его провидческий дар? Отныне и до смерти своей всякую личную судьбу он и будет рассматривать в перспективе судьбы общечеловеческой...

Ира привезет Юрину книгу. Юра потеряет речь, перенесет инсульт, а мы потеряем редкостного собеседника. Ни важного, ни смешного не повторить — того, что было в Москве и Переделкине, в Мадриде и Толедо. В Толедо он вызвал «скорую», когда я корячилась от незнакомой боли, а он со знанием дела объяснял, что идет камень, и в поезде Толедо—Мадрид, когда то ли камень, то ли боль прошли, веселью не было конца, поскольку едем и выпиваем в общем вагоне, и Карякин с каждой опустошенной рюмкой — шутейно: ведь я же депутат, если б они знали, что в общем вагоне у них едет депутат!..

На память осталась фотография с надписью: *Оленьке. Ночь, поезд, фонарь, колики (почечные) и безумное веселье... 18.VII.1990.*

Отворилось мое сиротство,
отворились земные жилы,
и родство пламенело, как сходство,
и все милые были живы.
Отворилось-отроковилось
неувечное вечное детство,
и душе, что скроили на вырост,
разрешили в него глядеться.

Допустили робкую нежность,
растопили хрупкую наледь,
зазвенела, разбившись, нежить,
разрешили вечную память.
Посреди промежуточных станций,
возле звезд, где озонные грозы,
забродила душа в пространстве,
пролились отворенные слезы.
И Кому и о Ком рыдала,
разбудить опасаясь мужа,
подоткнул потеплей одеяло
и к подушке прижал потуже.

Над этими стихами посвящение Юрию Карякину.

Случай сведет с Владимиром Дудинцевым и его семьей. Накормят простым обедом, станем разговаривать простые разговоры, а ничего простого не выйдет, какая простота при строго заточенном на философское постижение уме, и вибрации моего кровотока будут ловить вибрации любовного кровотока всех членов его семьи. Беззаветная любовь друг к другу, как в Евангелии, узнается безошибочно. Не по сюсюканью — его и в помине нет, — по твердости и глубине залегания пластов истины и следования истине. Самостояние — слово, каким определялось бытие Дудинцева.

А недавно перечла «Не хлебом единым» — и скучное недоумение. Где эти строчки, где эти мысли, конфликты, образы, что всколыхнули когда-то думающих людей?

Поразительно: как уходит и не довлеет засим злоба дня, так уходят и не довлеют эмоции, с нею связанные, и песок, как в пустыне Сахара, покрывает обозримую территорию минувшего.

Персоналии остаются.

38.

По самосознанию пигалица была аполитичным и даже конформистским существом. Свободомыслие произрастало, скорее, бессознательно. Выступила на конференции, на собраниях тянула руку высказаться за или против из чувства справедливости. А также чтобы произвести впечатление на окружающих. Конкретнее, на мальчиков. Сплошные амурсы и тщеславие, а вовсе не революционное горение. Не зря Феликс Кузнецов называл двух подружек, ее и Веру Максимову, комсомолками в белых перчатках, самоочевидно имея в виду грязь, которой лично он как секретарь комсомольской организации факультета, очевидно, не брезговал, а они как члены брезговали, и к нему приставала, а к ним нет.

39.

Пес Чарли, пока никого не было дома, схватил пасмы шерсти, лежавшей на буфете, и хорошенько над ними поработал, спутав нити, сколько возможно.

Катя Максимова описывала свой характер:

— Я из тех, кто распутывает нитки в клубке, а не рвет.

Я из тех же. Косматый ужас, в который пес превратил шерсть, давно ждал своего часа. Занявшись «Пигалицей», занялась и этим ужасом.

Метафизическое распутывание петель наложилось на физическое.

40.

Кто-то остановил у дверей Шестнадцатой аудитории: просили зайти в Восьмую комнату. Когда? Прямо сейчас. Иду.

В восьмой комнате за столом сидели и ждали пигалицу незнакомые мужчина и женщина. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Мы хотели с вами поговорить. Сказать бы в ответ *я вас слушаю*. Не сказала. Лестничный ум. Острое словцо приходит на лестнице. Мужчина и женщина бесцветны и безвкусны. Разговор вышел неловкий, нелепый, неприятный, отвратительный, тошнотворный. Вот уж кто плел петли и путал нити поискуснее будущего Чарли. Мир поплыл у пигалицы перед глазами, хотя и виду не подала, что поплыл. Хотелось думать, что не подала, а там кто его знает. Мужчина и женщина в параллель интересовались, расспрашивали, приласкивали, запугивали, обещали, манили, наводили, угрожали, то мягко, то сухо, то жестко, и пигалица, сперва не понимая, в чем дело, поняв, уходила, как могла, петляя словно заяц, которого гонят охотники. Мужчина и женщина были из органов. Выступление на конференции повлекло за собой не одни дружеские похлопыванья по плечу любимых товарищей. Повлекло вербовку. По всей стране, а среди студенчества и интеллигенции прежде всего, вербовались кадры стукачей. Высунулся — попал на заметку. Попал на заметку — цепляют на крючок. Зацепили — потянули в стукачи. Не сделаешься стукачом — ? Вопрос. Пигалица здорово сдрейфила, но держалась. Ужом извивалась, только чтоб уползти от них. Когда через час-полтора они обратились к сюжету с итальянскими моряками в Новороссийске, запахло паленым. Вот как они работали. Сколько же за ними бесполезного народу числится повсюду, если они так следили за бесполезными им людьми. В перспективе полезными — так они считали.

С пигалицей ничего у них не вышло.

Она отчаянно боялась, что скажут папе. Про что? Про итальянского капитана. Умишко работал, и она отняла у них папу. Она сделала это следующим образом. Выдала чистосердечное признание: много задают, время отнимают тренировки, нигде не бывает, ни с кем не встречается, сидит дома и читает книжки, в том смысле, что, честное комсомольское, толку от нее никакого товарищам не будет ввиду полной профнепригодности к службе осведомителя. Товарищи умело разбивали ее доводы своими, проявляя опять-таки осведомленность, почерпнутую от других осведомителей, так все у них было связано-сплетено-переплетено. И тогда она сказала, что должна поговорить с папой, поскольку очень уважает папу и обо всем с ним советуется, ни одного серьезного шага не предпринимает, не посоветовавшись. Кто-то из них, мужчина или женщина, строго воспротивился: нет, мы с самого начала предупредили, что разговор останется между нами, никто о нем не должен знать, мы доверили вам, вы не вправе обмануть наше доверие. Мой папа старый большевик, на голубом глазу воскликнула честная пигалица, если уж ему не доверять, то кому же! Немного покрутились на этой теме, и вдруг обессилевшая от почти двухчасового прессинга пигалица ощутила какую-то перемену в воздухе, какое-то иное колебание воздушного состава. Через минуту особыты свернули собеседование, не скрыв, с одной стороны, разочарования, а с другой — оставив за собой последнее угрожающее слово.

Из Восьмой комнаты вытек и протек в коридор раздавленный лимон. Кисло, влажно, в лохмотьях и в ошметках.

Было страшно от их угроз. И — досадно от их разочарования.

Пигалице долго хотелось нравиться всем без разбору. Ни для чего. Просто так. Без цели. Возможно, из-за комплекса неполноценности, какой возникает от завышенных требований к себе, которые возникают от завышенного представления о возможностях, есть они или нет, неважно. Даже и особыты годились для того, чтоб им понравиться. Инстинкт лез из пор и горчил.

Огорченная, но и выстоявшая, никому ничего никогда не сказала. Включая папу. И они не сказали. Потому что ни разу в дальнейшем не появились в поле зрения, отстав и оставив несостоявшийся кадр в покое навечно. Видно, на разговор с папой, то есть на то, чтобы дожать кадр, санкции не поступило. Так что, когда говорят про мою родину и мой народ, что одна половина у нас сидела, а другая сажала, это не совсем точно. Существовала прослойка. И в нее можно было попасть, если не попласть золотой рыбке на удочку зловещего удильщика.

Недавно рассказала о Восьмой комнате Засурскому. Ничуть не удивился. Про-

изнес рассудительно: они у нас были еще ничего, не из самых плохих, особенно женщина, мужчина похуже. *Так вы знали*, с тремя восклицательными знаками воскликнула постаревшая студентка. *Знал-знал*, так же рассудительно отозвался вечный декан.

Несколько человек с факультета гнили по политической статье даже и после того, как тиран сдох. А между тем, не будь прямого распоряжения тирана, не было бы и факультета, образованного его распоряжением. Вот так все парадоксальным образом соединено в этой стране и в этой истории.

Любопытно, плакал ли Засурский 5 марта 1953 года.

Сахаров — плакал.

Я тоже.

41.

Мы живем у Курского вокзала, где запах паровозной и автомобильной гари, шум и гам, и вечная грязь, и стою я у грязного мартовского стекла, по которому стекают грязные потоки стаявшего снега, а по моим щекам стекают чистые потоки слез. В газетах и по радио про какое-то там дыхание Чейн-Стокса, а потом — трах-тарарах и конец. Я десятиклассница. С неоформленным сознанием. Плачет, кажется, весь народ. С таким же сознанием. Прорваться в Колонный зал, где лежит тело, где доступ к телу, — одна мысль. Зачем прорываться, на кой мне это тело — мыслей нет, есть общая драма потери. Впоследствии скажут, что труп захватил с собой сто трупов — столько людей погибло на подступах к гробу. Обрушившееся сиротство вымывает соль из глаз. Что теперь с нами будет? Как мы без него? Куда повернет история? Папа-историк — не в помощь. «Краткий курс истории ВКП(б)», книга всем известного автора, без его имени на обложке — скромненький был — заменит историю на все века, хотелось сказать. Ну, до скончания века — уж точно. Мы еще не знали, чем обернется этот фразеологический оборот: до скончания века. Армия рядовых историков, как мой папка, была обречена, как попка, повторять тезисы Верховного Главнокомандующего Историка, творчески расцвечивая их акварелью и маслом.

В новом тысячелетии британский писатель Мартин Эмис скажет лаконично:

*К моменту его выхода в свет (имеется в виду выход «Краткого курса». — О.К.) почти все, кто помнил историю большевистской партии несколько иначе, чем вождь, были истреблены. Это было одной из главных задач Террора: превратить историю в своего рода *tabula rasa*, чистый лист.*

За полвека до этого мы с папой горюем по отдельности, испытывая единение.

Ослепляющее, доложу вам, чувство, вздымает и ведет, незнамо куда.

Ничего другого про усатого я не помню вплоть до XX съезда, когда Хрущев сделал закрытый доклад о культе личности вождя, который на деле был кровавым мясником. Мой папа очнулся и ужаснулся, как прочие.

Долгое время не могла взять в толк, как, все видя, они ничего не видели. Пока не дожила до того возраста, когда, хорошенько подумав, поняла — как. Как мы, выезжая из СССР за границу, где их качество жизни бросалось в глаза, в нос и в уши, подобно слепо-глухо-немым, не соотносили его с некачественностью нашей жизни. Как, живя в эпоху Путина и вздымая ему рейтинг до заоблачных высот, ничуть не проецировали это на каждодневную нашу беспомощность перед лицом чиновника, бандита, убийцы, рейдера и рэкетира, ограничителя наших прав и свобод, начиная со свободы мыслить и кончая свободой жить. Что-то происходит с человеческим зрением и слухом, коли образуется привычка. «Скотский хутор» Оруэлла — об этом. О привычке к рабству, к состоянию жертвы, к закланию.

Из стенограммы выступления старшего научного сотрудника Института истории АН СССР, доктора исторических наук, профессора Кучкина на общем институтском собрании четырнадцатого марта 1956 года:

— *Я беру стакан воды, потому что то, что хочу сказать, к сожалению, без волнения я сказать не могу...*

В десять минут, которые ему дали, он не уложился. Возгласами из зала пусть говорит время продлили. Он продолжал:

— Все мы недоумевали и были огорошены: чем объяснить такое жесточайшее истребление лучших кадров, лучших сынов нашей партии, родины? Все мы думали: знает ли об этом Сталин? Как враги проникли туда, в НКВД? Неужели неизвестно все это Сталину? И вот, товарищи, на XX съезде партии дан ответ. Я не знаю, товарищи, как на других, а я много ночей не спал, продумывал: как же все то мрачное случилось? Ведь это ужасно, когда весь советский народ, и не только советский народ, а и за границей, говорили: Сталин — знамя, Сталин — честь, Сталин — свет, — и вдруг, как гром среди бела дня... Ведь если прямо, честно, откровенно говорить... то надо назвать Сталина палачом лучших кадров советского народа...

Этими наивностями — видными отсюда, а не оттуда, — мой взрослый папа не ограничился.

— Теперь я хочу сказать то, о чем говорят партийцы на ухо друг другу, то, что многие думают, но не осмеливаются сказать, потому что страх крутой расправы, которая была при Сталине, еще силен среди нас. Что же говорят партийцы друг другу на ухо, что говорят беспартийные массы, что говорит народ? Все они говорят: где же были члены ЦК, соратники Ленина, соратники Сталина, но все они, в порядке самокритики, не сказали ни слова, что и мы виноваты... Получилось такое впечатление, как будто бы люди пришли со стороны: «Ничего не знаем, мы новые люди, вот только что познакомились с докладом и убедились в том, кем был Сталин...»

Папа закончил прямым: сегодня Хрущев вместо Сталина.

Директор Института истории Павел Волобуев вспоминал:

— Речь эта прогремела, что называется, на всю Москву.

Второе выступление относится к 1965 году, когда оттепель пошла на убыль, прежние принялись рьяно обелять любимого вождя. Усердствовал заводделом науки и учебных заведений ЦК КПСС Трапезников, выученик серого кардинала Суслова. Историки получали указания вновь переписать историю в сталинском духе. Особенно гнобили молодых, переполнившихся либеральным духом.

Волобуев:

— В этих обстоятельствах единственным человеком, вступившим в идеологический бой с малообразованным, но мстительным начальником, был Кучкин. Мне известно несколько документов, с которыми он выступил: письмо М.Суслову, письмо В.Гришину, а также приложенная к ним статья «О недопустимых методах в научной критике».

Читала письма, читала статью. Месть цековских чиновников состояла в том, что, представленный к званию Героя Социалистического Труда, он звания не получил. Не получил и не получил. Но как же не видел?!

В 30-х годах он работал в ИМЭЛе, Институте Маркса—Энгельса—Ленина, они там издавали самые марксистские книжки, и у них была чистка. Бывает чистка лука, чистка картошки, чистка кастрюли. В СССР была чистка партийных рядов. В тот раз чистили наиболее заметных, стоявших во главе, Сорина и Адоратского. Папа выступил в их защиту. Не помогло. Из партии вычистили, с работы выгнали, а папа, собрав чемоданчик, каждую ночь ждал ареста.

Но, даже ужаснувшись усатому в 60-е, продолжал с подозрением относиться к Окуджаве и не любил, когда я напевала его песенки.

В каждом поколении застревает что-то, что связано с корневой системой. Листья обновляются, корни — нет. Так и идет: Иван Грозный, Екатерина Великая, переписка с Вольтером, крепостное право, Пушкин, декабристы, расстрел на Сенатской площади, отмена крепостного права, Пугачев, Разин, Цусима, Серебряный век, голодомор, раскулачивание, Великая Отечественная, лагеря, геноцид собственного народа, Сталин на ветровом стекле шоферской кабины.

Все — в генезисе.

42.

Сталин был личным знакомым семьи, в какую я выйду замуж. Мой прекрасный свекор, Василий Васильевич Бургман, из рижских немцев, друг детства Надежды Сергеевны Аллилуевой, их отцы вместе работали на железной дороге, и это он

порекомендовал Наде в экономки свою дальнюю родственницу Каролину Васильевну Тиль. Каролина Васильевна первой увидела лежавшую на полу в луже крови Надежду Сергеевну, рядом валялся маленький пистолет вальтер, из которого жена Сталина застрелилась. Василий Васильевич показывал мне короткую записку, адресованную ему, с всемирно известной подписью: И.Сталин. Когда с неба свалится идея пьесы «Иосиф и Надежда, или Кремлевский театр», бывшего моего свекра уже не будет с нами, и записка куда-то пропадет, и не у кого выспросить подробности, которые ушли вместе с ним.

Идея свалится с варшавского неба. Я окажусь в Польше на премьере пьесы «Мистраль», и у меня образуется несколько свободных дней. Я проживаю свободное время в свободной Варшаве с разразившейся похмельной горбачевской гласностью, хожу по городу, глазею на людей, здания, витрины, парки, дышу еще непривычным вольным воздухом — что-то куда-то ведет, что-то зреет, чему нет ни определения, ни объяснения. И вдруг! Чудным образом вдруг сходится в одну точку то, о чем корка и не помышляла, но, выходит, помышляла подкорка: школьные слезы, записка Сталина, мраморная головка на Новодевичьем кладбище. Нечто, к чему я имею личное касательство, кружит голову. Ему — тридцать девять, ей — восемнадцать. Мужчина и женщина с разницей в двадцать лет. Это же мои персонажи. Любовная драма. Психологическое роскошество. Пьеса на двоих. Все, что знаю и что смутно представляю, что читала и слышала, причудливо смешивается, как в самодельном взрывном устройстве — заради внутреннего взрыва. Без источников, без малейших проработок, поспешно набрасываю диалоги, которые звучат сами по себе, как будто они уже были готовы, произнесены где-то, откуда надо было только извлечь их и записать.

Нет доверия литератору, который, принимаясь за документальное повествование, пишет о герое: *он подумал, ему пришла в голову мысль*. Откуда нам знать, что подумал реальный человек? Известно, как он поступил, но не что подумал. Чистая фальшь. А как быть, если берешь на себя смелость встрять в отношения двоих, которые, по определению, не могли быть и не были публичны?

А я и не собираюсь следовать документу.

То, что сочиняю, есть вымысел, и я защищаю его формой сновидения.

Явь, переходящая в сновидения, и сновидения, переходящие в явь, — жанр.

Эпиграф, естественно, из Шекспира:

Умереть, уснуть.
— Уснуть?
И видеть сны, быть может?
Вот в чем трудность;
Какие сны приснятся
в смертном сне...

В Москву возвращаюсь с готовой первой частью пьесы. Мне хватает воображения, но не хватает знания. Дальше — темно. Чтобы сдвинуться с места, хожу по родственникам и знакомым, знакомым знакомых и родственникам родственников, по всем, кто может дать хоть какую-то зацепку, собирая по крупице одни детали и на ходу сочиняя другие.

Пьесу поставят в Англии, Франции, Канаде, Японии, Финляндии...

Бенедикт Найтингейл в английской «Таймс», Эндрю Сент-Джонс в «Файнэншл таймс», Валерио Фантинел в итальянском журнале «Сипарио» («Зеркало»), Карелин Жюргенсон во французской «Фигаро» — одни названия изданий и имена известных критиков, отозвавшихся на спектакли, звучат музыкой.

В Москве на премьеру в открытый мною частный театр «Кольцо Мебиуса» явятся гости из межрегиональной депутатской группы: Марк Захаров, Юрий Карякин, Евгений Евтушенко. Марк — полугость-полухозяин, поскольку уступил «Кольцу Мебиуса» Малую сцену Ленкома. На скромном фуршете — короткие речи. Евгений Евтушенко, подняв бокал, скажет: *это не про Сталина, это про меня*.

Дороже слов не слыхала.

43.

Когда мы были молодые — они все гремели. Женя, Андрей, Роберт, Белла. Их звали по именам даже те, кого они в глаза не видели. Попасть на выступление кого-то из них в Политехнический или Лужники было удачей, которой хвастались. Мне похвастаться нечем. Так сложилось. Начиная с серебряного колокольчика Беллы, продолжая лебединой песней трагически теряющего голос Андрея, завершая оркестровой мощью Жени, услышу живьем всех после перестройки. Кроме Роберта, которого уже нет.

Женя позовет на семидесятипятилетие.

Политехнический переполнен. Овация, все встают, едва он показывается на сцене. Оголившийся череп обиден, хотя лепка черепа превосходна. Серо-голубые глаза, в которых одновременно вопрос и восклицание, острый нос, узкий белозубый рот все те же. Загорелая кожа не старая. И молода страсть к яркой одежде: кофта в цветных разводах с блестками. Спросила как-то, почему одевается, как попугай — храбро употребила слово, какое сам про себя сказал в автоэпитафии. Ответил:

— Мне хватило в детстве видеть вокруг черные ватники заключенных, солдатское хаки... Я люблю праздник красок и поэтому покупаю галстуки нашего русского дизайнера Кириллова, написанные как будто радугой, а не просто масляной краской, а материал для рубашек иногда выбираю сам и заказываю их по собственному дизайну. Да, я лоскутный человек — и мое образование было лоскутным. Я и повар точно такой же, как поэт. Если я засучиваю рукава и становлюсь к плите, обожаю только многосоставные блюда. Например, грузинский аджап-санда, там полная свобода от рецептов. Хотя основа — баклажаны, помидоры, репчатый лук, а уж травы и приправы идут по вкусу, когда можно добавить и кинзу, и петрушку, и хмели-сунели, и фасоль, и гранатовые зернышки, и чернослив — да вообще все, что в голову взбредет, лишь бы одно с другим каким-то магическим образом соединилось. Так, честно говоря, я и стихи пишу. И даже антологии чужих стихов составляю. Да что такое сама природа? Это кажущийся эклектизм, ставший гармонией.

Читал звонко, сильно, нежно, искусно ведя мелодию, возвышая ее и вдруг обрушивая, усиливая звук и убирая его, зная, что расслышат и шепот.

Стихи Жени шестилетнего:

Почему такая стужа?
Почему дышу с трудом?
Потому что тетя Лужа
стала толстым дядей Льдом.

Мало читал. Мне не хватило. Вперед себя представлял друзей. С пением, с чужими стихами, показывал картины художников, подаренные на круглую дату. Построил на даче дом-галерею, для того чтобы выставить накопленное собрание живописи и графики плюс свои фотографии. Человек-оркестр: поэт, прозаик, фотограф, артист, кинорежиссер, даже петь на сцене пытался, хотя, говорит, с детства медведь на ухо наступил. Собирает свои тома поэтической антологии, всякий раз заново влюбляясь в открытого им поэта. Чужое читает, как свое, внедряясь в чужое, как в свое.

Гора цветов в антракте. Устал. Конечностей, даже столь длинных, не хватило, чтобы обнять все: розы, тюльпаны, астры, георгины, герберы, гладиолусы, лакфиоли, флоксы, ромашки, падали на дощатый пол сцены, он подбирал. Пробылась сквозь, протянула красный подарочный пакет — сумел высвободить руку, взять. Мгновенный вопрос: а где роман? Ответ: в пакете. Он спрашивал о романе две недели назад по телефону. И сейчас, когда любому другому было бы не до этого, помнил.

Близко знающий его человек сказал о нем: то гений, то дьявол.

Я не близко, мне его дьявольского не видеть.

44.

...Что хочу сказать, вряд ли к месту, но места искать стоит ли, если — к чувству. Оно бьется-колотится и тянется быть высказанным. Пусть будет сказано здесь. Без

моего далекого, закрытого, сурового, малопонятного, любящего и любимого папы мне холодно и одиноко. Мне нужен отец. Мне нужно разговаривать с кем-то, пусть не вслух, пусть про себя, более чем взрослой, в окружении множества людей, замкнутой и ребячливой, мне нужно чувствовать тут, в нижних слоях атмосферы, чье-то *верхнее* участие и поддержку.

К 5-07-22. Кучкин А.П. Свердлов. пл., 2-й Дом Советов, к. 57.

Москва. Городская телефонная сеть. Список абонентов. 1930 год.

Эту старую книгу разглядит Валеша на Измайловском блошином рынке сияющим сентябрьским днем. Скажет: *давай посмотрим, может, там есть твой отец*. Ни секунды не сомневаясь, что нет, стала листать. Нашла. Значит, он жил в комнате в гостинице «Метрополь», там был 2-й Дом Советов, он еще не был женат на маме.

Валеша вытащит мобильный, чтобы записать данные. Продавец улыбнется: *хотите дозвониться?*

Все смешалось: этот адрес, этот телефон, мой молодой отец, который как бы есть, телефон, по которому как бы можно дозвониться...

И я шепчу:

Отче наш, иже еси на небесех, да светится Имя Твое, да будет воля Твоя, да придет царствие Твое яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь

Папа этого не узнает.

При папе пигалица — атеистка, спортсменка, комсомолка.

Вишни для Аджубея

45.

В университете новость: приезд группы американских студентов.

Пигалицу, со знанием английского, привлекают для сопровождения экзотических по тем временам американцев в санкционированных прогулках по Москве. Пигалица опасается, что ее бедного английского не достанет для беглого международного общения, но старается изо всех сил, и ответственный секретарь газеты «Московский университет» Семен Гуревич, такой же вечный, что и Ясен Засурский, поручает ей подготовить репортаж-отчет о состоявшихся дружественных контактах. Погрузившись в творчество, пигалица выдает результат, который называется «Наши двери и сердца открыты» и волнующе пахнет свежей типографской краской. Разражается скандал. Собирается партбюро факультета, чтобы проработать автора. Не в профессиональном плане. Озабоченность старших товарищей вызвала политическая близорукость девушки. Разоружившейся перед лицом идеологического противника, студентке второго курса почудилось, что в Москву приехали симпатизанты, а не чужаки, и она потеряла бдительность. По велению сердца либо партбюро, утерянную вещь подхватила студентка первого курса, назову ее Г. На страницах «Московского университета» публикуется ее ответ пигалице под названием «Наши двери и сердца открыты, но не для всех». Должно быть, Семену Гуревичу тоже попало, — бросив на пигалицу виновато-бодрый взор и потрепав по плечу, он ни слова ей не сказал.

Не раз еще пигалицу одернут старшие товарищи. Публично, приватно, печатно, заочно, зашутельски, по-всякому. Окрик младшего товарища станет первым.

Впрочем, у тех, кто со слуха или по нотам ведет партию правящей партии, возраста нет.

46.

Ближайшие иностранцы случатся через пару лет. Железный занавес, скрежеща сочленениями, слегка задранный ветрами эпохи, как юбка на бабе, пропустит на

территорию Москвы Международный фестиваль молодежи и студентов, зализанный, заорганизованный, с четко продуманной слежкой всех за всеми и все равно манкий. Пигалица вышагивает фестивальными тропами в качестве стажера «Комсомолки». И не просто «Комсомолки», а ее иностранного отдела. Фестиваль потребовал лишних рук. Пигалицу возьмут в газету на последнюю студенческую практику за месяц до того, как уравновешенному Дмитрию Петровичу Горюнову уступить кресло главного редактора темпераментному Алексею Ивановичу Аджубею. В качестве зама Горюнова Аджубей принимает девицу в своем кабинете на историческом шестом этаже дома номер двадцать четыре по улице Правды. Опять от страха ничего не запомнила. Запомнил Аджубей. Как предложила ему вишен из дачного сада, что можно было сделать лишь вне здравого ума и здоровой памяти. Хотя как вариант просматривается хитро-бесхитростное желание пигалицы заступить границу формальных отношений. Аджубей, краснолицый, большеголовый, яростный, со светлыми, порой белыми от гнева глазами, ходит разлаписто, как медведь, шепелявит и, чуть что, поднимает голос на подчиненных, как от века поднимают голос в России местные самодуры. На планерке объявляет, что вчера домработница Катя слушала по телевизору оперу, пела искусная солистка, и в крик: где портрет солистки, почему в газете о ней ни звука, кто работает в отделе культуры, за что им платят деньги!!! Если не хмур и не недоволен — обаятелен. Соткан из противоречий. Да ведь выстроенные по правилам, спрямленные фигуры — из плохой советской литературы, не из реальности.

В одно историческое мгновение Аджубей, опираясь на *золотые перья «Комсомолки»*, сделает из старой газеты новую: с новым языком и новым мышлением, освобожденную от бюрократических штампов и партийного формализма. Конечно, ему разрешат это сделать. Как зятю. Но если б не либеральное честолюбие и не талант, журналистский, редакторский, реформаторский, ничего бы не вышло, будь ты хоть трижды зять. Так же преобразит он «Известия», перейдя туда главным редактором. О его первом дне в «Известиях» разнесется байка, похожая на легенду, но так было. Ему принесут готовый макет и материалы номера. Взглянет — смахнет бумаги со стола, попросит достать из ящиков все непроходимое, и из самых острых материалов составит первый аджубеевский номер. «Известия» проснутся знаменитыми.

Его с нескрываемым злорадством снимут с поста главного те, кому он не раз вставал поперек горла и с кем пренебрежительно не считался, пока был в силе. С отрешением от власти могущественного тестя он обессилен. Он станет первым журналистом, заработавшим запрет на профессию. Его отправят на пересидку в бездарный журнал «Советский Союз», якобы аналог журнала «Америка», пропагандистскую дешевку, которой руководил поэт Николай Грибачев. Злобная ирония гонителей заключается в том, что человек, чью одиозность высмеивал в «Известиях» Аджубей, отныне его прямой начальник. Аджубею разрешат писать сценарии для студии научно-популярных фильмов — но под псевдонимом. Его имя исчезнет из журналистики на долгие годы.

Я прихожу в их дом, рядом с конным Василием Долгоруким, во времена опалы. Мебель красного дерева, камин, портрет Никиты, доброжелательная Рада накрывает на стол. Раньше такой визит мог лишь присниться. С какой стати. Теперь статья появилась. Аджубей остается тем же Аджубеем, с большим красным лицом и презрительно выпяченной нижней губой. Суждения по-прежнему безапелляционны, тон самоуверен. Новое — внезапные зоны молчания и зоны печали. И неожиданная ласковость. Рада ее, разумеется, знала. Дальних сотрудников это не касалось. Умница Рада мне нравилась и прежде. Они поженились в университете, на факультете, куда я попаду позже. Злые языки говорили, что яркий Аджубей оставил яркую Ирину Скобцеву ради неяркой Рады из карьеристских побуждений. Злые языки сочинили присказку: не имей сто друзей, а женись, как Аджубей. Не знаю. То, что видела своими глазами в финале, называлось одним словом: любовь.

В перестройку он воспрял духом. Затеял газету «Третье сословие», рассчитывая на средний класс, который поднимет Россию. Многие на это рассчитывали. Рок отпустил ему два года. Это был последний национальный проект, в котором он не успел разочароваться.

Перед его гробом в вестибюле «Известий» прошла вся благодарная журналистская Москва.

47.

Взятую Аджубеем на практику стажерку отправляют вместе с группой зубров на мероприятия Международного фестиваля. Поспешая за Борисом Панкиным, Виталием Ганюшкиным, Виктором Дюниным, Валерием Осиповым, *золотыми перьями* «КП», она трепещет, ощущая себя ни в чем не уверенной школьницей. Солнце заливает просторные улицы столицы, разноязыкая речь слышна отовсюду, но более всего в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, по открытым площадкам и укромным уголкам которого движется честная компания в нескрываемых поисках пива выпить и чешскими шпекачками закусить, а заодно выполнить задание редакции. К каким-то иностранным гражданам по дороге пристаем, что-то выспрашиваем, стажерку учат заносить цитаты и факты в блокнот, магнитофонов нет и в помине, ручка и блокнот — журналистское снаряжение. По возвращении в редакцию стажерка попадает под опеку Валерия Осипова. Гора мяса и жира, и при этом море очарования, он мог быть непередаваемо нежен, и он непередаваемо груб. К тому же пьющ. И после ЦПКиО имени Горького принял не одну дозу. Он небрежно учит, какой продукт и с какой скоростью стажерка должна выдать, на этом учеба кончается, пара расходится по кабинетам. Кабинет — громко сказано. Стажерка помещается в отделе, где еще четверо или пятеро, и все говорят, или между собой или по телефону. Там, в производственных муках, рождает она свой продукт, зачеркивает, переписывает и снова зачеркивает. Добившись, на ее взгляд, желаемого, мчится разыскивать тучного шефа. Находит у машинисток, он что-то там диктует. Стажерка, со стесненным дыханием, протягивает ему рукопись об одну страничку. Не прерывая диктовки и не глядя, он комкает страничку и ловким движением, точно баскетболист мяч, отправляет бумажный шарик в мусорную корзину. В полуобморочном состоянии стажерка задает нелепый вопрос *почему. Потому что я все написал*, небрежно бросает выдающийся очеркист, осуществив таким образом порученное ему шефство над новенькой. С выученным профессиональным уроком, пигалица безутешно рыдает в первом попавшемся темном углу.

Валерий Осипов — не только известный очеркист. Он известный писатель. По его повести снимают фильм «Неотправленное письмо», главную роль в нем сыграет звезда советского кино Татьяна Самойлова. Спустя много лет мы станем подругами, она даст мне интервью, в котором фигурируют ее мужа, и главный из них — толстый, пьющий, грубый, самовлюбленный и самоотверженный Валерий Осипов, обиду на которого я сразу же забыла, подружившись с ним. Ко времени нашей дружбы с Таней безнадежный алкоголик, с разрушенной печенью, больной раком, он покинет эту юдоль страданий.

48.

Первую *авторскую* десятистрочную заметку пигалицы с фестиваля напечатает зав. иностранным отделом, двадцатисемилетний Саша Кривопапов. Рыжий, с коротко стриженными кудрями и маленькими умными рыжими глазками, в которых застыл смех, чуть заикающийся, он ступает по коридорам редакции с откинутым назад прямым торсом и оттого кажется надменным, как наследный принц. Общий язык, тем не менее, находится быстро. Между ним и новенькой сама малейшая возрастная разница — шесть лет. В ту пору пигалица моложе всех в редакции. Видимо, поэтому Аджубей охотно берет ее с собой на какие-нибудь выездные мероприятия типа дружеского обеда в Доме журналиста. Разумеется, вместе с коллегами и важными персонами со стороны. Не будучи карьеристкой, ни на одного из важняков глаз не положила, внимая только Саше, стараясь сесть рядом с Сашей, если Саша был зван, но и Саша как будто случайно оказывался рядом. Его конек — ирония. То, что чувствительной, боявшейся попасть впросак новенькой требовалось. Возле Саши она научилась подмечать смешное, слегка острить, не громко, не вслух, не на публику, а тихо,

в расчете на двоих, умея повеселиться с серьезным видом. Возвращались с обеда в редакцию вместе, или он провожал ее домой, или гуляли по Москве, и мало-помалу приятельство это сделалось для стажерки иностранного отдела главным содержанием редакционной жизни. Никаких объяснений не происходило, чистая дружба.

Перед его командировкой в Таиланд они поссорились.

Она побывает в этой стране через сорок лет. Устрицы, океан, плавящееся золото солнца над океаном, смуглые тайцы. И — память о том, что когда-то он был здесь.

Что-то он надулся, что-то она надулась, ему уезжать, ей оставаться, и вдруг чего-то страсть как недостает, а телефон молчит. Непостижимым образом Мата Хари припоминает, где условно может находиться дача рыжего, на которой она никогда не была, и едет в том направлении на чьем-то авто, мороча владельцу авто голову, что нужно передать некие бумаги завотделом, ему завтра лететь, а бумаги забыл. Ни улицы, ни номера дома, поздний вечер, между редкими фонарями темно — хоть глаз выколи, и смело задуманное безнадежное предприятие грозит вылиться в окончательную бессмыслицу. Оставив авто с водителем на обочине, одиноко бродя среди черной ночной зелени, она неожиданно встречает однокурсника Володю Бонч-Бруевича, потомка знаменитого сподвижника Владимира Ильича, и Бонч указывает ей веранду дома рыжего. Стажерка поднимается по деревянным ступеням, стучит в дверь — на пороге возникает искомый субъект. Стажерку потрясает, насколько слабо он удивлен. Или выучка МГИМО, фактически филиала разведки, или непонятно что. Стажерка бормочет, что решила попрощаться перед отъездом, они перебрасываются парой ничего не значащих фраз, и она уезжает. В пути ей удается убедить себя, что он таки скрыл за спокойствием собственное потрясение, и она возвращается в Москву счастливой. Она сделала это. Больше ничего не нужно. Они все еще дружат, речь все еще о товариществе.

Он звонит из Таиланда и сообщает день приезда: 24 мая. 24 мая в Домжуре вечеринка в честь дня рождения «Комсомолки». За стажеркой предлагает заехать на своем *москвичонке* первый донжуан редакции, седовласый, синеглазый, неизменно элегантный Ленья Почивалов, еще одно *золотое перо* газеты. Стажерка легко соглашается. Доехать на машине — ни к чему не обязывает. Но, возможно, это она так думает. А Ленья, возможно, думает иначе. Целый вечер он *ласет* стажерку и не собирается отступать при внезапном появлении Саши Кривопалова, а, напротив, еще нагляднее продолжает демонстрировать, что девушка с ним. Девушку это забавляет. Сияя, она ловит взгляд рыжего друга, уверенная, что с вечеринки они уйдут вместе. Взгляд не ловится. Саша *ласется* отдельно, поодаль, сам по себе, и исчезает из Домжура раньше, нежели стажерка замечает его исчезновение.

49.

Роман рыжего Саши Кривопалова с хорошим человеком Валею Малашиной, сотрудницей секретариата, на которой он женится после ее скандального развода с членом редколлегии Валентином Чикиным, застанет стажерку в отделе литературы и искусства.

Туда часто заглядывают знаменитости. Среди знаменитостей кряжистый, плотный, тоже рыжий Борис Слуцкий. Он подарит пигалице тоненькую *огоньковскую* книжку, и ее сознание перевернут «Кельнская яма», «Итальянец», «Лошади в океане». Нежнейшее и отчаяннейшее послевкусие вслед за простыми, грубо сколоченными словами, которые что-то сотворят с пигалицей, отчего в ней начнется скрытая и важная работа.

Они станут перезваниваться до самой той поры, когда поэт, потеряв любимую жену Таню, унесенную раком, впадет в тяжелую депрессию, из которой не выйдет.

А тогда Таня рядом, поэт источает дружелюбие и энергию и однажды сообщает пигалице, какое впечатление произвели на него при первом знакомстве ее редкие в Москве счастливые глаза. Теперь, продолжает честно, они печальные. Хотя в утешение добавляет: но учтите, литературу не делают люди со счастливыми глазами.

Ей не до литературы.

50.

Не Саша провожал ее с вечера в Домжуре. Домой победоносно отвез Леня — ей едва удалось сохранить беззаботный тон и беспечную повадку. Без сна и во сне протяженно горевала. Утром телефонный звонок. Схватила трубку. В трубке Сашин голос: *нам надо встретиться*. Горевание как рукой сняло, ликование до небес. Сумасшедшие перепады — прерогатива сумасшедшей молодости. На свидание бежала, догадавшись наконец, что не дружит с Сашей, а влюблена в него, и с бьющимся сердцем ожидая его объяснения в любви. Ах, эти неуверенные в себе самоуверенные девочки, слушающие интуицию, которая ничегошеньки не слышит, ибо глохнет от переизбытка эмоций.

Он сказал ужасное.

Он сказал, что между ними все кончено и они должны расстаться. Как в кино.

Еще не поняв, еще думая, что все поправимо, что вот сейчас, сию минуту, сию секунду она все поправит, пигалица спросила, глупо улыбаясь: *это из-за вчерашнего вечера, ах, Саша, ну какой же ты смешной, ну это же ничего не значит, что я была с кем-то, я же не знала, что ты там появишься...* Ей еще казалось, что все в ее власти. А в ее власти уже ничего не было. С приклеившейся улыбкой она повторяла: *ну что, что случилось, ведь ничего же не случилось!*.. Он молчал. Потом так же молча сжал ее лицо обеими руками, больно поцеловал в губы, повернулся и ушел быстрым шагом.

Чтобы никогда не вернуться.

Единственный поцелуй. И дурацкий вопрос, который пигалица будет задавать себе много лет: *ну что, что случилось*, — но так и не найдет ответа. Кто-то что-то ему сказал, на вечере или раньше, либо он решил, что она чересчур легкомысленна, либо у него параллельно развивался другой роман — все осталось тайной за семью печатями. Наверное, кое-что могла бы узнать. И, наверное, это даже не составило бы труда. В редакциях слухи реют, как птицы на морском берегу: прикормить любую ничего не стоит. Она реяла выше птиц. Ничего никогда не выспрашивала, избегала спрашивать. Корила себя, подсчитывая свои недостатки, ошибки и промахи. Боже, как страдала, сидя дома, когда родители не видели, были на даче, и уезжала страдать на дачу, когда родители возвращались в город, и только одна нянька, свидетельница стихийного бедствия, гладила по голове, просила поесть и вздыхала, не зная, чем утешить. Конечно, она доносила маме, и, конечно, мама обсуждала проблему с папой — у обоих хватило выдержки никогда не заговорить с дочерью о ее бездарной любви.

51.

Полгода миновало, и настала зима.

Шел пушистый белый снег. Как в кино.

До Нового года оставалось всего ничего.

Пустое Рублево-Успенское шоссе прямо и криво ложилось под колеса голубой машины *лобеда*. За рулем находилась пигалица, недавно выучившаяся водить. Руль предоставил мужчина, Игорь Бургман его звали. Знакомство состоялось благодаря Юре Вислоусову, который продолжал со школы безнадежно ухаживать за пигалицей, время от времени скромно хвалясь ею друзьям. Судьбе по-прежнему было угодно выписывать рифмованные кренделя. Молодой дипломат Юра Вислоусов упустит пигалицу, передав ее из рук в руки приятелю и сопернику Игорю Бургману, чьей женой она станет. Через пару десятков лет другой приятель Игоря, военный летчик Вадим Юдин, лениво волочившийся за экс-пигалицей, как замужней, так и разведенной, добьется в конце концов согласия на свидание в Домжуре, куда притащится за чем-то не один, а с приятелем Валерием Николаевым. И все повторится: друг обернется соперником, экс-пигалица выйдет замуж за Валерия Николаева.

Недавно мы с Валешей забыли отпраздновать нашу серебряную свадьбу.

А в те поры пигалица гонит от себя тоску, гоняя по заснеженным дорогам родины, а тоска безотвязна, и безотвязна мысль, что на носу Новый год, а она несчастна. Она имеет права, но не имеет машины и потому водит чужие. На крутом

повороте голубую победу Игоря Бургмана неспешно волочет в кювет, автомобилистка за рулем на мгновение теряет сознание, а обретя его через мгновение, обнаруживает себя в перевернутом виде.

Машина лежит в кювете в положении на крыше. Двери заклинило, кроме одной, через которую спортивный Игорь Бургман ловко выбирается сам и вытаскивает пигалицу. Только что вокруг царило полное безлюдье, тут же парочку окружает вышедший из молчаливого леса народ. Охраняющие правительственную трассу гэбисты выскакивают изо всех кустов. Это действует на пигалицу едва ли не сильнее аварии. А еще сильнее действует поведение Игоря. Не обращая ни на что и ни на кого внимания, он принимается любовно выбирать из ее волос осколки лобового стекла.

На поступившее предложение вместе встретить Новый год пигалица, естественно, считая себя виноватой и обязанной, отвечает согласием.

Встречали дома у Игоря. Нарядная елка, много гостей и гостей, много смеха, бьют куранты, пробки от шампанского летят в потолок, тосты, закуски, музыка из бабинного магнитофона, танцы. Танцует с пигалицей, хозяин дома делает еще одно предложение: стать его женой. По-прежнему считающая себя виноватой и обязанной, пигалица без раздумий говорит *да*. Кто он такой, представляет себе смутно. Расспрашивать считает неловким. Возможно, ее больше занимает тайна игры как таковой, нежели раскрытые карты или даже выигрыш. А может быть, она ощущает себя даже не игроком, а картой.

Они проживут целый год вместе, прежде чем она узнает, что веселый, добрый, остроумный и склонный к активной выпивке муж — из разряда *золотой молодежи*. Круг друзей: Ваня Микоян, Костя Тимошенко, Слава Коваль, Вадим Юдин, отпрыски советских вое— и просто начальников, их девушки и жены. Отец, интеллигентный, скромный Василий Васильевич, вместе с Микояном строил советский павильон на Всемирной выставке 1937 года в Америке: свободный английский, две диссертации, замминистра по строительству, профессор Архитектурного института. Маленьким Игорь жил в Америке, младшая сестра Оля, та и вовсе родилась в Нью-Йорке. Игорь — инженер-строитель. Василий Васильевич уговаривает сына написать и защитить хотя бы кандидатскую, разговор накачивает морским прибором, Василий Васильевич берет невестку в союзники, Игорь раздумывает, обещает и ничего не делает. Он не любит работать, он любит отдыхать. Одна из его подружек доложит молодой жене, что многие девушки мечтали женить его на себе, а он, пользуясь всеми привилегиями свободного человека, отдавать свою свободу никому не собирался.

Пока не собрался.

Пигалице все это без разницы.

Услышав *да*, он сказал: *но ведь вы меня не любите*.

Она, с разбитым сердцем, отвечала: *но, может, я полюблю*.

Ей было все равно.

Они поженились в наступившем новом году.

Она думала, что полюбила.

Она ошиблась.

Она любит сейчас, когда его нет в живых. Как любит всех, кто любил ее и перед кем она в неоплатном долгу. Он подарил ей дочь Наташу по прозвищу Дуняша. А Дуняша подарила внучку Дашу по прозвищу Данюша. Самых любимых людей на свете.

Дневник:

Шли с пятилетней Дунечкой по Арбату. Рассказывала ей про Гоголя, не того, который стоит на Гоголевском бульваре, а того, что сидит близ Мерзляковского. Сказала:

— Возле него прошло мое детство.

Прошло несколько минут, забыла сказанное, а Дуня вдруг говорит:

— Пройдут годы, и я буду так же рассказывать своей дочери о Гоголе, возле которого прошло мое детство.

Несчастливая влюбленность оставляет навечный штамп. Не в паспорте. В судьбе.

Отныне даже в самом большом счастье будет присутствовать горький привкус несчастья.

52.

На родительской даче во всю стену распростерта карта Советского Союза.

Недалек день, когда ее покроют маленькие кружки, оставленные шариком. Число их перевалит за сотню. Столицы республик, областные и районные центры, городки, поселки и деревни, где побывает новенький, с иголки, корреспондент «Комсомолки», — все обведены стратегическими кружками, обозначающими места дислокаций и передислокаций пигалицы. Самолетом, вертолетом, поездом, паровозом, непосредственно возле топки, паромом, катером, легковушкой, самосвалом, пешком и на лошадях она обойдет и объедет весь Советский Союз, с севера на юг и с востока на запад. Терпеть не могла уезжать из дома и обожала ездить. Какая-нибудь сковорода картохи, жаренной на сале с луком, и граненый запотевший стаканчик мутной самогонки в бедной избе срединной России; хор старух, разодевшихся в свои девичьи наряды на Беломорье, в селе Варзуга, с целью визуального и акустического воспроизведения времен своей молодости; ловля форели в белокипенном тумане порожистой речки ранним карельским утром; дегустация коньяков на знаменитом Ереванском коньячном заводе, после чего на *гвоздиках* по скользкому полу, после чего носом об пол, после чего несколько пар рук, бросившихся к телу, после чего подъем тела и продолжение шествия как ни в чем не бывало, или казалось, что как ни в чем не бывало; застолье с грузинскими кинематографистами в зелено-голубых горах, где шашлыками занималась стайка сплошь взлетевших к вершинам, а опекал их могучий орел Резо Чхеидзе; *Коля, покачай крыльями* — возбужденная просьба пигалицы в маломестной *уточке* посреди сибирских снегов, и летчик Коля качает крыльями для несерьезного корреспондента; и медленный, величавый чай с бараньим жиром из глиняных пиал посреди раздумчивых старых таджиков в халатах и смушковых папахах в тени чинары на берегу арыка, а на солнце жара под сорок, — все было счастье.

Что счастье — пигалица не знала.

Что-то угадывала, люди, места, приключения дразнили, тысячеваттное напряжение приводило к ватным ногам, падала с ватных ног от смертельной усталости, усталость сменялась свежим приливом сил, ожидание чего-то позарез необходимого, настоящего, главного вспыхивало жаркими искрами во лбу, мерцающий восторг острыми, лопающимися пузырьками холодил горло.

Увы, выходявшие из-под пера заметки, плоские, как камни Гурзуфа, куда совершили свадебное путешествие, и близко ничего не отражали и не выражали. Одно с другим не соединялось. Переживание и газетный текст существовали отдельно, и никто не подскажет, как их сопрячь. Какой-то звереныш в пигалице задыхался от немоты, немота досаждала, тревожила и томила. Молчание переполняло. Две сущности занимали: сущность любви и сущность смерти. Сказать о том не умела.

Спустя долгий ряд лет, когда Ярослав Голованов был еще жив, прочла в его опубликованных дневниках, что в редакции появилась молодая сотрудница весьма средних способностей. Я. И ни строчки позднейшего комментария.

Когда ты о себе говоришь, что дерьмо, — одно. Когда о тебе говорит твой коллега, да еще обнаружит это многотысячным тиражом, — совсем другое.

Понадобилось время, чтобы пережить.

У Пришвина — поучительное:

Не торопитесь, ждите, прислушивайтесь, все, чему надо вызреть, вызреет само.

У Бунина — утешительное:

Быстро развиваются только низшие организмы.

Отрезвляющее: а куда девать *высшие* — Пушкина с Лермонтовым?

И самые обычные люди имеют обычай беседовать на досуге с гениями.

53.

Меж тем пигалицу собрались выгнать из газеты.

Подлиннее.

Подлиннее.

До этой неприятности есть еще некоторое время.

Заместителем самостийного Алексея Ивановича Аджубея стал интеллигентный Юрий Петрович Воронов. Манеры деликатные, румянец смущения то и дело заливает высокие скулы, антрацитовые глаза опущены длинными ресницами, тонкий стан, тонкие черты лица — напоминал собой даже не черкеса, а черкешенку, настолько хорош. Холост, между прочим. Ходила сплетня про любовницу в отделе писем — пигалицу сплетни по-прежнему облетали, не касаясь. Дитя блокады, с благородством ленинградца-петербуржца, что было нелепо в жестком газетном мире, насыщенном интригами, указаниями, запретами и необходимостью им подчиняться или, по крайней мере, учитывать. Когда он напечатает свои стихи, чистая душа его откроется в трагической контроверзе с должностями, какие занимал: от редактора «Комсомолки» до редактора «Литературки», а в перерыве — служба в ЦК КПСС.

Хрущев назвал журналистов *подручными партии*. Термин с гордостью подхватили. А меня удивляло, почему никому в голову не придет оскорбиться: ведь подручные были у господина одной профессии — палача.

Ни на кого не похожий Юра Воронов влюбился. И все знали, что влюбился. И в кого — знали. Он уезжал в командировку в ГДР, квази-заграницу, и привозил оттуда в подарок черные замшевые туфельки-балетки, девушка в них щеголяла, вызывая зависть у модниц, в отечестве не было ничего интереснее уродливых изделий обувной фабрики «Скороход». До сих пор за стеклом изнемогает в изысканной позе фарфоровая фигурка, привезенная Юрой из той же Германской Демократической Республики, у балеринки слегка искрошился от времени край пачки. Туда, в ГДР, глухую дыру для газетчика, где ни политики, ни жизни, Юру отправят в наказание за то, что напечатает в «Комсомолке» сенсационный материал Аркадия Сахнина о начальнике китобойной флотилии «Слава» Солянике, прославленном Герое Социалистического Труда, а Сахнин раскопал, что — казнокрад, жулик и убийца, кормивший матросов тухлым мясом с червями наподобие того, что было на броненосце «Потемкине», а когда кто-то взбунтовался, как на «Потемкине», его отправили за борт. Герой Соцтруда таскал взятки членам Политбюро в виде мехов и духов их половинам, и никто не смел его пальцем тронуть. Юра посмел. Наверняка шли консультации в *верхах*, наверняка нашлись союзники, и поначалу наши *взяли верх*. Исподволь, грамотно, аккуратно противник обыграл наших. Юра расплатился по полной. О свободе слова ходила шутка: каждый редактор у нас вправе напечатать все что хочет, но только один раз. Свой раз Юра использовал. Сразу его не уберут — уберут через полгода, обставив понижение как повышение: переведут в газету «Правда», а уж оттуда ушлют собкором в эту самую ГДР, откуда несколькими годами раньше привозил пигалице фарфоровые и замшевые подарки.

54.

Пигалицына мама, из вежливости или любопытства, предлагает принять ухажера дома. Пигалица, вяло посопротивлявшись, махнула рукой. Состряпан нерядовой ужин. В назначенный срок является цвет начальства: Юра, первый замредактора, второй зам грациозный Борис Иванов, отец будущего критика и литературоведа Натальи Ивановой, редактор иностранного отдела плотный Карл Непомнящий со столь же плотной супругой, коллегой из другого издания. Отчетливо смахивает на смотрины.

Пигалица мается. Сама виновата. Не отвечала чудесному Юре взаимностью. Все понимала, ценила, а вот не отвечала, и что тут поделать. Некрасивый Кривопалов не отвязывался, мешая привязаться к красивому Воронову. Стоя на коленях, целовал руки, а она плакала. И он плакал. И оба все понимали. Сидя за праздничным столом, пигалица прозревала мысли гостей, словно те были прозрачные. Но и гости, глядя на него и на нее, все прозревали. Внезапно в глазах Непомнящего и его супруги одновременно молнией блеснула мысль о династическом браке. Пигалица увидела ее, как если б та была материальна. В смысле, ах, какой жених пропадает, а у них невеста-дочь, супругу — приемная, супруге — родная. Пигалица встречала ее в

дальнейшем неоднократно, похожую на мать, с ястребиным носом, волевым подбородком и вишневыми глазами, ее сопровождали два вороновских сына-красавца: план удался на все сто.

Пигалица никогда ни о чем не пожалела — судьба есть судьба, насиловать ее нет резона.

55.

Юрий Петрович Воронов выйдет в главные, а пигалица — замуж, когда ее попросят зайти к новому зам главного, Борису Дмитриевичу Панкину. Вырос человек. Родом из Сердобска Пензенской области, Борис Дмитриевич в мягкой форме проинформирует, что ничего в профессии у нее не получается, на столичном асфальте самородки-журналисты, видать, не растут, редколлегия решила дать шанс — отправить куда ни шло на год собкором и попробовать узнать жизнь, какой не знает.

О том, что существовал крутой вариант: выгнать сразу, — Панкин из милосердия промолчал, а она не узнала.

В полупомешательстве пошла на крайний шаг: посетила главного, которого до сих пор не посещала ввиду неловкости ситуации. Юрий Петрович, стандартно покраснев, пробормотал что-то невнятное, что и утешением назвать нельзя.

Стало быть, тоже считал ее бездарью.

Пигалица почувствовала себя сбитой с ног.

Не бывает напрасным прекрасное, скажет поэт Юнна Мориц, написавшая *Когда мы были молодые*. И то, и то как на скале выбьет.

Все прекрасное, чему учили пигалицу в университете прекрасные Андрей Донатович Синявский (Серебряный век), Елизавета Петровна Кучборская (западная литература), Александр Васильевич Западков (русская классика), Анатолий Георгиевич Бочаров (критика), окажется напрасным.

На ту минуту уж точно.

56.

Однако Англия. Лондон. Конец восьмидесятых. Бывшая пигалица вместе с мужем Валешей в посольской очереди за английским чаем, ирландским виски, шотландским джином и какими-то сопутствующими товарами, которые в стенах советского посольства дешевле, нежели за стенами.

Супруги прилетели на лондонскую премьеру пьесы «Иосиф и Надежда, или Кремлевский театр», состоявшуюся вскоре после премьеры московской. Поставил молодой режиссер в подвальной театрике «Off-off-off Brodway». Действие происходит в забрызганном красной краской, то есть кровью, кафельном подвале — метафора палача. Артист внешне не похож на Сталина, артистка — на Аллилуеву. Автор это одобряет, ибо в пьесу и закладывалась тайна всеобщности отношений мужчины и женщины, при которых один убивает или доводит до смерти другого. Артист средней руки. Артистка изумляет. Русоголовая, круглолицая, скорее, русская, нежели англичанка, несмотря на то, что англичанка чистых кровей, органичная в каждом слове, каждом жесте. Автор глаз от нее не отрывал. На банкетике целовались-обнимались, как родные. Маленький триумф разделил собственный корреспондент «КП» в Лондоне Александр Куприянов. Он и привел в посольскую лавку. Денег-то копейки. В смысле, центы.

В лавке народу немного, в их числе мужчина с ребенком на руках, семейственный, хозяйственный, озабоченный. Обернулся — Саша Кривопапов. В этот миг к нему и Валя Малашина подгребла, бабушка ребенка, которому он дедушка. Заматеревшая, загрубевшая милая Малашка, а носила такую лайковую кожу на щеках. Александр Кривопапов — собственный корреспондент «Известий» в Лондоне. Формально обрадовались, поверхностно поболтали о том о сем. Где прежний рыжий Саша, ироничный принц, — невозможно было вообразить его хозяйствующим субъектом. Ни тени смеха в рыжих глазах. Да ведь и пигалица седая. Если б не плечо молодца-мужа и не свежее чувство глубокого удовлетворения от малого триумфа, какое только и бывает совсем свежим, чтобы тут же испортиться, кто знает, каким эхом отозвалась бы внезапная встреча.

А так все спокойно, все не состоялось.
Но, Боже, как грустно.

57.

На литературный ужин по случаю присуждения премии «Большая книга» привезла самоотверженная Галя Шевелева, не отходившая ни на шаг, как от ребенка. Самоотверженный Игорь Шевелев, внимательно наблюдая, чуть что, подсакивал с шариками валидола. «Академик», то есть член жюри, то есть я, каждую секунду могла завалиться вбок или разбиться, как стеклянная.

Что предшествовало?

Сидела за письменным столом, когда стремительный и жадный жизненный бег был жестоко прерван шоком. Жадность фраера сгубила — буквально. Два авторских вечера, лекции, оконченный роман, цикл из девяти рассказов, десяток сценариев для документального кино, книга в издательстве, диалоги в «Комсомолке», ежемесячный дневник в «Новой», радио, ТВ, работа в двух литературных жюри, назначенные себе обязательные визиты к старым теткам, подругам, для поддержания их духа, и, стало быть, необходимость поддержания своего духа, а еще продукты, готовка, уборка, а ни отпуска, ни отдыха, где отдохнуть, когда дача сгорела, ни финансов, ни настроения съездить за границу, то есть переменить среду обитания хоть ненадолго, — не такой гром и молния, как у Димы Быкова с его сумасшедшей одаренностью и гениальным результатом, но по энергетическим затратам ничуть не дешевле, а он чуть не вдвое моложе.

Жизнь всегда была любезна в предельных состояниях. В непредельных — нет.

Оказалось, чревато тем, что получаешь по голове.

Фоном — да кабы фоном! — ежедневное оскорбление вкуса, достоинства, здравого смысла, целеполагания, стыд нестерпимый за позорные шаги власти, насилкой овладевшей нами, за ее надменность, жадность, жестокость, мстительность, наглый цинизм и лицемерие.

Знала: пережигая пробки, где-то рванет. Рвануло. Внутри тряска, как на дорожных ухабах, слабость, как у дистрофика, когда комар грудь топчет, две *скорых*, одна за одной, *высокая степень риска*, запишут в карточке на Пироговке, везя по длинным клиническим переходам на инвалидной коляске. И страх. Развита племянница Таня засмеется: *кто бы мог подумать, что храбрость — это всего лишь отсутствие воображения*.

Через пару месяцев воображение удастся оседлать, стеклянная прозрачность исчезнет, взбаламученные мозги примутся обустроиваться на старом месте, стремительная скачка сменится замедленной, как в кино — с совокупными окрестными видами, запахами и звуками, — иноходью. Куда поспешаем — спросят строго и насмешливо. Куда поспешаем и за что про что отвечаем — спросят и, как челюстями лязгнут, сомкнув нынешний возраст с тем, когда небо было синим, а трава высокой и не было никакой ответственности, а одна вопросительность — в чем и есть тайна легкости детства по контрасту с тяжестью старости. Я не отвечаю ни за что, я лишь спрашиваю и прошу.

Дарованное заново дает и этот опыт, малоприятный в пике, но никакому даренному опыту в зубы не смотрят, люди.

58.

Сама собой произрастающая композиция выдает, насколько все же уязвлена была, прочтя про *средние способности*.

Снился сон. Приезжает пигалица в какое-то место, вроде как на целину: героика в стране была связана с подъемом *целинных и залежных земель*. А там группа знакомых лиц. Училась она с ними в университете, что ли. Здоровается, а они отворачиваются. И с осуждением глядят на ее пальто, будто желая сказать: мы тут, в этих условиях, а ты... При том что они тоже в пальто и куртках. Пигалица рвется сказать что-то про себя, как жила, чем занималась, — не слушают. А она хочет сказать, что хоть и не была вместе с ними, а работала сама по себе, в другом месте, но работа тоже была нужная и трудная. Но голос у нее садится, и ничего никому она доказать не может — не слышат. Надрывая горло, еще что-то сипит — глядят с недоверием, хотя

уже не враждебно, а вроде со вниманием. А сказано так мало, а голос уходит. И пусть до перелома далеко, пигалица знает, что он произойдет. И хорошо, что не стала перед ними заискивать, несмотря на то, что они были коллектив и, по всей видимости, правы, а она виновата.

И тут сон кончился. Прямо такой вот идеологический.

59.

Уже гукает, пукает, пускает пузыри и улыбается маленькое сокровище по прозвищу Дуняша, а бег дней переломился.

Надо оставлять недавно образовавшуюся семью и ехать узнавать жизнь.

Иначе кранты.

Дневник:

Это самое дорогое, что у меня есть, — Наташа, по прозвищу Дунечка. Она очень миниатюрна. Каждый раз, когда я прихожу домой, я вижу ее совсем маленькой, меньше, чем была в моих мыслях. У нее есть два громадных глаза, перцветающие из серых в коричневые, крохотный нос пуговкой и один кружевной зуб. Она очень любит играть на пианино, петь и обожает магнитофон. Она умеет самостоятельно ходить, говорить мама, папа, баба, бах, дай, читать газету, вытирать платком нос, продевать карандаш в дырочку магнитофонного диска и строить глазки. Совершенно особое отношение у нее к незнакомым или малознакомым мужчинам. Прежде всего она долго, серьезно и внимательно смотрит на них, как бы изучая, и в глазах в это время умная и тонкая грусть и даже строгая укоризна. Все попытки полюбезничать с ней обрывает обиженным хныканьем. Зато едва перестают обращать внимание, в ход идет весь наличный состав женских ухищрений. Моя дочь.

Сцепив зубы и собрав вещи, экс-пигалица уезжает от полугодовалого ребенка собственным корреспондентом туда, куда намеревался отправить своего ребенка, постарше, Фамусов: к тетке, в глушь, в Саратов. Такой литературный выбор осуществил за пигалицу Борис Дмитриевич Панкин.

*В глуши, в изгнание свежеиспеченный собкор проведет вместо года четыре месяца. Какая-то там по счету незначительная публикация перевесит бывшее — в Москве примут решение простить и вернуть. Кому-то, кажется, и не в редакции вовсе, понравился отчет с XVII областной комсомольской конференции. Собкор насытил его тем, что на газетном жаргоне называется *оживляем*: разными портретиками, разговорчиками, пейзажиками, словом, лабудой. Но такая лабуда принята, и собкор горд, что не только *узнал жизнь*, но и овладел кое-какими навыками ее отражения в газете.*

Саратов весь прошел в соплях. Образ оставленной Дуняши не оставлял. Сморкалась, умывалась и шла или ехала в обком, горком, на строительство моста, где московский инженер Дима Чудновский с азартом вводил в курс дела, в общежитие к рабочим девушкам, в знаменитый Саратовский университет, где учился тот, кто сказал: *умри, но не давай*.

С невеликим багажом, спасшим репутацию, встречали в Москве в предновогодье муж с малышкой. Малышка подросла, муж смотрел любящими глазами — Господи, как хорошо быть молодой, и чтобы радость не нарушалась никакой рефлексией. Просилось победоносное: что вернулась на коне. Если забыть энное число раз, когда бедолага-коняга взбрыкивал и сбрасывал бедолагу-седока в грязь, в самую распутицу, какая у нас на Руси сопровождает все четыре сезона. Каждый раз приходилось уговаривать себя: то, что не убивает, то делает тебя сильнее, все путем. Тем путем, при котором азарт поражения преломляется в азарт победы. Но — никому и ничего.

Приятель однажды уронит: *ты слишком комильфо, в этом твоя беда*.

Пигалица-комильфо — все равно что царевна-лягушка. Кто-то видит лягушку, кто-то — комильфо, а там скрываются царевна и пигалица.

(Окончание следует)

Владимир Моценко

Март-беззаконник

* * *

Александр Эбаноидзе

Кутаисский храм Баграта во время нападения турок
в 1691 г. лишился кровли и купола...

...И лица вдруг коснулись ладони —
И не надо мне спрашивать: чьи.
Это песня твоя, «Кереони»,
Это к храму Баграта ключи.

Кто сказал мне, что нету возврата?
Есть, конечно: ты руки воздень
К небесам — и увидишь Баграта
На холме величавую тень.

И услышишь внезапно: «Гляди-ка!
Мы не слепы теперь, не глухи!»
Это вновь на рассвете Марика
Имеретии дарит стихи.

Годы нас до сих пор не согнули
В этой кипени звездных высот.

Значит, детское имя — Нанули
Снова сердце мое разорвет.

Снова слово вспорхнет стрекозой
И его, задохнувшись, прочту.
И Риони глотну со слезою
На твоём кутаисском мосту.

Твой Квирози простыл на охоте.
Он в ознобе. Он завтра умрет.
Но, любимые, вы оживете!
Ждите, скоро настанет черед!

И услышите вы, что, живая,
Эта музыка нам — навека.
Но сгниет, наши храмы взрывая,
Сатанинской задумки рука.

* * *

И вдруг приходит с январем
Метели мельтешня сорочья —
Не у нее ли мы дерем
Все чернотропы междустрочья?

Уже с утра — на переезд!
Гудок рождественской побудки.
Я молод — мне не надоест
Ждать хоть какой-нибудь попутки.

Моценко Владимир Николаевич — поэт, прозаик, литературный критик. Родился в 1932 г. на Украине, в г. Артемовске (в старинном Бахмуте). Печатается как поэт с 1955 г. Молодость связана с Грузией, где вышла первая книга стихов «Встречный ветер» (1962). В начале 1960-х окончил Литинститут. Работал в окружных военных газетах, был начальником отдела центрального аппарата МВД и секретарем комиссии по законности. Переводил в основном грузинских и северокавказских поэтов, среди них — Галактион Табидзе и др. Автор более 10 книг стихов и прозы, в т.ч. «Вишневый переулочек» (М., 2001), «Оползень» (М., 2005), книги прозы «Блюз для Агнешки» (М., 2007) и др. Постоянный автор журнала «Дружба народов». Живет в Москве.

Березы трескается ствол.
И снегом занесло дрезину.
Путеобходчик не прошел:
Пьян, бедолага, вдребезину.

Но крепче спирта креозот,
Настоянный в метельном плаче.
Мне и сегодня повезет:
Уеду — так или иначе.

Я верю — вот и ты поверь.
Я этот переезд покину.
Водитель мне откроет дверь
И скажет: «Полезай в кабину!»

Стал горизонт теперь видней:
Наверно, Пьяный Бор прорежен.
Все больше рытвин, больше пней
И загнивающих валежин.

Ямщицкая слобода

Был снег и ноздреват, и плотен.
Вся слобода: и «Ну!» и «Тпру!»
Из продымленных подворотен
Возки взлетали поутру.

Заря врасплох их не застала.
Не таял иней на узде.
Еще Рогожская застава
Свет зажигала не везде.

Ямщик, стой, и я с тобою.
Я воду подносил коню.
Тут все — живущие гоньбою.
Так ведь и я себя гоню.

Возле коровинского дома,
Где тени трех богатырей,

Удары дворницкого лома
И пар горячий из ноздрей.

И выплеснутые остатки
Из протрезвевших полпивных.
Со мною все мои манатки —
И нет давным-давно иных.

Я выкарабкался и вылез
И в сено рухнул на возок.
А у посудомойки вырез
Был вместе с крестиком глубок.

Владимирку мы поутюжим,
И глянут арестанты вслед
Все с тем же конвоиром дюжим.
Да ведь другой дороги нет.

Подзаборные стихи

Родне я был не по нутру
В суде махорочном и скором.
Все знали, что вот-вот помру
С амбарной книгой под забором.

А во дворе — темным-темно.
За мной — гараж, Бахмутка, ивы.
Слова в открытое окно
Рвались. И были справедливы.

На то она ведь и родня —
Как выжить здесь поодиночке?
В амбарной книге у меня
Гнездилась ересь в каждой строчке.

Не помню, у кого я спер
Ту книгу. Оттого без спора
С рассветом я разжег костер
У захудалого забора...

* * *

Он детство провел с табунами...

Николоз Чачава

Где мой младший брат? В ночном.
 Может, там он и поныне.
 Мерзлые кусты полыни
 Передавлены конем.

Конь все тот же. Без седла.
 Старобешевской закалки.
 Царствие Холодной балки.
 Свежая земля седа.

По савраскам брат скучал.
 Попадались только клячи.

Он не пил со мною чаши
 И не ведал Ортачал.

«Для чего тебе Кура? —
 Говорил он мне сердито.
 Было слово, что копыто. —
 Ты — как хочешь, мне — пора!»

Был заброшенным мой брат,
 Будто шахта у посадки.
 Он безгрешен. Взятки гладки.
 Он ни в чем не виноват.

Март-беззаконник

Сели голуби на подоконник.
 Мокрый снег. Это март беззаконник.
 Вновь на Пристани я дровяной.
 Как я здесь очутился, однако, —
 Ничего: ни намека, ни знака.
 А вокруг — ни души. Ни одной.

Лишь навал металлических бочек.
 У кого бы спросить адресочек?
 Ни души. Голубей воркотня.
 С бурлаками б идти бечевою.
 Ну ей-богу: чуть-чуть — и завою.
 Не хватало здесь только меня.

Да, меня только здесь не хватало.
 Вновь я здесь — и все мало мне, мало.
 Я отсюда уже не уйду.
 Мне любить тебя — в памяти рыться.
 Почему же ржавеет корытце
 Столько весен на тающем льду?

Ты — кому-то достойная пара.
 Все для вас — ледоход и Самара,
 Да и то, что не стало меня
 Вместе с песенкой прежнею — вздорной.
 Как тогда, я пройду по Соборной,
 Где все та ж голубей воркотня.

* * *

Боголюбова Галина,
 Ты прости меня, прости.
 Голова моя повинна,
 Ты во всем права — почти.

Впрочем, нет: во всем права ты,
 Подлой жизни вопреки.
 Ледоходы виноваты
 И сплошные тупики,

И автобусик в кювете,
Там, где каменный карьер...
Но пишу я строчки эти
На частушечный размер.

В самом деле, не смешно ли:
Неизвестно почему,
Вдруг почуять запах воли —
И остаться одному?

Волжский дождь — за плицей плица,
Снег к тому же — нет косей.
Стать свободным — и лишиться
Лютой женственности всей.

Кто провел нас на мякине?
Вздулся весь — и был таков...
Мне не выбраться поныне
Из самарских тупиков.

* * *

Морок. Наважденье. Чары.
Слов никак не подберу.
Это струны той гитары
На сегодняшнем ветру.

Неужели все — сначала?
Дай на водку пятачок!
Нету целого квартала...
Что осталось? Сквознячок.

«Вот-те, сударь. Нам не жалко.
Хуже смерти — недобор».
Обезумевшая галка
С лету села на забор.

Чистит перья, как монету,
Видит новые дворы —
А забора вовсе нету:
Только воздух той поры.

Только воздух. Только морок.
И услышалось тогда:
«Ты горишь! Видать, за сорок.
Мне сгореть прикажешь? Да?

Впрочем, ты ведь не из выжиг.
Просто речь твоя пьяна.
Прощевай-ка, чижик-пыжик,
Непутевая струна».

Тарханы

...И если как-нибудь на миг удастся мне
Забиться...

М.Лермонтов

Отпускником открылся нам
Поэт, разбужен рифмой хлесткой.
Еще был недостроен храм,
Где пахло тесом и известкой.

И ключница во флигельке
Перекрестилась на иконку,
Увидев пулю вдалеке,
Летящую за ним вдогонку.

А ты сказала: «Снег кругом...
Но видишь, как не бездыханны
Могилы здесь и барский дом,
Поля, и лес, и все Тарханы».

Я знал: ты верно передашь,
Как за окном горели свечи,
Как извергался карандаш
Огнем пожаров и картечи.

Ты все постигла: эти сны
И даже обреченность эту —
И не тебе ль посвящены
Молитвы, явленные свету!

...Не я подставился свинцу —
И с Машука был выдран долом.
А жизнь теперь идет к концу,
Как сумерки над барским домом.

Иван Наумов

Мальчик с саблей

Повесть

— Как жить, профессор, как теперь жить? — почти закричал пациент. — Когда можно стерпеть, но нельзя смириться?!

И с размаху саданул себя в грудь кулаком. По маленькому кабинету загуляло тугое беззвучное эхо, словно замотанной в тряпье гирей ударили в глиняный колокол.

— Вы бы поосторожней, — опасливо сказал доктор. — Ненароком повредите себе что-нибудь.

— Не тревожьтесь, ломаться давно уже нечему, — горько ответил пациент. — Там всего лишь старое никчемное сердце.

Э.Талан «Пасынки Тополины»

Вторник

Серое китовое брюхо «семьдесят шестого» проплыло над их головами, протянуло за собой рябь раскаленных воздушных струй, накрыло громовым ревом.

Тайга придержал фуражку обеими руками и вжался спиной в сиденье, а Охрименко резко затормозил, свернул на обочину и, причитая, полез в придорожную канаву за улетевшим беретом.

Пока обогнули взлетную полосу да пока прошли посты — бельгийский и свой, — транспортный самолет уже заглушил движки и встал под разгрузку. Заворочался на выезде из пожарного ангара обшарпанный бензовоз, зарычали одна раскатистее другой разномастные фуры, выстроившиеся на краю поля. Замельтешили техники, интенданты всех рангов и званий, какие-то бедолаги из «Красного Креста», сомнительные штатские — местная аэропортовая братия...

Но из всей этой суеты взгляд сразу выхватывал искомый объект — единственно-го прилетевшего пассажира.

— Шо, вон та цаца? — непритворно удивился Охрименко и заложил достойный пикадора вираж, чтобы разминуться со стальными бивнями чадящего, как самовар, погрузчика.

Пассажир и впрямь выделялся на фоне пейзажа как фотомодель на трамвайной остановке. Он так и не сошел с трапа, задержавшись на нижней ступеньке, и словно с пьедестала оглядывал летное поле поверх голов. А одет был и вовсе странно. Летний светло-бежевый костюм с иголочки — кстати, совсем еще не по погоде, дурацкая шляпка — хорошо, если не соломенная, позор, да и только! У ног — добротный саквояж телячьей кожи.

Охрименко остановил «уазик» с открытым верхом в тени крыла. Тайга, расправив плечи, зашагал к трапу.

— Вот только честь тут отдавать не вздумайте, — упреждающе сказал гость, ступая навстречу. — Улыбаемся, здороваемся — и вперед. И так вон пол-Европы повылупилось.

Наумов Иван Сергеевич — прозаик. Род. в 1971 г. в Москве. Инженер-оптик. Работает в области перевозок опасных грузов. Окончил Высшие литературные курсы (2006 год, семинар Е.Сидорова). Неоднократный победитель литературных конкурсов. Рассказ «Мальчик с саблей» получил главный приз на 14-м литературном конкурсе «Мини-проза» (февраль, 2008 г.).

Два сонных фландра, белокурые увальни, кровь с молоком, лениво косились в их сторону со скамейки у глухой стены склада. Прокопченные солнцем грузчики-тополинцы сваливали с полуопущенной рампы брезентовые валики палаток в открытый кузов подъехавшей таратайки. Украдкой поглядывая на приезжего, они то и дело покатывались со смеху.

— Полковник Кривцов. Виктор Маркович, — пассажир первым протянул руку.

Цепкую жилистую узкую ладонь следователя военной прокуратуры.

— Майор Тайга... — и с непривычки через силу, — Роман Егорович. Еще багаж будет?

Кривцов отрицательно мотнул головой и направился к машине. Охрименко уже вытянулся по струнке перед водительской дверцей, надул грудь колесом, намереваясь продемонстрировать командный голос, но Тайга так строго зыркнул, что лейтенант сдулся, как проколотый мячик, без хлопка, и только широко раскинул руки:

— Ласкаво просимо!

Кривцов не сдержал улыбки, а Тайга почувствовал, как румянец заливаает щеки.

— Лейтенант Охрименко, — негромко пояснил он гостю, исподтишка показывая шоферу кулак. — Инженер-механик. Сегодня за водителя — и за культмассовый сектор заодно. Вперед, назад сядете, товарищ полковник?

— Виктор Маркович, — повторил гость и без подготовки, с места, запрыгнул через борт на заднее сиденье. — Как тут с границей? Таможней? Волынки не будет?

— Все оговорено, — Тайга и Охрименко синхронно захлопнули дверцы, и «уазик» тронулся с места. — Отштампует вас как штатского, на пассажирском терминале. Пройдете через зал, а на выходе мы вас снова встретим.

Кривцов никак не отреагировал. Откинулся назад, жмурясь, подставил лицо солнцу и длинным костлявым носом втянул дурмящий весенний средиземноморский воздух.

Сначала на юг, потом на восток, и все по горам, с серпантина на серпантин, через узкие неосвещенные тоннели, по рассыпающимся виадукам, вдоль клокочущих горных речушек, под ажурными арками переплетенных ветвей, мимо одиноких хуторов, сквозь пыльные и пустынные городки, — и выцветшие тополинские лидеры смотрят вслед с предвыборных плакатов десятилетней давности...

В ста километрах от столицы асфальтовая дорога приказала долго жить. Охрименко выписывал «уазиком» затейливые кривые, костеря местных автодорожников, всеобщую разруху и международное вмешательство.

— Та это же балаган, а не миротворческие силы, товарищ полковник! — отсутствие на госте формы явно способствовало словоохотливости лейтенанта. — Чехи прислали горных стрелков, англичане — военную полицию, французы — вообще морпехов. Плюс польские егеря и итальянские карабинеры-парашютисты. Цирк на выезде! Порезали страну на лоскутки — типа под контроль взяли? Курам на смех!

Затяжной извилистый подъем, наконец, закончился, и за очередным поворотом открылся вид на круглую чашеобразную долину.

Кривцов цокнул языком.

— Остановить, товарищ полковник? — обернулся Охрименко.

— Не затруднит?

Большая часть территории Тополины скрывалась под густыми лиственными лесами, но в пологом блюде котловины деревьев почти не было.

— Местные иногда называют долину Божьей Ладонью, а иногда — по имени города: *Плешнино Горске*, Плешинской Горстью, — сказал Тайга. — Представьте, что мы сейчас на основании большого пальца левой руки. Тогда вон те горы, — он показал на четыре круглых скалы, ограничивающих долину с востока, — как кончики пальцев согнутых. А сама ладонь — видите? Вся в морщинах, складках, как настоящая! Овраги да балки, ни пройти ни проехать.

— А это, я так понимаю, линия жизни? — иронично спросил Кривцов.

Тонкая линия реки выбегала из ущелья между указательным и средним пальцем, разделяла долину пополам и спокойным полноводным потоком утекала в запястье.

— Да, — сказал Тайга. — И жизни, и судьбы сразу. Это Тополяна. Все, что по эту сторону, — тополинские земли, а на том берегу — уже Алтынщина... Извините, Алтина.

Кривцов попросил бинокль и долго разглядывал Плешин. Тайга смотрел на черепичные крыши старого города по обе стороны реки, пунктир разрушенного пять лет назад моста, серые коробки новостроек, заброшенный трехглавый замок, белый квадратик казарм российского гарнизона, крошечные зернышки «бэтээров» — и пытался угадать, куда смотрит следователь.

— Красивая долина, — констатировал Кривцов безо всякого выражения. — А вон те хутора ближе к Пальцам — это чьи?

— В восточной и южной части — больше алтинские. Тополинцы к городу жмутся.

Тайга почувствовал смутную ревность, показывая полковнику свой нынешний дом. Будто гость мог вмешаться в налаженную жизнь хозяев, влезть со своими представлениями о том, как содержать контингент в этом не самом простом для жизни уголке мира.

— Дорог мало, — продолжал Кривцов. — И сколько ведет наружу?

— Одна — через Полуденный перевал на юге, к французам и итальянцам. Другая — по берегу Тополины на запад, за грядой — опять же итальянская зона. Ну, а если пешком — то тысяча троп, непроходимых гор нет.

Следователь слушал внимательно и чуть заметно кивал. На короткое мгновение майору показалось, что гость все знает и без него.

— Итак, Роман Егорович, — оставшись с Тайгой один на один в его кабинете, Кривцов сразу взял совсем другой тон, — имеет место прискорбный факт хищения военного имущества во вверенном вам подразделении. Не портянок, не котелка с полевой кухни, а боеприпасов и огнестрельного оружия. Слушаю вас внимательно. Что думаете о случившемся?

Тайге произошедшее до сих пор казалось мистикой. Аккуратист и педант Рожнов содержал оружейную комнату роты в образцовом порядке с первого дня, как гарнизон развернулся на этом берегу Тополины. За три года — ни одного ЧП, ни единого недочета, тишина-покой-ажур.

Пять дней назад Рожнов, весь зеленый, ввалился в медчасть и потерял сознание. Пока дневальные бегали к реке, чтоб договориться о лодке до госпиталя, пока на носилках оттаскивали Рожнова к причалам, никто и не обратил внимания, что дверь оружейной комнаты не опечатана. Закрыта, заперта на ключ, но не опечатана. Но ведь не вечером дело было, не ночью — в два часа пополудни! В расположении части!

Тайга постарался обойтись без оправдательных интонаций:

— У меня нет оснований немедленно предъявить обвинение капитану Рожнову. В связи с его внезапной болезнью передачи дел в стандартном понимании не было. Проверка еще идет, и окончательные выводы делать рано...

Кривцов застыл у окна, глядя, как снаружи на подоконник осторожно выползла пестрая ящерка, выбрала самый теплый камень и, изогнувшись, замерла. Поощренный молчанием следователя, Тайга продолжил более уверенно:

— Скажу откровенно, мы ждали вашего приезда. Зная Рожнова, я просто не готов поверить в злой умысел с его стороны. А чтобы разобраться в ситуации, у нас нет ни специалистов, ни, извините, времени...

Кривцов резко развернулся на сто восемьдесят, едва не клюнув майора носом в лицо.

— Нет, не извиню, товарищ майор, — по-змеиному зашипел он. — Вы, видимо, не совсем правильно поняли причину моего здесь появления. Из вашей боевой части! Пропадает! Серьезное, боевое о-ру-жи-е! Куда, я вас спрашиваю, пойдут исчезнувшие единицы? В каком из алтинских бандформирований они всплывут? Это вам не «макаровы», не для уличной шпаны игрушки! Завтра какого-нибудь датчанина или француза прошьют из русского пулемета. А послезавтра по немецкому бронетранспортеру жахнут из русского гранатомета — что тогда?

Следователь присел на край стола.

— В другой обстановке, — негромко и уже спокойно заговорил он, — даже разбираться бы не стали. Всех чохом под одну гребенку. Но здесь, Роман Егорыч, на нас лежит особая ответственность, мы на особом счету. Каждый наш шаг фиксируется, взвешивается, анализируется соседями — и выворачивается наизнанку. А вы — вы, как командир, — допустили утечку оружия. Весь российский контингент под ударом из-за вашей халатности — или из-за преступного умысла. Но, заметьте, я прилетаю сюда не в форме и не с пачкой ордеров — почему?

Тайга промолчал.

— Потому что у меня — и у вас — совсем другая задача. Я не собираюсь смотреть, как под улюлюканье мировой прессы полетят головы наших офицеров. Давайте просто постараемся — и найдем все, что «потерялось» в вашем хозяйстве. Как вы смотрите на такое предложение?

Чушь собачья, хотел сказать Тайга. Коли стволы ушли из гарнизона по эту сторону реки, то и десятой части назад не собрать. Двадцать «калашей» с подствольниками, ящик патронов, четыре пулемета ПКМС, одно «Пламя»¹. И много, и мало. Много, чтобы наделать шуму. Мало, чтобы остался серьезный след. Все давно попрятано по схронам, развезено по селам и городкам Алтынщины, рассовано по чердакам и огородам. Как камень в воду.

— Положительно смотрю, Виктор Маркович, — сказал Тайга. — Хотелось бы, чтобы Рожнов...

— О Рожнове позаботятся другие специалисты, — жестко прервал его Кривцов. — А нам с вами и здесь хватит материала, чтобы поискать концы.

На мгновение они замерли, схлестнувшись взглядами, следовательно и боевой майор, командир отдельной мотострелковой роты российского контингента миротворческих сил на территории Тополинской Федерации. Давление чужой воли, непонятной и от этого пугающей, накатывало волнами, и Роман первым отвел глаза.

Среда

— И посмотрите только, что за чудный манифест подсунули под дверь всем моим соседям! Причем в третий раз на этой неделе, да найдет себе неведомый почтальон более достойное занятие!

С такими словами на пороге кафара появился сухопарый старичок. Его прозрачно-голубые глаза смотрели как будто на всех одновременно, преломленные чудовищными линзами в массивной роговой оправе. Он держал в руке смятую стопку газетных листов с крупными плохо пропечатанными буквами — так, будто собирался прихлопнуть муху.

К вечеру в кафаре всегда становилось людно, и многие посетители поприветствовали старика — кто просто поднял руку, а кто окликнул:

— Иди к нам, часовщик, с утра для тебя лавку греем!

— Эзра, а мы думали, ты нас на европейское время переводишь!

— Хочешь медынцу, Эзра? Нашему столику Палиш не разбавляет!

Старик, беззубо улыбаясь, кивая всем и каждому, прошел в дальний угол, ближе к очагу. Осторожно опустился на лавку. За столом уже обедали сапожник Халим, начальник пожарной охраны Салан и «русский поп» отце Миклаш — бывший легионер, бывший рестлер, бывший рэкетир, а последние годы, исключительно по велению сердца, — самозванный настоятель плешинского прихода.

Хозяин кафара, однорукий Палиш, в глиняную кружку налил Эзре медынца, оставил кувшин на столе, принес плетенку хлеба, да и сам сел отдохнуть рядом.

Тонкими длинными пальцами часовщик расправил на столе смятые листки.

— «Землемеры» Шадо? — без особого интереса спросил отце Миклаш, макая лепешку в суп. — Или «Алтина чистеша»?

— «Землемеры», — подтвердил Салан, заглянув в листовку. — Самое последнее предложение благоразумному тополинцу: очистить город от своего присутствия, не доводить до беды, уехать, пока ему не подарили два квадратных метра алтинской земли. Зачем ты принес сюда эту гадость, Эзра?

— Палишу чем-то надо каждое утро растапливать печь, — развел руками часовщик. — Это большая печь, она кормит полгорода, а дрянная бумага горит хорошо, так пусть лучше с дымом уйдет в трубу, чем валяется на свалке! Эта свалка переживет нас всех, а таким сочинениям не место в вечности.

Отце Миклаш утер бороду и молча придвинул к себе кувшин.

— А я бы уехал, — сказал Палиш. — В один день собрался бы, сговорился с лодочником, да и подался на север. Люди везде хотят домашней еды, работа бы от меня не убежала.

¹ «Пламя» — автоматический гранатомет АГС-17.

Салан набычился и поджал губы. Халим, опустив глаза, ковырял вилкой кусок рыбы. Отце Миклаш навалился на стол, выглядывая из-за часовщика:

— Так что же ты еще здесь, Палиш? И ты, Салан, почему не на правом берегу?

— Я больше не сложу такой печи, отце, — сказал трактирщик. — Мы собирали ее по камушку, по кирпичику, еще с моим отцом, на долгую службу.

— В этом городе еще есть чему гореть, — сказал Салан. — Если я и уйду, то последним.

Эзра пригубил медынец, почмокал дряблыми губами и спросил:

— Помните старую Мелису, что пятый год не выходит на улицу? Хотя где бы еще и выходить на улицу, как не на углу Кухарьской и Пришана, у городского фонтана, пусть он и не работает с тех пор, как на Плешин упала первая случайная авиабомба? Вэй, Мелиса, наверное, и не подозревает, что южный Плешин на новых алтинских картах зовется Плешне — так что же взять с глупой женщины, не знающей, в каком городе она живет? Вот уж кто точно никуда не уедет, путешествия не для нее...

— Не думаю, что «землемеры» сунутся в Плешин прямо на русские пушки, — сказал пожарный. — Как считаешь, Халим?

Длиннолицый алтинец Халим негромко ответил, уткнувшись в тарелку:

— Мое дело — тачать сапоги.

— Не обижайся на Салана, Халим! — воскликнул Эзра. — Поднимем лучше добрый медынец и выпьем за светлые времена!

Глиняно лацнули кружки отце Миклаша, пожарного, трактирщика и часовщика. Чуть помешкав, к остальным присоединился и сапожник.

Медынец уже ударил старику в голову, в его глазах появилась хмельная искринка, и даже линзы заблестели по-особому.

— Тополинцы напуганы, тополинцы даже не хотят есть, потому что у всего вкус, будто пробуешь из чужой тарелки. Но ты же не виноват в этом, Халим, просто так все повернулось у нас в Плешине...

Эзра показал рукой, как хитро, с подвывертом «все повернулось».

— Но каков поворот! Это же стоит того, чтоб смеяться! Во всем городе не найти человека спокойнее, чем часовщик Эзра! Тот самый Эзра, который однажды пропустил четыре весны, сидя в темном подвале, — за что спасибо маленькой, но очень упрямой девочке... Когда она привела меня к себе в дом — до сих пор помню на ощупь ее решительную ладошку, то видели бы вы глаза ее достопочтенного отца и добродетельной матушки, пусть их облако на небесах будет мягче лебяжьего пуха! «Эзра будет жить с нами», — она произнесла это так, будто все только и делают, что прячут у себя дома пятилетних еврейских мальчиков...

Разговоры за соседними столиками прервались — все слушали старика. Не замечая сгустившейся тишины, Эзра отставил полупустую кружку в сторону, расправил плечи, откинулся на спинку скамьи.

— И вот какой поворот! Уйдут тополинцы, придут алтинцы — что изменится для хорошего часовщика? Так и вижу, как расступается народ на Пришане, чтобы дать дорогу старому Эзре! И он-таки идет! Задрав голову, весь в бархатном жилете, и к кармашку тянется такая знатная цепочка из довоенного золота — остается только гадать, что за чудо-механизм прячется на ее конце... И все улыбаются старому Эзре... Уступают ему место на лавочке у фонтана, и снимают шляпы, и спрашивают: «Господин часовщик!..» Нет, не так! «Господин лучший часовщик к югу от Тополины! — говорят они. — Почему бы вам иногда не улыбнуться нам в ответ?» И что ответить старому Эзре? Ведь Эзра не умеет врать, он скажет им на своем плохом алтинском: «Меня беспокоит то, что в темном сыром подвале моего дома томится Мелиса — девочка, однажды спасшая меня от неминуемой смерти. Мне так хотелось отплатить ей тем же, но я совсем, совсем не справляюсь. В восемьдесят лет хочется тепла и света, а их-то я и не могу дать моей Мелисе. От стылых стен у нее ноют кости, а когда она начинает кашлять, мне приходится громче включать веселую алтинскую музыку»...

В кафар вошли двое русских, майор и капитан из мотострелкового гарнизона. Все словно выдохнули. «Здравше» и «Добреша дянца» зашелестело отовсюду. Русские выбрали маленький столик у окна, и Палиш поднялся им навстречу. Сапожник Халим тоже встал и ушел, пожелав всем приятной трапезы. Отце Миклаш дождался взгляда русского майора и кивнул в ответ.

Эзра стремительно пьянел и грустнел.

— Не далее как вчера пополудни ко мне пришел Кош, что на пристани торгует дырявыми лодками на полчаса. Он говорит мне: Эзра, почини мне время в карманных часах, а то оно стоит как вкопанное по часовую стрелку! И что за механизм, скажу я вам... Нет, я промолчу — только часовщик смог бы оценить эту красоту! И вот я смотрю на детали, изготовленные в Пруссии и Австро-Венгрии, на колесики и шестеренки, каждая из которых вдвое старше меня, и плачу... А ведь от влаги в глазах зрения не прибавляется!

Он провел рукой перед носом, едва не смахнув очки.

— Зачем плакать, Эзра? — Салан протянул руку через стол и могучей ладонью утешающе накрыл хрупкие пальцы часовщика.

— Грядут последние дни Плешина, вэй! И как же мне хочется, чтобы время остановилось! Я таки не справляюсь со своей работой...

Когда Тайга и капитан Вольховский вышли из кафара на улицу, отце Миклаш сидел через дорогу на заросших сорняками бетонных блоках, привезенных в давно забытые мирные дни для строительства кинотеатра, и негромко рычал на маленькую дворняжку. Собака тявкала в ответ, прыгала из стороны в сторону, но не убегала.

— Я догоню, Володь, — сказал Роман.

Он подошел к священнику и сел рядом. Вольховский, не оборачиваясь, направился в сторону гарнизона. Обиделся, подумал Тайга.

Вольховский, умница и полиглот, был единственным офицером в части, свободным говорившим по-тополински. Когда надо и не надо, Тайга таскал его с собой для налаживания контактов — хоть с городскими властями, хоть с местным криминалитетом. А тут, видишь ли, без переводчика обошлись...

— Как дела, Рома? — отце Миклаш прищурился, спрятав глаза в подушках припухших век. — Нашел пропажу?

— Ты о чем? — невозмутимо спросил Тайга.

В разговорах один на один оба как-то сразу соскальзывали на «ты».

— Да не отмораживайся, все уже знают.

— Так уж и все...

— И в Горсти, и за холмами.

И за холмами — эхом толкнулось в голове. С кем за холмами, среди алтинцев, может общаться тополинский священник?

— Вижу, нехорошее думаешь, — ухмыльнулся отце Миклаш. — У тебя, Рома, соображалка так устроена, что лицо — как монитор. Хоть читай, хоть списывай.

— За холмами — это кто?

— А не твое дело кто, сын мой! Только знай, на всякий случай, что ни «Чистеша», ни «землемеры» тут ни при чем. Они сами в непонятках, сечешь?

— Откуда знаешь?

Отце Миклаш сплюнул себе под ноги.

— Одному богу молимся.

От этих слов подкатило, подступило черное, глухое отчаяние. Тайга знал, что надо просто перетерпеть, но все равно не мог остановить свои мысли.

Все временно. Все ненадежно. Не наведение порядка в стране, а барахтанье в трясине.

— Вот именно! — рявкнул он. — Одна вера! Один язык почти! Рожи одинаковые! Переплетены, как нитки в ковре, — кто кому сват, а кто брат. Так что же им вздумалось делить-то?! Довели вон, что по всей стране чужие танки раскатывают.

— Ты уж определись, Рома, танки — это хорошо или нет?

— Танки — это плохо, — сказал Тайга. — Танки — это потому что запустили все до крайности. Ввязаться бы посредникам чуть раньше...

— Какие могут быть посредники, наивная ты душа? В чем — посредники? Если из двоих один хочет жить вместе, а другой нет, что делать?

— Решать, — запальчиво сказал Тайга. — Как-то решать. Искать компромисс. Раз уж так случилось, то делить территорию. Расходиться одним налево, другим направо.

— Зачем же делить, если можно взять целиком? — тихо спросил священник. — Тополина, Алтина и Цвена испокон веков были единым государством. Спасибо мировому сообществу, Цвену мы уже потеряли. Если теперь нас распилят пополам еще раз, то тут и сказочке конец.

Как быстро в нем вызрело это «мы», подумал Тайга. Сколько он здесь? Четыре года? Пять?

— И все-таки хорошо, что у нас одна вера, — добавил отце Миклаш.

— Чем? — спросил Тайга.

— Когда нас перережут, то хотя бы не тронут храм. Пройдет недолгое время, и он снова даст людям свет. А ты только прикинь, что было бы, молись Алтина другому богу!..

— Слушай, хватит! Откуда такая паника, а? Вы живете не на хуторе, не в гетто посреди алтинских гор, а в Плешине, под защитой военного гарнизона, так все равно твердите как попугай: «Перережут-перережут!»

Тайга аж хлопнул ладонью по колену.

— Рома...— священник смотрел на него как на маленького. — Сколько вас, скажи мне?

— Военная тайна, — буркнул Тайга.

— Вас сто тридцать семь человек, Рома, включая врача и четырех медсестер. У вас шесть бронетранспортеров вместо штатных одиннадцати, и из тех — один в ремонте из-за поломки трансмиссии, а еще один заводится через раз. Пятнадцать офицеров и сто семнадцать солдат. Вы все здесь как на ладони. Когда придет время, вас тоже будут иметь в виду.

От слов отце Миклаша стало не по себе. Тайга одернул себя: глупости! Кто вяжется в открытый бой с мотострелковой частью регулярной армии? Хотя даже собственный опыт подсказывал, что...

Нет никаких «хотя». Нечего и думать об этом.

— *Плешино Горсце?* — шутливо спросил он, сложив ладони лодочкой.

Четверг

Что-то витало в воздухе, вечная тревога плешинцев перекинулась и на офицеров гарнизона.

Тайга попытался отказаться от участия в совместном рейде с итальянцами по перехвату крупной партии наркотиков. Ему велели не умничать и лично возглавить российскую группу.

В гарнизон приехали щеголеватые карабинеры для проработки плана операции. Серьезный как абитуриент на первом экзамене «капитано Скаппоне Первого особого полка "Тускания"», а в придачу — два разгильдяя-лейтенанта, которых, чтобы не пугались под ногами, сразу отправили в кафар, к явному удовольствию последних.

Тайга сносно изъяснялся на языке вероятного противника, Скаппоне — на языке вероятного союзника, оба пользовались артиклем «зе» чисто интуитивно, и в целом средств общения хватало.

Согласование деталей не заняло и получаса — пробежались по картам, уточнили время и маршруты выхода на точку, сплошная рутина. По данным из каких-то мутных источников, искомая машина должна была ранним воскресным утром пройти через Полуденный перевал, по стыку итальянской, французской и российской зон контроля. Где ее и следовало брать. Подобные рейды редко когда давали хоть какие-то результаты — майор Тайга и капитан Скаппоне знали об этом по собственному опыту. Но служба есть служба.

— Роман, — спросил итальянец, когда с формальностями было покончено, — я уже пятый раз в Плешине и до сих пор не видел мальчика!

Тайга откашлялся.

— Какого мальчика?

— С мечом, — как о чем-то само собой разумеющемся сказал Скаппоне. — Кривым таким, слова не помню.

— Охрименко! — позвал Тайга. — Гости хотят какого-то мальчика с кривым мечом! Обеспечишь?

— Покажите мне Москву, москвичи! — высоким голосом спел Охрименко. — Это ж надо Вольховского звать, товарищ майор! Нашу птицу певчую...

— Так беги!

Охрименко воспринял команду буквально.

Роман уверенно кивнул итальянцу:

— Сейчас все будет.

Скаппоне уточнил:

— Мальчик, да?

— Конечно! — подтвердил Тайга и, чтобы сменить тему, не слишком деликатно ткнул пальцем в запястье Скаппоне, где из-под манжеты выглядывал бледно-голубой вензель из букв «N», «S» и «F». — Что это такое?

— *Niente*¹, — равнодушно ответил итальянец. — Просто юная глупость.

Вольховский пел соловьем. За пять минут он изложил краткую историю Тополины, показал офицерам самые знаменитые улицы и дома Плешина и успел бы рассказать еще многое — но Охрименко остановил «уазик» на маленькой сжатой домами площади у неприметного монумента.

Тайга бывал здесь не раз, но упускал памятник из виду — почерневшее от времени, плесени и выхлопных газов изваяние выглядело так неказисто, что майор не удосуживался рассмотреть его подробнее.

Но сейчас капитан Вольховский так уверенно выступал в роли гида, что Тайга почувствовал себя праздным туристом. За грязью и копотью он вдруг поймал суть скульптуры.

На широком низком постаменте лицом вниз лежал человек в форме. Судя по эполетам и сапогам со шпорами — кавалерист, какой-нибудь гусар или улан. Судя по неестественной позе — мертвый.

Над ним склонился мальчик, лет десяти, не более. Растрепанные кудри, расстегнутый воротник. Глядя не на поверженного взрослого, а вперед, в глаза Тайге, мальчик тащил из ножен на левом боку убитого тяжелый широкий палаш.

«Младо до сабро».

— Это просто памятник? — спросил итальянец. — Или настоящий мальчик?

— Когда немцы перешли границу, королевская гвардия совершила единственную контратаку. Лошадь против танка немногочисленной — сказал Вольховский. — На третий день война закончилась, и офицеров танковой дивизии определили на постой в Плешин.

Охрименко согнал всех в кучку перед монументом, щелкнул пару кадров, потом перебежал площадь, вытащил за собой из цветочного магазина продавщицу и показал ей, как наводить и куда нажимать. Сам пристроился рядом со Скаппоне, и все улыбнулись вспышке.

— Этот мальчик три дня искал в поле своего отца, — продолжил капитан. — А когда нашел, то забрал его саблю, ночью скрытно вернулся домой в Плешин и зарубил офицера-танкиста, ночевавшего под их крышей.

— Я понял, понял, не переводите, — сказал Скаппоне Тайге, — нашел меч, убил танкиста.

Охрименко завел машину.

— А что случилось с мальчиком? — спросил Тайга, предчувствуя неприятный ответ.

— Об этом не любят вспоминать, — ответил Вольховский, перелезая через борт, — потому что об этом лучше не думать. В этой стране, чтобы стать героем, надо сначала нанести страшный урон врагам, а потом погибнуть страшной смертью.

Тайга перевел итальянцу.

— Ну прямо как наши пионеры-герои! — нараспев протянул Охрименко и с хрустом включил первую передачу. — Валя Котик унд Марат Казей!

— А вот не надо над этим глумиться, лейтенант, — сказал Тайга. — Ты молодой, для тебя это легенды и выдумки, а для кого-то была жизнь.

— Посмотри, Роман, какие у него глаза, — сказал Скаппоне. — Мальчик все знает *ин античипо*... заранее. Но обязательно сделает то, что задумал.

Тайга оглянулся на памятник, но тот уже остался за поворотом.

¹ Niente — ничего (ит.).

Пятница

Раньше Тайге не раз приходилось сталкиваться с сотрудниками военной прокуратуры, но Кривцов ломал все стереотипы.

Полковник разместился на постой не в гарнизоне, а как частное лицо — в затхлой гостинице, этаким «Доме колхозника» для вездесущих коммивояжеров, которых не пугали ни разрушенные мосты через Тополяну, ни затянувшийся на годы экономический кризис, ни угрозы «землемеров».

Кривцов пренебрег допросом офицеров и солдат, дежуривших по части в злополучный день пропажи оружия, заявив, что «нечего жевать резину». В расположении роты появился лишь однажды, на пять минут, был азартно весел, никаких криков и патетических придыханий, хлопнул Тайгу по плечу и оставил ему на столе десяток тощих бумажных папок с пожеланием «осмысливать творчески», что бы это ни значило.

Его видели в городе там и тут, то на пристани с рыбаками, то в пожарной части с Саланом за бутылкой меда, то на базаре с заезжими цыганами.

После утреннего построения Тайга заперся в кабинете и обреченно придвинул к себе кривцовские материалы. Подборка оказалась странной мешаниной личных дел самых разных людей: наиболее значимых лиц в управлении южного Плешина, офицеров из контингентов, контролирующих соседние зоны, рыночных торговцев, лодочников...

И как это «осмысливать», да еще «творчески»? Тайга нашел досье Скаппоне. Интересно, откуда у военной прокуратуры выход на такие документы? Биография, характеристика — информация простая и очевидная. Но кто и зачем может поднимать из небытия забытые школьные клочки? А расшифровывать татуировки?

Тайга бесцельно полистал досье француза Деланкура, бакенщика Растомы, а потом сунул весь ворох папок назад в сейф, запер кабинет и отправился в мастерскую, где Охрименко колдовал над раздолбанной трансмиссией бронетранспортера — все полезнее, чем строить из себя Эржуля Пуаро.

Капитану Скаппоне вовсе не икалось, когда русский майор шуршал его личным делом.

Итальянец по пятницам всегда был в приподнятом настроении, ожидая вечерней партии в покер во французском гарнизоне.

С передвижением по Алтине у карабинеров проблем не возникало — все местные понимали, что войска Евросоюза — лучшая гарантия будущей независимости.

За окном замелькали ржавые торцы сорокафутовых контейнеров. Итальянец вспомнил, что не предупредил водителя, чтобы тот не ехал через гетто — один из пятнадцати тополинских анклавов в Алтине. Не то чтобы Скаппоне избегал тополинцев — просто не хотелось сбивать настрой перед игрой.

Волей-неволей он обращал внимание на виды за окном. Дети в дармовой одежде от Миссии Спасения гоняли палками по пустырю консервную банку. Четверо стариков, мешая друг другу, разрезали на длинные лоскуты драную резиновую камеру. Румяная женщина с гладкой кожей, но абсолютно седая что-то помешивала в кипящем чане на краю дороги. Горы мусора в канавах кое-где выросли выше заборов.

За что только держатся здесь эти отверженные, подумал Скаппоне. Статистика неумолима, на левом берегу реки они давно перестали быть этническим большинством. Почему не податься прочь, на север, за Тополину, и закончить дурацкое, никому не нужное противостояние?

Гетто кончилось — вышкой с часовым, французским морпехом, разрисованной непотребными картинками бетонной стеной, двумя рядами колючей проволоки, наполовину скрытой в прошлогоднем сухом бурьяне.

А уже в следующем квартале кипела совсем иная жизнь. Из распахнутых дверей трактиров доносился запах хорошего кофе, по улицам раскатывали современные автомобили — пусть все с перебитыми «ВИНами»¹, но речь не о том, — куда-то спешили симпатичные женщины, а почтенные старцы провожали их взглядом, не выпуская изо рта коротеньких алтинских трубочек.

¹ VIN — идентификационный номер транспортного средства.

В городке, где расположился французский гарнизон, еженедельно проходила ярмарка, и город кишел грузовичками, пикапами, автобусами с самодельными «алтинскими» номерами. На центральных улицах с открытых лотков торговали всем — инструментами, травкой, гуманитарной помощью, документами разной степени достоверности. С юга, из английской зоны контроля, подвозили свежую рыбу и морепродукты, с востока, от датчан, — мраморную плитку и остроклювые алтинские кувшины. Зайди чуть глубже в торговые ряды — и можно подобрать что-нибудь для личной самообороны — от кастета до ручного пулемета.

Судя по тому, до каких сумм в последнее время торговался Деланкур, дела у него шли хорошо — отцы города чтили своего защитника и подкрепляли льстивые речи щедрыми дарами. Скаппоне тошнило от этой идиллии, но ему не пришло бы в голову соваться в чужие дела.

Итальянец вышел из машины, когда та окончательно завязла в ярмарочной толпе, и стал пробираться к воротам французской военной части.

Унылый длиннолицый алтинец с пыльным велосипедом толкнул капитана плечом и невнятно извинился. Скаппоне показал поднятой ладонью, что нет проблем. Как же людно сегодня, подумал он. И поглядел на толпу немного по-другому.

Во фруктовых рядах обычно толклось много женщин — с корзинками на локте, в расшитых алтинских платках. А сегодня здесь прохаживались все больше разновозрастные бездельники, да многие с такими характерными лицами, каких Скаппоне не видел с той поры, когда начинал службу простым инспектором в грузовом порту Таранто. И, что особенно бросалось в глаза, эти персонажи просто слонялись из ряда в ряд, убивая время.

Но Скаппоне решил обдумать все это потом, потому что вдруг увидел человека, заинтересовавшего его еще больше.

У лавки чеканщика стоял мужчина средних лет в хорошем светлом костюме. Казалось, он рассматривает тисненное посеребренное блюдо, подставляя его к свету так и сяк. На самом же деле взгляд незнакомца скользил по толпе, и Скаппоне не мог не сопоставить, что секунду назад сам изучал окружающих точно так же — как сытый хищник.

Никто пока не вошел в раж, игра клеилась плохо и больше состояла из беседы, чем, собственно, из игры. За столом говорили по-французски. Адъютант Деланкура и немецкий журналист Штайер, приехавший на покер аж из Плешина, игроками были неважными, обычно все сводилось к поединку хозяина гарнизона с итальянским гостем.

Скаппоне поднимал по маленькой, то и дело срывая мелкую поживу.

— А вот скажите, Мишель, — спросил он, — случись здесь серьезная заварушка, как бы мы координировали действия? К примеру, запроси у вас англичане поддержку с воздуха, как бы вы ответили на это?

Тучный француз расхохотался:

— Послал бы их подальше! Нет, если серьезно, вопрос бессмысленен — Тополина и Алтина порезаны на такие мелкие лоскуты, что серьезному конфликту просто негде расцвести. А завязь в своей зоне вы уж сами ликвидируете, обойдетесь без наших вертолетов!

Скаппоне вежливо улыбнулся в ответ и подбросил фишек в банк.

— Лишь бы в соседних лоскутах какая нитка не треснула. Жалко было бы из-за одной прорехи выбрасывать целое одеяло!

Адъютант положил карты на стол, а Деланкур поддержал ставку, умело изобразив краткое сомнение. Потом пожал плечами:

— А как воевали в средние века? Один герцог пригонит сотню крестьян, другой — дюжину наемников. Выйдет такая армия на поле битвы, так только и гляди, чтоб соседи же в спину и не ударили.

— Вы это к чему? — спросил Скаппоне, пока журналист хмурился над своими картами.

— К тому, что надеяться всегда надо только на себя. Не будет и разочарований. Мы держим ситуацию здесь, англичане — южнее, вы — западнее. Анклавы под присмотром, этнический конфликт перешел в холодную фазу. Да никакой «Чистеше» уже давно и не надо инцидентов. Они без пяти минут хозяева края.

— Есть еще Плешин, — сказал журналист, бросив карты на стол. — И Плешинская Горсть.

— О, херр Штайер, — Деланкур сочувственно улыбнулся, — вы мыслите как тополинец. Тот процесс, что за десять лет изменил баланс сил в Алтине, рано или поздно начнется и в Горсти. Вопрос времени. Думаю, даже без особого насилия тополинцев выдают оттуда, как пасту из тюбика. Капля камень точит.

Этих — не выдают, подумал Скаппоне, пристально разглядывая Деланкура. Ты просто не видел мальчика.

Итальянец снова поднял ставку.

— Вот что мне кажется интересным, месье Деланкур, — сказал Штайер, переключившись с места на место свои фишки, — с профессиональной, так сказать, точки зрения... Здесь каждый военный гарнизон симпатизирует местному населению. Мне кажется, что нейтралитет миротворческих сил — это очень, очень надуманная вещь. И случись что-то серьезное...

— Тем хуже для наших северных соседей! — хохотнул Деланкур, вскрылся и сгреб банк.

Алтинец, случайно толкнувший итальянского капитана, свернул в винные ряды, под одним из навесов оставил велосипед и проскользнул в неприметный проход. Вышел в завешанный бельем дворик, по скрипучей лестнице поднялся в галерею на уровне второго этажа и по ней прошел в следующий двор. Навстречу проплыла дородная старуха с тазом, полным мокрых рубаш.

Алтинец постучал в одну из дверей, выходящих в галерею. Открылась соседняя.

В темном коридоре пахло мужским потом и оружейной смазкой. Человек, отворивший дверь, пропустил алтинца мимо себя и запер дверь на засов.

— Думали, ты раньше будешь. Он извелся совсем.

— Здравствуй, Ишта! — ответил алтинец. — Дорога неблизкая, не обессудьте. Веди.

В комнате, указанной Иштой, было людно. Грязные небритые типы сидели или лежали по углам, лениво и безучастно. С единственного стула перед столом, застеленным как скатертью картой-двухкилометровой, поднялся широкоплечий толстошей человек, распростер руки и двинулся навстречу алтинцу:

— Здравствуй, Халим!

Алтинец дал ему смять себя в медвежьем объятии и ответил с искренней радостью:

— Здравствуй, Шадо!

Суббота

С раннего утра Тайга гонял подчиненных, как духов. Начал с учебной тревоги за час до подъема. Потом выстроил на плацу весь личный состав и устроил показательную унтерскую выволочку за тусклые пряжки, незатянутые ремни, не по уставу завязанные шнурки, не делая различия между солдатами и офицерами. Юристу и бухгалтеру части пригрозил отправкой в тютойскую губернию, если к пятнадцати часам ему на стол не лягут все положенные отчеты. Досмотрел мастерские, облизав ямы, на которых стояла неисправная техника. Инспектируя кухню, битый час вчитывался в рукописную абракадабру накладных на продукты. Казалось, майор собрался в дальнюю дорогу и не хочет оставлять дома беспорядок.

После отбоя, вместо того, чтобы выспаться перед завтрашним рейдом, Тайга вышел из гарнизона и заглянул в кафар Палиша. Однорукий хозяин неспешно прибирал пустые столы. За дальним столиком методично заливал в себя пиво Руди Штайер, внештатный корреспондент целого пучка центральноевропейских агентств. Немец давно уже отополинился, осел в Плешине и парнем в общем-то был неплохим, но по роду деятельности умел въедаться в любой чих, как каустическая сода.

— Господин майор! — радостно протянул Руди. — Все считают, я отдыхаю, даже я сам так думал только что. А оказывается, я беру у вас интервью о пропаже оружия в российской мотострелковой роте!

— Нет, Руди, — ответил Тайга. — Ты именно отдыхаешь.

Все уже знают, тоскливо подумал он. Не воинская часть, а информбюро.

Штайер не стал навязываться, пожал плечами и приложился к кружке. И то ладно.

Но спокойно выпить чашку кофе по-плешински Тайге так и не удалось. Едва Палиш поставил перед ним чашку ароматного, пахнущего хитрыми пряностями напиток, дверь распахнулась, и в нее буквально ввалился Салан.

— Вот где вы! — сказал он почти по-русски. — Надо идти, река-берег! Ваш люди нужен, *минерщице* пусть ходит. Скоро-скоро!

Штайер торопливо дохлебывал свое пиво.

— Господин майор, — сказал он, — я могу просто пройти за вами, не слишком приближаясь, но и не спрашивая ничего разрешения. Но мне кажется правильным попросить вас взять меня с собой.

Сонный Вольховский переводил слова Салана, чуть запинаясь, но быстро. Два взвода в полной выкладке по кривым переулочкам старого города спешили к Подвею — гнилым причалам в излучине Тополяны, чуть в стороне от моста.

Пожарного разбудила жена, спящая чутко и первой услышавшая звук лодочного мотора. Чужой катер подошел к мосткам на тихом ходу, без огней. С реки Плешин не освещался, и Салан из-за занавески разглядел только смутные силуэты людей, выгружающих длинные ящики в один из лодочных сараев. Когда катер отчалил, пожарный сразу оделся и побежал за господином майором.

У реки было тихо и туманно. Сарай — не плоская будка на воде, где можно на замок запереть лодку, а высокий длинный ангар с покатой крышей — стоял на сваях, а широким торцом с воротами упирался в глинистый берег.

Сапер провозился минут двадцать. Не обнаружив никаких каверз, вскрыл замки на воротах и осторожно потянул на себя одну створку. Четверо из взвода охраны вошли внутрь.

Руди Штайер тоже рванулся вперед, но его остановили — мягко и решительно.

Прыгающие круги света выхватывали из темноты грязный деревянный настил, за ним — илистое дно под тонким слоем беспокойной воды, рыбацкие сети на стенах, выцветший брезент, накинутый в ближнем углу поверх чего-то громоздкого.

Сапер попросил всех выйти и оставить ему пару фонарей. Еще минут пятнадцать пришлось топтаться на причале, прежде чем снова войти в сарай.

Поверх сдвинутого в сторону брезента лежали «калашниковы» с подствольными гранатометами, колченого раскорячилось «Пламя», четыре пулемета рядом с ним казались детскими игрушками.

И здесь же штабелями высились ящики. С одного сапер уже сбил крышку. Новенькие «аказмы» чешской сборки, затвор к затвору, тускло и масляно отражали свет фонарей. В других ящиках нашлись и патроны, и ручные гранаты, и всякое разное.

— *Множе бранце*, — изумленно прошептал пожарный.

Тайга рассуждал недолго.

— Вольховский, восьмерых человек в охранение. До утра чтобы никто близко подойти не мог. Все, что наше, забираем прямо сейчас. Остальное надо увозить на тот берег, но только не ночью. Завтра займусь сам.

После рейда, хотел сказать он, но при Салане воздержался от лишней болтовни.

Рослый сержант взвалил на плечо автоматический гранатомет. Стоило ему выйти из сарая, как полыхнула фотовспышка.

— Господин майор! — едва не подпрыгивая от щенячьего восторга, из-за оцепления крикнул Штайер. — Несколько слов для прессы? Ну пожалуйста, господин майор!

Роман, показав Салану на ящики с оружием, поднес палец к губам. Пожарный важно кивнул. Тогда они вышли навстречу неугомонному корреспонденту.

— Ваши сведения, как всегда, точны, Руди, — важно сказал Тайга в протянутый ему под нос диктофон. — Десять дней назад имело место хищение оружия из расположения нашей части.

Ты уж прости меня, Рожнов, виноват ты или нет, но сейчас я понавешаю на тебя собак...

— Офицер, ответственный за это происшествие, вскоре предстанет перед су-

дом. В результате проведенных мероприятий нам удалось выйти на след преступников и обнаружить тайник. Оружие возвращается в часть. Вопросы есть?

— Есть, — сказал Штайер. — А что в сарае?

Тайга сглотнул.

— В сарае — засада, — сказал он. — И вы очень обяжете меня, Руди, если эта информация не облетит всю планету в ближайшие сутки.

Когда военные ушли от причалов, Штайер приблизился к солдату, застывшему на краю причала. Тот отрицательно покачал головой и чуть опустил ствол автомата, перекрывая журналисту дорогу.

— Ага, — сказал Штайер. — Засада. Вы бы еще танк сюда подогнали.

Воскресенье

Выехали на час раньше согласованного времени. Не в сумерках, а в полной темноте — четыре пальца гор едва-едва начали прорисовываться на востоке черным по темно-синему. Два «бэтэера» с полным экипажем плюс по восемь солдат на броне.

Предрассветный холодок искал лазейку за шиворот. Тайга сидел, нахохлившись.

Подобные рейды не были редкостью, да только не часто приносили улов. Дырявая сетка пропускных пунктов миротворческих сил, защищающая в основном города, оставляла перемещение местных жителей полностью бесконтрольным.

Информация о спецоперациях утекала в сторону заинтересованных лиц быстрее, чем появлялась. И сейчас, вглядываясь в бледные занавески на окнах домов, Тайга пытался угадать, за какой из них через минуту потянется рука к телефону. Город не спит, вдруг показалось Роману. Ни от одного темного окна не струится сонная нега. Плешин притворяется спящим, плотно закрыв глаза и ровно дыша, — но это только притворство.

Чтобы сохранить хотя бы какую-то внезапность, Тайга хотел добраться до точки встречи со Скаппоне на перевале скрытно — легко сказать, когда бронетранспортер слышно за версту.

Тайга выбрал самый длинный маршрут — сначала на запад вдоль берега Тополяны, потом через холмы, в предгорье, а дальше — по безлюдной местности с внешней стороны гряды, дугой уходящей назад, на юго-восток, и относящейся к итальянскому сектору контроля. Любой другой путь вел через алтинские хутора Горсти, а это было уж совсем ни к чему.

Дорога вскоре стала подниматься, сделала широкую петлю над берегом мерцающей в лунном свете Тополины и углубилась в холмы.

На нешироком лесном перекрестке их ждала неожиданная встреча. Итальянский армейский джип помигал дальним светом, и в сиянии фар появился Скаппоне, блеснув белозубой улыбкой.

— *Sorpresa!* — закричал он. — Роман, ты здесь? Хочу рассказать тебе одну историю. Можешь ехать со мной?

После отъезда Тайги Вольховский вернулся к себе в комнату, разделся и лег, но не успел сомкнуть глаз, как в дверь постучали.

— Товарищ капитан, — громким шепотом позвал дежурный, — вставайте! Там люди у ворот... И поп — вас спрашивает!

На улице у ворот гарнизона молча стояли женщины. Некоторые держали за руку детей. Неестественная тишина пугала.

— Они просто стоят, — прошептал из-за спины дежурный, — уже человек пятьсот, вся улица перекрыта, а идут еще и еще.

Впереди всех замер отец Миклаш. Дежурный открыл калитку и впустил священника.

— Здравствуйте, отце, — сказал Вольховский по-тополински. — Что случилось?

Поп ответил по-русски:

— На весь Плешин — два десятка охотничьих ружей. Пистолетов — и того

¹ *Sorpresa* — сюрприз (ит.).

меньше. Три года люди сдавали оружие под гарантию вашей защиты. Боюсь, сегодня вам придется подтвердить, что это были не пустые слова.

— Что случилось? — Вольховский почувствовал, как где-то в горле прыгнуло сердце.

— Час Плешина пробил, — ответил поп. — Горсть полна «землемеров», и уже к рассвету они будут здесь. Я пришел просить от имени всех горожан: дайте нам чем защитить себя и город.

— Извините, отце Миклаш, это исключено. У нас нет оружейных складов и каких-то запасов. Будьте уверены, если кто-то попытается атаковать Пleshин...

Отце Миклаш подхватил Вольховского под локоть и потянул в сторону от каральной будки.

— Капитан, капитан! Игры кончились, пора делать дело! На Подвее наше спасение лежит бесполезным грузом. Прикажи снять пост, и я обещаю, что к вечеру все вернут назад. Люди давно собраны в дружины, они готовы умереть, если понадобится, — но не как скот под ножом, а с оружием в руках!

— Подождите, отце, кто сказал, что вообще что-то должно случиться?

Поп процедил сквозь зубы:

— А ты воздух понюхай!

— У меня нет полномочий вооружать местное население...

— Не население, а людей, капитан! Живых людей! Есть вещи поважнее Устава и есть приказы, которые ты можешь отдать себе только сам.

Глаза священника сверкали в полутьме грозным огнем.

— Не можешь сам — свяжись с майором, но делай, делай, делай уже что-нибудь! И не надо мне полоскать про «ситуацию под контролем». А то я расскажу тебе, что произойдет. Пока твои бойцы будут держать окраины, уцепившись за три сарая и два амбара, «землемеры» войдут в Пleshин с пяти, с шести сторон, отовсюду. Помощь обязательно придет, но к тому времени город утонет в крови. А «землемеры» испарятся, рассосутся — по оврагам да лощинам до Полуденного перевала, и — ищи ветра...

Вольховский молчал, даже дышать перестал.

— Понимаешь, капитан, я уже видел это — там, за холмами, всего два года назад. После такого удара город уже не возрождается. Кто-то уедет сразу, а те, кто останется, как овцы, собьются в анклав размером в два-три квартала, обмотаются колючей проволокой и будут тупо коротать дни без цели и смысла, кормясь из Красного Креста. Страх превращает человека в животное, капитан.

— Я не имею права отдать вам это оружие, — просипел Вольховский.

— Да не надо нам ничего отдавать! Просто отойди в сторону. Сними пост! — Отце Миклаш вдруг схватил капитана за плечи и встряхнул что есть силы. — Ты чего боишься? За звездочки свои боишься?! Ты же офицер, а не шваль штабная! Ты не хуже меня понимаешь: это *надо* сделать — так что же ты тянешь?!

Внезапно на юге в небе распустились два ярких цветка — красный и зеленый. А потом из-за гор прилетел плохой, неправильный звук — будто одновременно застрекотала дюжина швейных машинок.

— Ну, вот и началось, — отце Миклаш утер со лба испарину. — Твое слово, капитан!

Вольховский непослушной, не своей рукой сдернул с пояса рацию и вызвал группу Тайги. Ответом было лишь громкое шипение статики.

Капитан переключил канал:

— Шестой, ответьте! — с тем же результатом.

— У Салана за воротами грузовик, — сказал поп. — Дай мне с собой офицера.

Из штабного здания выбежал дежурный радист.

— Товарищ капитан, на всех частотах глушат! Пеленг взять не могу — будто со всех сторон сразу!

— Дежурный, «в ружье»!

...Грузовик пожарной охраны с отце Миклашем и лейтенантом взвода охраны умчался к прибрежному схрону, сопровождаемый скрежещущим сигналом боевой тревоги.

Сотник обошел позицию. Все «землемеры» расположились на местах, кто за камнем, кто за деревом, предохранители сняты, стволы обращены к дороге, выпол-

зающей справа из-за отвесного скального уступа, делающей широкую дугу метрах в десяти ниже по склону, прямо перед выбранным для засады местом, и скрывающей-ся слева за другим утесом.

Сотник встал за спиной у гранатометчиков.

— Приготовились.

Лишних слов не требовалось — все действия были согласованы десяток раз.

Гул тяжелых дизельных двигателей постепенно приближался. Наконец, из-за поворота блеснул неяркий свет фар, а затем показалась и машина.

— Стоп!!! — шепотом заорал сотник. — Это не те!

Джип с опознавательными знаками итальянского контингента прошел мимо замерших алтинцев, затем красные габаритные огни стали удаляться.

И в тот же момент одинокая фара высветила белую щебенку серпантина, на повороте появилась черная рыба туша бронетранспортера, а позади него заплясало светлое пятно от еще одной боевой машины.

— Ждать! — вполголоса командовал сотник. — Ждать!

Наконец, итальянский джип исчез за левым поворотом.

Сотник включил рацию и отдал короткую команду. С хребта холмистой гряды взлетели в воздух две ракеты, красная и зеленая, бросая свет во все концы Плешинской Горсти, давая знак всем, кто ждал этого знака.

Из зарослей на склоне к первому бронетранспортеру протянулась дымная указка. Двое или трое солдат инстинктивно соскользнули на землю, остальных огненный мячик взрыва раскидал в стороны, как сухую солому.

Лес ожил. Злые слепящие огоньки расцвели склон.

Горящая машина повела башней, и крупнокалиберный пулемет вырвал из подлеска длинную узкую полосу зелени.

Второй бронетранспортер рывком остановился и сдал назад, загораживаясь скалой, как щитом. Предназначенный ему реактивный снаряд ушел в пустоту и через секунду взорвался где-то на другой стороне ущелья.

Солдаты под командованием сержанта ссыпались с брони и бегом бросились назад по дороге. Затем они свернули в лес, вверх по безлюдному склону, чтобы обойти засаду сверху.

Точно так же поступили и Тайга с итальянцем, обходя нападавших с другой стороны.

Из-под днища горящего «бэтээра», ошалело крутя головой, выполз Охрименко, дотянулся до «калаша» одного из убитых солдат и залег за передним колесом, короткими очередями отстреливаясь по автоматным вспышкам.

Второй бронетранспортер снова высунулся из укрытия и наспиговал склон свинцом.

В роте у Тайги не было случайных людей — все прошли Кавказ и знали свое дело.

Через двадцать минут, в попытке отступить, «землемеры» встретили серьезное препятствие. Удалось ли кому-то вырваться из кольца, осталось невыясненным.

Опасаясь попасть под огонь своих, Тайга вывел людей к джипу итальянца.

— Охрименко! — крикнул Роман, осторожно выходя по дороге назад, к горящему бронетранспортеру. — Жив, нет?

В наступившей тишине стало слышно, как шумит вода в ручье на дне ущелья.

— Та шо мне станется, товарищ майор? — прилетел голос в ответ. — Я бы вам по рации сказал, так вы ж трубку не берете!

Две группы объединились и сосчитали потери. Минус шесть, и трое легкораненых, и полыхающий «бэтээр». Второй машине тоже досталось — снаряд взорвался под передним колесом, и без тягача ее было не вытащить.

Пятерых бойцов Тайга отрядил проверить склон. Скаппоне вызвался забрать раненых.

— Я пытался вызвать моих ребят, Роман, но в эфире сплошной шум. В джипе не хватит места для всех вас, но я доберусь до перевала, и мы вернемся на бронемашинах.

Откуда-то из-за холмов, со стороны Плешина, ветер донес звук сильного взрыва.

— Не надо, — сказал Тайга. — Лучше вам сейчас с места не двигаться — непонятно, где сейчас что. Выстави дозорных и жди нас на перевале. Здесь по прямой, через гряду, будет километра два. Мы быстро. И попытайся вызвать подмогу.

Скаппоне как-то неопределенно кивнул и повел раненых к подъехавшему джипу.

На углу Кухарьской и Пришана, у руин фонтана, из открытого кузова пожарного грузовика Салан и два его сына раздавали оружие.

Плешинцы были торжественно мрачны и сосредоточены, подставляли открытые ладони, принимали автоматы как знак доверия. Нервно распахивали по карманам и засовывали под ремни запасные рожки.

— Болех, Агна! Вашими десятками закроете птицеферму и гаражи, — командовал пожарный. — Тривиц, веди своих к водокачке. Чем-нибудь завалите дорогу, чтобы мышшь не проскочила! Мален, на тебе старая школа — прикроешь русских с фланга...

Старый часовщик терпеливо отстоял очередь и выпросил снайперскую винтовку.

— Зачем она тебе, отец? — увещевал Эзру младший сын Салана. — С таким зрением — куда ты сможешь прицелиться?

— Молодой человек, — спесиво отвечал часовщик, — впредь не путайте слепоту с дальностью. Я вас умоляю, от автомата у меня будут трястись руки, а вон то ружье с большим прицелом и пара коробок патронов — это как раз то, что подойдет старому Эзру как нельзя лучше — он же всю жизнь только и делает, что смотрит в лупу!

Постепенно толпа редела, каждый получал свою задачу и исчезал в предрасветном сумраке.

— Папа, — негромко спросил Салана старший сын. — А что с этими?

Чуть в стороне, не обособленно, но и не вперемешку с остальными, стояло несколько человек. Пекарь Надим, без чьих рогаиков в Плешине не начиналось утро. Дакуц, учитель словесности, соавтор первой алтинской энциклопедии. Бакенщик Растома, агроном Фере и еще добрый десяток алтинцев.

Пожарный непонимающе взглянул на сына:

— С кем — «с этими»?

И крикнул бакенщику:

— Растома, у нас не закрыт подвесной мост через Суховраг! Задача ясна?

Шадо, основатель и предводитель движения «землемеров», считал своим долгом лично возглавить поход на Плешин. Презирая опасность и случай, сейчас, как и всегда, он шел впереди своего войска, не уступая королям древности.

Началось все с неразберихи. Цветные ракеты, известившие о том, что русский дозор попал в засаду по ту сторону гряды, взлетели в небо на сорок минут раньше расчетного времени, когда «землемеры» еще не вышли на позицию для атаки.

Верные люди в южном и северном Плешине надежно перекрыли радиоэфир и по-тихому оборвали телефонную связь долин с внешним миром. Правда, теперь нападающая сторона тоже не могла координировать свои действия. Но Шадо был уверен, что Ишта, возглавляющий вторую ударную группу, сориентируется по ходу дела.

Из алтинских хуторов, два десятка которых было раскидано по восточной стороне Горсти, выехали автобусы, грузовики, джипы и пикапы, наполненные разношерстной публикой, армией «землемеров». Из тайников извлекалось оружие, десятниками и сотниками раздавались боеприпасы, проводился последний инструктаж.

Около полудня ушло на то, чтобы разрозненные потоки слились в один, нацеленный на Плешин. Даже с учетом того, что дорога петляла, повторяя замысловатый узор Горсти, до города было не более четверти часа езды.

Водители машин в колонне держали минимальную дистанцию. Все «землемеры» знали, что перевес на их стороне, — и понимали, что без боя Плешин не сдастся. Прийти и раздавить, раз и навсегда, — каждый мечтал воплотить это в жизнь.

Внезапно скорость колонны упала.

Посреди дороги, широко расставив ноги и подняв вверх левую руку с пучком вербовых веточек, стоял священник. Полог черной рясы трепетал на ветру, открывая взгляду ношенные кирзовые сапоги.

Первая машина до последних метров держала скорость, но черная фигура на пути не шевельнулась. Джип затормозил, поднимая пыль.

Шадо приоткрыл дверцу, выпростал руку с дробовиком и встал на подножке джипа, возвысившись над святым отцом на полкорпуса. Украдкой он бросил взгляд влево и вправо — нет ли кого в заваленной ветками канаве, не блеснет ли оптика в придорожных кустах.

По правде сказать, человек в рясе не слишком-то походил на священника. Шадо отметил и свернутый набок нос, и не раз рассеченные брови, и мясистые уши в диковинных заламах.

— День добрый, отец, — сказал Шадо. — Прошу, посторонись! Время раннее, а до обедни еще надо дожить.

— Мир вам, дети мои, — зычно пробасил священник. — Время прощать обиды и время быть прощенными. Светлый день для всех нас!

Шедшая до сих пор ровным строем автоколонна за спиной Шадо сжалась в гармошку.

— Новая жизнь нарождается! — громыхал святой отец. — Идите домой к своим женам, несите радость детям и спокойствие родителям, пусть полнится ваша чаша и будет жарким очаг. Не нужно крови в светлый день!

Шадо загривком почувствовал, как за спиной нарастает шепоток. Священник поперек пути — к добру ли такой знак? Среди тех, кого удалось снарядить в этот поход, предводитель по-настоящему мог положиться от силы на два десятка преданных бойцов, использовать пару сотен, а остальные — хвост, инертная масса, мясо — годились лишь на то, чтобы мостить собой путь к независимой Алтине.

— Отойди с дороги, отце, — почти ласково повторил Шадо. — Это не твоя война, и незачем тебе ввязываться в мирские дела.

— Я отце Миклаш, — ответил тот, — священник прихода церкви Рыбаря Пришана, что в Плешине, на южном берегу Тополины. И нет такой войны, что не была бы моей.

В середине колонны самые нетерпеливые вылезали из машин и пробирались вперед — посмотреть, кто посмел задержать шествие «землемеров». Холодный металл в руках, вороненые стволы, лягз затворов — все это приятно щекотало нервы, и то тут, то там перекачивались мелкие волны смешков.

— Кайтесь! — гремел над толпой бас отце Миклаша. — Замыслив недоброе, отмолите грех! Услышите свою совесть!

— Вы перед кем рты раззявили? — пронзительно крикнул кто-то из третьей или четвертой машины. — Какой он святой отец, если даже толком по-нашему не говорит? Отце Миклашу показалось, что он узнал этот голос.

— Остановитесь, пока не запоздало! — пробасил он, чувствуя, что не успевает вспомнить все слова, как надо, и оттого становится смешным. — Вернитесь в разум! Люди!..

Сухой треск выстрела оборвал его речь. Отце Миклаш пошатнулся, опустил голову, глядя, как у левой ключицы пыльная поношенная ряса промокает черным.

Над полем повисла странная полутушина — все замолчали разом, и вокруг разлился гул дизельных моторов, перемешанный со стрекотом цикад.

— Нельзя, — прохрипел отце Миклаш, роняя веточки вербы в пыль. — Бог не с вами сегодня. Уведи!

— Не тебе решать за меня, ряженный! — как мог громко ответил Шадо.

Коли это не поп, так нет и спроса.

Из открытого кузова четвертой машины, круглобокого грузовичка, Халим выстрелил одиночным еще раз. Священника толкнуло назад, но он снова устоял, глядя лишь на Шадо.

— Так принимай же ключи от Плешина, — отце Миклаш вытянул перед собой дрожащую правую руку.

Прежде чем Шадо осознал, что за медные проволочки нанизаны на палец священника, их обоих не стало.

Семь противотанковых гранат, скрытые под рясой, породили взрыв, перемоловший головные машины. Ударная волна, ослабевая, прокатилась во все стороны, оставляя за собой неподвижные и корчащиеся тела.

Бегом, без остановки, до кислого пота, до черноты в глазах.

Тайга прыгал с камня на камень, поднимаясь впереди своих бойцов. Добраться до хребтины, а там до перевала останется всего ничего, только с горочки спуститься.

Они выкарабкались на плоскую макушку холма и, наконец, увидели Плешин.

— Привал две минуты, — приказал Тайга, нетерпеливо настраивая бинокль. — Рогалин, связь!

Радист припал к наушнику:

— Шум, товарищ майор. Один шум.

Охрименко встал рядом, сощурился, приложил ко лбу ладонь козырьком, хотя солнце еще не показалось.

К городу с востока по широкому полю, как мухи, ползли машины. До холмов вполне отчетливо долетал речитатив сотен автоматов, тяжелая пулеметная дробь, силпый вой минометов.

— Суки, суки, суки!.. — Охрименко сжал голову руками, согнулся, сел на корточ-

ки. — Та какие же с-суки, подумать боюсь! Ведь алтинцы же отовсюду сюда пришли, товарищ майор! Как через дуршлаг — через французов, через англичан, через всех! Ведь эти суки просто закрыли глаза, так?!

— Не кипятись, лейтенант, — Тайга шарил биноклем по восточным предместьям Плешина, пытаясь разглядеть, на чьей стороне преимущество.

Дур-рак, клял он себя, какой же дур-рак! Оставить целый арсенал, бесценный неучтенный клад, безо всякой пользы валяться в тухлявом сарае! Слишком, слишком много машин, автобусов, грузовиков ползло по полю в сторону города. Сколько «землемеров» могло вот так собраться вместе, чтобы в открытую штурмовать город? Пятьсот? Не надо себя обманывать, их не пятьсот и даже не тысяча. Против ста стволов и трех «бэтээров» гарнизона.

— Конец привала. Бегом — арш!

— Связь, связь, связь... — твердил Вольховский несчастному радисту, уже только что не с головой влезшему в станцию. — Дай мне пеленг, дай мне хоть что-то.

— Товарищ капитан... — на молоденьком сержанте лица не было. — Нет связи! Уровень шума такой, словно рядом РЛС работает.

Лампа дневного света замерцала с неприятным синеватым оттенком. Как в море, подумал Вольховский. В гарнизоне осталось меньше взвода — всех пришлось выдвинуть навстречу приближающейся с востока угрозе. Бронетранспортеры до времени скрылись среди хозяйственных построек, по дворам предместья, спешившиеся солдаты рассредоточились по огородам. «Два амбара, три сарая», вспомнил Вольховский слова отца Миклаша.

Из динамика станции лился ровный, чистый, мощный белый шум. Что-то было связано с этим, какое-то воспоминание. Пеленг... Пеленг.

И Вольховский вспомнил. Еще в училище он слышал, что можно спаять простейшую штуку: один конденсатор, одно реле, всего пять-шесть деталей. Втыкаешь такую заглушку в сеть. На положительной фазе конденсатор заряжается, а в начале отрицательной выплевывает в сеть накопленный заряд. Очень коротким импульсом, в несколько наносекунд. И так пятьдесят раз в секунду. А здесь, в Тополине, все шестьдесят — евростандарт.

В любую розетку — на кухне, в сарае, под лестницей, дома или на заводе, куда угодно, — ты суешь такую штуку и получаешь глушилку с антенной длиной в сотни метров, а то и в километры — насколько тянутся от твоей розетки до ближайшего трансформатора обычные электрические провода. Точечные импульсы раскладываются по спектру в равномерный фон, белый шум, с мощностью сигнала, недоступной ни одной радиостанции... И такой приборчик быстро не обнаружишь. А если их два? Пять? Пятьдесят?

Вольховский хотел сказать об этом сержанту, но сверху пришел пронзительный, рвущий уши свист, и пол встал на дыбы, как норовистый конь.

Держась за стену, часовщик Эзра по узкой винтовой лестнице поднялся на самый верх центральной башни замка. Здесь было свежее, чем внизу. Утренний ветер беспардонно трепал одежду.

Эзра прислонил снайперскую винтовку к щербатому белокаменному мерлону и отдышался. Из большой хозяйственной сумки он последовательно извлек раскладной табурет с матерчатым сиденьем, клетчатый плед, четыре коробки патронов, шерстяные перчатки с обрезанными пальцами. Из сумки выскользнул и упал под ноги старику свернутый кусок шелковистой ткани. Эзра, кряхтя, наклонился за ним и убрал обратно.

— Мир не видел такого напыщенного болвана, Эзра! — сказал он, аккуратно усаживаясь на табурет перед смотрящей на юг бойницей, закутываясь в плед и надевая перчатки. — Выклянчить у занятых людей такой серьезный инструмент!

Он бережно взял винтовку в руки, снял с предохранителя и дослал патрон в ствол. Снял очки, неловко просунул ствол в бойницу, уперся прикладом в плечо, а глазом прикинул к окуляру прицела.

Три глубоких заросших бузиной оврага втыкались в Плешин с юга, как вилы в солому. Под сенью серебристых ветвей двигались люди Ишты, лучшие воины из числа «землемеров». Невидимые постороннему взгляду, они беспрепятственно миновали предместье.

Звуки выстрелов с восточных окраин города уже давно слились в сплошную канонаду. На ближнем алтинском хуторе проснулись два миномета, и снаряды с визгом пронесли над оврагами в сторону русского гарнизона.

Ишта раздвинул ветки и осмотрел края оврага. Перекошенные заборчики, черные грядки, одуванчики.

Суховраг, так называлась эта лощина, выходил на огороды окраинной улицы, к дровяным сараям и теплицам, обтянутым драным полиэтиленом.

Ишта поднял над головой ракетницу. Белая лампа зависла над южным Плешинном.

Изо всех трех оврагов «землемеры» хлынули в город.

Их встретили.

Полуденный перевал был горным лугом, стометровой полосой ровной земли между двумя грядами — пологой с запада, откуда вышел Тайга со своими бойцами, и более скалистой с востока, уходящей к Пальцам и дальше, в горную часть Алтины. Дорога с севера, из Плешинской Горсти, уходила через перевал на юг и вскоре троилась, расходясь во французскую и итальянскую зоны, и опоясывая Горсть снаружи — там и остались бронетранспортеры Тайги.

Скаппоне нервно расхаживал у джипа. Несколько итальянцев суетились над ранеными русскими, разматывая бинты из индивидуальных пакетов и неумело оставившая кровь. Если где и стояли часовые, то уж точно не там, откуда вышел Тайга. Две кургузых бронемашин стояли кормой друг к другу, по крайней мере, контролируя луг в обе стороны.

— Есть связь? — издали закричал Роман.

Итальянец развел руками.

— Охрименко, за старшего! — Тайга первым выбрался на дорогу.

Скаппоне пошел ему навстречу.

— Ты видишь, что там происходит? — Тайга ткнул пальцем в сторону Плешина.

— Привал, хлопцы, — скомандовал Охрименко.

— Роман, связи нет, — Скаппоне выглядел понуро и буднично, будто и не бежал полчаса назад по сумеречному лесу, рискуя схлопотать пулю из-за любого куста. — Наш транспорт к вашим услугам. Сейчас же грузимся и едем в наш гарнизон. Через полтора часа будем там.

Тайга даже замотал головой:

— Ты что говоришь?! Куда ехать? Посмотри на север — там же война!

— Только непонятно кого с кем, — ответил Скаппоне. — У меня нет инструкций для данной ситуации, нет связи. Это ваша зона контроля, юридически мы не вправе проводить операции на вашей территории. Я имею в виду, на контролируемой вами территории Алтины.

— Тополины, — мрачно поправил Роман. — Тополинской федерации. Мне все понятно, господин капитан. Ваша логика безупречна.

— Товарищ майор! — вдруг не своим голосом заорал сержант. — Рация! Плешин на связи!

Город, атакуемый с юга и востока, оцетинился, как еж. И нападавшие, и защитники Плешина дрались вслепую, каждый на своем клочке земли, не зная и не понимая, что происходит за углом, на соседней улице, за соседним домом.

По брусчатке Кухарьской и вниз, к реке, к бывшему мосту, промчался штабной «уазик». Вольховский приложил к лицу какую-то тряпку, чтобы кровь с иссеченного лба не заливала глаза.

На набережной, неподалеку от разрушенного пять лет назад моста, капитан остановился у трансформаторной будки, двумя выстрелами сбил замок и распахнул дверь.

Вошел внутрь, пригляделся и начал опускать вниз рубильник за рубильником, оставляя Плешинскую Горсть без электричества...

Халим, занявший место Шадо, развернул машины широкой цепью по непаханому еще после зимы полю, подпирающему Плешин с востока. Так он рассчитывал нащупать брешь в позициях русских, но все пошло иначе. Каждый дом, каждый амбар, каждая поленица огрызнулась автоматным огнем, и строй «землемеров» дрогнул.

Несколько машин завязли в земле по ступицы, и их пришлось бросить.

«Землемеры» рассредоточились по полю, залегли, но подниматься в атаку из подобной позиции было бы равносильно самоубийству.

Два тяжелых бронированных джипа, позаимствованные для сегодняшнего дела у «авторитетов» в алтинских городах, прорвались до первых домов, но там получили по несколько гранат и теперь коптели небо.

Попытка прорваться вдоль реки тоже не дала ничего, кроме потерянных машин и людей.

Быстро войти в город не получилось, и Халиму оставалось только перестреливаться с русскими и ждать, что люди Ишты ударят с тыла...

А Ишта в это время бежал по пустынной улице, всаживая короткие очереди в каждое окно и едва успевая менять рожки. От его людей не осталось и четверти.

Им удалось прорваться только через Суховраг, перебив на своем пути всех до единого. Но среди поверженных врагов Ишта увидел только алтинцев, и это было страшно. Он бежал по улице впереди своих людей, стреляя во все стороны, по каждой тени, но казался себе маленькой, ничтожной букашкой, ползущей по стеклу, в то время как сверху за ней следит огромный, мутный, весь в старческих прожилках глаз.

А когда пуля из ниоткуда опрокинула его в грязь, то лишившиеся предводителя «землемеры» остановились, и сначала кто-то один бросился назад, к спасительному оврагу, а потом еще один, и еще...

На восточной окраине бронетранспортеры, до этого стоявшие в глубине дворов, выкатились чуть вперед и за минуту сократили автопарк «землемеров» на пять единиц. Ответный залп дал результаты — один «бэтээр» задымился и встал, но это уже не могло изменить общей картины. Кому повезло, те догоняли уходящие машины, цеплялись за борта, прыгали на подножки; кому нет — тем предстояло самостоятельно решать, как добраться до гор.

Шум в эфире стоял страшный, но сквозь помехи можно было разобрать:

— Шестой, отзовитесь, Шестой...

— Здесь Шестой, — закричал Тайга, — кто на связи?

— Капитан Вольховский! Товарищ майор, город атакован, периметр держим, где вы?

— Володя, ты слышишь меня? Схрон, где мы часовых поставили... Сними пост, пусть дружина Салана заберет оружие! Срочно!

— Так точно! — странно ответил Вольховский. Не «Есть!», не «Слушаюсь!», а «Так точно!»

— «Бэтээры» не на ходу, — сказал Тайга, — со мной пятнадцать человек, мы на Полуденном перевале...

В этот момент бронемшины итальянцев пришли в движение.

— *Скаппа, Скаппоне! Дай!*¹ — заорал Тайга, вдруг вспомнив словечко из кривцовского досье.

И бросился наперерез джипу, вопя уже по-русски:

— Беги, трусливая макаронина! Сиди в своей задрипанной пиццерии, нагуливай брюхо, трави байки! Жри свою паннакотту с профитролями!

Машина затормозила, едва не ударив Романа бампером по ногам.

— Что ты хочешь от меня? — зло крикнул Скаппоне. — Кто ты такой, чтобы меня останавливать?

— На мирный город, — Тайга ткнул пальцем в сторону Плешина, — напали вооруженные люди, намеренно и организованно. И они попытаются скрыться с места преступления — через этот перевал. Помогите перекрыть им путь!

— У меня нет такого приказа. Разговор окончен.

Скаппоне махнул рукой водителю. Тот сдал назад и объехал Романа.

— Капитан! *Нэй секоли федэле!*² — крикнул Тайга вслед, и вдруг джип остановился.

Несколько секунд Скаппоне сидел, опустив голову, сгорбившись, будто его ударили в солнечное сплетение. Потом обернулся и укоризненно покачал головой.

Вышел из машины. Оглядел пологие лесные склоны, дорогу, рассекающую луг, зачем-то посмотрел на небо.

— Слишком просторно, — сказал он. — Слишком мало людей. Эту дорогу не перекрыть.

¹ Scappa, Scappone! Dai! — Беги, Скаппоне! Давай! (ит.)

² «Nei secoli fedele» — девиз итальянских карабинеров.

— Вызови своих, — сказал Тайга. — Связь вроде появилась. Вызови французов. Вызови всех. Миротворческие силы атакованы. У тебя вполне понятный повод.

Истекали последние мгновения тишины.

За пятнадцать минут не возвести инженерных сооружений, не построить баррикаду в сто метров длиной. Можно отрыть полукоп саперной лопаткой, но в такой местности толку от него — чуть.

Тайга обошел позиции всех бойцов, вспоминая подробности предрассветного боя. Фланги не удержать в любом случае, значит, задача — продержаться до подхода подмоги. Скаппоне сказал, полтора часа. Значит, теперь уже час десять.

Хорошие ребята, подумал он сразу про всех — и про своих, и про итальянцев. Никто не задает лишних вопросов: зачем мы здесь и что пытаемся защитить в чужой стране.

Удачно, что есть возможность сделать это? Пожалуй, да!

Удачно... Это слово вдруг вернулось к Роману прохладным ветерком. Удача так благоволила ему в последние дни. Потерялось оружие — и тут же нашлось. Да еще и с довеском в несколько сотен стволов. Поехали наркоторговцев ловить, а вышли в тыл вооруженной банде...

Тайга верил в удачу, но не доверял случайным стечениям обстоятельств. А то, что рассказал Скаппоне, пока по «бэтээру» не залепили из гранатомета, лишь подтверждало: случайностей не бывает. В странном человеке, наблюдавшем за «землемерами» в главном городе французской зоны контроля, нельзя было не узнать Кривцова. Такой же следователь, как Охрименко балерина.

Мысль, что его, майора Тайгу, дергают за веревочки, подводя к каким-то решениям, сначала показалась унижительной. Что они хотели, все эти кривцовы? Передать «ничейное» оружие тополинцам? А если бы его, Романа, утром убили в горах, тогда что? Кто отдал бы такое распоряжение? Хотя, наверное, капитана Вольховского и уговаривать не пришлось бы... Кто-нибудь да остался бы за крайнего и, если что, ответил за преступный приказ...

Чисто, не подкопаешься, в три слоя замазано... Сначала можно сказать, что никакого «конфискованного» оружия не было — только то, что вернулось в гарнизон. Его и видел-то один Салан, наверное. Докажут, что было — так чье оно? Таких стволов — от Зимбабве до Гондураса... Конфискат — на то и конфискат, на этот вопрос можно просто не отвечать. А кто раздал его гражданским? Майор Тайга по собственному разумению... За что и направлен в звании младшего лейтенанта служить в места, созвучные его фамилии...

Нет, не о том думаешь, Тайга! Ты что, жалеешь, что велел отдать оружие плешиинцам? Ни секунды! Так сочти за счастье, что твои внутренние желания «совпали» с интересами твоей страны. А то, что рот у страны заклеен, что не смеет она сказать вслух, чего хочет... Значит, сумей догадаться сам! И ответственность бери на себя.

Пыльные столбы на дороге — внизу, в Горсти, — возвестили о том, что время раздумий истекло. Тридцать? Сорок машин? Остатки «землемерской» банды.

Тайга ободряюще помахал итальянцу, расположившему своих карабинеров в подлеске на противоположном склоне. Тот не ответил — наверное, не увидел.

Когда Эзра выпустил последний патрон, то понял, что руки перестают его слушаться. Он оставил винтовку, привалился виском к холодному камню мерлона и закрыл глаза.

А потом поднялся, надел очки и долго смотрел с башни, как выбираются из города и отступают, уезжают, бегут крохотные человечки и как другие человечки бегут за ними вслед, и стреляют, и первые падают...

Часовщик аккуратно сложил плед и хотел убрать его в сумку. Но ему снова попался сложенный в несколько раз кусок ткани. Эзра достал его и осторожно развернул. Флаг Тополины средних размеров, из тех, что в ходу у футбольных фанатов, затрепетал в его руках.

Флагшток на башне, пустовавший несколько лет, совсем заржавел. Колесико, удерживающее тонкий тросик, провернулось со скрипом.

Эзра посмотрел на свои дрожащие пальцы и стал искать, с какой стороны у флага завязки.

Тайга лежал, упершись макушкой в живот итальянца. Вместе с сознанием вернулась боль. Роман попробовал пошевелиться и понял, что руки заломлены за спину и связаны накрепко чуть ли не в локтях.

Не продержались. До последнего казалось, что шансы остаются. И когда одна за другой лопнули, как тыквы, бронемшины карабинеров. И когда замолчал пулемет Охрименко, выставленный сильно выше основных позиций для прикрытия фланга.

Дорога из Горсти превратилась в свалку горящего железа, луг и подлесок пестрели крапинами неподвижных тел.

Даже когда не осталось никаких позиций, когда все тревожно затихло с итальянской стороны, а на этой завязался ближний бой, смертельные пятнашки в пронизанном солнечными лучами утреннем лесу, то все еще казалось: отобьемся!

Не отбились.

— Будь спокоен, — сказал Тайга итальянцу, — они обменяют тебя на... на...

— Хорошая шутка, — сказал Скаппоне. — Расскажу ребятам при случае.

Они лежали в подлеске, на крутом восточном склоне. То тут, то там раздавались одиночные выстрелы — «землемеры» деловито добивали раненых солдат.

— Знаешь, Роман, — негромко сказал итальянец, — произошло что-то странное. Слишком быстро, в один момент, все изменилось. Были лоскутки, а стало одеяло.

Бредит, подумал Тайга. Но спросил:

— Это хорошо или плохо?

— Посмотрим.

С юга донесся клекот тяжелых пулеметов.

— *Ке фортуна!* — воскликнул Скаппоне. — Горлышко все-таки заткнули.

Рядом раздался хруст ломаемых веток, послышалась крикливая алтинская речь. Грубые руки взяли Тайгу под мышки, поставили на ноги. Удар прикладом между лопаток подсказал направление дальнейшего движения.

Итальянца вытолкнули вперед. Приятно было увидеть его нахально задранный подбородок и торжествующую улыбку.

— Слышишь, Скаппоне? Ты настоящий... — сказал Тайга и, не найдя подходящего слова, просто повторил: — *Сэй веро.*

В салоне первого класса уже работали кондиционеры, хотя самолет еще не начал движение.

Человек в изящном светло-бежевом костюме опустил в кресло и молча пожал руку столь же элегантно одетому соседу.

— Поздравляю, Виктор Маркович, — сказал тот. — Чувствую, скоро сравняемся в звании.

— Я бы не загадывал, — улыбнулся Кривцов. — А что, есть предпосылки?

— А то! Плешин устоял. Итальянцы ввязались в бой, час назад в открытом эфире вызвали подмогу. Тут и французы откликнулись, куда бы им деваться? Думаю, все путем.

Кривцов согласно кивнул.

— Толковый майор у нас там. На своем месте человек. Надо будет как-нибудь поощрить... через военное ведомство.

Стюардесса принесла на маленьком подносе графинчик ледяной водки, две рюмки и блюдечко тонко нарезанных маринованных огурцов.

Виктор Маркович предложил тост за несокрушимую Российскую армию. Его коллега не возражал.

Над лесом прошел французский вертолет с кругами-мишенями на каждом борту и выпустил куда-то вдаль длинную бессмысленную очередь.

Халим вел своих людей к Пальцам, по самому краю Плешинской Горсти. Окончательно уйдя от перевала, поднявшись высоко вверх, «землемеры» сделали передышку.

Халим орал, выплевывал плененным офицерам в лицо презрительные и угрожающие слова. В равной степени не зная ни тополинского, ни алтинского, Тайга мог лишь предполагать, о чем кричит «землемер». Скаппоне, похоже, вообще задумался о чем-то своем.

Увидев, что ни тот, ни другой пленник не понимают его, Халим сосредоточился, а потом сказал по-английски:

— Какая жалость: нет времени занять меня вами. Я обещал, и я выполню. Жалко, что быстро.

Полуобернувшись к своим бойцам, он сделал странный жест рукой, будто снял крышечку с заварочного чайника, и ответом ему был хищный восторженный рев. Двое, не дожидаясь дополнительных указаний, бросились прочь вверх по склону.

— *Душа за пташа*, — по-волчьи оскалив верхние зубы, нарочито разборчиво произнес Халим.

При этом он внимательно и неотрывно смотрел Тайге в глаза.

Хрен тебе, подумал Роман. Он постарался сохранить каменное лицо, хотя сердце затрепетало, заартачилось, размазалось в груди бесформенным безвольным комком.

Какое-то время спустя пленников погнали вверх по тропе.

Тайга едва удерживался от того, чтобы рухнуть на землю, крутиться ужом, не давая поднять себя, пытаясь отсрочить хотя бы на минуту, хотя бы на секунду... Но брел вперед, уставившись в затылок итальянцу, — будто плыл до буйка.

Как же хорошо, что я не один. Прости за такие мысли, Скаппоне, лучше бы уж тебе сидеть в своем солнечном Таранто, пить сладкие сицилийские вина, жрать морских гадов с макаронами, а не вот так... И все же — как хорошо, что я сейчас не один...

Они вышли на широкую прогалину. Влево уходил пологий склон, постепенно закругляясь и превращаясь в обрыв. Сквозь редкие ветки деревьев было видно долину, сизые столбы пожаров, цветную мозаику Плешина.

Две осины тугими дугами пригнулись к земле, притянутые к корявому корню старого дуба толстой капроновой веревкой. С макушки каждой осины свисало по петле.

Тайга почувствовал, что ноги совсем отказываются повиноваться. Его ткнули в спину, и он едва не упал.

Соберись же, подумал Тайга. Осталось всего ничего. Это может выдержать даже ребенок! Он вспомнил каменного мальчика — чуть нахмуренные брови, сжатые в несостоявшейся улыбке губы, взгляд исподлобья — и почти успокоился.

Их вытолкали на середину поляны, к змеящимся в траве веревкам.

— *Роман, guarda: бандьера!*

Итальянец пристально смотрел за спину Роману. Тайга обернулся и понял Скаппоне без перевода. Сквозь дрожащий утренний воздух, плотными слоями плывущий над оврагами и буераками Плешинской Горсти, над серо-красным панцирем крыш далекого города замерцала крошечная цветная искорка — кто-то поднял флаг над центральной башней старого замка.

Три десятка бойцов Халима собрались полукругом.

Пленников поставили на колени, а ноги сзади придавили тяжеленным стволом поваленного дерева.

Икры и ступни быстро занемели. Роман почти не почувствовал, как молчаливый алтинец накрутил на лодыжках грубые узлы, а свободными концами веревок обмотал и без того туго стянутые запястья.

Халим самолично надел пленникам на шею петли и затянул их, насколько смог. Громоздкие узлы под подбородками напоминали курчавые бородки вавилонских царей.

— *...ти прэгьямо, фино алла каза дэль Падре...* — слышался Роману еле уловимый шепот итальянца.

— Летите в ад, — сказал Халим.

Тайга мысленно протянул закопченную каменную руку к ножнам павшего воина и намертво сомкнул пальцы на холодном эфесе сабли.

Халим вынул из-за пояса широкий, каким рубят капусту, нож, зашел пленникам за спину, примерился и ударил по веревке, удерживающей осины, отчего та запела как тетива.

Тесак «землемера» оказался недостаточно острым. Халим лупил и лупил им по непослушным волокнам, с каждым ударом обрывая по несколько нитей.

А когда веревка с треском лопнула и осины взметнулись в стороны, то освобожденные души Тайги и Скаппоне рванулись вверх, в ослепительное небо, вместе с трехцветным флагом Тополины.

Марина Кудимова

Неразрывный пробел

Из цикла «Красота»

1

Я умирала от болевого шока...
Как это было — нет, не *давно!* — *далеко* —
Не *далеко*. Хотя уж так далеко,
Что вспоминать об этом — и то легко.
Мужество? Что за блеф! Я кричала, выла, —
Только на это и оставалось силы, —
Волосы липли, как водоросли, к лицу.
О как прекрасно, когда красота не властна,
А в безобразии более нет соблазна,
Гордости нет и спеси, — дело к концу!
Сутки я выла, и двое, и трое суток,
Каждую паузу, интервал, промежуток
Между каленьем, *околеваньем* зря.
Полным сознаньем, наитием, откровеньем,
Чистою Благодатью, ангельским пеньем
Сопровождался скрежет зубовный, большая пря.
Ох уж мне этот библейский зубовный скрежет!
Страха давно не внушает, а ухо режет,
Монстр фонетический, жупел переводной.
Только когда из себя его исторгаешь,
Душу, еще живую, навек пугаешь,
Как эмбриона анестезирующей иглой
Перед абортом... Так и душа, ручонкой
Загородясь, в своей рубашонке тонкой,
В коей, как говорится, и родилась,
Мечется, утомляясь сверхсильной гонкой,
Как красота, над телом теряет власть...

2

Так и вижу девочкою с серсо,
Простоволосой и не вельможной...
Иногда кажется: тебе можно все!
А все ли можно?..

Ты — насущный хлеб
на последний грош,
Луч в решетке острожной!
Иногда кажется, что ты — лжешь,
И тогда — тошно.

Скудоумы сличают твои черты
В Лувре или Прадо.
Иногда кажется: несравненна ты!
...А как же правда?

Самодурский бзик,
золотой ранет,
Лукуллово брашно...
Иногда кажется, что тебя — нет!
И тогда — страшно...

Неразрывный пробел

Корректор ставит знак вопроса,
Верстальщик морщится — беда!
И так-то кос, и смотрит косо,
И ну поди пойми — куда.

Хватается за парабеллум
Неистовый полиграфист
И неразрывным жжет пробелом,
Хоть по натуре пацифист.

А ты с радушием зулусским
Как есть приемлешь все, что ест
Тебя же, и пробелом узким
Избыток метишь узких мест,

Шарахаешься оробело
Да шапку жамкаешь в руке,
Чуть неразрывного пробела
Мелькает вешка вдалеке.

А за тобой трусит от века
Тень колченогая твоя.

Чего боишься ты, калека?
Забвения? Небытия?

Да неужели будет хуже,
Чем было, — после стольких слов?
Да неужели место уже
Найдется для твоих мослов?

Ткань дестовая огрубела,
И для победного конца
Лишь неразрывного пробела
И не хватает спрехвальца.

Он установит котировку
И обеспечит хлеб да соль...
А ты пиши свою диктовку,
Глаза верстальщику мозоль.

А там, глядишь, дойдет до дела —
До неразрывного пробела.
Пиши, пиши: «...и рады мы
Проказе матушки-Чумы!»

* * *

Если дождь идет шестые сутки,
И при этом вы не во Вьетнаме,
Трудно засыпать «под шум дождя».
Но по узкогорловой побудке,
По натекам на стекле и раме
Можно, никуда не выходя,
Уловить порядок допотопный,
Что-то воссоздать или образить,
Пролопатить заскорузлый слой
До младенческой воды укропной,
До тепличной первородной грязи,
До первоосновы нежилой.

С армянского. Перевод Марины Кудимовой

Сона Ван

* * *

дед-священник
с девяти до шести
доказывал
что Бог есть
потом брал передышку

отец-физик
с девяти до шести
доказывал
что Бога нет
а потом
верил секретно

тетя
хранила любовные письма
в потертом Евангелии
между страниц Откровения

она читала Священное Писание
и писания своих возлюбленных
с одинаковым выражением на лице
в то и в другое веря напололам...

созерцание тетиной темной улыбки
через замочную скважину
не давало ответа
из какого источника
она черпает спасение днесь

мать
(едва не забыла)
у нее не было времени
ни на веру
ни на неверие
она была вечно занята созданием
чего-нибудь из ничего
в полном молчании

я...
наследую дедову веру во время работы
отцовскую веру после работы
тетину улыбку
и руки матери

Сона Ван — поэт и врач-психотерапевт. Родилась в Армении, в семье известного физика. Окончила Ереванский мединститут. С 1970-х живет в США, в Лос-Анджелесе. Издатель (с 2005) армянского литературно-художественного журнала «Нарцисс». Стихи пишет только на армянском, автор 4 поэтических сборников. Сона Ван сегодня, пожалуй, один из самых читаемых авторов в Армении. Ее стихи переведены на грузинский и украинский языки. В Москве готовится к изданию книга лирики Соны Ван «Параллельные бессонницы» в русских переводах.

* * *

ищушим Бога
я указую
точку маминого дома
как будто
называю адрес музея
где хранится
святыня

на глазах изумленных зрителей
мать совершает одной рукой жест фокусника
а другой как платок из пустоты достает
пурпурный лаваш наш насущный

для неверующих он бесплотен как воздух
и пока мы обследуем хлеб
мать
поворачивается внезапно и смотрит в профиль
как половинка Бога

мне осталось найти
лишь вторую Его половину

Бессмертие?..

я не боюсь просроченного молока
страшусь
дней жизни
с использованным сроком годности
от них скисает
память

бессмертие?..

смерть
к месту назначения поспевшая
и снявшая симптомы тошноты...

счастье
в ботинках
десятого размера...

В деревне

за шалости бабушка порой
сажала меня девочку в курятник

переждав немного
я выпрыгивала из заточения
пестрые куры венчали меня
перьевым венком
и бабушка с трудом сохраняла серьезность

что-то бормоча она щипала курицу
как ромашку
когда выясняют
любит — не любит
незаметно косясь на последнее перышко

улучив этот миг я влетала в бабушкины объятия
нежданно пущенным мячиком
и шептала уткнувшись ей в грудь
любит — не любит... ба?..

зардевшись и оглядевшись
она стряхивала меня как застуканного воришку

все это время дядя (он был атеист)
мерно кивал головой и на полном серьезе
как учитель красным карандашом
исправлял ошибки в Евангелии
задирая гордую бровь

в стог сена прятала я ночами
дядин карандаш
и дедову трость

Как меня зовут

когда ноябрьский день
вдруг возвратится в лето
и нищий странствующий музыкант
гитары струны
кончиком пальца
щекотнет

ты
вопреки себе
придешь
и спросишь
как меня зовут...
но значенья не имеет
имя нищего

значенья полны
теплые ладони и дерзкие пальцы
тебя создавшие
задолго до того
как ты пришел

когда устанет свет
когда день конца ноября
неуловимо напомнит
летний день

придешь
и вмиг узнаешь
как меня зовут

День стирки

как дивно солнечно...

умаянный святой
от делать нечего висит на турнике
веревки бельевой

правее от святого
качает взад-вперед
свою невинность
моя ночнушка
с глубоким декольте

и солнце припекает...
о... стирки славный день

* * *

предупреждал
отец
— дитя мое
уж если вправду
слова ты сочиняешь каждый день
будь осмотрительна...
слова
в гордыню впад
живут себе своей отдельной жизнью
влезают в душу
в веру и в судьбу...
запомни дочь
уж если поначалу
и было что-то
это было слово

— неосмотрителен был
(так ведь па?..)
тот сочинитель слова сатана...
ведь вон как обернулось...

я осмотрительно
с тех пор
слагаю песни
из слов испытанных и безупречных

...перед каждым новым словом
я трепещу
во имя Божие

* * *

с чего бы эта радость...

сама не знаю

проснулась и
вольна
в библейском выборе

хочу и вышагну
хочу и взмою

земля как небо
невесома

что делать мне?

как поступают
в подобных случаях
счастливые сверх меры...

нет чтоб ответить

ты пальцем указательным обводишь
мой лоб
и нос
и губы...
и вдруг приходишь
к выводу прозревших

— какая ты небесная
разве вот так

проходит каждый
прекрасный день
в раю недостижимом

— какая я... небесная

бесполом
мультяшным ангелом
стою в ночи
стрелой себе почесываю спину
и голову задрыв
смотрю на звезды

земля как воздух
или невесомей

хочу
и взмою...

Рада Полищук

Лапсердак из лоскутов

Три фрагмента новой книги

ЛОСКУТ ИЗ НЕПРИГОДНОЙ для шитья ВЕТОШИ, которую если не отдали какому-нибудь случайному нищему прохожему (потому что знакомому, пусть даже он в обносках ходит, предложить такое в перелицовку и перекройку недопустимо стыдно); если не пустили на половые тряпки (что дело совсем непростое, требующее разумного подхода, чтобы тряпка и положенный срок отслужила и никаких посторонних следов не оставляла, и выкручивалась легко и сохла быстро, то есть всегда была в полной боевой готовности под рукой у радивой хозяйки, которая все ее достоинства оценить сможет); словом, если не нашли никакого мало-мальски практичного применения, но все же не выбросили в помойку, значит, непригодная ветошь имеет еще какой-то дополнительный признак, продлевающий ее в любом случае брэнную, недолговечную функцию на этой земле, другими словами — не бесполезна вовсе, как не бесполезен всякий человек, какой бы дурной ни была его натура, тем паче — ничего насквозь дурного нет в этом мире, а может, даже и в целом мироздании...

Месяц за месяцем, уже весна перетекла в лето и жара пала на город, едва забрезжит утро, они одновременно, будто сговорились заранее, распахивают двери своих халуп в дальнем углу двора, всегда погруженном в тень старого, многое повидавшего на своем веку каштана. Двери, яростно скрипя несмазанными петлями, летят навстречу друг другу и с грохотом сталкиваются, производя во дворе неурочный оглушительный шум. И скрип, и шум, усиленные гулким эхом, прячущимся по углам и щелям двора-колодца, шарахаются от стены к стене, от окна к окну, залетают в форточки, проскальзывают за занавески.

Жильцы привычно вздрагивают, преждевременно просыпаются в своих постелях, не имея такого осознанного намерения, привычно незлобно чертыхаются про себя, тяжело переворачиваются на другой бок, пытаюсь снова провалиться в спасительный сон, еще не успевший раствориться до конца в предутреннем обманном свете. Это старики, уравновешенные, тихие, безмятежные, которые, по счастью, составляют большинство обитателей старого дома на углу двух неказистых кривоколенных переулков, зигзагом уползающих то ли в завтрашний день, то ли во вчерашний.

Есть, конечно, и другие, смешно было бы утверждать обратное. Их, по счастью, всего двое — в первом, полуподвальном этаже, и в третьем, подчердачном. Эти только и ждут хоть какой худой зацепки, чтобы облегчить душу скандалом. А тут и искать ничего не приходится: каждое утро в назначенный час начинается с ритуального дебоша.

Снизу, из полуподвала, — взбалмошная бессемейная старуха Клавдия, со своей грудной жабой, с которой носится, как дурак с писаной торбой, всем в нос тычет по любому поводу и без, даже кичится ею, потому что больше ей решительно нечем похвастать перед соседями и скудной отдаленной родней, избегающей по возможности общения с нею. С каждым годом сама все больше на жабу похожая, Клавдия, забыв обо всем на свете, орет, что есть мочи, до хрипоты, до удушья, до сердечного приступа, сладко и удовлетворенно отходя после, рассасывая под языком нитроглицерин и обмахиваясь засаленной, круто скрученной газетой, которой ловко, почти без промаха бьет мух направо и налево.

Под чердаком, не торопясь, в предвкушении потехи готовится вступить в бой потомственный шпана и смутьян во дворе, пробу ставить негде, Федор-чокнутый, сын Федора и внук Федора, один другого стоят, кто помнит, тот знает, о чем речь, а кому не довелось, пусть радуется, что обошло стороной никчемное это знание, липучее, как мухоловка.

Федор молча, с нескрываемым азартом швыряет через распахнутое настезь окно заранее заготовленные дальнобойные снаряды — помятые, источающие тошнотворный гнилостный запах помидоры, из которых даже добрая хозяйка при особом рвении не смогла бы приготовить ничего пригодного к употреблению, вконец испорченный продукт. Но Федору ради такого дела — не жаль, и не для кулинарных радостей собирает он по рынку эти отбросы в холщовый мешок, который взбухает от созревших в нем помидоров, и красная густая жижа расплзается вокруг и тяжелыми каплями падает на пол в парадной зале, потому что удобнее всего стрелять именно отсюда — точный баллистический расчет. Правда, следует признать, — ни одного попадания не случилось ни разу, да это и невозможно, слишком далека цель. Федор это знает, для него здесь, как для настоящего олимпийца, важна не победа, а сам факт участия в потехе. Другого интереса у него нет.

Только дворничихе Варюхе от всей этой катавасии выпадает лишняя работа — отмывать каждое утро плиты двора от томатных ошметок, как от крови после побоища. Да она уже и не ропщет, смирилась — не совладать ей одной с этим утренним необузданным бешенством и работу свою справляет с удовольствием, с улыбкой и песней, как в кино, ей ведь в самом деле не в тягость лишний раз помыть-поскрести, только чище будет. И двор ихний, между прочим, как раз по чистоте первое место занимает во всем квартале не один десяток лет, это вам — не хухры-мухры. Варюхина довоенная фотка до сих пор висит на Доске почета в домоуправлении, сама себя не узнает в глазастой и вихрастой девахе, вывернувшей губы в улыбке с такой удалью, что и десны и все зубы видны. Теперь только пять осталось, и те на задворках, поэтому Варюха держит губы бантиком и когда поет, и когда улыбается, даже говорить пытается с сомкнутым ртом, но это не часто случается — не с кем, да и не о чем. Все, что интересно было когда-то, она про себя давно продумала, кое-что уяснила в своем понимании, а что-то в сторону отодвинула, чтобы мозги себе не портить.

Теперь, в старости, в церковь исправно ходит, слушает батюшку, подолгу слушает, ноги от тяжести свинцовыми делаются, а она все стоит, словно ждет чего-то, может, боженку увидеть хочет, убедиться, что он есть и ее, Варюху, приметил за прилежание и усердие понять его божий промысел. А может, просто — тепло тут, свечи красиво горят, голос у батюшки мягкий, умиротворяющий, и люди вокруг, каждый со своим горем и радостью, и лики со стен смотрят ласковыми влажно-печальными глазами, будто сочувствуют ей, рабе божьей Варваре. Благодарь.

А во дворе у нее работа, которая ей ничуть не в тягость, не в унижение, привычная работа.

Жильцы, что помоложе, вовсе стараются не замечать всю эту явно затянувшуюся дворовую каждодневную кутерьму, а может, и впрямь не замечают, имея крепкий здоровый сон, от вечера до утра, до своего часа, до будильника, а если кто и в курсе происходящего, не придает серьезного значения, у всех свои интересы, куда более насущные и важные, чем стариковская возня на пустом месте. Да и кому, если положить руку на сердце, нужно это старичье, никчемное, ничье, как тряпье старое на заборе, мода такая пошла — вместо того чтобы в помойку выбросить, развешивать на заборе: а ну, кому сгодится для какой-нибудь надобности. Смехота и только. Ветошь — она ветошь и есть, что тряпье, что старичье.

Так думали многие, но стариков не трогали, не задевали. Может, тому причиной

старые выгоревшие гимнастерки, обвешенные медалями, в которых молча коротали они День Победы на своих скрипучих табуретах в дальнем углу двора. Может, тихий перезвон медалей при каждом вдохе и выдохе, при натужном протяжном кашле и неосторожном движении, перезвон, невнятно напоминающий то ли военный марш, то ли похоронный. А может, еще что, кто знает.

Таков был внешний расклад.

А сами виновники события, старики-погодки Иван и Янкель, Ваня и Яня, как звали их сызмальства, закадычные друзья-соседи, живущие за стенкой-перегородкой с хорошей звукопроницаемостью, провоцирующие ежеутренне весь последующий тарарам, с кряхтением и стонами долго и тяжело усаживались на скрипучие табуреты каждый у своей двери и застывали, как изваяния, в одинаковых позах, опираясь подбородками один — на деревянный костыль, верх которого, что трется под мышкой, обмотан старой, никогда не стиранной, почерневшей от пота и пыли марлей, другой — на самодельный, ловко обтесанный деревянный посох, без которого не мог пройти и двух шагов.

И костыль, и посох изготовил собственноручно Ваня, из них двоих один умелец, а после поделился с другом, отдал ему посох, видя, как тот мается, волоча за собой как обузу никчемную парализованную левую ногу. Яня к посоху приспособился не сразу, но все же в движении стал шустрей и не так боялся упасть. Они тогда еще тесно общались меж собой, ни у того, ни у другого ближе не было собеседника.

Это позже, под самый почти конец жизни, у них непримиримое расхождение случилось на религиозной почве. Вот именно что не на национальной, вот именно. Что Янька — еврей, жид, а Ванька — русак, кацап, они знали с самого детства, как и все во дворе. Ну и что с того — эка невидаль: и жидов, и хохлов, и кацапов, и греков, и татар, и цыган, и всякого другого люда во дворах водилось несметно. Не разберешь, кто есть кто, да и ни к чему было до поры.

Потом пошли аресты тридцатых годов, массовые собрания в поддержку политики партии, даже малограмотное население, тупея от непреодолимого, почти животного страха, выступало с искренним и яростным осуждением врагов народа, какое бы обличье те ни принимали — хоть отца родного, хоть брата, хоть свата. Потом грянула война народная, священная и смертельная, воистину смертельная, где все нации гуртом на смерть шли ради великой общей победы, никто на них тогда специальные бирки не вешал.

Сколько людей сгинуло, до сих пор на миллионы ошибаются, сосчитать не могут. А нации все ж таки после войны разделили — вклад каждой в процентном отношении высчитали, для чего-то понадобилось.

Миллион — это ж сколько людей: не только солдат на полях брани, а стариков немощных, детей несмышленных, девиц невинных, молодух в соку, дамочек в шляпках с перьями и муфточками, в фельдиперсовых чулочках и башмачках на каблучках — училок, врачей, артисток. И каждый свою жизнь хотел прожить как можно лучше, мечтал, терзался своими муками, радовался своим радостям, любил, строил планы, завидовал, в бога веровал, слепо, бездумно, для успокоения души или отрицал его, будучи атеистом и по рождению, и по воспитанию, а все же и заповеди соблюдал, не трактуя так свое поведение, и приметам придавал большое значение, и чуда какого-то тайком от всех, да и от себя самого ждал до самого конца, пока глаза не смежались с последним вздохом — и исчезающий проблеск сознания: может сейчас? там? или уже — здесь произойдет то самое главное, ради чего терпел изо дня в день эту жизнь, вот — сейчас и здесь?

А перед лицом насильственной, мученической смерти душа от страха и неотвратимости разлетается на мелкие осколки, из которых уже ничего не собрать заново, или воспаряет из ямы, или выпархивает из труб крематория ввысь, где светло, безбрежно, привольно и нет памяти о прошлом, даже если оно только-только настало? Нет ответа. Человек — существо сложное, многомерное, никто не знает, о чем думает он, вступая в смерть.

Миллион — туда, миллион — сюда! Ни на каких счетах не раскидаешь. Страшно подумать. А евреев шесть миллионов сожгли и расстреляли просто за то, что евреи, толпами, тысячами вели на убой, как скотину. И некому было защитить, отбить и

отомстить оказалось некому. Так и лежат костями и пеплом, по разным городам и странам, не похороненные по чести, по правилам, не оплаканные, не отмоленные.

Ваня и Яня часто и подолгу рассуждали обо всем этом, пытались постичь глубинный, не поддающийся разумению смысл страшной трагедии, которая мало кого обошла стороной. И кто виноват во всем? Кто должен ответ держать перед будущим? Кто-то же должен. Иначе — никак нельзя. Говорили много, и получалось вроде, что Ванька особо болезненно переживал все, и еврейскую трагедию в том числе.

Может, из-за Яньки. Тоже ведь еврей, а Ванька его любил, как брата родного, и готов был защищать везде и всюду. И защищал, тем более что хилиак Янька вечно попадал в какие-нибудь истории — неумный борец за справедливость и всеобщее равноправие, наивный, как дитя малое. Ванька и защищал его, как маленького, даром, что ли, на год старше был.

А на войне Янька его от смерти спас. Несколько часов, а казалось — вечность, тащил то на себе, то волоком до медсанбата через жидкий, простреливаемый на перехлест лесок, весь изрытый воронками, полными ледяной талой воды, сам весь мокрый — и от усилия, и от воды, и от страха, что Ванька умрет без медицинской помощи. Несколько раз ему чудилось, что уже и умер дружок его, что тащит он бревно тяжелое, потому что Ванька перестал шевелить руками и ногами, а то все силился помогать ему, и Янька покрикивал притворно-сердито:

— Не рыпайся, силы береги, сам справлюсь.

Вот он и перестал рыпаться. А все же не помер, успел Янька его врачам сдать, почти бездыханного, но живого. И сам чуть не оочурился, шесть часов кряду проспал прямо во дворе госпиталя, где Ваньку у него из рук с трудом вырвали — пальцы скрючило от напряжения и холода, долго потом отходили, думал — уж так и останутся. Потом Янька — снова в бой, а Ванька на больничной койке в долгом беспмятстве оживал помаленьку. Как ожил, догнал свою роту и вместе войну довоевали, как вместе и начали.

А когда вернулись домой, выяснилось, и здесь судьба к ним одинаково повернулась — задом. Нежданно-негаданно. Оба одиночками оказались, при живых женах. Обоим жены рога наставили, пока они воевали за них и за родину, рискуя погибнуть каждую минуту, веря в победу и последующую долгую мирную жизнь без страха, грязи и боли, без разлук, ожиданий и слез, может быть, и не легкую, но непременно счастливую. Жить в своем доме, с любимой женой, детишек нарожать, в профессии определиться — все, пожалуй, никаких особых притязаний у них не было.

Но не тут-то было. Мечты, даже самые незамысловатые, не всегда с явью сходятся.

И Ваньке его баба изменила, с чужим мужиком сошлась, причем — с тяжело раненным евреем танкистом, которого буквально из рук смерти вытащила в военном госпитале в Абдулине, где она, учительница младших классов, на санитарку переучилась, и такая любовь про меж них случилась, на крови и зловонном дыхании смерти замешанная, что прямо вросли друг в друга — не отодрать. Его Фрося, его лебедушка длинношеяя, тихая, нежная, как дитя, на войне он грезил о ней всегда — и с закрытыми глазами, и с открытыми, ее прохладная ладошка касалась его лица, отгоняя сон и смерть, потому что, если она рядом, он обязательно будет жить. Она держала его за руку, голова ее лежала на его плече, когда уже раздалась команда «по вагонам!!!», на перроне все зашевелились, заплакали, загремел военный оркестр, а Фрося все шептала ему тихо в самое ухо:

— Я всегда буду с тобой, Ванечка, всегда, и ты вернешься, ты обязательно вернешься.

Вот он и вернулся.

И Янька вернулся тоже.

И его Фрида отчубучила не хуже Фроси — сошлась с одноруким узбеком, замначальника автобазы в Ташкенте, комиссованным по инвалидности из-за отсутствия правой руки выше локтя. Сошлась при живом муже, который ей письма слал с фронта при каждом удобном случае, про любовь в стихах писал, про весну и про звезды, складно так, как заправский поэт, и засушенные цветы полевые вкладывал, чтобы ей приятно было. Чем ее этот узбек околдовал, чем Янькину беззаветную любовь пере-

шиб и их с Фридой взаимное тяготение друг к другу, неистовое, до бешенства, до обморока, — не постичь, не понять, не исправить...

Ах Фрида, Фрида. Раскрасавица чернокудрая, горячка неприступная, по которой Янька сох чуть не с детства, по пятам ходил за ней, след в след, будто под гипнозом, стихи в альбом писал, как молодой Пушкин, цветы каждое утро на подоконник клал, только Ванька знал, что по ночам рвет их на клумбах в ЦПКиО. Одним словом — взял Янька Фриду свою измором, и такая странная любовь у них случилась, не любовь — болезнь, малярийная лихорадка, буквально трясло обоих, то страсть косила наповал, не могли насытиться друг другом, то расшвыривало в разные стороны — бежали безоглядно прочь, долго бегали, пока не падали, теряя последние силы, в объятия друг друга. И так — снова, снова и снова. А когда на войну провожала, в ногах у Яньки валялась и кричала:

— Прости меня Янек, Янечка, родненький ты мой, прости!

— За что простить-то? — озадаченно талдычил вконец потерянный Янька, склонившись над ней. — За что?!

Ни ответа не получил, ни поднять Фриду не удалось, все шел, озирался, а она кричала вдогонку — прости, прости, прости. Будто предчувствовала, что будет за что на коленях прощение вымаливать.

Ну что тут скажешь — неприглядную картину застали Ваня и Яня, вернувшись с войны. Не встретили их жены, жили вдали от дома с чужими мужиками, детишек нарожали, Фрося — двух мальчиков, Фрида — двух девочек, как сговорились. И что особенно смешно: русская — от еврея, еврейка — от узбека. Полный интернационал.

Так война распорядилась. В те годы все на войну списывали — она и разлучница, она и сводница, кого опустила не по справедливости, кого вознесла до небес без всякой причины и повода, кого вовсе стерла с лица земли или непоправимо изуродовала и покалечила. Но это не обсуждается — это ее вина: когда в танке горел, на mine подорвался, руки-ноги оторвало, обгорелым обрубком вместо человека стал — ничего не попишешь. И слов других не найдешь — война проклятая.

Они, Ванька и Янька, целехонькими из этой кровавой бойни выбрались, а любимые жены предали — как с этим жить?

На всю оставшуюся жизнь бобылями остались, предательство жен все кишки разворотило, как разрывной снаряд. Так и не оправились от увечья. Не то чтобы женщин игнорировали как класс, нет, конечно, крепкому зрелому мужику так не прожить. Но в серьезные отношения не вступали, отдавая дань должного уважения всем женщинам: и молодым послевоенным вдовам, хранившим верность мужьям до самого конца, до похоронки, а то и годы после, и просто тем, кто не дождался своей бабьей доли, опять же из-за войны проклятой — не хватало на всех мужиков, даже калеки были нарасхват. Жалели всех женщин Ваня и Яня, очень жалели, но дальше этого дело не шло. Любовь не случилась ни разу. Не позабыл Ванька свою Фросю, а Янька Фриду свою — ну что тут поделаешь, на все воля божья.

Наверное, так.

В общем, жили, мало-помалу привыкли к своему холостячеству, тем паче — почти не расставались, только на работу в разные стороны разъезжались, а так все — вместе и вместе. Все делили пополам. Когда послевоенные посадки начались и снова на евреев накат пошел, Ванька сказал:

— Я тебя как самого себя знаю и всюду об этом скажу, если потребуется: какой ты бесстрашный герой, патриот страны и верный друг. Не бойсь. Верись мне?

Еще бы Яня ему не верил — они во время войны на крови поклялись в дружбе до гроба. Он сам за Ваньку жизнь готов был отдать. Только ведь коснись чего — кто бы стал их спрашивать. Слава богу, это лихо обошло их стороной. А может, бог и ни при чем.

Но кто-то же был вершителем судеб, кто-то крутил колесо фортуны.

Так и состарились Ваня и Яня бок о бок, плечом к плечу, к одной стенке по ночам прижимались, как когда-то в землянке, только теперь с разных сторон, каждый в своей комнате, в своей постели. И все об одном и том же говорили — кто виноват и кто ответ держать должен. Только однажды Ваня потревожил Яню вопросом:

— А где ваш бог еврейский был? куда смотрел? Отворотил лицо свое от чад своих — почему?

Этот вопрос неизбежный, страшный, все мозги опутал паутиной, которую не разорвать, не распутать, — Яня и сам себе запрещал думать об этом и боялся услышать со стороны. Ванька задел его очень сильно, будто нож в сердце вонзил. Яня хотел ответить, но вместо этого глухо застонал, в голове что-то щелкнуло — и он потерял сознание.

Когда в себя пришел, увидел над собой Ванино лицо, не сразу узнал — глазницы и щеки ввалились, и такая тревога в глазах, такая печаль, что Яня чуть не расплакался, и в груди потеплело, и смерть отступила, на этот раз Ванька ее пересилил, не дал ему умереть, вытащил, как он его когда-то с поля боя.

Но когда заговорил Яня, сам не знает, почему, вместо слов благодарности и дружеской привязанности, вдруг выкрикнул, резко и непримиримо:

— Нет никакого бога, нет, ни еврейского, ни татарского, ни русского. И слышать больше об этом не хочу, и говорить об этом не буду! Нет бога!

Прикрыл глаза от слабости, а когда открыл, увидел, что Ваня стоит на пороге палаты, смотрит на него с жалостной укоризной и состраданием одновременно.

— Тогда нам больше вообще говорить не о чем, — с усилием выговорил Ваня.

— Значит, не о чем, — повторил Яня, пересиливая тяжелое удушье, будто чья-то рука сжала горло и не отпускает.

«Вот и хорошо, вот и отлично, — задыхаясь, подумал Яня, — больше и сам себе не задам этот вопрос, и ни от кого не услышу. Отмучился, наконец».

Он даже улыбнулся, закрывая глаза.

Домой Яня вернулся ранней весной, только-только почки на деревьях проклюнулись. Привезли его санитары на машине военного госпиталя, где пролежал он еще около месяца после того, последнего разговора с Ванькой.

Жили каждый сам по себе. К Яне приходила женщина из социальной службы, помогавшей участникам войны. Ванька покрепче был, справлялся сам.

По утрам, не изменяя давней привычке, ровно в семь тридцать утра выползали они из дома, с грохотом отворяя двери, так, что весь дом вздрагивал. При этом каждый не хотел признаться себе в том, что основной побудительный мотив ежеутреннего демарша — узнать, жив ли сосед, не случилось ли чего, может, помощь нужна неотложная. Они и по ночам прислушивались к привычным шорохам, стомам, кряхтению, к любому звуку за перегородкой, весь смысл ночных бдений сводился к одному: есть звук — есть жизнь. Главное — не пропустить тишину.

Во дворе, успокоившись и водрузившись на свои табуреты, Ваня и Яня замирали в неподвижности надолго, как в детской игре в «замри». И зрачки застывали, устремленные в одну точку, будто перед камерой фотоаппарата. Только «отомри» сказать некому, и птичка из объектива не вылетит, они это давно уяснили и друг над дружкой посмеялись за простодушную доверчивость не мальчишек уже, а почти что отроков. Тогда они впервые в жизни зашли в фотоателье, сфотографироваться на документы — для рабфака.

Вся жизнь утекла с той поры...

А теперь вот сидят, уставившись в одну точку, и рядом, и вместе с тем — порознь, и оба страдают. Размолвка вышла. С Ванькой, другом неразлучным, почти что братом, с которым все в жизни делили поровну и в мирные годы, и в военные, когда четыре года сапогами месили снег и тонули в болоте, и пузом вжимались в теплую пашню, ползли и шагали, и снова ползли, и понимали друг друга не то что с полуслова — без слов. А из-за чего размолвка вышла, сказать и смешно и грешно одновременно: Ванька на старости лет религиозным заделался. Ванька — религиозным! У Яньки от такого преображения друга буквально мозги набекрень сбились.

А Ванька крестился, в церковь стал ходить, духовника завел и подолгу с ним беседовал. Янька подозревал, о чем: хотел решить все нерешенные ими вопросы или хоть как-то приблизиться к сути и сущности всего непонятого. Только без него, без Яньки, и он страшно ревновал Ваньку, стыдясь признаться в этом самому себе.

Хотя не станет кривить душой против друга — тот его звал с собой, звал. Хочешь, говорил, в церковь ходить вместе будем, хочешь — иди в синагогу, к своим, к

равнину. Я свою Библию читаю, а ты свою читать будешь. Разницы никакой — несть эллина, несть иудея, сказано. Да нам ли с тобой этого не знать, Янька? И поверь мне, говорил, — с Богом в душе жить легче, не то, что на него все свалить можно, все грехи свои, все ошибки, обиды, сомнения, беды. И требовать от него ответа — за что, почему так со мной? Нет, я совсем о другом...

И глядел куда-то вдаль, напряженно прищурившись, словно уже видит что-то, что подслеповатому Яньке с катарактой обоих глаз разглядеть не дано.

— Нашу Библию называют Торой, не знаешь, не лезь, — огрызнулся Янька.

А про себя подумал: «Ну что ты к нему прицепился, сам ничего не знаешь. Тора, Тора... Когда ты ее видел в первый и последний раз? Вспомни...»

Сердце дрогнуло и вспомнило то, что давным-давно позабыл он, будто в темный глубокий колодец провалился, а там, на дне, — светло, тепло, дедушка Исай, Саюшка, сидит вот так же, как он сейчас, на табурете возле двери своего дома, на коленях у него — раскрытая толстая книга в черном переплете, на самом кончике тонкого носа с горбинкой сидят старые круглые очки с веревочками, зацепленными за уши. Дедушка читает, безмолвно шевеля губами, и водит указательным пальцем руки по строчкам — справа налево.

Янек подбирается поближе к нему, подсовывает голову под локоть свободной дедовой руки и, заглядывая в лицо, спрашивает:

— Очки как держатся, на веревочках?

— Да, дитя мое, так.

— А если порвутся?

— Привяжу новые.

— А читаешь книгу?

— Да, дитя мое.

— Я тоже хочу, почитай мне.

— Ты будешь читать другие книжки.

— Я хочу эту.

— Я бы тоже хотел, чтобы ты читал эту книгу, но у тебя будет много других.

— Как называется эта?

— Тора, дитя мое, ступай, ступай, не отвлекай меня.

Когда через несколько лет хоронили дедушку Саюшку, Янек попросил отца:

— Подари мне Саюшкину Тору.

— Нет, сынок, — твердо ответил отец и добавил, как дедушка: — У тебя будут другие книжки.

И он читал, много читал, но никогда Тору. И никогда не вспоминал о ней, вот только сейчас пронзило острое любопытство, как тогда в детстве, — что там написано, в этой книге, которую дедушка Саюшка читал изо дня в день, из года в год? Да поздно уж, поздно — и мозги не те, и катаракта. И вообще — ни к чему.

Это Ванька — дотошный, всегда был дотошным, во всем хотел разобраться досконально. Яня наоборот — не желал ничего ворошить, копать, докапываться до истины. Все, что могло произойти в его жизни, уже произошло, ни в его и ни в чьих силах повернуть дорогу вспять, переставить фигуры и сыграть вместо драмы комедию. Да он и не хочет никуда возвращаться, ничего переигрывать и переосмысливать, отгородился от прошлого высоким глухим забором — ни подсмотреть, ни подслушать.

Только два вопроса не оставляли его, терзали душу.

Один — личный.

За что предала его Фрида? Хотя и это осталось по ту сторону забора. Она просто умерла тогда, в сорок пятом, и он, как мог, прожил без нее долгие годы, выкорчевывая из души все воспоминания. Только от ночных видений избавиться не смог, когда шелк ее волос, и бархатистая нежность кожи с горьковатым полынным запахом, и губы, пухлые, сладкие, сводили его с ума, — не помогали ни водка, ни снотворное, ни другие женщины, ласковые, добрые, преданные, но все равно чужие, не нужные ему. Не им придумано — сердцу не прикажешь.

Один — от имени всего еврейского народа.

За что бог наказал ни в чем не повинных евреев? А если окажется, что в чем-то пред ним виноваты, — то все равно: кто дал ему такое право? Или о боге так нельзя? Тогда он вообще не хочет о нем говорить, категорически не желает.

Так и сказал Ваньке в больнице, пряча за раздражением свои сомнения и муки:
— Нет никакого бога, нет, ни еврейского, ни татарского, ни русского. И слышать больше об этом не хочу, и говорить об этом не буду! Нет бога!

Как накликал на себя: совсем потерял речь после очередного удара, в результате которого вскоре и умер. И уже не видел, не понимал, как беззаветно Ваня ухаживал за ним, с полной отдачей всех сил, будто не провожал в последнюю дорогу, а выхаживал для новой жизни, в которой расцветут пышно, красиво и заплодоносят все несбывшиеся Янькины мечты.

Может, Ваня и верил в это, Бог православный Иисус Христос помог. А Яня все порывался сказать ему: Иисус-то — из наших, из евреев. Да не получилось, не смог.

Ваня сам обмыл, по-своему, как понимал, тело своего закадычного друга Яньки, надел на него чистое исподнее, вылинявшую гимнастерку с медалями, уложил на узкую кушетку возле общей стены, через которую бессонными ночами тревожно прислушивался к Янькиному тяжелому дыханию, подложил под голову подушку, подбил, поправил, чтобы Яньке поудобней было, накрыл до пояса белой простыней, сложил на груди холодные застывшие руки, вспомнил, как Янька рассказывал про свои скрюченные пальцы, и слезы потекли по впалым небритым щекам. Присел в растерянности к столу, не понимая, что делать дальше.

Он хотел похоронить Яньку, как положено, по-божески, на еврейском кладбище, с молитвой. Только как подступиться — не знал, а родственников у Яньки не было.

Пошел за советом к духовнику своему, отцу Борису, думая о том, как причудливы дороги судьбы.

Отец Борис, Борька Шелякин, тоже сосед, довоенных детских лет, самый отъявленный сорвиголова, зачинщик дворовых авантюр, кумир всех мальчишек и беда мам и бабушек, годам к пятнадцати похоронил отца, через год мать, остался старшим над четырьмя сестренками, мал-мала меньше, сразу повзрослел, вымахал сантиметров на восемь за одно лето и вскоре выехал со двора со всем своим семейством, куда — никто не знал, и потеряли его из вида. Первое время вспоминали Борьку часто, и как ни смешно покажется — даже мамы и бабушки. Скучно без него стало всем. Потом столько всего случилось, что забыли и про Борьку, и про детство, да и мало осталось тех, кто мог помнить.

Только после войны, долгие годы спустя, встретил его Ваня на улице — высокого, стройного, в сутане, с длинными, вьющимися по плечам седыми волосами. Не узнал, но остановился, пораженный удивительным светом его глаз, на мгновение показалось, что слепнет, даже прищурился и тут услышал голос:

— Здравствуй, Ваня, благослови тебя Господь, сколько лет-зим не виделись. Давай присядем тут, рассказывай.

На деревянной скамье возле трамвайной остановки они просидели до темноты. Моросил дождь, толпились люди, трамвайный звон то и дело заглушал слова, но Ваня говорил и говорил, о чем — не мог вспомнить, и не замечал ничего, кроме просветленного лица Борьки и его сияющих глаз.

Сейчас отец Борис помог ему найти Эльку Когана, тоже пацаненка из их двора. Элька, которого теперь величают Элиягу, хорошую память имел, потому не смог бы отказать Ване ни в какой просьбе, да только тот к нему никогда не обращался. Дед Эльки задолго до войны был раввином в синагоге, это, конечно, не афишировалось, но тайну знали все, даже мальчишки. За это ли или потому, что в очках ходил и был отличником в школе, Эльку не только дразнили почем зря, но и поколачивали — он был мальчиком для битья по любому поводу. Только Ванька за него заступался, именно Ванька, а не Янька, что очень характерно — заступись Янька за своего, вроде и сам такой же, а ему не хотелось, он хотел быть как все.

Элька все устроил. Место нашел на еврейском кладбище, там же прощальный обряд провели по всем правилам. Ванька слушал молитвы на древнееврейском языке, слез не удерживал, плакал в открытую, казалось, понимает каждое слово, а откуда-то снизу, как из преисподней, едва различимо, но пронзительно кричала Фрида — прости, Янечек, прости! И Ваня шептал одними губами:

— Прости ее, Янька, прости, как я простил Фросю, свечи ставлю, теперь уже за упокой ее души, а Фрида жива, отпусти ты ее с миром — прости.

Он видел, как просветляется Янькино лицо, как склоняются над ним ангелы, ему показалось, что под камешками, лежащими на веках, у Яньки слегка задрожали ресницы, — понял, значит, и согласился. Ах, раньше бы, раньше! Не было бы этих ударов на нервной почве, на почве неприятия его, Ванькиного, стремления к Богу, его, Ванькиной, дотошности в желании все поставить на свои места, навести порядок в метущейся душе, умиротвориться.

Ведь тоже мучился, сомневался, маялся Янька, оттого и огрызался. Ванька это сердцем чувствовал.

Ах, раньше бы, раньше!

На могиле постояли молча втроем — отец Борис, Борька Шеляков, Элька Коган, Элиягу, через деда своего не утративший веру праотцев иудейских, и Ванька, потерявший единственного друга своего, осиротевший навсегда, потому что Янька был частью его самого.

Потом Ванька остался один. Долго стоял, спешить ему было некуда, уже начало темнеть, когда он собрался уходить, тихо перешептывались листья на деревьях, что-то жужжало, стрекотало, дятел стучал неподалеку, одна за другой вспыхивали звезды. На душе вдруг сделалось тихо, покойно, почти безмятежно. И показалось вдруг, что кто-то, склонив голову на бок, благосклонно наблюдает за ними.

Жаль, что Янька этого не видит.

ЛОСКУТ ИЗ ФАЙДЕШИНА,

решительно не пригодного для лапсердака,
 разве что платочком в наружный карман вложить,
 а лучше — во внутренний: и к сердцу поближе, и от глаза стороннего сокрыто, от насмешек и въедливых вопросов,
 только для себя, для души,
 потому что — от маминого нарядного платья отрезал уголком
 и сам, неумело, как смог, обшил краешек с обтрепанными нитками,
 чтобы не сыпались;
 при этом поглаживал ткань шершавыми пальцами,
 нежно, как мамину руку,
 и каждое прикосновение сопровождалось
 гулким ударом сердца, подпрыгивающего вверх, к кадыку,
 трепещущего в гортани, отчего ему казалось,
 что он сейчас умрет, уже почти умер,
 но для чего-то пересчитывал рубчики на поверхности плотного китайского шелка,
 он это твердо запомнил с детства — китайского,
 хотя, что такое Китай, тогда по малограмотности своей еще не знал, и улыбался,
 и смахивал слезы, непривычные, круто соленые,
 вспоминая, как молодая мама прихорашивалась
 перед старым овальным зеркалом с попорченной амальгамой
 и треснутой рамой красного дерева,
 косо висевшим на массивном железном костыле,
 кем-то, когда-то, в незапамятные времена
 вбитым в глухую стену большой прихожей —
 в чьем доме это было? в каком времени? было ли?..

Эля кружилась на одной ножке, как маленькая девочка, приподнимала широкую юбку, тяжелыми складками спадающую от талии к подолу, снова опускала ее, и снова кружилась, и беззвучно смеялась ямочками на щеках, сморщенными к переносице морщинками, длинными ресницами, уголками губ, даже плечи и руки смеялись, каждый палец.

Эля кружилась в большой прихожей перед старым овальным зеркалом с попорченной амальгамой и треснутой рамой красного дерева, висевшим на массивном железном костыле, кем-то, когда-то, в незапамятные времена вбитым в эту стену. Сколько она себя помнит, а помнит она себя с раннего-раннего детства, зеркало

всегда висело косо, но его никто не поправлял, не перевешивал, будто был в этом какой-то скрытый смысл.

Впрочем, раньше она этого не замечала — висит себе зеркало и висит. Это сейчас любая мелкая деталь казалась каким-то знаком, требующим расшифровки. Никаких шифров она не знала и потому пока только в уме все регистрировала, у нее не было привычки ничего записывать — слава богу, память пока ни разу не подвела ее.

Эля родилась, а зеркало уже висело, и первое свое отражение увидела она в зеркале, и лицо бабушки Фаи, которая держала ее на руках. Тыча пальцем то в зеркало, то в бабушку, она тогда засмеялась, бабушка потом всем рассказывала, но ей кажется, что и она это помнит. Правда, ей тогда все было смешно.

Справа от зеркала на стене всегда висел большой зонт-трость с рукоятью из карельской березы, которым никто никогда на ее памяти не пользовался по назначению, только для развлечения. Зонт выстреливал почти так же громко, как духовое ружье, висевшее с другой стороны, и раскрывался большим куполом цвета молочного предутреннего тумана. Под ним можно было спрятаться вместе с бабушкой, дедушкой, мамой, папой, няней Маней, рыжей кошарой Басей, зеленоглазой с зеленым атласным бантом на шее, большой, мягкой, пушистой, как бабушкина пуховая подушка, на которую она укладывала свои распухшие ноги, и бабушкиной любимицей белоснежной болонкой Марой, старой, сварливой, подслеповатой, оглушительно твякающей на всех домочадцев.

— У нее склероз, — винилась за Мару бабушка, — никого не узнает, даже меня.

В подтверждение этих слов Мара принималась облаивать бабушку, бегая вокруг нее кругами, подпрыгивая то на задних, то на передних лапах.

— Так-то она еще не в плохой форме, — одобритительно покачивала головой бабушка Фая. — Вот только склероз.

Склероз старой болонки Мары — это, согласитесь, очень смешно.

Из дальнего угла прихожей наблюдала за всем происходящим виолончель, темного матового дерева, почти черная, издали виолончель была похожа на бабушку — тонкой талией и широкими округлыми бедрами. На виолончели никто никогда не играл, только, по давним преданиям — какой-то дальний друг дома со стороны бабушки, что-то вроде несостоявшегося жениха ее двоюродной сестры Брони, кажется.

Звали его Зигфрид, за что виолончель навсегда получила неблагозвучное имя Зига, что тоже было поводом похохотать. Смычка не было, но влажное обтирание мягкой фланелевой тряпкой Зига имела ежедневно. Няня Маня выполняла этот ритуал с особым тщанием, выдавая тем самым и свое преклонение, и восхищение, и какое-то затаенное чувство к Зиге, ведь только под ее рукой Зига оживала — то протяжно, то коротко вздыхала, будто очнувшись от сна, то заходилась вибрирующим низким плачем, вызывающим ответные беспричинные слезы, то с пронзительной радостью устремлялась ввысь, и душа рвалась следом, неслась без страха и надежды на спасение...

Потом всегда, замороженно слушая виолончель, Эля вспоминала няню Маню, с затаенным дыханием, обтирающую пыль с инструмента, и те неземные звуки, рожденные неловкой рукой няни.

Соло с тряпкой на виолончели, не станете же вы возражать, — тоже неплохой анекдот.

А Зигфрид играл виртуозно, это признавали все, кто слышал его игру, — наверное, он был гений и мог бы стать первой виолончелью земного шара, так высокопарно говорила о Зигфриде бабушка Фая, что в общем-то было не в ее манере. Больше о Зигфриде никто не говорил, потому что из всех, кого Эля знала, никто его никогда не видел и тем более — не слышал, как он играет на виолончели. В том числе и бабушка Фая, между прочим.

Но Зига-то стояла в прихожей — это факт. И вздыхала, и плакала, и пела. Значит, Зигфрид был и мог-таки стать первой виолончелью земного шара, бабушка Фая врать не будет.

Но человек предполагает, а бог располагает, говорит народная мудрость. То

есть хочет человек, мечтает, стремится к чему-то, все силы кладет и жизнь готов отдать за воплощение мечты, а все же богово расположение главнее. Выходит, так?

Иначе говоря, Зигфрид предполагал стать именитым виолончелистом, жениться на Броне, двоюродной по матери сестре бабушки Фаи, девице не столько красивой, сколько с хорошими манерами, окончившей женскую гимназию, владеющей двумя иностранными языками, из семьи добропорядочной и с неплохим достатком, дед Моисей, отец Брониного отца Эли, а в домашнем обиходе — Ильи, владел в далекие дореволюционные времена мукомольным производством. Потом все его богатство мукой же и развеялось яростными ветрами революции, унеслось поземкой, заметающей все следы былой жизни.

Зигфрид тоже был хорошей партией для Брони: семья по всем показателям была под стать Брониной, плюс виолончель, внешность имел непримечательную, но приятную — добрая улыбка, открытый взгляд темно-карих, почти черных, матовых, в тон виолончели, глаз, длинные, тонкие, ломкие пальцы с припухлыми мягкими подушечками, уши великоваты и мочки длинные, но для мужчины это сущий пустяк, на который никто не обращает внимания. Кто-то, правда, обрисовал все эти подробности, иначе, откуда бы они дошли до сегодняшнего дня, ведь фотографий Зигфрида ни у кого не было. И быть не могло.

Броня же замуж за него не вышла.

Возвращаясь к мелким деталям, которые стали для Эли знаками.

Зеркало в прихожей всегда висело косо. Но это даже не деталь — это непреложный факт, возможно, не требующий никакой трактовки.

А вот то, что Зига замолчала после смерти няни Мани — перестала и плакать, и петь, — заставлял как-то задуматься. Причем замолчала не сразу, первые несколько дней, что примечательно — не семь и не девять, а восемь по ночам по дому разносились ее стоны и всхлипы, протяжные, горестные. Это слышали все, не осмеливаясь произнести вслух, чтобы не давать повода для насмешек, при этом избегали смотреть друг на друга, что лишь подчеркивало уверенность в том, что Зига по ночам играла свою прощальную музыку.

В ночь на восьмой день Зига издала последний протяжный истошный всхлип. То есть струны иногда вздрагивали от неосторожного прикосновения, когда время от времени кому-то приходило в голову смахнуть пыль и паутину, расплзшуюся в том углу, к которому одиноко прижималась Зига. Но это было скорее похоже на скрип колес несмазанной телеги. Музыка умерла.

Умерла следом за бабушкой Фаей и страдающая склерозом болонка Мара, причем она-то как раз соблюла закон — семь дней, свернувшись клубочком, выла, лежа на пуховой бабушкиной подушке для ног, еду не принимала, воду не пила, выла все тише, тише и на седьмой день замолкла. Шиву отсидела одна, больше некому было соблюдать обычай предков. Невольно напрашивается вопрос — может быть, не было у Мары никакого склероза?

Все же жизнь полна веселых неожиданностей, надо только уметь их распознать.

Вспоминается еще одна смешная история.

Эля одна дома — ни бабушки Фаи, ни склеротички Мары, ни няни Мани, ни даже рыжей зеленоглазой кошары Баси, которую няня повезла к доктору лечить от тяжелого воспаления легких. Эля не знала, что такое «легкие», тем более — отчего они могут тяжело воспалиться. Но не это занимало ее воображение.

Оставшись одна, она решила, наконец, осуществить свою мечту — померить бабушкино файдешиновое платье. Может быть, у бабушки Фаи были платье и получше, все говорили, что она большая модница, и у нее была своя модистка, глухонемая подруга детства бабушка Сара. Может быть, были платье и получше, но это — влекло и манило, потому что *файдешиновое*. Казалось, наденет она это платье — и все переменится, как по волшебству. Каких перемен Эля ждала в пять лет, когда все было прекрасно и все были рядом — бабушка, няня, кошара, Мара, Зига? Каких?

О, нет, не спрашивайте, она так хохотала, что слова не смогла бы произнести.

Хохотала, стоя перед зеркалом, бабушкино файдешиновое, изумрудное с золотыми крапинками платье сползло с плеч и распласталось по полу, она с трудом

удерживала его двумя руками, приподнималась на цыпочки, чтобы полюбоваться своим отражением в зеркале, но едва могла увидеть кончик вздернутого кверху носа с застывшими на нем капельками пота. И все же она решила покружиться, чтобы файдешин, вспорхнув с пола, волнами прокатился вокруг ног, как у бабушки во время медленного тура вальса, теперь уже только раз в году, в день рождения.

Кончилось все тем, что она окончательно запуталась в файдешине, упала, ударилась головой о кованный сундук, в котором бабушка хранила шляпки — свои, своей мамы, своей бабушки и даже двоюродной сестры Брони, несостоявшейся жены несостоявшегося гения Зигфрида. Упала и потеряла сознание. В общем, ничего смешного.

Хотя нет, это ведь не конец истории — это ее продолжение. Очнулась Эля в своей постели, в ногах молча лежала Мара, на подушке рядом косила на нее зеленым глазом кошара Бася, и не понятно было — жалеет она Элю или осуждает, почти вплотную к кровати была придвинута зингеровская швейная машинка, бабушка Сара крутила ее ножной педалью, медленно протаскивая руками под иглой кусок изумрудного файдешина. И на столе аккуратной стопкой лежали фрагменты распоротого по швам бабушкиного файдешинового платья.

— Что ты делаешь, Сара? — Эля подскочила, со лба на пол упал пузырь со льдом, от волнения она даже начала заикаться: — Чт-то т-ты д-делаешь, С-Сара?!

Глухонемая Сара бровью не повела, продолжала шить, а бабушка Фая, сидевшая рядом, спокойно и тихо сказала:

— Шьет тебе платье из файдешина. Наденешь на Новый год.

— На еврейский?! — не удержалась Эля, потому что знала, что он всегда наступает раньше нееврейского, осталось всего чуть больше недели.

— Конечно, на еврейский, зачем ждать лишние три месяца.

— А ты, бабуся?

— Я его уже относил.

Бабушка Фая медленно провела рукой по ткани, как бы пересчитывая кончиками пальцев рубчики, словно точно знала их счет, словно с каждым из них связывала мимолетное, давно канувшее в небытие мгновение своей жизни. «Все проходит», — подумала, и непрощенная печаль прихлынула к повлажневшим глазам.

Глядя на бабушку, Эля всплеснула руками — какая неожиданная радость, подумала, и уже готова была расхохотаться, но почему-то не смогла, вместо этого из глаз брызнули слезы. Наверное, от сотрясения мозга. Иначе — отчего?

Так-то ведь смешно все получилось: тайком без спроса померила бабушкино платье, покружилась в нем, упала, а очнулась — и в новом файдешинном платье прямо на еврейский Новый год угодила.

В трудные голодные военные годы держали в доме чужую виолончель в плотном коконе паутины, как в футляре, виолончель, на которой никто не играл и не собирался. Даже шляпки и капоры с атласными лентами и цветочными виньетками, с вуальками и перьями, с большими изогнутыми полями и совсем без полей бабушка Фая носила на толкучку и худо-бедно продавала, находились покупатели. Точнее сказать — менялы, готовые за мешочек муки, пшена или гороха, за несколько картофелин, луковиц или яиц, а то и настоящих яблок сорта белый налив приобрести головной убор, давным-давно вышедший из употребления и уж во всяком случае ни для чего не пригодный в конкретный текущий момент сурового военного времени.

А вот находились все-таки ценители прекрасной старины. Бабушка меняла не только головные уборы, но и разные безделушки, жившие в доме со стародавних времен, которые и она помнила от самого рождения. И зонтик, кстати, ушел из дома тем же путем, и старинное духовое дедово ружье, бабушкиного деда. Его она долго готовила в путь — сняла со стены, сдула пыль, тщательно протерла тряпкой все деревянные части, пополировала металлические, проверила — не заряжено ли, произнесла, ни к кому не обращаясь:

— Оно, конечно, выстрелит в конце пьесы, но уже не для нас.

Затем завернула ружье в старое детское одеяльце, из разноцветных пестрых клинышков когда-то собранное Сарой для будущих внуков, которых не дождалась, и положила на сундук. Через несколько дней присела на краешек сундука, положила на колени запеленатое ружье, повздыхала о чем-то про себя, поднялась и сказала:

— Ну, доброго тебе пути, амен.

Вроде как к ружью и обращалась, больше не к кому.

Так постепенно и опустела прихожая — без зонта, без ружья, без сундука, его тоже забрали какие-то дядьки, только оставшиеся шляпки бабушка переложила в комод. А Зига затаилась в дальнем углу, ни звука не издавала, даже когда начались бомбежки, и все вокруг вздрагивало и ходило ходуном. Она как будто чего-то ждала.

Странно было бы так говорить о неодушевленном предмете, но Зига вряд ли строго подходила под такое определение — все же она отзывалась благозвучием на заботу и ласку няни Мани и, осиротев без нее, еще восемь дней играла свою прощальную музыку.

Смешно сказать, но Зига дождалась своего часа.

Это очень странная история. Бабушка Фая однажды увидела на толкучке мужчину неопределенного возраста, от сорока пяти до семидесяти, предлагавшего в обмен на какую-нибудь еду шляпку точь-в-точь Брониного фасона. Бабушка примерно месяц назад выменяла эту шляпку как раз на яблоки белый налив, из которых умудрилась сварить тянучку, похожую то ли на мед, то ли на засахаренное повидло, только несладкую, и выдавала по ложечке к вечернему кипятку, заменяющему традиционный чай. Бабушка точно помнит, что не этот мужчина взял у нее Бронину шляпку, это ведь у Сары склероз, не у нее.

Она принялась пристально разглядывать его и вскоре поняла, что он навязчиво напоминает ей кого-то: внешность ничем не примечательная, но приятная — добрая, смущенная, будто виноватая улыбка, открытый взгляд темно-карих, почти черных, матовых, глаз, уши, пожалуй, немного великоваты для несоразмерно с туловищем маленькой головы, и мочки, тонкие и длинные, дрожат и колыхаются, как осиновые листья на ветру. Он сидел на деревянной колоде, Бронину шляпку примостил на коленях, а руки как-то неестественно висели вдоль туловища.

Бабушка Фая имеет здесь, в этом «зоосаде», свое место — на завалинке сторожки при входе на толкучку, очень удачное место, она его давно облюбовала и заняла, воспользовавшись всеобщей суматохой, когда кто-то у кого-то что-то украл и все побежали — то ли ловить вора, то ли что-то прибрать к рукам под шумок. Что там как у кого получилось, бабушка не знает, а ей под шумок досталось как раз это самое лучшее место. Теперь она гордо, по-королевски восседает на завалинке, будто абонемент купила в оперу в ложу-бенуар на весь сезон, и никто не осмеливается посягнуть на ее право.

Она решительно поднялась и подошла почти вплотную к мужчине, на коленях которого лежала Бронина шляпка.

— Откуда у вас эта шляпка, сударь? — высокомерно и строго спросила она, демонстрируя свое чистейшее московское произношение.

— Азохен вэй, мадам, какое ваше дело? — устало и беззлобно ответил он. — Я вам чем-то обязан? Или, боже мой, у вас ко мне какие-то претензии?

Какой странный у него выговор, подумала бабушка Фая, абракадабра какая-то, смесь французского с нижегородским. И почему он заговорил с ней по-еврейски? Она уверена, что ничем не выдает своей принадлежности к евреям, тут, на толкучке, принимая во внимание ее товар, это было бы никак некстати. Что-то еще мелькнуло у нее в голове, но тут она увидела его руки. Обрубки рук. На обеих не было кистей, на одной полностью, а на другой неловко болтались мизинец и безымянный, длинные, тонкие, ломкие два пальца.

— Зигфрид? — прошептала ошеломленная догадкой бабушка Фая и, не дожидаясь ответа, закивала головой: — Ну, да, ну, да, конечно, Зигфрид. Ах, боже мой, ой, вэй из мир, — она вдруг тоже невпопад заговорила по-еврейски. — Откуда ты? Почему не женился на Броне? Где твои руки, ой, вэй из мир! А Зига, ты не поверишь, Зига жива и ждет тебя. Собирайся, пошли.

Мужчина затравленно смотрел на бабушку Фаю и не произнес ни слова.

— Ну, что ты сидишь, что ты молчишь? Бери Бронину шляпку и иди за мной. Сама судьба повелела мне вынести ее на толкучку. Иначе бы ты никогда не встретился с Зигой. Какое счастье! Нахес, просто нахес.

Мужчина молчал и не двигался с места.

Бабушка протянула руку за шляпкой, но он ловко перехватил ее двумя пальцами левой руки и спрятал за спину.

— Зачем тебе Бронина шляпка? Ты скоро увидишь свою Зигу. Пошли.

Он продолжал стоять, бабушка теряла терпение, но все-таки она оказалась сильнее. Ей удалось привести его в дом.

Это был, наверное, самый смешной эпизод из тех, что Эля запомнила с детства. Хотя бабушка Фая не разделяла ее веселья ни до, ни после.

В детстве притворно-строго говорила:

— Смех без причины — признак сама знаешь чего...

Это она в силу своей благовоспитанности не могла при ребенке произнести слово с ярко выраженной негативной окраской, почти неприличное по ее разумению. А позже, уже не будучи столь щепетильной в выражениях, сокрушенно констатировала:

— Эля, ты так часто смеешься без всякого повода, что могут подумать нормальные люди? Что ты — дурочка?

Это был убийственный для бабушки Фаи аргумент, она чуть не плакала, покусывая губы. Эля тоже кусала губы — чтобы не расхохотаться в ответ. Она не хотела обижать бабушку Фаю, потому что очень любила ее, со всеми ее смешными причудами и старомодными понятиями.

Зигфрид застыл на пороге прихожей, затравленно озираясь, попятился назад, прислонился спиной к двери и смотрел, смотрел во все глаза, ощупывая взглядом, сантиметр за сантиметром, стены, пол, потолок. Казалось, он силится что-то вспомнить.

Наконец, он уткнулся в тот угол, где притаилась Зига, и надолго замер, прищурившись и сильно наморщив лоб. Все лицо стянулось к переносице и слегка перекосилось, как резиновая маска, надетая на руку. Эля хохотнула и зажала себе рот обеими ладошками — не поняла, а почувствовала, что ее смех в эту минуту будет совершенно неуместным.

Зигфрид вдруг сделал несколько шагов, медленных, неуверенных, как сомнамбула, снова остановился, потом рывком, шаркая ногами по выщербленному паркету, засеменил к Зиге. Бронину шляпку при этом двумя пальцами прижимал к груди.

Эля не отнимала ладоней ото рта, потому что смех душил ее — так неестественно комичен был Зигфрид, как клоун, которого она видела один раз до войны в цирке. Даже еще смешнее. А у бабушки Фаи по лицу текли слезы. Эля видела это второй раз в жизни, и что особо удивительно — склеротичка Мара, распластавшись у ног бабушки Фаи, лежала, как неживая — не только не лаяла, но и не двигалась.

Эля опустила руки, прижала их к бокам — почему-то это называлось «по швам», няня Маня научила. Смех тоненькой струйкой вылетел изо рта, как теплый воздух на морозе, когда пол-лица закутывают теплым шарфом, чтобы не застудить горло.

Какое-то оцепенение овладело всеми домочадцами, будто этот Зигфрид — гипнотизер, колдун, волшебник.

Их, правда, всего-то было четверо: кошара Бася, старая болонка Мара, бабушка Фая и Эля. Няня Маня уже умерла, дедушка тоже умер, еще до войны. До войны исчезли мама и папа, за ними приехали какие-то военные, забрали из дома книги, папины тетради, какие-то вещи. Эля плохо видела, потому что бабушка Фая, держа на руках заходящуюся в лае Мару, одновременно прикрывала собой Элину кровать. Сначала увезли папу, потом маму, и больше она их не видела. Все происходило ночью, и какое-то время Эля думала, что ей приснился страшный сон, он потом много-много раз повторялся и повторялся. Она слышала приглушенные голоса, оглушительный лай Мары, бабушкино отчаянное:

— Замолчи, Мара, замолчи!

И чье-то злобное:

— Заткни собаке глотку, старуха, или я ей шею сверну, нет сил терпеть.

Бабушка сунула Мару к Эле под одеяло, и та замолчала, словно почувствовала нешуточную угрозу. Эле тоже вдруг сделалось не по себе, хотя только что все выглядело очень смешно — и то, что бабушка Фая засунула Мару с головой к ней под одеяло, а сама стояла, прижавшись попой к Элиной кровати, и юбку с двух сторон

руками раздвинула, как будто собиралась сделать манерное приседание, и то, что ночью в дом пришли гости в фуражках и красивых формах с погонями. Но мама не ставила на стол чашки, а папа не готовил самовар к чаепитию. Она их вообще не видела из-за бабушкиной юбки, только слышала, как два раза с небольшим перерывом громко хлопнула входная дверь, и бабушкина спина содрогнулась, как от удара. Эля не поняла, что произошло, но смеяться расхотелось.

Эля долго ждала маму и папу и бабушку ни о чем не спрашивала, только на день рождения не выдержала:

— Мамочка и папочка придут сегодня ко мне?

Бабушка Фая прямо у нее на глазах превратилась в старую старуху, и по лицу ее потекли слезы. Эля испугалась и умоляюще прошептала:

— Нет, бабусечка, дорогая, родненькая, не надо, не говори ничего.

Бабушка Фая мотала головой из стороны в сторону:

— Они уехали далеко и надолго, очень далеко и очень надолго.

Она прижала к себе Элю, продолжала мотать головой, и слезы капали с подбородка на грудь и на Элину макушку. Она не выдержала, вырвалась, забилась в дальний угол прихожей, чтобы там поплакать наедине, но глаза были сухие и горячие, в горле пересохло, и она начала громко икать, содрогаясь всем телом. Бабушка Фая с трудом отпоила ее теплым чаем, качала на руках, как маленькую, и, только когда она уснула, уложила в постель.

Обычно она так икала от смеха.

Когда Зигфрид впервые появился в их доме, Эля, сама не понимает почему, вспомнила ту страшную ночь, свои кошмары и видения, и Марино учащенное жаркое дыхание под одеялом, и ее шершавый язык, облизывающий ее ноги. Было щекотно и почему-то жалко бедную Мару.

Сейчас Мара тоже молчала, хотя ее никто не трогал.

Вечером Зигфрид в дедушкиных брюках и рубашке с опущенными манжетами сидел в столовой на диване, прижимал к себе коленями начищенную до ослепительной чистоты Зигу и все смотрел по сторонам, все вертел головой, будто искал что-то или силился вспомнить.

— Ничего не помню, нет, простите, мадам, — смущенно и тихо повторял, натываясь на бабушкин вопрошающий взгляд. — Не помню. Контузия у меня сильная. Память не восстанавливается. Я и дом свой не нашел, из эшелона на какой-то станции вышел, когда в тыл везли, и потерялся. Зачем выходил — не помню. И имя-фамилию свои не помню.

Бабушка Фая долго горестно молчала, потом спросила тихо:

— А Зигу вспомнил?

По лицу Зигфрида скользнула короткая улыбка, он засмутился еще сильнее, осторожно, едва касаясь, погладил Зигу по талии и бедрам, прислонился лбом к деке. Что-то привычное угадывалось в этих движениях — Зига явно была не чужая ему. Только до струн не дотрагивался, избегал, провел мякишем верхней фаланги мизинца сверху до низу, едва не прикасаясь, не больше миллиметра зазор, но струны не задел.

А Эле показалось, что Зига тихонечко запела, отзываясь на его движения, давно никто не прикасался к ней, не обихаживал, слов ласковых не говорил, как няня Маня:

— Раскрасавица ты моя, — мурлыкала нежно и почтительно, — краше тебя никого не знаю, а музыку твою бог тебе посылает на крылах херувимов, ангельская музыка, небесная, Зига моя благолепная.

Няня Маня любила такие словечки. И Зигу любила, как живое существо, сильнее, чем кошару Басю и старую Мару, а иногда Эле казалось, что даже сильнее, чем ее, Элю. Во всяком случае, на Зигу няня Маня никогда не сердилась, не выговаривала ей и никогда не ставила в наказание в угол. Зига просто стояла в углу, это было ее местожительство.

В общем, смешно это или не смешно, решайте сами, но Зигфрид и Зига, без сомнения, узнали друг друга.

Это было видно по всему. Бабушка Фая, разумеется, тоже это поняла. Поэтому уже настойчивее повторила свой вопрос:

— Узнал свою Зигу? Вижу, что узнал. Сыграй.

Тут она смущенно запнулась, посмотрела исподволь на обрубки его рук и, чтобы как-то исправить неловкость, поспешно сказала:

— Ой, что это я, право, смычка-то у нас нет. И никогда не было. Может, ты с собой увез, когда поехал к родителям договариваться о свадьбе с Броней. — Тут она строго посмотрела на него в упор: — И куда ты подевался после этого?

Зигфрид ничего не ответил, приладил половчее Зигу, прошелся по струнам длинным ногтем левой двупалой руки — и полилась музыка несказанной красоты и силы. Со лба Зигфрида на лицо капали крупные капли пота, подбородок дрожал, мочки ушей вздрагивали, глаза были закрыты, а губы шевелились, будто молитву говорили. Смотреть на него было неприятно. Но Зига пела под его искромсанными руками музыку ангельскую, благолепную, — права была няня Маня, которая ни разу в жизни не слышала игру настоящего мастера на виолончели.

Зигфрид остался у них навсегда. Как иначе могла поступить бабушка Фая? Она его нашла на толкучке, буквально силком притащила в дом, толкнула Зигу в его объятия, а в изголовье диванчика, на котором он пристроился в прикухонной комнате покойной няни Мани, повесила на гвоздик Бронину шляпку, которую он не хотел выпустить из рук. Хотя никакой достоверной связи между Зигфридом, Броней и ее шляпкой бабушке установить так и не удалось. Терпеливо, изо дня в день она показывала Зигфриду семейные альбомы с фотографиями всей семьи и отдельно Брони в юности и в те годы, когда произошел сговор о ее свадьбе с Зигфридом, причем на одной фотографии, правда, не очень хорошего качества, Броня была как раз в этой шляпке.

— Узнаешь? — въедливо спрашивала бабушка Фая, тыча пальцем прямо в Бронину переносицу. — Узнаешь?

Зигфрид любил смотреть альбомы, подолгу разглядывал каждую фотокарточку и спрашивал — это кто? а это кто? Вскоре он всех запомнил и сам, без бабушкиного вмешательства, открывая ту или иную страницу альбома, безошибочно называл: Соня, Изя, Фаня, Броня, Моисей Залманович, Бронин дедушка, Эль Моисеевич, Бронин папа. При этом он радостно улыбался, и бабушка Фая думала, что в его памяти, наконец, наступило просветление.

— Ну, наконец-то! — восклицала она со вздохом облегчения.

А Зигфрид воздевал кверху свой единственный мизинец и с легким придыханием говорил благоговейно:

— Эль — значит, бог.

Нет, бабушке Фая так и не удалось ничего добиться от Зигфрида. И главной загадкой осталась Бронина шляпка — почему он вцепился в нее мертвой хваткой, зачем выменял на толкучке, а примерно через месяц снова принес туда же, чтобы поменять в обратном направлении, что, может быть, ему и удалось бы, не появившись там в тот же день бабушка Фая. Ах, как бы все сложилось иначе, страшно подумать. Что было бы с бедным Зигфридом? Что было бы с ними со всеми, если бы он не вернул в их дом музыку?

Неоспоримо было одно — в прежней, довоенной жизни Зигфрид был первоклассным виолончелистом, если бы не война, кто знает, может, он и стал бы первой виолончелью земного шара, как говаривала бабушка Фая. Но это уже из области несбыточных сослагательных форм — что об одном Зигфриде, что о другом, если предположить, что их было двое. Бывают в жизни совпадения, даже такие странные.

В жизни всякое бывает.

Если бы жива была Броня, легко можно было бы предъявить ей Зигфрида для опознания. Но она погибла в Бабьем Яре вместе со своими старыми родителями, к которым приехала погостить летом на недельку-другую, такую недалювидность проявили умудренные жизнью старики, немало повидавшие на своем веку, — зазвали дочку в гости прямо в самое пекло. По предварительным-то планам Броня собиралась в Ташкент к дочке своей, Лийке, которая замуж вышла в такую даль за бухарского еврея Яшку Мушеева. С виду — узбек и узбек, а по документам — не подкопаешься:

чистый еврей по всем линиям. Собиралась, да не собралась — уж больно далеко ехать, а ее в поезде укачивало до рвоты. Подумали-подумали и все перерешили: Броня съездит ненадолго к своим родителям, Лийка с сыном — в Шепетовку к родителям мужа, который погиб на взрывных работах в карьере как раз в начале сорок первого года, погорюют вместе, мальчонка козье молочко попьет, а на обратном пути в Ташкент через Москву проездом к Броне заедут. Все хорошо сходилось, на том и порешили — разъехались в разные стороны. Не проявили дальновидности, роковое решение приняли. И чем все закончилось — известно.

А без Брони и ее родителей у Зигфрида было абсолютное алиби, не подкопаться. На том расследование и закончили. Нет аргументов — за, нет аргументов — против, значит, можно считать, что их нет вообще. Аргументов нет, а Зигфрид есть, и Зига поет свою волшебную музыку, и Фрид, сынок Эли, родившийся, когда ей едва исполнилось восемнадцать, с ранних лет стал проявлять к Зиге повышенное любопытство, в чем потворствовали ему все. Значит, выбор сделан правильный и, может, еще появится в семье лучший виолончелист всего земного шара.

Что ж, надежда умирает последней.

Бабушка Фая говорила, что Фрид родился от непорочного зачатия.

Это, пожалуй, последняя смешная история в жизни Эли. Ей вообще все реже и реже хотелось смеяться, а почему — не могла объяснить.

Фрид родился внезапно, то есть она его выносила девять месяцев, как природой положено, но ничего подобного не ждала и не понимала, откуда зародилась в ней новая жизнь, как попал туда этот мальчик, похожий, хотя это может показаться бредом чистой воды, на Зигфрида: внешности малоприметной, но приятной, с черными матовыми глазами. Она была домашняя девочка, бабушкина внучка, и один лишь раз всего сходила на вечеринку к соседке Лорке, на день рождения. А там незнакомые парни и девушки, все веселятся как-то нарочито громко, натужно, развязно. Эле сразу захотелось уйти, но ее почти силой усадили за стол и напоили Советским шампанским, которое она раньше никогда не пробовала, и оттого, наверное, опьянела до полного беспамьятства: ни что там делала так долго, потому что домой явилась за полночь, ни кто довел ее до дома, потому что она не стояла на ногах, буквально на коленках вползла в квартиру, — не помнила. И хохотала так, что бабушка Фая несколько раз ударила ее по щекам, чтобы прекратить истерику. А это была истерика, констатировала бабушка, уж кто-кто, а она сразу поняла, что этот безумный хохот не имеет ничего общего с обычным Элиным дурашливым детским смехом. И, кроме того, Эля не икала, симптом — стопроцентный.

Отца Фрида они даже не пытались найти.

Жили, стараясь не нарушать прежний уклад: бабушка Фая и Эля, Зигфрид и Фрид, кошара Бася, болонка Мара и Зига. Фрид был отличником в школе, к всеобщему удовольствию брал уроки игры на виолончели, при этом Зигфрид неотлучно был рядом, а бабушка Фая и Эля ставили стулья поближе, сидели как в первом ряду партера, слушали, затаив дыхание. И мечтали — известно о чем. Ничто не сулило глубоких перемен.

Смерть бабушки Фаи стала ударом для всех.

Перед смертью бабушка, сознание которой уже спуталось настолько, что она никого и ничего не узнавала, кроме своей любимицы старой склеротички Мары, вдруг совершенно отчетливо сказала:

— Ружье все-таки выстрелило, я в этом была уверена.

Что она имела в виду?

Пока бабушка Фая не умерла, даже когда у нее началась агония, и она уже скорей всего ничего не слышала, старый Зигфрид днем и ночью, сидя возле ее постели, непрерывно играл на виолончели, после чего у него омертвел мизинец.

После смерти бабушки Фаи Зигу поставили в угол прихожей, Зигфрид почти не выходил из бывшей комнаты няни Мани, только по нужде и чаю попить. Фрид неожиданно уехал в Израиль, на Землю Обетованную, очень звал Элю, чуть не на коленях перед ней стоял. Но она проявила не свойственную ей твердость.

— Дом нельзя бросить на произвол судьбы, — сказала тихо. — Зигфрид, Зига, кошара и я, мы останемся здесь. А ты езжай, сынок, живи по своему усмотрению.

Простились нежно, навсегда.

Кошара Бася не находила себе места, бегала по всей квартире, во все углы тыкалась мордой и смотрела на Элю пронзительными зелеными глазами, будто спросить хотела — где они? Не дождавшись ответа, запрыгивала на бабушкину подушку для ног и затихала ненадолго.

Эля первое время, когда не стало бабушки Фаи, по вечерам, сама не знает для чего, надевала файдешиновую блузу, перешитую из знаменитого платья, и, сидя на диване, поглаживала рукой ткань, как бы пересчитывая кончиками пальцев рубчики, словно точно знала их счет, словно с каждым из них связывала мимолетное, давно канувшее в небытие мгновение своей жизни.

«Все проходит», — подумала когда-то бабушка Фая, перебирая пальцами рубчики ткани, и непрошенная печаль прихлынула к повлажневшим глазам.

«Все проходит», — думала Эля. Она бродила по опустевшей квартире, шаркая ногами по выщербленному паркету, — ни зонтика-трости, ни духового ружья, ни кованого сундука, набитого шляпками, ни, кстати, Брониной шляпки на стене бывшей няни Маниной комнатки при кухне, ни Зигфрида, ни кошары Баси — никого.

Только косо висело в прихожей зеркало с попорченной амальгамой, да в дальнем углу, едва заметная в темноте, стояла старая виолончель.

В чьем доме это все было? в каком времени? было ли?

Есть одно лишь материальное свидетельство — кусочек от маминой файдешиновой блузы, перешитой из бабушкиного платья. Вполне сохранный кусочек. Хорошую мануфактуру производили китайцы.

Прочнее памяти.

ЛОСКУТ ИЗ СЕРОГО ГАБАРДИНА,

который был когда-то шикарным макинтошем дальнего родственника,

тихо усопшего за полгода до столетия,

чемпиона в роду и по количеству прожитых лет

и по сумме выпавших на его долю событий и испытаний;

его биография — краткий конспект учебника по истории страны в ушедшем XX веке:

мизинник, младший сын в большой еврейской семье,

ринувшийся после революции прочь, подальше от родного дома, от корней, отрекаясь от старого мира, как пели в большевистском гимне «Интернационал»,

сам большевик, отчаянный революционер, просветленный идеей всеобщего братства, член ВКП(б) и т.д., в царских тюрьмах посидеть не успел,

а вот в сталинских лагерях отломался на лесоповале восемь лет на северо-западе

страны, наверное, за чрезмерную рьяность свою в воплощении в жизнь

линии родной коммунистической партии,

и в немецком лагере для советских военнопленных отсидел около года,

пока с группой боевых товарищей по несчастью побег готовили,

потом — штрафбат, Победа, строительство коммунизма;

потом — как-то вдруг все переменялось в жизни, и в мозгах переворот случился,

после перестройки почти одновременно вышел из партии и на пенсию,

книжки стал читать разные, не по политграмоте, как раньше,

а всякие, от А до Я, которые в районной библиотеке на полках пылились,

и много думал, сидя на своей пятиметровой кухне возле окна,

в которое заглядывали то солнце, то тучи, то звезды, то луна,

какая-то другая жизнь проходила там, высоко в поднебесье,

и ему вдруг мучительно остро захотелось понять,

как там трактуются справедливость и честь, друг и враг, преступление и подвиг,

покаяние, милосердие, наказание, прощение, любовь

и что стоит на самой высшей ступени, что ценится превыше всего;

последние три года жизни он лежал, не разговаривал,

только неотрывно смотрел в окно, поэтому никто не знает, удалась ли ему

полная инвентаризация всех представлений о жизни на земле и за ее пределами,

да и интересовались родственники, главным образом, имуществом старика и, еще не схоронив его, разделили между собой, кому что достанется от усопшего; так соседствуют будничность и духовность, и мало кому удается изменить такой порядок вещей...

Феня сидела на берегу речки, на замшелом мягком бугорке в застиранном летнем платьице, по зеленому полю которого разбросаны желтые, синие, лиловые цветы, как на полянах вокруг. Сидела уютно, прислонившись спиной к березе и вытянув вперед длинные стройные ноги с тонкими щиколотками, ветер нежно, целомудренно играл подолом платья, приоткрывая колени и бедра. Она медленно расплетала косы и расчесывала волосы длинными тонкими пальцами, такими струны лютни перебирать, подыгрывая царю Давиду, а не грубую домашнюю работу делать изо дня в день с малолетства до самой смерти, как заведено.

Феня — Фея лета. Порхала над лугом и безмерная радость переполняла ее, будто праздник справляла, и хоть заведомо знала вышним каким-то знанием, что он отпущен ей только один раз, как бабочке-однодневке, не было никого счастливее ее.

— Шимеле, любовь моя, — шептали ее припухшие губы, нежно касаясь его губ.

— Фея моя прекрасная, я люблю твои губы, теплые, мягкие, нежные...

— Я люблю твои мягкие, нежные, теплые губы...

— Я люблю...

Слова смешивались с поцелуем, растворялись в нем, их можно было понять только на ощупь — губами с губ, языком с языка, чтоб не растаяли бесследно неуловимым эхом, а навсегда остались неповторимым привкусом первой любви.

Фея моя... Шимеле...

Беба как-то вернулась с похорон дальнего родственника, тихо усопшего за полгода до столетия, и принесла старый габардиновый макинтош, свою часть наследства, хотя по скромности своей ни на что и не рассчитывала. Макинтош взяла больше как память о старике, тем более она его в этом макинтоше хорошо помнит. И Лорик помнит.

В их семье такой одежды ни у кого не было и даже представить было невозможно. Другой антураж. Дед носил старые пальто, свое и сына, погибшего на войне, сто раз лицованные-перелицованные невесткой, с подбитыми бортами, оверлоченными обшлагами и карманами, с подштопанной подкладкой. Беба делала все мастерски, любовно, и потому после каждой переделки пальто словно рождались заново. Отпаренные большим паровым утюгом, они и другие вещи выглядели вполне прилично, дед был доволен и нахваливал золотые руки Бебы. Было за что.

Но однажды, много лет назад, без всякого предварительного предупреждения к ним в дом заявился собственной персоной знаменитый дядя Шимон-большевик. Все в родне его так называли, даже после того, как он перестал быть не только большевиком, но и членом партии коммунистов. Это чтобы в разговорах всегда присутствовала ясность: Шимон-большевик, а не Шимон-скорняк, тоже по-своему широко известная личность, ставящий на выделанной шкурке собственную печать, нарисованную самодельными чернилами на мясистом большом пальце правой руки, круглую, с буквой шин посередине, что служило знаком качества задолго до введения этого атрибута в народном хозяйстве страны.

Даже после смерти Шимона-скорняка от удара в мозг вследствие того, что любимая жена Глафира была раздавлена тяжело груженным самосвалом, внезапно выскочившим из-за угла переулка, который она неспешно переходила, переваливаясь как уточка с ноги на ногу, продолжали говорить «Шимон-большевик», обособляя от него Шимона-скорняка даже по ту сторону черты. Пусть спит себе спокойно и видит свою Глафиру, живую и здоровую.

Так вот — заявился к ним как-то раз собственной персоной дядя Шимон-большевик, перепугав всех домочадцев до полусмерти. С чего бы это? — гадали, усаживая гостя на самый главный стул в доме с высокой прямой деревянной спинкой и круглыми набалдашниками по краям, успев и пыль с сиденья смахнуть, и к столу

пододвинуть, и на стол графин с водкой поставить и две граненые стопки, — важному гостю и деду, и селедочку под маслом и уксусом с лучком, нарезанным тонкими колечками, так же тонко нарезанной картошечкой и хлеб черный с хрустящей корочкой, больше ничего в доме не было, поскольку питались экономно и гостей в этот день не ждали. Тем более — такой важности.

С чего бы — он к ним? Никакого мало-мальски значимого повода: никто, слава богу, не умер, не заболел, ни у кого никаких неприятностей по государственной линии не имеется, все идет потихоньку своим чередом, грех жаловаться.

Тем более — Шимону-большевику. Кому такое в здравом уме в голову взбредет? Ему своего лиха хватило выше крыши. Ежели на всю мишпуху поделить поголовно, включая только тех, кто носит одну с ним фамилию — Шмуклер, — мало никому не покажется. А он все один выстоял, перемог, и живет в ореоле своей заслуженной по всем статьям славы. Хотя это все же — как посмотреть, с какого боку.

Двух одинаковых мнений не сходилась, если при большом сборе мишпуха начинала перемывать косточки Шимону-большевику. А эта тема была самой занимательной для всех, тут не погрешить против истины: такой простор давала для толкований, пересудов и сплетен — не только посудачить о Шимоне-большевику, припомнить все тонкости и мелкие сюжеты его биографии, но, прикрываясь этим, в завуалированной форме порассуждать раздольно о проблемах страны, народа, о политике партии и правительства. По-разному заканчивались эти беседы — иногда до крупных ссор доходило, редко — до рукоприкладства, как-то не принята у евреев такая крайняя мера.

Так-то оно так. Но, несмотря ни на что, Шимон-большевик оставался для всех персоной, или, как говорили в еврейском просторечии, — пурицом, смягчая высокопарность житейской иронией.

И вот этот пуриц незванно-нежданно пришел в гости к бедным родственникам. Так от порога и заявил: в гости, мол, я, будто это такая обыденность, будто заходит к ним по-родственному отведать водочки с селедочкой каждую неделю в шабес, в субботу то есть, или хоть два раза в год на Пейсах и Хануку, к примеру, или не обязательно в еврейский, а в какой другой государственной важности праздник — в день Великой Октябрьской социалистической революции или в День Победы, что было бы вполне уместно со всех сторон — и сам воевал, и родичей много по военным дорогам шагало, а до дому добрались лишь отдельные счастливики, а других иная участь накрыла, всех разом, — и их помянуть не грех, поименно каждого. Шимон-большевик, однако, в гости просто так не зааживал, ничего подобного.

Но — гость в дом, радость в дом.

И вот уже Лорик, младший мужчина в семье, ему полтора месяца назад исполнилось тринадцать, помогает дяде Шимону-большевику снять габардиновый серый макинтош, вешает его на плечики, которые без всякого дела болтаются в шкафу, застегивает на все пуговицы, поправляет полы, одергивает рукава, выравнивает, чтобы не было перекося, надевает под воротник штапельное кашне, темно-синее в мелкую серую полоску. Макинтош, как живой, взирает на него сверху вниз, надменно и чуточку насмешливо — ишь, загляделся, аж рот разинул и язык высунул так, что рыхлые гланды видны стали, ингеле, мальчишка, шкет, недоросток, хоть и совершеннoлетний по еврейским понятиям.

А Лорик умирает от зависти, может быть, поточнее если, ближе к сути, — от предчувствия невоплощенной мечты. Вообще. Не в макинтоше даже дело, хотя он затравкой явился для внезапно вспыхнувшей тоски и неудовлетворенности, впервые почувствовал нестерпимое острое сосание под ложечкой, и рот наполнился слюной, будто от голода, хотя только что поел все, что мать приготовила на обед, как всегда быстро поел, с отменным аппетитом.

— Нравится? — снисходительно улыбаясь, как макинтош, спрашивает дядя Шимон-большевик.

— Угу, — только и смог выдавить Лорик от смущения и страха, что дядя Шимон-большевик своим пронзительным умом разгадает его умонастроение и не сдобровать ему тогда, решил Лорик, чувствуя, как неудержимо зреет внутри что-то тайно постыдное, враждебное, с чем ему не совладать.

— Не бери в голову, малыш, все у тебя будет, все. Только в свое время. Не

торопись и время не торопи, оно свой ход не нарушает ни при каких обстоятельствах. Это помни всегда.

Сказал спокойно, доброжелательно, потрепал Лорика по жестким непослушным вихрам и повернулся к Бебе.

— Скажи Беба, что-то я давно ничего не слышал про Феню? — он шумно соглотнул, кадык поколыхался вверх-вниз. — Жива она?

Ну, вспомнил, ахнула про себя Беба, аж кровь к лицу прилила от возмущения. Тридцать лет почти прошло — опомнился. Где ж раньше-то был?! — едва удерживала она на кончике языка. Однако ж и успокоилась, сразу поняв причину столь неожиданного визита Шимона-большевика — пришел о невесте своей бывшей поинтересоваться. Разрази меня гром, думала в тоске Беба, бедная Феня не дождалась своего Шимеле.

Роковое несовпадение. Хоть глаза бы ей прикрыл на смертном одре, когда она мученической смертью отходила от жизни своей несчастной, может, с миром и покоем отлетела бы в рай ее исковерканная нечеловеческим страданием душа. А так наверняка мается где-то неподалеку. Неспроста же Шимон-большевик пришел, будто она оттуда дорогу к нему нашла и не побоялась приблизиться вплотную, трепеща от любви и нежности, как в девичьи свои годы, и доверчиво вложила ладошку в его ладонь, ища его защиты от всего, что с ней случиться должно. Святое дитя, поруганное извергами, живоглотами.

Распятая, истерзанная, в разорванной в клочья одежде, полуголая, Феня лежала на крыльце родительского дома с вывернутыми наружу бедрами и никак не могла их свести — дикой болью отзывалась в позвоночнике любая попытка, кожей она ощущала под собой что-то теплое, вязкое... потом снова громкие голоса, смех, кто-то заметил ее — гляди-ко, живая жидовочка, давай сюда! — зычно проорал и первым навалился на нее...

Боже, Всемогущий и Милосердный, спаси, возьми меня к себе, Боже, пожалуйста...

Шимеле!.. пронеслось яркой вспышкой в помутившемся сознании... Шимеле... прошептала она черными разодранными губами, проваливаясь из наступившей вдруг оглушительной тишины в небытие...

Фея моя прекрасная, я люблю твои губы, теплые, мягкие, нежные...

Она не узнала его голос, как долгие годы после не узнавала никого. Или не хотела узнавать? Чтобы не вернулась память о том кошмаре, о бабушке, дедушке, братьях и сестрах, и запах пожарища, перемешанный с запахом крови, и стоны, и вопли терзаемых и умирающих, и гогот бандитов, и шелест ветра, и пенье птиц — как ни в чем не бывало.

Феня не хотела ничего помнить. И жить не хотела.

— Я смерти хочу, — жаловалась всем. — А она не приходит.

И заглядывала в глаза, будто о помощи просила, о милосердии...

А перед смертью позвала: *Шимеле... Шимеле...* — едва слышно прошелестело на последнем выдохе. Видно, донеслось до него путями неведомыми. Иначе с чего бы он так встревожился — целую жизнь без нее отмахал по разным городам и весям, да все мимо ее дома, все в объезд. И жены у него были, и любовницы, наследников, правда, не послал Бог. Или сам не захотел, чтобы не делить себя между революцией, которой отдался весь, без остатка, отринув даже Феню, Фею свою прекрасную, и детей, которые стали бы неременной обузой, отвлекая от главного дела его жизни.

Беба глядела на него со смешанным чувством гнева, жалости, сострадания. Где ж раньше-то был, Шимон-пуриц, а?

Вспомнилось вдруг старое, давно забытое прозвище.

Феня рассказывала, что его прежде-то, мальчишкой, пока он к большевикам не примкнул, еще до революции, так и звали в местечке — пуриц. Он и вел себя всегда не как все дети из бедных семей и с большим достатком, а именно — как принц. Держался обособленно, с фасоном, ни в какие игры не играл, а если ходил на рыбалку или в ночное, то сидел в стороне от всех на берегу речки или лежал, подложив

под голову руки, глядел в черное звездное небо и беззвучно шевелил губами. Молился? Нет, только не пуриц, он так измывался над бедным меламедом в хедере, что тот надолго слег с нервной лихорадкой, и занятия к всеобщей радости на время прекратились.

А Шимон-пуриц стал самостоятельно читать книги, но не привычные для всех, священные — Тору или Талмуд, а про историю и географию, про кругосветные путешествия и великие открытия, про героическую романтику революционных идей. Читал запоем, а за книжками ходил в библиотеку уездного центра — три километра в одну сторону напрямки через заболоченную рощицу, три — обратно, а ежели дожди, то — вдоль проезжего тракта, и того дальше.

Посмеивались над пурицом все, правда, мало кто в открытую отваживался — за спиной гримасы корчили. А Феня слушала — читал ей вслух, и у обоих щеки возбужденно пылали от предчувствия в будущем больших перемен. Оказалось, что мир не ограничен еврейским местечком, там, за чертой, — он безбрежен, как океан, которого они никогда не видели. Они и моря не видели, Феня вообще никуда не выезжала из местечка и никогда раньше ни о чем таком не помышляла. Ей все нравилось — дальний лес и ближние рощи, и степь, и речка, озеро-ставок, противоположный берег которого не виден с этой стороны, и что там — никогда не задумывалась, таинственный остров посередине, изумрудно-фиолетовый на закате, когда солнце опускалось за озеро. А здесь, у самой воды, в тенистых камышовых зарослях, — залетные гуси и лебеди, утки, живность своя, домашняя, полевых цветов половодье, вишни, яблони, груши. Красота! И мама, папа, бабушка, дедушка, и кладбище на берегу ставка, на котором они все упокоятся рядышком, каждый в свой черед. И Шимеле здесь, и она мечтала о том, как они поженятся, нарожают детишек и будут долго-долго и счастливо жить.

— Непритязательно, зато лучезарно, — криво улыбаясь, говорила она впоследствии, будто и не о себе.

Да ведь и в самом деле — не о себе.

Шимеле внес смуту и тревогу в ее спокойное мирозерцание. Он не просто ждал перемен, он рвался им навстречу. Работал все еще на кожевенном заводике, тянул кожи на барабаны, а взгляд был устремлен далеко-далеко в неизведанное, и огонь в глазах пылал лихорадочный, нездоровый огонь. Феню это пугало. Она готова была разделить с ним и радости, и болезни, и горе, и голод, и мор, и даже новую жизнь, которая обязательно когда-нибудь настанет. Только ей стало казаться, что его горячность сулит им беду.

Но когда в 1917 году докатилась до них весть об отречении царя Николая II, ничего не изменилось в укладе их жизни, вообще ничего не изменилось. А о царе, правда, о другом — Николае I, тут только и помнили, что после декрета 1825 года о выселении из крестьянских сел евреев, не занимающихся сельским хозяйством, евреи купили у местного пана незаселенную землю по эту сторону озера и живут здесь без малого век. Обжились, построили дома и синагоги, кожевенное производство наладили, заводик по производству сельтерских вод, паровую мельницу, магазины и торговые лавки, ссудо-сберегательное товарищество, бани. Ну, что еще? — женились, рожали, умирали, ходили в синагогу, соблюдали законы Божьи.

А царь — он где? А они — где? Так думала по ночам Феня, чтобы утишить непонятную тревогу, которая нарастала с каждым днем. Шимеле отдалялся все больше и больше, как будто не жил в соседнем доме, как будто не гуляли по вечерам, как и раньше, вдоль берега ставка, далеко, далеко забредали, держась за руки. Только ладонь его стала деревянная, неживая, держал ее руку как в тисках и не чувствовал, что ей больно и плакать хочется.

Не замечал. Не слышал. Не откликался на ее зов.

— Шимеле, любовь моя, — шептали ее припухшие губы в ожидании поцелуя...

— Фенечка, мы построим в России новую жизнь, где все люди — и русские, и евреи, и украинцы, и другие — будут братья, свободные, равноправные и счастливые...

— Шимеле, мы с тобой счастливые, я люблю твои мягкие, нежные, теплые губы... — она прижималась к нему, готовая к ласкам и поцелуям...

— ...только революция спасет мир, другого пути нет...

— Я люблю тебя, Шимеле!..

— ...только революция, Фенечка...

Он еще помнил ее имя. Но уже был не с ней. Он шел в революцию, как одержимый, не в ее силах было удержать его. Она еще тянула к нему руки, губы, звала его:

— Шимеле, любовь моя...

Слова отскакивали от его спины. Он уходил все дальше и дальше.

— Я люблю...

— Я вернусь, Фенечка, я заберу тебя отсюда, ты дождись меня...

— Я люблю твои губы...

Легкое, мимолетное прикосновение... Его губы уже были не здесь. Она рыдала всю ночь, как вдова, похоронившая мужа, рвала на себе волосы и платье и кричала в отчаянии: нет! нет! нет! не отдам! Юная четырнадцатилетняя девочка взрослым женским чутьем поняла: это конец.

Только представить себе не могла, каким страшным он будет.

Шимон-большевик пил дешевую водку с дедом, который уж и не помнит точно, кем ему приходится и по какой линии, закусывал дешевой селедкой с лучком и картошкой и неотрывно смотрел на Бебу, ожидая ответа на свой вопрос:

— Жива она?

— Она с девятнадцатого года неживая, как насильничали над ней бандиты Зеленого. Их было много... И спину сломали, и бедро вывернули, долго лежала к дощатой кровати прикованная, ходить не могла.

— Знаю, Беба, не ты одна эту историю слышала. Я спрашиваю — сейчас она жива?

— Это не история, это жизнь, самая что ни на есть живая жизнь, посконная. И ты не перебивай меня, дядя Шимон, я перед тобой ни в чем ответ держать не обязана. Где раньше-то был? — наконец, высказала вслух, что висело на кончике языка. — Опомнись, ничего не скажешь. Это, знаешь, только в пословице: лучше поздно, чем никогда. На самом деле: все надо делать во время. Да, дядя Шимон, во время.

— Умерла, значит, — он горестно склонил голову, подперев ее обеими руками, спина ссутулилась, и весь он сжался, скукожился и долго так сидел в неподвижности, ничего вокруг не замечая.

Лорик смотрел во все глаза то на сгорбленного старика за столом, то на добротный, выдавший виды макинтош, который и пальто назвать можно и пыльником — большой ошибки не будет, и никак не мог взять в толк, отчего такое преобразование случилось. И в животе, под ложечкой, где только что сосало и кишки выкручивало, наступило внезапно полное успокоение.

Ему сделалось жалко и дядю Шимона-большевика, и его старомодный макинтош, он тихонько на цыпочках подошел сзади к согбенной спине и погладил ладонью сверху вниз, снизу вверх, так делал дед, когда у мамы болела поясница. Потом дед еще бил мать по пояснице кулаками, и она постанывала при каждом ударе — ой! ой! ой! И подсказывала, озаряя деда лучезарной улыбкой за исцеление, чмокала его в щеки и хваталась за тряпку, кастрюлю или ведро, первое, что попадалось под руку, демонстрируя свою полную трудоспособность. Так ли это было на самом деле, Лорик не знает, он замечал, как мать сама то и дело постукивает себя по спине, но в любом случае он никогда не решился бы ударить кулаком по спине дядю Шимона-большевика, даже в таком беспомощном виде. Он только еще раз погладил его — сверху вниз, снизу вверх. Может, все-таки помогает?

И дядя Шимон-большевик, как будто очнулся от сна или обморока, медленно поднял голову, разминая шею, выпрямил плечи, спасибо, малыш, сказал, и повернулся к матери.

— Расскажи мне все, Беба, прошу тебя. Расскажи. Она всегда приходила ко мне, но я чего-то недослышал, недопонял, не до того было.

Шимеле... Шимеле... Ты, наверное, целуешь других, и они тебя целуют, и я хочу, чтобы каждый не мой поцелуй отвратен был, как недозрелый плод, как непристойный крик, как злой обман...

И ты, не к моим губам прикоснувшись, вздрогнешь и обернешься, будто окликнул кто-то, будто чего-то ждешь, единственно и навсегда необходимого, и в долгом

ожидании заблудился и что-то напутал — и где ты теперь? и с кем? И рвешься, выворачивая душу наизнанку до полного опустошения, чтобы очиститься и все начать сначала. Рвешься ко мне, потому что знаешь: я — твое начало, здесь, во мне — единственно и навсегда необходимое тебе...

Шимеле... пересиливая себя, ты целуешь нехотя другую и — зачем? зачем?! зачем??! — кричишь ты: зачем я не тебя целую, Фенечка, Феня моя прекрасная?

И я кричу — навстречу твоему крику... Зачем? Зачем, Шимеле?!

— Вот сейчас опять, слышишь, Беба? Опять...

— Нет, дядя Шимон, не слышу, она только с тобой разговаривает.

— Я не уйду, Беба, пока ты мне все не расскажешь.

Когда Феня начала ходить, сильно прихрамывая на правую ногу, ей как раз исполнилось двадцать четыре года. Почему она вдруг встала и пошла, никто сказать не мог, как в точности не мог сказать, и отчего лежала столько лет. Медицина в лице главного харьковского невролога, наблюдавшего ее все годы болезни, деликатно прикрывалась латынью и потирала руки — сейчас от удовлетворения, так же, как прежде от беспомощности.

В божественное чудо исцеления не верил никто.

Исцели меня, Господи, и я выздоровею, помоги мне встать, Всесильный, и я встану...

Нет, Феня не обращалась к нему с такой просьбой. Один лишь только раз с безграничной верой в Его милосердие:

Боже, Всемогущий и Милосердный, спаси, возьми меня к себе, Боже, пожалуйста...
ста...

Один лишь только раз... Он не услышал ее.

Но факт был непреложен — Феня начала ходить. Для чего? Зачем? Куда? Ни в прошлое, ни в будущее не обращала она свой взор, ни внутрь себя, в черную зияющую дыру беспомыслия.

— Я смерти хочу, — молила она.

А жизнь продолжалась. Еще живы были мама и папа, избежавшие тогда смерти, потому только, что их не было дома — уехали в соседнее местечко к папиному брату на мукомольную фабрику за мукой для мацы. Мама никогда больше не пекла мацу, а папа перестал молиться. Феня — единственная их живая кровиночка. Ради нее они жили, и она ради них готова была на все, и это сделала ради них, засунув кляп в рот, заткнув уши и закрыв глаза. Десять лет они не решались заговорить об этом, десять лет она влачила свое никчемное существование, проваливаясь то в прошлое, то в никуда..

Жениху было сорок шесть, вдовый, бездетный, он сидел напротив и улыбался, круглолицый, белокожий, волосы курчавые черные, щеки и губы розовые, как у младенца, глаза карие, ширинка на брюках расстегнута, виднелось исподнее, а на кончике носа висела капля — то ли пот, то ли слюны.

Это моя судьба — ухнуло где-то в мозгу и болью отозвалось в сердце. Не вся еще умерла. Это моя судьба, молнией по всему телу пронеслось еще раз. Она прикрыла глаза и твердо произнесла:

— Да.

С каким трудом далось ей это короткое слово, в гортани все кипело, язык омертвел, а в мозг вонзились тысячи острых булавок.

— Да, — повторила она.

Оставшись с ним наедине, она сказала: это будет один раз, и я рожу Шимеле. Не снимая с лица улыбки, он легко покивал головой, и у нее появилось сомнение — понимает ли он человеческую речь.

Пока э т о продолжалось, она все время что-то шептала истово, отчаянно, заглушая ужас и страх, шептала, чтобы не умереть: Шимеле... Шимеле... губы мои сами собой раскрываются, словно выпускают короткий вскрик, как всхлип, и смыкаются, чтобы вновь раскрыться, а язык легонько прикасается к небу — это перекачивается у меня во рту твое имя... Шимеле... я напеваю его беззвучно и слышу странную мелодию, какую лишь внутри себя в полной тишине и отрешенности можно услы-

шать... Шимеле... неужели под эту небесную музыку я буду принадлежать другому, ненужному, и — почему? почему?! почему?! — кричу я: почему это не ты, Шимеле?..

Он все понимал. После первого раза Феня забеременела и родила мертвого мальчика. После второго — тоже.

— Последний раз, — сказала она через какое-то время.

Он согласно закивал, продолжая улыбаться, но в глазах его она увидела сострадание и ужаснулась, впервые подумав, что он тоже живой человек, у него есть имя и, может быть, — прошлое?

Второй и третий раз она ничего не шептала.

После третьего раза Феня родила девочку, маленькую, недоношенную, но живую.

— Я хотела мальчика, — сказала она и отвернулась.

Он сам выхаживал ребенка, и имя дал сам — Симеле, почти как Шимеле. Старался ей угодить. Но она не хотела девочку, не хотела, ей нужен был только Шимеле. И он, взяв девочку, уехал на родину своих родителей, там свежий воздух, козье молоко, ягоды и речка.

Похоронив маму и папу, Феня поехала их навестить. Они сидели на крыльце и улыбались — круглолицые, кареглазые, розовощекие, темноволосые, с каплей на носу. Он подбрасывал девочку на коленях и ласково напевал:

— Симочка, дочурочка, дурочка моя...

Она побежала прочь, не разбирая дороги, а вдогонку летели его слова:

— Симочка!

— Дочурочка!

— Дурочка!

— Дурочка-дочурочка!

Дурочка! — как обухом по голове.

— А ты чего, собственно, ждала? — криво улыбаясь, говорила она, будто и не о себе. — Чего ждала? Господи, Шимеле... Шимеле... мой Шимеле тоже мог родиться дурачком.

Насыпала полную горсть таблеток и проглотила, не запивая.

Беба замолчала. Дядя Шимон-большевик тоже молчал. Тяжелая долгая тишина воцарилась в комнате.

— Ты опоздал на целую жизнь, — сказала она.

— Я пропустил целую жизнь, — ответил он.

Больше они не виделись до его смерти.

После похорон Шимона-большевика Беба принесла домой его старый габардиновый макинтош, свою часть наследства, хотя по скромности своей ни на что и не рассчитывала. Макинтош взяла больше как память о старике, тем более она его в этом макинтоше хорошо помнит. И Лорик помнит.

Он повесил макинтош на плечики, как когда-то в детстве, застегнул на все пуговицы, поправил полы, одернул рукава, выровнял, чтобы не было перекоса, надел под воротник штапельное кашне, темно-синее в мелкую серую полоску, которое нашел во внутреннем кармане. Макинтош, наверное, умер вместе с хозяином, Лорик ухмыльнулся, вспомнив свои детские переживания, с ним связанные. Теперь он был спокоен, деловито ощупал ткань, осмотрел со всех сторон, пожалуй, еще пригоден к употреблению, может, кому-то понадобится. Жаль, что к нему не прилепишь серый, отличной выделки каракулевый воротник с личным клеймом дяди Шимона-скорняка, подаренный когда-то Лорику «на вырост». Нет, макинтош и воротник категорически не сочетались даже после смерти хозяев, как при жизни не сочетались они сами — Шимон-большевик и Шимон-скорняк.

Беба и Лорик помолчали немного и решили убрать макинтош и обильно посыпанный молью воротник в кладовку.

Владимир Коробов

Изменчивый пейзаж

Переделкино

Сплетни забудутся, страсти улягутся,
и на погосте все рядом окажутся:

злые и добрые, умные, глупые —
спят вечным сном под зелеными купами.

Этот — был пьяница, этот — слыл гением,
но не дождался ни славы, ни премии.

Этот — ушел в мир иной неудачником,
хоть и пожил переделкинским дачником.

В мраморе, золоте — вздорные жители —
все примирились в печальной обители

этих прославленных музами мест...
Где-нибудь с краю и мой встанет крест.

* * *

По телевизору — одно,
а жизнь твердит совсем иное,
когда из поезда в окно
кино ты смотришь не цветное:
мелькает кадр, за ним — другой,
не форматирован, реален,
тут есть любовь и мордобой,
и постановщик гениален;
бежит изменчивый пейзаж,
объединив в одну картину,

индустриальный антураж
и среднерусскую равнину,
где так переплетен сюжет,
что все эксперты — отдыхают,
он длится пару тысяч лет
и чем закончится — не знают...
А ты сидишь, разинув рот,
и смотришь сериал: Россия,
пока состав, скрипя, ползет
и слезы катятся людские.

Коробов Владимир Борисович родился в Тобольске в 1953 году. Окончил Литературный институт им. А.М.Горького. Поэт, эссеист, составитель антологий «Прекрасны вы, берега Тавриды: Крым в русской поэзии» (М., 2000); «Лед и пламень: Современная русская проза и поэзия в двух томах» (М., 2009). Автор книг стихов «Взморье», «Сад метаморфоз». Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Континент», «Дружба народов», «Арион» и др. Член Союза российских писателей. Живет в Москве.

* * *

Когда тебе за пятьдесят,
идешь куда глаза глядят,

болтая сам с собой, по скверу,
оставив юношам карьеру,

и думаешь: не стало б хуже —
вон классик весь продрог от стужи,

в помете с головы до пят,
на бронзе — голуби сидят.

А у тебя осталось право,
где ни черта не значит слава

и не покрыта глянцем медь
хрестоматийным — жить и петь!

Кизел

Л.

От похорон до похорон
ты навещала этот город —
и мнился в карканье ворон
на смерть неутоленный голод:
стояли шахты, и дома
покрыла мерзость запустенья,
и оскудели закрома,
и не цвели в садах растенья, —
как будто истончилась нить,
что вьют задумчивые Парки,
хотя и проявляли прыть
подростки в захудалом парке;

все рушилось, ржавело, и
от холода ломило кости,
когда разрозненной родни
пестрела горстка на погосте
у гроба — матери, отца,
в последний путь их провожая,
и слезы, тяжелей свинца,
стекали, щеки обжигая...
И только звезды по ночам
в морозной индевели яме,
как в детстве ярко, словно там
горели свечи в Божьем храме.

январь, 2008

* * *

Мы оба с тобой виноваты,
на жизнь не поставишь заплаты —
изношено лето до дыр.

Пустуют кофейни и пляжи,
и чайки, как на распродаже,
кричат. И грохочет буксир.

За окнами поздняя осень,
прозрачное утро и Козин —
годов довоенных кумир.

Такие вот метаморфозы:
миндаль одичал здесь, и розы
осыпались в парке Чаир.

* * *

Мне достаточно видеть синичку,
чтоб, не видя, увидеть тебя —
беспокойную глупую птичку,
что мелькает повсюду, трубя
о своей красоте, то и дело
попадаясь в чужие силки,
и какое, скажите, мне дело
кто кормить тебя станет с руки?
Прилетишь и присядешь на ветку,
и попросишь поесть и попить.
Ты мне в душу влетела, как в клетку,
не умея ни петь, ни любить.

* * *

Очки потерял — и не вижу
ни бабочки, ни муравья,
боюсь шевельнуться — обижу,
задану кого-нибудь я,

стряхну, растопчу, поломаю
пробившийся к свету росток...
Стою, онемев, и не знаю,
как хрупок сам и одинок.

* * *

А я шел на шесть двадцать пять...

Б.Пастернак

Дожди. Переделкино. Осень.
Стою у размытых дорог,
где между кладбищенских сосен
куст мокрой сирени продрог.

И вновь за знакомой оградой
сквозь редкие вижу листья
все ту же растерянность взгляда,
все те же на камне черты —

сбегает со лба осторожно,
курчавясь, упрямая прядь...
И слышно как поезд тревожно
проходит на шесть двадцать пять.

* * *

Осенний лист — медаль поэта,
отличия нагрудный знак.
Он есть у Пушкина и Фета,
им награжден был Пастернак.

Поэтому так нежно прячешь,
подняв с земли его, в карман.
Когда он есть — ты что-то значишь,
будь ты последний графоман.

Илья Одегов

Чужая жизнь

Из цикла рассказов

Слова старого Фазыла

— Не следует обижать людей, — сказал старый Фазыл. — Я никогда не обижаю людей. Не следует спорить с людьми. Опасно говорить им злые слова. Даже если ты их хозяин — нельзя ругать их, особенно если они сами не считают себя виноватыми.

— Потому что Бог накажет? — спросила маленькая Хания.

— Бог наказывает руками обиженных людей, — вздохнул Фазыл, — ну, а теперь беги, беги домой. Слышишь, мама зовет.

— Ха-ни-ийа!!! — донеслось с улицы.

Хания выбежала из дома, прислушалась к крику и побежала в другую сторону.

— Ха-ни-ийа! — доносился голос издали, становясь все тише и тише.

Она выбежала на окраину, закрыв ладонями уши пробежала мимо играющих в кости мальчишек, тех, что все время дразнили ее и выкрикивали вслед нехорошие слова, взобралась на вершину холма, с которого открывался вид на всю деревню от первого до последнего дома, и стала спускаться к реке. Река пахла рыбой и навозом. Пастух Ахмет гнал маленьких коренастых лошадей вверх по течению.

— Привет! — крикнула ему Хания. — Удачного пути!

Ахмет улыбнулся и приветливо кивнул ей.

«Я — молодец!» — подумала Хания и, дождавшись, пока табун исчезнет за поворотом, стянула с себя платье и полезла в воду. Вода льдом обожгла ее кожу, дыхание перехватило. Зайдя в реку почти по пояс, Хания нагнулась, чтобы зачерпнуть воду ладонями и умыться, шагнула вперед, наступила неосторожно на скользкий камень и почувствовала, как течение толкает ее под колени. Она попыталась выпрямиться, не удержалась и с визгом упала в поток. Вынырнув и продолжая визжать, она на четвереньках, цепляясь за каменистое дно пальцами и обдирая лодыжки, стала выбираться на берег.

— Ты чего здесь одна купаешься? — послышался голос над ее головой.

Хания подняла глаза и увидела на берегу загорелого бородатого ухмыляющегося парня, не похожего на здешних. Он с интересом разглядывал ее. Опомившись, Хания схватила платье и стала натягивать его через голову. Платье прилипло к мокрой коже, а Хания торопилась. Голова застряла внутри, ничего не видя, от беспомощности она вновь истошно завопила и почувствовала, как сильные чужие руки одним рывком вниз высвободили ее. Поправив платье и убрав с лица волосы, она увидела, что незнакомец все так же ухмыляется, наблюдая за ней.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Не твое дело, — сказала Хания, но вспомнила слова Фазыла и смутилась.

— Меня зовут Бахадур, — сказал парень, — Лал Бахадур. И я ищу Фариду.

Знаешь такую?

Хания исподлобья взглянула на незнакомца, размышляя стоит ли доверять ему, и, наконец, сказала:

Илья Одегов родился в Новосибирске в 1981 г., живет и работает в Алматы. Прозаик, автор двух романов («Звук, с которым встает Солнце» (2003) и «Без двух один» (2006)). Повести и рассказы публиковались в литературных журналах и сборниках Казахстана, России и Великобритании («Аполлинарий», «Топос», «Вайнах», «Poetry ON», «Мир Евразии», «Ышшо Одын» и пр.) Участник Форума молодых писателей России (2004, 2009). Лауреат литературных премий: «Современный казахстанский роман» (Казахстан, 2003), «Poetry ON» (Великобритания, 2004), «Театр в поисках автора» (Казахстан, 2006). В 2009 году вошел в лонг-лист «Русской премии».

— В деревне две Фариды. Моя мать и старуха Фариды, та, что живет в последнем доме на окраине. К ней ходят женщины, когда хотят, чтобы у них появились дети.

— Ясно, — задумчиво почесал бороду Бахадур, — а сколько твоей матери лет? Ханья сосредоточенно нахмурилась.

— Много, — наконец, сказала она.

— Ясно, — повторил Бахадур, — проводишь меня к ней?

— Нет, — сказала Ханья.

Пока они шли по склону в сторону деревни, Ханья все время молчала и вертела в руках подарок Бахадура — маленькое колечко с блестящим камушком. Ей нравилось, что блики от него скакали по земле и по листьям, до которых сама Ханья в жизни бы не дотянулась. Бахадур тоже молчал, думая о чем-то, и иногда улыбался этим своим мыслям. Ханья взяла его за руку, словно так ей удобней было перебираться через крупные камни, встречающиеся по дороге. Его рука была теплой и сильной, и Ханье нравилось ощущать близость этой силы и словно какую-то причастность к ней. Она чувствовала, как из этой руки ее худое тело наливается энергией и уверенностью, словно рука Бахадура была принадлежавшим ей, Ханье, оружием. Но когда они подошли к самой деревне, она выдернула ладонь и спрятала колечко в рот. Она боялась, что мальчишки окликнут ее, но они, молча и с удивлением проводив взглядами незнакомца, снова принялись за игру.

— Ну, где ваш дом? — спросил Бахадур.

— Вон мама! — сказала Ханья и крикнула. — Мама!

Молодая усталая женщина, набирившая воду в кувшин из колонки поодаль, подняла глаза.

— Где же ты была!? Я тебя весь день ищу! — закричала она и увидела Бахадура, стоящего рядом с Ханьей.

— Здравствуй, Фариды, — сказал он.

— Это Лал Бахадур, мама, — сказала Ханья, — он тебя искал.

— Ко мне, значит, пришел? — спросила мать, вскинув бровь. — Ну, проходи. А ты погуляй пока, — бросила она дочери.

— Я есть хочу! — закричала Ханья.

— Подождешь, — сказала Фариды, и они с Бахадуром зашли в дом.

— Ууу, чтоб вам всем! — от ярости Ханья чуть не проглотила колечко. Быстро достав его и надев на палец, она обошла вокруг дома и вышла на террасу, где стояли ящики с приготовленными на продажу фруктами. С трудом опрокинув один из них, она собрала рассыпавшиеся финики в кучу и поволокла ящик к окну. Перевернув ящик, она встала на него и заглянула в комнату. Бахадур и Фариды сидели за столом. Ханья увидела, что своей сильной рукой Лал Бахадур гладит руку ее матери и, улыбаясь, что-то тихо говорит ей. Фариды тоже улыбалась, но по лицу ее текли слезы. Лал Бахадур полез одной рукой в карман и достал колечко — такое же, как у Ханьи, только больше и красивее — желтое, с крупным сверкающим камнем.

Ханья слезла с ящика, сорвала с пальца колечко, намереваясь выкинуть его вон, но передумала, спрятала обратно в рот и принялась толкать ящик назад к куче фруктов. Было душно, солнце почти село, и в воздухе пахло сладким дымом. Куры, которые собрались было полакомиться разбросанными финиками, тихо, но возмущенно кудахтали, прижавшись друг к другу в стороне от ящиков. Ханья увидела, что рядом с фруктами, свернувшись в последних лучах солнца, греется толстая блестящая гадюка. Мгновенная мысль возникла в голове Ханьи. Стараясь шагать как можно тише, она подошла к змее. Та повернула голову и лениво зашипела. Тогда Ханья изо всех сил подняла ящик, накрыла им гадюку и села сверху. Она чувствовала, как изгибается и бьется о стенки ящика под ней сильное и упругое тело змеи. Выждав, пока первый порыв ярости утихнет, Ханья стала медленно волоком тащить ящик к входной двери дома.

Уже давно прошел мимо Ахмет, ведя свой табун на ночлег, уже пальцев Ханьи не хватало, чтобы сосчитать, сколько звезд появилось на небе, когда дверь, наконец, открылась. Фариды собирала растрепанные волосы. Лал Бахадур улыбался.

— А, вот ты где! — радостно сказал он, увидев Ханью. — Устала ждать нас?

Хания улыбнулась, но было темно, и Бахадур не мог разглядеть выражение ее лица.

— Совсем не устала, — сказала она и встала с ящика. — Смотри, я тоже приготовила тебе подарок.

— Да? — удивился Бахадур. — Как интересно!

Он подошел к ящику и перевернул его. Гадюка вскинулась, зашипела и, спружинив, подпрыгнула в воздух в сторону Фариды. Бахадур закричал, кинулся вбок, закрывая телом мать Хании, и сильным ударом сапога отбросил яростно шипящую и плюющуюся ядом гадюку в кусты. Хания проследила за тем, куда упала змея, и выбежала за ворота.

Она побежала через деревню. Мальчишки уже не играли в кости. Почти во всех домах горел свет в окнах, но людей не было видно, и только, когда Хания пробежала мимо дома старого Фазыла, тот вышел на порог и остановился, провожая ее взглядом.

ЗВОНК

— Ты вообще в этом ни хрена не понимаешь, — сказала Инна, — а вечно лезешь со своим мнением!

Фестиваль заканчивался, и весь город был похож на одну большую компанию приятелей, собравшихся отметить конец рабочей недели. Такие компании можно увидеть в Лондоне или в Берлине, в теплый летний день, когда никто не хочет сидеть в темном душном баре и все выходят на улицу прямо с кружками, чтобы смеяться, разговаривать, переходить от одной группы к другой, здороваясь и потягивая свой эль. Только эта компания была в тысячу, в несколько тысяч раз больше.

Инна недавно стала арт-директором одного крупного рекламного агентства и презентовала на фестивале несколько своих работ. Для нее это был удачный способ познакомиться с «нужными» людьми и проникнуться атмосферой. Она полагала, что в будущем ей предстоит часто бывать на таких мероприятиях и усердно осваивала роль. Инна взяла с собой мужа только благодаря нелепому совпадению — у него был отпуск и путевка на Средиземное море, в Ниццу, как раз в фестивальные дни. А путь от Ниццы до Канн на такси занимал всего полчаса. Славик, ее муж, радовался совпадению. Инне же, напротив, было неприятно. Он ходил за ней, будто привязанный. Инне казалось, что Славик подсмеивается, наблюдая, как она из всех сил строит из себя гламурную тусовщицу. Это бесило ее и очень мешало работе. В его присутствии Инна легко раздражалась, спорила со Славиком по каждой мелочи и еще больше раздражалась оттого, что чувствовала, как много сил уходит у нее на эти споры.

А Славик просто отдыхал в этой чудесной обстановке. Он литрами пил пиво, с моря все время дул ветерок, а вокруг толпились, улыбались, размахивали руками незнакомые яркие люди. Иногда он узнавал в них известных режиссеров, актрис, телеведущих. Ему было приятно наблюдать за всем этим со стороны. Славик видел, что Инна сердится на него, и старался держаться от нее на расстоянии, но между тем не упуская из вида. Когда в очередной раз они подошли к беседующей группе и Инна влезла в разговор на тему «важности социальной рекламы в современном потребительском обществе», Славик встал неподалеку, рядом с престарелой леди, лицо которой показалось ему знакомым. Впрочем, так было со многими лицами здесь. Она улыбнулась ему и спросила:

— Ви русски, да? Вас интересно сутьба беженци, эти бедняжки, араби и мулати? Ви хотеть би оказывать им посильный помосчь?

Славик уже привык к странному для русского человека желанию европейцев детально обсуждать социальные проблемы во время праздника. Он увидел, как услышавшая вопрос Инна сверкнула на него глазами — только попробуй, ляпни что-нибудь.

— Да, конечно, — сказал Славик, — иногда, при случае, я даже даю беженцам деньги, остатки еды. Я покупаю эти вещи, знаете, ну, которые делают эмигранты,

если эти вещи мне действительно нравятся. А они часто действительно мне нравятся. Ну, то есть, я не могу сказать, что я *всегда* хочу помогать арабам и мулатам. Обычно, я все-таки хочу другие вещи. Гораздо чаще я хочу есть или посмотреть какое-нибудь хорошее кино, или, например, когда я выгуливаю собаку, то хочу, чтобы...

— Станислав, здесь никому не интересно, чего ты хочешь, когда выгуливаешь собаку, — нетерпеливо перебила Славика подошедшая Инна и мило улыбнулась его собеседнице.

— Нет-нет, пускай он говорить, — сказала леди, — что вы хотите от собаки?

— Просто я хочу, чтобы она сделала все свои дела и чтобы я мог скорее вернуться домой, — улыбнулся Славик, — вот и все. Наверное, дело в том, что моя жизнь и моя судьба интересуют меня значительно больше жизни и судьбы беженцев. Судя по вашему виду, вы в той же ситуации. Инка, я пойду за пивом, принести тебе?

— Я с тобой, — сказала Инна.

— Ты вообще в этом ни хрена не понимаешь, — сказала она тихо, когда они выбрались из толпы и пошли по набережной, — а вечно лезешь со своим мнением!

Вечерело, но было по-прежнему жарко. Славик молча пил. Шум фестиваля начал утомлять его.

— Я просто устал, — вздохнул он, когда закончил бутылку.

— Хочу в туалет, — сказала Инна. — Где здесь туалет?

— Можно зайти в тот отель, — показал пальцем Славик, — там наверняка есть.

Проводить тебя?

— Конечно.

Они протискивались сквозь толпу. Инна то и дело кому-то кивала и улыбалась. Мимо проносились арабы-официанты с ведрами, наполненными льдом, из которых выглядывали горлышки бутылок. Славик остановил одного, желая взять еще пивка. Чтобы расплатиться, он полез за бумажником, но кто-то задел его плечом, и Славик уронил бумажник на землю. Крякнув от неловкости, он присел и стал собирать рассыпавшиеся купюры. Официант поставил ведро и принялся помогать Славика. Инне показалось, что перед тем, как отдать ее мужу деньги, араб сунул несколько бумажек себе в карман, но она ничего не сказала.

— Спасибо, — улыбнулся Славик, отсчитывая грязные купюры. — Надеюсь, пиво холодное?

— Давай скорее, — сказала Инна, — не могу уже терпеть.

— Я тебя здесь подожду, — сказал Славик, когда они подошли к воротам отеля, — не хочу заходить внутрь.

— Хорошо, поддержишь мою сумочку, ладно? — попросила Инна и побежала внутрь.

Сквозь стеклянные двери Славик увидел, как портье показал ей рукой направление.

В туалете пахло химией, а из пяти встроенных в потолок лампочек горела только одна, да и то тускло. Инна заперлась в кабинке и облегченно вздохнула. Потом встала, натянула колготки и услышала, как хлопнула дверь. Вслед за этим раздались мужские голоса, говорящие на непонятном языке. В первую секунду Инна решила, что ошиблась туалетом, и ей стало стыдно и страшно. Она услышала, как щелкнул замок в соседней кабинке. Голоса продолжали тихо, но яростно говорить за тонкой перегородкой, и Инне показалось, что эти люди спорят. Вдруг зазвонил ее телефон. Инна, едва не вскрикнув от неожиданности, начала судорожно искать его на себе, как вдруг вспомнила, что телефон остался в сумочке.

«Просто звонок такой же», — вздохнула она про себя. Телефон умолк и стало тихо. Затем возник неразборчивый шум, похожий на шелест бумаги. Щелкнул замок, хлопнула дверь, и зашумела текущая из крана вода. Потом все опять стихло на мгновение. Инна дождалась, пока скрипнула и закрылась входная дверь, выждала еще несколько минут и, наконец, вышла. Оправляя платье, она прошла мимо портье и, облегченно посмеиваясь над своим беспричинным испугом, вышла на улицу. Здесь

уже зажглись фонари, но вокруг по-прежнему ходили и улыбались люди с бокалами и бутылками в руках. Только Славика нигде не было видно.

«Опять за пивом пошел», — подумала Инна и встала на свет, так, чтобы быть заметной. Долго стоять на одном месте было неудобно, но Инна не хотела уходить от отеля далеко, ожидая возвращения Славика с минуты на минуту.

— Черт возьми, где он ходит? — сказала она, наконец, в сердцах и решила что-нибудь выпить. Невдалеке стояли накрытые столики. Инна подошла и попросила бокал красного, как вдруг осознала, что ей нечем платить: и карточка, и кошелек остались в сумочке. Также она поняла, что в сумочке остался ключ от номера с ее вещами и, что может быть еще важнее, визитная карта отеля с названием и адресом, которые она, естественно, не помнила. В отчаянии она вернулась к тому же месту, где оставила Славика.

Людей на улице становилось меньше и потому видней был мусор, оставленный ими. Повсюду валялись пластиковые стаканчики, смятые пачки из-под сигарет, окурки, какие-то яркие ленты, лопнувшие воздушные шары и остатки фейерверков. Чем меньше становилось людей, тем страшнее Инне, словно прежде люди закрывали собой истинное лицо города, и вот, наконец, оно обнажилось — испачканное и изуродованное. Появились собаки — они бродили по набережной, среди мусора, отбирая друг у друга добычу. Несколько собак, урча и повизгивая, ели что-то из канавы. Инне вдруг показалось издали, что они пожирают чей-то труп, и она в ужасе отвернулась. Знакомых лиц уже давно не было видно, зато все больше появлялось тихих серых людей. Блестящими глазами они неприязненно глядели на Инну, будто бы говорили: «Все, убирайся отсюда, кончилось твое время!».

С моря потянуло холодом. Инна очень хотела заплакать, но боялась привлечь к себе еще больше внимания. Портье вышел из гостиницы и посмотрел на Инну недружелюбно, но с некоторым особенным интересом. Она почувствовала этот интерес и поспешила уйти. Инна шла, тихо плача, пока не наткнулась на патрульную машину, в которой спал полицейский. Она постучалась в окно, потом постучалась сильнее и опять увидела, как всколыхнулись серые люди вокруг. Инна застонала и опустилась на землю возле машины, обхватив руками колени.

Утром, от первых солнечных лучей, осветивших ее лицо, она вздрогнула, заплакала, но не проснулась.

Друг

Путь предстоял долгий, и Дмитрий подготовился к этому. У него был увесистый пакет, в котором лежали фрукты, колбасная нарезка, две бутылки воды без газа, горький шоколад, вареные яйца, лепешка, орешки и три пачки сигарет. Кроме того, он взял с собой новую книгу писателя, который ему очень нравился, и сотовый телефон, чтобы хоть как-то поддерживать связь с миром на тех редких станциях, где была связь. Ему досталась нижняя полка, но это ничуть его не расстроило, хотя обычно Дмитрий предпочитал верхние. Он собирался много спать, есть, читать и вообще стараться по возможности вести наиболее пассивный образ жизни в течение ближайших трех дней. С попутчиками Дмитрию повезло не очень. Он в глубине души рассчитывал на женскую компанию, к которой за годы работы в офисе уже привык. Женщин Дмитрий любил и считал, что умеет с ними обращаться. Но соседи были мужчинами. Один из них, худой и бледный, все время спал на верхней полке, изредка просыпаясь, чтобы сходить в туалет. Второй, молодой и юркий, большую часть времени проводил в купе проводников, которые, похоже, были его старыми приятелями. А третий, крепкий мужчина средних лет с золотыми зубами и плохо, с трудом говорящий по-русски, сидел напротив Дмитрия. Его звали Ержан, и он ехал в далекий город в командировку — то ли бурить скважины, то ли копать что-то — это Дмитрия вовсе не интересовало. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять — человек работает руками, занимается физическим трудом, а таких людей Дмитрий всегда побаивался и недолюбливал. Но от вида на неизменную степь за окном Ержан откровенно скучал

и то и дело принимался что-нибудь рассказывать Дмитрию. Дмитрий не все понимал, но из вежливости поддакивал и время от времени односложно отвечал, а затем прятался в книгу или отворачивался к окну, делая вид, что как раз сейчас он так увлечен происходящим на страницах или за стеклом, что его лучше не отвлекать. Но расслабиться и отдохнуть, как было запланировано, не получалось. Дмитрий все время напряженно ожидал нового вопроса от собеседника и от этого злился сам на себя. А Ержан разговором увлекался и ждал от Дмитрия внимания.

— Оказывается, китайцы... — говорил Ержан и рассказывал все о том, что он думает о китайцах.

«Господи, неужели он так и будет всю дорогу», — думал Дмитрий.

Когда он смотрел Ержану в глаза, ему казалось, что тот видит его неприязнь. И потому, встречая внимательный взгляд собеседника, Дмитрий каждый раз пытался скрыть свое раздражение и понравиться Ержану, поддержать разговор, согласиться.

— Оказывается, вчера... — говорил между тем Ержан и рассказывал о вчерашних событиях в своем родном городе.

Дмитрий в нужных местах сочувственно кивал, сдержанно смеялся и вздыхал.

Когда Ержан предложил пообедать, Дмитрий обрадовался. Он и сам был голоден, к тому же рассчитывал, что во время еды сможет избежать продолжения беседы. Дмитрий достал свою нарезку и фрукты и положил все это на стол, где Ержан уже построил гору из сваренной в мундире картошки, яиц и разорванной на части жареной курицы.

— Угощайся, угощайся, ешь, джигит! — говорил Ержан и сам ел все подряд и с аппетитом.

Дмитрию было неприятно, что Ержан ест руками, а достать вилку для себя он не решился, посчитав, что Ержан примет его за изнеженного мамино сына. Поэтому он ел свою нарезку, осторожно вытаскивая двумя пальцами из пакета каждый кусочек и искоса поглядывая на попутчика. Ержан громко причмокивал, вытирая рукой и стряхивая на пол крошки и жир, текущий по подбородку. Капли летели в том числе и в сторону Дмитрия. Он весь сжимался, незаметно прикрывал брюки пакетом и каждый раз старался глубже вдавиться в угол. Чем неприятней ему становилось, тем сильнее он желал это скрыть. Еще недавно Дмитрий с нетерпением ждал, когда Ержан прекратит говорить, а теперь не мог дожидаться, пока тот перестанет есть. Тем не менее, взглянув на часы, Дмитрий с радостным удивлением отметил, что вот в этой внутренней борьбе прошла большая часть первого дня. Ержан рыгнул, вздохнул и принялся с отрешенным видом ковыряться в зубах спичкой.

— Зда-а-арова! — сказал появившийся в дверном проеме купе пошатывающийся парень в кепке. — Я сяду? — и сразу сел рядом с Ержаном.

— Если че, я — Кана, есть же, — парень протянул руку сначала Ержану, потом Дмитрию. Они тоже представились.

— Дмитрий? — с трудом повторил Кана и ослабилась, — а-а, Дима, значит. Димуля, да?

— Нет. Дмитрий, — сказал Дмитрий и подумал с тоской: «Ох, еще этого не хватало». Он терпеть не мог вот этих пьяных разборок, препирательств, особенно когда сам попадал в них трезвым.

— А я Кана из Табагана, есть же, — снова ослабилась парень, — куда едешь, Димуля?

«Не буду с ним разговаривать, — подумал Дмитрий, глядя в окно, — сделаю вид, что не слышу».

— Ээ, Димуля — повысил голос Кана, — куда едешь, говорю?

Ержан дожевал спичку и сказал что-то по-казахски. Сказал, на Кану не глядя, но Кана ответил. Дмитрий не понял, о чем речь, но с удивлением услышал по интонации, что Кана обращается к его попутчику с почтением и даже какой-то признательностью. Они поговорили. Дмитрий не понимал слов и не пытался. Он опасался даже смотреть на Кану и только краем глаза поглядывал на Ержана, чувствуя надежду, что ситуация может благополучно разрешиться. Действительно, через некоторое время Кана поднялся и сказал:

— Ну что же, не буду вам мешать, — и все так же, пошатываясь, вышел.

Дмитрий вновь украдкой посмотрел на Ержана. Тот, улыбаясь, глядел в окно, и его золотые зубы блестели на солнце. И Дмитрий вдруг увидел, какой это славный, сильный, добрый человек и как хорошо, что именно такой попутчик ему достался. И как здорово, что этот человек видимо, ему — Дмитрию — симпатизирует, а значит, Дмитрий — тоже, в целом, неплохой и заслуживающий этой симпатии человек. И у них впереди еще целых два дня, за которые можно успеть обсудить не только китайцев, но и вьетнамцев, японцев, индусов, киргизов, русских, а также узнать разные забавные и грустные истории из жизни друг друга, разделить в пути хлеб и воду и расстаться друзьями.

Дмитрий глубоко вздохнул, взял кусок курицы со стола и принялся с удовольствием жевать, вытирая рукой текущий по подбородку жир.

Врата рая

Места здесь были совсем дикие. Отдельные дома стояли на редких горизонтальных уступах. Их соединяли только узкие тропинки на почти отвесном склоне, и потому по ним приходилось не идти, а карабкаться, цепляясь руками за камни. Между домами, сверху вниз по склону, мчались лавины воды. Широкая речка, которую местные называли Вета, была больше похожа на бесконечный каскад водопадов, пересеченных в некоторых местах подобием мостиков, сделанных либо из натянутых тросов, либо из нескольких неотесанных стволов деревьев, переброшенных с одного берега на другой. Каждый вечер, после того как место для ночлега было найдено, Марк отправлялся на прогулку. Он находил широкий, удобный мостик и наблюдал с него, как стремительная, белая, словно молоко, вода несется, почти касаясь его подошв.

Так же произошло и на этот раз. Едва сбросив рюкзак и предупредив жену, что вернется до ужина, Марк пошел к реке. К тому времени, когда он добрался до берега, солнце почти село. Марк стал спускаться по тропинке к облюбованному издали мосту, как вдруг кусты слева от него зашевелились. Он невольно вздрогнул и затаил дыхание, вспомнив рассказ их бывшего проводника Уддаба о том, как яростный манул напал на брата Уддаба Юсупа и выцарапал тому глаза. Впрочем, рассказам местных жителей были свойственны преувеличения, порой наивные, а иногда до того ужасные и циничные, что казались неправдоподобными, но в них наверняка имелась и доля правды. Внезапно из кустов вылетел камень и больно ударил Марка в плечо. Сразу вслед за этим он услышал детский хохот. Из кустов выскочила стая мальчишек и бросилась врассыпную, только самый маленький споткнулся и упал прямо на тропинку. Марк прыгнул вперед, схватил его за ногу и поднял в воздух. Мальчишка, зажмурившись, истерично завизжал, задергался всем телом и начал брыкаться, вися вниз головой и пытаясь вырваться.

— Jai! — гаркнул на него Марк. — Перестань орать!

Мальчишка стих, приоткрыл один глаз и заинтересованно взглянул на Марка.

— То, что ты сделал, — плохо, — сказал Марк и указал на свое ушибленное плечо. Мальчишка захныкал.

— Я накажу тебя, понял? Сегодня ты будешь сопровождать меня весь вечер, пока я не вернусь домой, и делать все, что я тебе прикажу, иначе я оторву тебе руку. Ясно?

Мальчишка важно кивнул головой. Марк знал, что своим наказанием льстит самолюбию юного туземца, и рассчитывал заработать в его лице удобного проводника.

— И не вздумай удрать, я все равно найду тебя, — сказал он и поставил мальчишку на землю. — Хорошо. Как тебя зовут?

— Абу, — сказал мальчишка, потирая ушибленную коленку и глядя на Марка снизу вверх.

— Итак, Абу, видишь вон тот мостик? Сейчас мы пойдем туда.

— Это нехороший мост, — нахмурился Абу.

— Нет, Абу, это хороший мост, и ты меня к нему проведешь.

Абу тяжело вздохнул, и они начали спуск. Добравшись до моста, Марк понял, почему Абу так отзывался о нем. Мост был сделан из кривых, грубо сколоченных досок, которые от влаги и солнца сгнили и предательски прогибались от каждого шага. Ниже по течению было некое подобие купели, и сейчас Марк увидел, что по ней плывет лодка, в которой сидит совсем молодая девушка, почти девочка, так ему показалось.

— Кто это там, в лодке? — спросил он Абу.

— Это Ида, моя сестра, ее все знают, — ответил Абу.

— Привет, Ида! — крикнул Марк и почувствовал, как доски под его ногами вдруг опустились. Ледяная вода, просочившись в ботинки, обожгла ступни, и в следующую секунду нахлынувшая сзади волна опрокинула его вперед. Марк неловко взмахнул руками в воздухе и обрушился лицом вниз в несущийся поток. Его тело переворачивалось и стучало о камни, по лицу хлестали ветки склонившихся над рекой деревьев, вода забила в уши и в нос. Сердце колотилось от отчаянного животного страха, но голова оставалась холодной, равнодушно наблюдая за происходящим, и с этим же безразличием Марк понял, что смерть может наступить внезапно, в любую секунду. В этот миг его рука сама судорожно вцепилась в мокрую веревку. Он увидел, что держится за основание веревочного моста где-то значительно ниже по течению, а поток воды продолжает катиться вниз слева и справа от него. Неожиданно из бушующей пены вынырнула смуглая девочка, ухватилась за ту же веревку и белозубо улыбнулась ему.

— Hello! — крикнула она и кивнула, предлагая Марку повторять за ней. Быстро перебирая руками, девочка стала приближаться по веревке к берегу. Выбравшись вслед за ней, Марк обессиленно повалился на камни. Девочка удивленно поглядела на него, а потом захохотала, упала рядом и всем телом доверительно прижалась к нему. Только сейчас Марк с удивлением заметил, что если на ней и была какая-то одежда, то река окончательно смыла ее остатки. На вид девочке было лет пятнадцать.

Два месяца назад Марк и его жена Люция пешком перешли границу. Из вещей у них был только рюкзак с одеждой, который нес нанятый шерп. Таможенник, оставивший свой след в паспорте, по секрету рассказал им, что в стране прибытия находятся Врата Рая. Как они удостоверились позднее, об этом было прекрасно известно каждому жителю. Очевидцы утверждали, что путь к Вратам полон опасных испытаний. Марк надеялся, что совместное преодоление этих испытаний либо укрепит его отношения с Люцией, либо окончательно разделит их и позволит каждому двинуться собственным путем. Люция легко согласилась на авантюру. Она считала, что горный воздух пойдет ей на пользу. Все семь лет совместной жизни Люция очень заботилась о своем здоровье. Это раздражало Марка особенно тем, что от нее постоянно пахло какими-то лекарственными травами и кремами. Этот запах вызывал неприятные ассоциации с больницей, и у него часто пропадало желание даже прикоснуться к жене. Спать он предпочитал в отдельной кровати.

А от девочки пахло мускусом и цветами. Все вечера Марк проводил у нее. В доме, где жила Ида, больше похожем на сарай, не было ничего, кроме соломы, густым слоем устилавшей пол. Она хохотала каждый раз при виде Марка, указывая пальцем на его расцарапанное и еще не зажившее до конца лицо. Ида хохотала, падала на солому, а потом, внезапно остановившись, раздвигала бедра и со стоном впускала Марка в себя. Когда Марк уходил, она обычно вскакивала, хватала его за руку и печально заглядывала ему в глаза, так, словно навсегда прощаясь, а потом, ни слова не говоря, отпускала руку и кивала в сторону двери, мол, все, уходи.

Если Люция предполагала, что Марк изменяет ей, то никак этого не показывала. Уже больше двух недель они оставались в поселке. Марк объяснял задержку жене тем, что ему необходимо время, чтобы восстановить здоровье после падения в реку. Люцию такое объяснение вполне устраивало. На месте Марка она поступила бы так же.

Днем Абу гулял вместе с Марком и показывал тому террасы, где крестьяне выращивали незнакомые зерновые культуры, и пещеры, на тесных сводах которых

вниз головою висели сотни летучих мышей. Абу знал место, где можно увидеть оленей, отдыхающих в тени во время полуденного зноя, и время, когда рыжие короткошерстные медведи приходят на водопой. Целыми днями Марк бродил с ним по окрестностям. Иногда, когда их путь шел вдоль реки, Марк видел издалека, как его смуглая Ида крутится по поверхности воды в своей маленькой лодочке и руками достает из воды какие-то водоросли и самодельные сети с мелкой рыбешкой.

Однажды, Абу пришел к Марку вместе с невысоким, но широкоплечим мужчиной — своим отцом Маду. Тот извинился за неожиданный визит и сказал, что хочет поговорить с Марком наедине. Они оставили Абу и уселись на берегу реки.

— Даже, если кто-нибудь захочет подслушать, шум реки заглушит наши голоса, — сказал Маду с многозначительной улыбкой.

— Но кто?! — удивился Марк. Он слегка волновался, предполагая, что разговор пойдет об Иде.

Маду смущенно прокашлялся и сказал:

— Абу говорит, что вы с женой ищете Врата Рая. Это так?

«Какого черта ему надо?» — подумал Марк.

— Я провожу вас туда, — сказал Маду, — я знаю хороший путь. Дорога трудная. Сами не доберетесь. А я знаю путь. Хороший путь.

— Допустим, я соглашусь, — кивнул Марк, — сколько это будет стоить?

— Это бесплатно, — сказал Маду, — я проводник. Я провожаю людей к Вратам Рая. Это моя работа. Дело моей жизни. Деньги ни к чему. Сейчас новая Луна. Лучше выйти завтра. Если пойдем быстро — через три дня доберемся.

Пока Люция собирала вещи, Марк сидел на соломе рядом с Идой и слушал, как она плачет. За окном сверкнула молния, небо с ревом разорвалось пополам и обрушилось водой на деревню. Дождь заглушил рыдания Иды. Марк понял, что не сможет утешить ее, снял рубашку и толкнул Иду на солому. Она упала на спину, зажмурилась и вздрагивала при каждом раскате грома. Молнии вспышками освещали ее блестящее от слез лицо. Когда Марк встал, чтобы уйти, она так и осталась лежать на земле, раскинув ноги, дрожа и всхлипывая.

Они шли уже шестой день по вязкой чмокающей почве. Ливень размыл дорогу, и Маду повел их обходным путем. Рюкзаки Марка и Люции нес нанятый Маду шерп. Сам Маду нес припасы и необходимую экипировку — спальные мешки, тросы, посуду. Он, казалось, радовался тому, что Марк согласился принять его услуги, напевал что-то себе под нос, перекидывался шутками на местном наречии с шерпом и рассказывал Марку о названиях рек и гор, мимо которых они проходили. Люция на удивление легко переносила затянувшийся поход, собирала в пути одной ей известные лекарственные травы, болтала с Маду и, когда случался долгий привал, раздевалась до белья и лежала на солнце, загорая. Марк в последнее время редко видел тело жены. В сравнении с Идой, Люция показалась ему большой и белой. Когда она загорала, Маду и шерп старались найти себе дело поближе к ней, чтобы внимательно рассмотреть. Один раз Маду даже потрогал ее бедро, будто бы желая стряхнуть ползущее насекомое и после этого долго, тихо посмеиваясь, что-то рассказывал своему приятелю шерпу.

Ночевали в палатках. Впервые за несколько лет Марку приходилось спать вместе с женой. И когда в одну из ночей Люция обняла его во сне, Марк не убрал ее руку.

На седьмой день Марк увидел, что запасы продуктов в вещевом мешке Маду подходят к концу.

— Можно не бояться, — сказал Маду, заметив обеспокоенность Марка, — обратный путь будет коротким. Врата Рая вернут нас, куда мы пожелаем.

— Я тебе не верю, — сказал Марк.

Маду захохотал и хлопнул себя по коленкам.

В этот же вечер они вышли на гребень горы, откуда открывался вид на вытянутую, похожую на плоскодонную лодку долину. Почти в самом ее центре сверкало озеро, окруженное невысокими деревьями.

— Нужно спускаться быстро, — сказал Маду, — нужно успеть, пока солнце не село.

Бежать по склону оказалось легко. Скала была покрыта уступами, настолько

похожими на ступеньки, что Марк решил, что они сделаны руками человека. До заката оставалось менее получаса, когда они, наконец, достигли деревьев. Марк увидел, что их ветки покрыты круглыми гнездами, но птиц не было видно.

— Это старые гнезда, — сказал Маду.

Расстояние между кольцом деревьев и берегом озера оказалось больше, чем казалось сверху. Деревья не отражались в воде, только небо. Синее глубокое небо.

— Хочу купаться! — воскликнула Люция и стала раздеваться.

— Не знаю, можно ли, — задумчиво сказал Марк, — в тихом омуте черти водятся. Давай-ка сначала я.

Озеро не нравилось ему. Не нравилось неестественное спокойствие его поверхности. Гладкое, как стекло, озеро лежало у их ног. И за то время, пока они стояли, ни одна рыба не плеснулась в нем, ни одна лягушка не подала голос, ни одна птица не пролетела над их головами.

— Да, брось ты! Боишься за меня, что ли? — засмеялась уже раздевшаяся Люция.

— Да, да, пусть первой пойдет женщина, — радостно закивал Маду, — женщина лучше знает. Женщина знает, да.

Люция остановилась перед самой водой и осторожно коснулась ее ногой. Озеро зашевелилось, как живое. Люция сделала шаг. Еще один. И еще. С берега Марку казалось, что вода покрывается трещинами, словно лопнувшее стекло. Он закричал: «Лю-уци-и-ия!». Она обернулась, улыбаясь, и вдруг ее глаза широко открылись и все лицо преобразилось, застыв в крайнем удивлении.

— Что это?! — закричал Марк, повернувшись к Маду, но того уже не было, а деревья подступали все ближе, тенями касаясь его ног. Марк, скинув обувь, побежал к Люции, но озеро всколыхнулось лопающимися белесыми пузырями. В воздухе пахло серой, вода завертелась вокруг Люции, она закричала, и от этого крика с ветвей подступивших уже к самому берегу деревьев взметнулись серые птицы.

— Люция! — крикнул Марк. Озеро оказалось на удивление мелким, но вода стала вязкой, и каждый шаг давался ему с трудом. Марк едва передвигал ноги, ему казалось, что вокруг него образовался туман, словно частицы озера, испаряясь, окружили его. Он замахал руками, пытаясь отогнать от себя наваждение. Туман рассеялся, и озеро зарыбило от солнца, яркие блики ослепили Марка, он зажмурил глаза, упал на четвереньки и принялся шарить руками под водой, пытаясь найти Люцию на ощупь. Потом он нырнул, но дно озера было илистым, и ил поднимался и плавал в воде, как живой.

— Люция, Люция, — тихо повторял Марк, всхлипывая, а потом закричал. Его крик шел из какой-то точки в верхней части живота, и Марк чувствовал, словно с этим криком что-то выходит из него, как будто в этой точке находился центр его тела и теперь этот центр сжимался, а он, Марк, сворачивался, накручиваясь на него. Вода вокруг вспенилась, и крик оборвался. Марк отчетливо ощутил, что вот теперь — все. Он спокойно и глубоко вздохнул, и озеро проглотило его.

Было слышно, как ветер шумит листьями и кричат ночные птицы. Тихий шорох раздавался совсем рядом. Марк открыл глаза и увидел серую лесную мышь, забирающуюся в его рукав. Он вскрикнул и взмахнул рукой. Мышь с писком вылетела и упала куда-то в кусты. Стояла ночь. Звезды появлялись и исчезали между бегущих по небу облаков. В воздухе пахло смолой. Вся одежда Марка была мокрой насквозь. Он снял ее, выжал, как мог, и снова одел. Пробираясь наугад сквозь чащу, Марк набрел на тропинку. Пойдя по ней, он спустя некоторое время увидел пещеру. Приблизившись к ней, Марк крикнул, и изнутри вылетели испуганные криком летучие мыши. Марк огляделся и вспомнил, как они вместе с Абу приходили сюда. Он пошел в сторону деревни. Скоро показались огни костров, которые разводили на ночь местные рыбаки. Когда Марк проходил мимо них, он увидел, что рыбаки беспокойно ворочаются во сне, протянув к костру ноги. В деревне было тихо, даже собаки молчали. Он легко нашел домик Иды, но дверь была закрыта. Марк постучался. Внутри послышались шаги, и дверь приоткрылась. Перед Марком стояла старая женщина со свечой в руке. Приблизив свечу к самому его лицу, она кивнула и открыла дверь шире, чтобы он смог

войти. Внутри по-прежнему ничего не было, кроме соломы, густым слоем устилавшей пол.

— Где Ида? — спросил Марк.

— Она плакала, не переставая, с тех пор, как ты ушел, — сказала женщина, — она так плакала, что выплакала глаза. В наших краях для слепых женщин есть только одна работа. Но эта работа не для Иды.

— Где она? — повторил Марк.

Женщина засмеялась. Она поднесла свечу к своему лицу, и Марк увидел ее пустые белые глаза. Он закричал и выбежал из дома.

Высоко подскакивая через каждые несколько шагов в приступе ужаса, он побегом сквозь деревню, переворачивая и сокрушая то небольшое, что ему было по силам разбить. Проснувшиеся от грохота жители выходили из домов и смотрели на него с большим любопытством. Какой-то мужчина кинул в него камень. Марк взвизгнул от боли, обернулся и увидел лицо мужчины. Это лицо показалось ему знакомым. Марк хотел подбежать к нему, но тут камни посыпались на него со всех сторон, и он, вереща и закрывая голову руками, бросился прочь.

Когда Марк скрылся среди деревьев и вопли его затихли вдалеке, все, тихо переговариваясь, медленно разошлись. Стало светать, и очнувшиеся от ночных кошмаров рыбаки принялись тушить уже ненужный костер.

An ultimate jump

Юнко вставала в пять утра. С пяти до пяти пятнадцати она умывалась: восемь минут принимала душ, три минуты чистила зубы, три минуты высыхала, позволяя коже впитать в себя необходимое количество воды, и еще одну минуту вытирала невпитавшееся полотенцем. В пять шестнадцать она выходила на балкон, чтобы выполнить утренний комплекс йогических упражнений «Сурья Намаскар», что означало «Здравствуй, Солнышко!» Повернувшись лицом к восходящему солнцу, она выгибалась вперед и назад, застывая в каждой асане на тридцать (а иногда и более) секунд и приговаривая про себя: «Охайо годзаймас, охайо годзаймас, охайо...». Завершив упражнения, она кланялась и в течение минуты стояла с закрытыми глазами, успокаивая дыхание. В половине шестого Юнко включала электрический чайник и музыку. Под повторяющуюся в разных вариациях «The Girl from Ipanema» она делала себе бутерброд с тунцом, съедала его, запивая зеленым чаем, и в пять пятьдесят начинала одеваться. В холодное время года Юнко носила джинсы, длинные вязаные свитера и шапку с кисточкой на макушке. Она не красилась, но любила украшения. В шкатулке возле зеркала лежали ее серьги и кольца. Выбрав подходящие, в шесть десять Юнко выходила из дома. Путь до станции занимал еще десять минут. По дороге Юнко одевала наушники, подключенные к ее мобильнику, и включала очередной урок аудиокурса по изучению португальского языка. Когда она проходила мимо одинокой неразговорчивой пожилой японки, ежедневно сидящей на повороте к станции и кормящей голубей, то птицы, испуганно шелестя крыльями, вспархивали на мгновение и снова возвращались на место. Каждый раз этот шелест отзывался в душе Юнко слабым трепетом, словно там, в груди, тоже жила птица, но ее крылья были слишком слабы, чтобы присоединиться к стае. В шесть двадцать одну, как раз тогда, когда она оказывалась на станции, прибывала электричка. Юнко садилась к окну и в течение тридцати двух минут шевелила губами, повторяя про себя португальские слова, а затем выходила из вагона. От станции до здания, в котором находился офис, где работала Юнко, была всего минута ходьбы. Поэтому, когда Юнко заходила, Пепито из отдела кадров, выглядывая из кабинета, смотрел на нее и на часы и говорил: «Ты опять опоздала на четыре минуты!».

В час пополудни начальник Юнко совершал обход рабочих мест, чтобы убедиться, что никто из сотрудников не отлучился на обеденный перерыв раньше установленного срока. Впрочем, беспокойство было напрасным. Большинство работников обедало на рабочем месте, уставившись в мониторы. Около недели тому назад во

время этого обхода начальник заговорил с Юнко. «Ты выглядишь усталой, Юнко, — сказал он, и Юнко удивилась тому, что он знает ее имя. — Тебе нужно взять отпуск». Юнко поклонилась и с тех пор постоянно думала об этом. Наконец, она написала заявление и отнесла в бухгалтерию.

— Отправляешься в путешествие, Юнко? — спросила ее секретарша шефа, молоденькая Самико. Юнко еще сама не знала. Сейчас она выполняла пожелание начальника, не думая о себе. Но слова Самико напомнили ей о том, что денег на путешествие в Португалию, куда Юнко давно мечтала попасть, еще недостаточно. Поэтому, вернувшись домой, она открыла сайт, предлагающий дешевые, но запоминающиеся туры за рубеж. Незнакомые названия взволновали ее. Юнко перелистывала электронные страницы, вчитываясь в текст. «Только не к океану», — решила она, разглядывая загорелых манекенщиц на рекламных объявлениях. Юнко стеснялась своего маленького белого щуплого тела и прятала его не только от взглядов чужих людей, но и от солнца. В конце концов, она устала читать и захотела скорее принять решение. Чтобы сделать это, Юнко щелкнула мышкой в список предлагаемых стран наугад. На экране появилась надпись: «Nepal. UNESCO World Heritage Centre». Название понравилось ей. Она решила, что между странами с названиями Nepal и Nippon наверняка есть много общего. Открыв в новом окне сайт авиакомпании, Юнко узнала, что билеты есть, и сразу забронировала в оба конца.

Самолет оказался маленьким, но на удивление вместительным. Юнко специально выбрала место у окна, а рядом с ней сел пожилой японец с длинными усами. Когда взлетали, он наклонился, чтобы увидеть в иллюминатор огни отдаляющейся земли, и смешно пощекотал усами ее лицо. Во время полета Юнко заснула и пришла в себя только услышав голос пилота, благодарящего пассажиров за выбор их авиакомпании.

Юнко приехала отдыхать, и поэтому каждый день вставала по-прежнему в пять утра, чтобы успеть осмотреть как можно больше достопримечательностей и получить как можно больше впечатлений за день. С фотоаппаратом на шее, запасными очками в кармане и панамкой на голове она целыми днями бродила по узким улочкам Катманду, заходя в храмы и сувенирные лавки, приветливо и застенчиво улыбаясь местным жителям и порой останавливаясь, чтобы запечатлеть стаю обезьян или местного разукрашенного святого. Вечером Юнко сидела вместе с другими туристами в дорожных кабаках с хорошим видом и едой, а когда в городе становилось совсем темно и безлюдно — шла к своему излюбленному месту. Это была небольшая буддийская ступа: белая, с шелестящими бронзовыми барабанчиками вокруг нее и натянутыми в разные стороны бечевками, на которых развевались разноцветные флажки. Ночью на вершине ступы тихо курлыкали голуби, изредка с лаем проносились мимо собаки, но от этого тишина становилась еще более пронзительной. И в этой тишине, с золотого купола ступы на нее — на Юнко, — внимательно глядели глаза Будды.

Здесь она порой проводила целый час или даже больше. Юнко сидела у подножия ступы или ходила вокруг нее по часовой стрелке, вращая одной рукой барабанчики, и сердце ее билось ровно и спокойно, а в голове не было ни единой мысли. В гостиницу Юнко возвращалась далеко за полночь, и заспанный непалец сердито открывал ей запертую на ночь входную дверь.

Каждое утро город менялся. Он кружил Юнко в лабиринте своих улиц, то возвращая к одному и тому же месту, то уводя все дальше от выбранного маршрута. Лишь одно оставалось неизменным — куда бы ни направлялась Юнко, она всегда проходила мимо установленного на улице телевизора, на экране которого загоралась надпись «Bhote Kosi river BANJI. 160 meter! The Ultimate Jump!», и с тонкого моста, перекинутого через пропасть, люди с сумасшедшими глазами бросались вниз. От неминуемой гибели их спасал только эластичный трос, один конец которого был закреплен на мосту, а другой пристегнут к ногам. Рядом с телевизором всегда стоял высокий красивый непалец и зазывал прохожих испытать это на себе.

— Are you brave enough? — спросил он Юнко, когда та проходила мимо.

Юнко не ответила, но задумалась. Она не боялась начальника, но очень его уважала. Она не боялась тараканов, пауков и лягушек, просто те вызывали у нее неприязнь. Она не боялась темноты, но не хотела случайно в темноте удариться или

разбить что-нибудь. Юнко не считала себя трусливой, но никогда не рисковала, просто потому что считала риск неразумным. Но сейчас она была одна в чужой стране, и ей вдруг захотелось совершить безрассудный поступок. В конце концов, даже если в последний момент перед прыжком она струсит, никто не станет заставлять ее, и никто впоследствии не расскажет другим о ее позоре. И Юнко согласно кивнула непальцу. Билет стоил недешево. Автобус с группой желающих совершить «последний прыжок» отходил назавтра в 7 утра. Путь до моста занимал около трех часов.

Юнко не могла уснуть всю ночь, но встала, как обычно, в 5, так и не сомкнув глаз. Собираясь, она чувствовала, что где-то глубоко внутри настроена на нечто ужасное. Утро было холодным. Юнко издалека увидела автобус. Она остановилась, прислушалась к себе, ведь было еще не поздно отказаться, затем протерла очки, вздохнула и пошла вперед. В автобусе уже сидели люди. Юнко нашла свободное место в задних рядах и села у окна. С ней здоровались и что-то спрашивали на разных европейских языках, которые она не очень-то понимала. Парень, сидящий перед ней, обернулся и спросил:

— Hablas Espanol? Portugues?

Юнко широко открыла глаза и мгновенно вспомнила совершенно неподходящие к ситуации фразы из своего аудиокурса. Она так давно мечтала поговорить на этом прекрасном языке и вот сейчас, в Катманду, перед ней сидел молодой красивый португалец и, улыбаясь, глядел на нее. Юнко порозовела и поняла, что от страха ошибиться не сможет произнести ни слова. Она улыбнулась в ответ и только покачала головой. Парень вздохнул и отвернулся.

Автобус тронулся. Пассажиры смеялись и громко разговаривали между собой. Юнко вдруг стало ясно, что эти белые люди, сидящие вместе с ней в автобусе, тоже боятся прыгать в пропасть и, смеясь и шутя, просто прячут свой страх друг от друга. От этого наблюдения она успокоилась и стала смотреть в окно. Рисовые террасы на покатых склонах располагались ступеньками, и от этого горы становились похожи на гигантские лестницы. Неожиданно для себя самой Юнко задремала и проснулась только, когда автобус резко затормозил. Она открыла глаза, встала и вместе со всеми вышла.

Инструктаж был недолгим.

— Все просто, — объяснял тренер на плохом английском, — встали на край, оттолкнулись и прыгнули головой вниз. Прыгнули, ясно? Не упали, а прыгнули! Ясно? А теперь — пошли!

Перед тем как идти на мост, нужно было оставить верхнюю одежду, сумки и содержимое карманов в специальном сейфе. Юнко заметила, как двое парней из группы отошли в сторону, чтобы покурить травы и успокоиться. Тем временем инструктор предлагал участникам встать на весы и каждому записывал вес на руке.

— Вначале пойдут самые тяжелые, — крикнул он, — потом меняем веревку и запускаем легких.

— О, черт, — испуганно сказал толстый парень, — я первый, что ли?

На руке Юнко стояла цифра 41.

Мост раскачивался даже от ветра, порывами налетающего со снежных гималайских вершин, а когда группа пошла по нему, он заскрипел и задрожал, проседая под их общим весом. Под ногами, сквозь перегородки моста, зияла такая глубина, что у Юнко защипало в глазах. Она зажмурилась на мгновение и снова открыла. На дне пропасти текла река, казавшаяся отсюда тонкой нитью, а по ее берегу ходили маленькие, как точки, люди.

Участники смеялись, ежились от ветра и подшучивали друг над другом. Юнко молчала, чтобы скрыть свой страх. Чтобы не бояться у всех на виду.

Первым прыгал толстый парень. Инструктор обвязал его ноги страховочным ремнем, прицепил веревку с карабином и выпустил на выступающий из моста перпендикулярный мостик. Дул сильный ветер, мост качался, а толстый парень, едва удерживая равновесие, стоял на этом тоненьком мостике без всяких перил, за которые можно было бы схватиться, со связанными ногами и выражением отчаяния на

лице. Юнко вспомнила фильмы про пиратов, которые видела в детстве. Все происходящее было похоже на казнь.

— Go! — скомандовал инструктор и слегка толкнул парня в спину. Тот чуть присел, посмотрел вниз, закрыл глаза и всем телом качнулся назад, инстинктивно избегая падения. Но от этого движения его ноги соскользнули вниз, он неуклюже взмахнул руками и всей своей массой опустился копчиком на мост. Лицо парня искажилось от страха и боли, он вскрикнул, схватился за ушибленное место и перевалялся через край. Соскальзывая в пропасть, он в последнюю секунду успел уцепиться одной рукой за мостик, но уже ничто не могло удержать его от падения. Еще секунду он висел так, а потом сорвался и с диким криком полетел вниз.

Парень летел долго, становясь все меньше и меньше, и Юнко казалось, что он вот-вот разобьется о камни. Но перед самой землей натянувшаяся, как пружина, эластичная веревка вновь подкинула его вверх.

— Следующий, — объявил инструктор.

Дело двигалось медленно. Некоторые прыгали легко, а другие боялись и подолгу собирались с духом. Юнко поглядела на цифры, написанные на руках у оставшихся, и поняла, что она — самая легкая, а значит, последняя. Ее очередь была еще не скоро, и она сняла очки. Ей уже было неинтересно смотреть, как прыгают другие. Становилось все холоднее. Тучи закрыли небо, и ветер колот ледяными иголками лицо. Юнко пожалела, что оставила свитер вместе с другими вещами в сейфе. Она подошла к инструктору.

— Извините, пожалуйста, — сказала она на плохом английском, близоруко щурясь, — можно мне сходить за свитером. Холодно.

— Нет! — крикнул инструктор, привязывая веревку к ногам следующего прыгающего. — Нельзя ходить по мосту, когда идут прыжки.

— Спасибо. Извините, — сказала Юнко еще раз и вернулась на свое место.

Ветер дул все сильнее, Юнко чувствовала, как холод проник внутрь ее сердца и кровь потекла медленнее. Ее кожа посинела, а волосы растрепались. Чем меньше оставалось на мосту людей, тем сильнее он раскачивался. Наконец, подошла ее очередь.

— Кто-то еще остался? — крикнул инструктор, глядя поверх головы маленькой Юнко.

— Я, — тихо сказала Юнко и подошла к нему.

— Так, — сказал инструктор, — ну, давай, быстрее. Садись сюда.

Он больно затянул ей веревку на ногах и грубовато толкнул на мостик для казни.

— Go! — закричал он.

Юнко подняла глаза и увидела вершины гор, покрытые снегом. Горы возвышались прямо перед ней, и Юнко казалось, что ветер доносит до нее их шепот: «Прыгай, прыгай же, Юнко, ты можешь, прыгай...». Юнко вздохнула и почувствовала, как в ее груди просыпается птица. Просыпается, потягивается, раскрывает крылья... Юнко вздохнула, изо всех сил оттолкнулась от мостика, на котором стояла, и полетела вперед. Горы вокруг нее закричали и перевернулись, зашумел в ушах воздух, время замерло, и вдруг все это исчезло, растворившись в теле Юнко, и остались только стремительно приближающиеся острые камни, по которым суетливо бегали взад и вперед маленькие беспокойные люди. И чем ближе становились камни, тем выше взлетала в небо проснувшаяся внутри нее птица.

Алексей Устименко

Китайские маски Черубины де Габриак

Повесть

В 1927 году от Рождества Христова,
когда Юпитер стоял высоко на небе,
Ли Сян-цзы, за веру в бессмертие человеческого духа,
был выслан с Севера в эту восточную страну, в город Камня.
Здесь, вдали от родных и близких друзей, он жил в полном уединении,
в маленьком домике под старой грушей.
Он слышал только речь чужого народа и дикие напевы желтых кочевников.
Поэт сказал:
«Всякая вещь, исторгнутая из состояния покоя, поет».
И голос Ли Сян-цзы тоже зазвучал.
Вода течет сама собой, и человек сам творит свою судьбу:
горечь изгнания обратилась в радость песни.
Ли Сян-цзы написал сборник стихов, названный им
«Домик под Грушевым Деревом»,
состоящий из 21 стихотворения;
все в нем 147 стихов.

*(Из предисловия Ли Сян-цзы к сборнику стихов
«Домик под Грушевым Деревом»)*

Глава первая

Тот самый, моющий стекло

Ну, конечно, Елизавета Ивановна Васильева вполне могла написать достойные мемуары о Черубине де Габриак. Она же — совершенно ничего не писала. Всякое утро она просыпалась с желанием все-таки их написать, и всякое утро она чем-нибудь да непременно отвлекалась.

То слишком громкими были таящиеся звуки рано завтракающего Всеволода: обязательно падала ложка или тарелка, скрипели и хлопали створки кухонного, острожно растворяемого им шкапа, раздражающе всхлипывали, поедаемые мужем водянистые ягоды винограда, шуршала разламываемая им лепешка...

То потом, когда он уходил на работу, начинали громко перекрикиваться через весь двор на незнакомом ей языке соседки-узбечки, становящиеся говорливыми тотчас же, как их тоже покидали неторопливые мужья, тоже уходящие на какую-то здешнюю работу.

Все еще продолжая лежать в постели, Елизавета Ивановна никак не могла понять, какая может быть работа в этом пыльном, не имеющем никаких видимых следов от контор и фабрик, плоскокрышем Ташкенте? Она даже подозревала, что

Устименко Алексей Петрович — журналист, писатель. Родился в 1948 году в Новосибирске. Окончил Ташкентский государственный университет. Был собственным корреспондентом по Средней Азии (Туркмения, Таджикистан, Узбекистан) ряда московских изданий. Автор нескольких книг прозы. В частности, сборника рассказов «Когда стреляют на перевале» и повести «За кольцами далекого Сатурна». Живет в Ташкенте.

весь этот их уход — сплошная мистификация, обман и восточная хитроумность. Толкаться весь день дома, среди крика и гама многочисленных собственных пропыленных чад, среди жалоб и сетований постоянно беременных жен, занятие не мужское. Куда как спокойней — сказаться идущим на невидимую работу, чтобы затем с обстоятельной неторопливостью войти под сень здешней общественной чайной, называемой «чойхонэ», усесться на собственные же поджатые ноги и весь день с переходом в вечер посвятить опорожнению очередного заварного чайничка с носиком из насаженной на фарфор белой жести.

Потом женские голоса, потеряв первые видимые причины, вызвавшие их перекивание, умолкали, Елизавета Ивановна переворачивалась с живота на правый бок и опять словно бы уходила в мутный утренний сон. Но теперь становились слышимыми другие звуки... И она еще в полусне, еще незаметно для самой себя начинала угадывать их, отменяя все непохожее и оставляя последние предположения, согласные с полусонно услышанным звучанием. Возможно — звучание зеленой реки за глиняным дворовым забором, совсем под стеной. А возможно и здешнее воркование бесцветно-коричневых птиц, совсем не похожих на толстых и жадных петербургских голубей, однако тоже как будто бы той же породы, но словно усохших и выцветших от здешней струящейся жары, воркующих по-восточному непередаваемо сладко, но называемых совершенно по-русски — горlinkками... Тысяча и одна ночь в поэтическом переложении, сделанном кем-то другим, не ею и уже давно, до ее вынужденного приезда сюда, в Ташкент, в ссылку.

«Здесь и в реке — зеленая вода, как плотная ленивая слюда оттенка пыли и полыни... Ах, лишь на севере вода бывает синей... А здесь — Восток. Меж нами, как река, пустыня, а слезы, как песок».

Всеволод все это время недоволен ее утренними прохладениями в постели, считая их ленью, объевшейся сладостями петербургской гимназистки.

— Русская лень-матушка тебя и в Китае достанет, — засовывая в раскрытый рот почти целую виноградную гроздь и заедая ее отломанным куском узбекской лепешки, сказал он ей сегодня перед уходом. — Ни Париж, ни Сорбонна на тебя отчего-то не повлияли, а вот, сарматское ничегонеделание — отчего именно сарматское? — подумала Елизавета Ивановна — а, вот, сарматское ничегонеделание неискоренимо. Стихи опять писала бы, что ли...

Господи, да как же возможно ей здесь писать стихи, когда у сидящего перед нею Всеволода так измяты его широкие полотняные брюки? Когда уже начинают поднимать крик — свой единственный язык семейного общения — эти несчастные женщины? Когда, не боясь расстройства желудка, уже убегающий на работу Всеволод запивает недожеванный виноград некипяченою водою и прощально целует ее мокрыми еще губами, безотрадно кислыми от винограда? А еще этот регулярно возникающий скрип...

— Что это? — спрашивает она у Всеволода, уже открывшего дверь.

— А — китаец, — говорит Всеволод, не обернувшись. И убегает.

Елизавета Ивановна обертывает себя влажною от ночного жаркого сна измятою простынею и подходит к раскрытому окну.

Маленький желтый китаец в длинном полом — не по его фигуре — толстом и синем ватном чапане моет оконное стекло своей комнаты, экономно обмакивая бесцветную тряпочку в фарфоровую пиалушку, а затем — с писком — натирая стекло комком желтой, расползающейся газеты. Возможно вполне достойное применение для газеты с непонятными, как будто бы не на русском языке сочиненными, лозунгами командующей сегодня большевистской партии.

Прыгающий перед ее окном пыльный мальчишка, увидев Елизавету Ивановну в прилипшей к потному телу простыне, перестает прыгать и, сложив из пальцев обеих рук две фиги, прикладывает их к своим ребрам, неприлично шевеля криво торчащими большими пальцами.

— Здравствуйте, товарищ девушка, — говорит ей желтый китаец и улыбается так, как улыбается Всеволод от своего кислого винограда.

Елизавета Ивановна, не изменившись в лице, достойно кивает, медленно отходит от окна и почти со слезами падает на давным-давно исплющенный полосатый

матрас, с которого ею же содрана мокрая простыня... Китайца она не знает. Знает только этого, скачущего перед окном мальчишку. Впрочем, возможно, ей кажется, что она его знает: в этом дворе они все одинаковы, как картошка на базаре.

Цир, цир... Циркала и скрипела бумага, водимая по стеклу желтым китайцем. Что он делает здесь? Может быть, как она, сослан сюда за какие-нибудь свои вольнолюбивые мысли? А какие вольнолюбивые мысли были у нее? Никаких. Но — пришли, перерыли сундуки и комод. Ходили по ее личным вещам чищеными сапогами. Господи, отчего они так долго разглядывали ее старую порванную наволочку? Стыдно. Она спала на порванной наволочке. И о том тогда стали знать их понятия — всего-навсего ее соседи... Стыдно, Господи, как стыдно. А еще забрали тетрадки со стихами. Зачем они им? Она никогда не писала про политику. Это, вот, желтый человек, так скрипуче моющий стекло, мог бы писать о чем-то таком... И его сослали. А она...

«Как для монаха радостны вериги, ночные бденья и посты, — так для меня (среди этой пустоты) остались дорогими только книги, которые со мной читал когда-то ты! И, может быть, волшебные страницы помогут мне не ждать... и покориться».

Покориться, покориться...

Но какой сегодня день?

В налетевшем страхе Елизавета Ивановна вскочила, прихрамывая, подбежала к окну...

— Послушайте! Вы не знаете, какой сегодня день?

Не повернув головы в ее сторону — цир, цир бумагою по взблескивающему стеклу, — желтый человек произнес это, — так она и знала! — роковое слово:

— Сейчас среда, товарищ девушка. Вчера вторник была.

И оттого, что он не повернул своей маленькой головы в ее сторону, а все циркал и циркал лохмотьями бумаги там, где уже было чисто, она поняла, что, вскочив, совсем забыла про свою простыню... Он же сделал вид, что ничего не увидел.

Каждую среду она должна была приходиться в ГПУ регистрироваться.

Господи...

Две фиги у ребер с неприлично шевелящимися, криво торчащими большими пальцами.

Нет, но все-таки это, наверное, не очень плохой человек, ведь он ничего не увидел. Если Юлий придет, Елизавета Ивановна порасспрашивает у него про китайцев. Юлий про них абсолютно все и всегда знает.

Цир, цир...

Глава вторая

Волошин приподнимает шляпу

Юлиан Константинович Шуцкий получал от Елизаветы Ивановны всегда очень много стихов. Намного больше, чем даже получило пугающее ГПУ, изъяв при обыске все ее тетрадки.

Они любили друг друга — Елизавета Ивановна Васильева и Юлиан Константинович Шуцкий. Но когда сама Елизавета Ивановна припоминала об этом, она не могла избавиться от ощущения, что их любовь в каком-нибудь чужом пересказе могла бы показаться банальным литературным сюжетом, в который уж раз — повторно и весьма неталантливо — написанным скучной жизнью: они были влюбленными, разлученными, как в классических литературных сказках. Да еще влюбленными по классической же схеме: таящимися от третьего действующего лица — Всеволода, ее привычного мужа.

Муж навещал ее в ссылке в Ташкенте, с удовольствием выбивая себе командировки в здешний азиатский край. Она ждала их, этих его командировок с таким нетерпением, с каким полагалось бы ждать его самого, но никак не его бесталанных и неумелых рассказов о покинутом им только что Ленинграде. Всякий вечер, недорассказав об одном, он перепрыгивал на другое, потом, вообще, сбивая матрас и простыни, вскакивал с постели, чтобы немного поесть мокрого винограда, и, нако-

нец, торопливо засыпал, повернувшись к ней влажной широкой спиной, обсыпанной коричневыми конопушками. Ее Всеволод, ее, некогда любимый, Воля, очень боялся проспать утреннее воркование горлинок, потому что без него, без инженера-мелиоратора из столичного центра, без вестника новых государственных устремлений, — планируемого уже великого обводнения пустынь, — начинать свою рабочую шестидневку ташкентская мелиоративная контора не торопилась.

Елизавета Ивановна переживала не очень так, чтобы... Не до расстройства нервов. Ей только было непередаваемо обидно за незавершенность его петербургских сюжетов, которые она никак не воспринимала как ленинградские.

Что был ее Воля рядом с ней, что не был...

Теперь главное, о чем она думала, так это о том, чтобы он поскорее уехал... В последнем письме к ней Юлиан Константинович ласково предупреждал, что уже скоро, что уже вот-вот, что он тоже придет.

И ведь они вполне могли взять, да и неожиданно повстречаться. Воля и Юлиан. А она очень боялась таких встреч. Ей казалось, что такие встречи обязательно должны кончаться револьверными выстрелами. Ведь стрелялись же, в конце концов, Коленька Гумилев¹, с которым у нее как будто бы ничего не было (хотя весь Петербург судачил, что именно было) с Максом Волошиным². Правда, Коленька еще в 1909 году, до появления в «Аполлоне» стихов Черубины де Габриак, делал ей серьезное предложение руки и сердца; да и стихи ее, еще Лили Дмитриевой, а не Черубины, обещал помочь напечатать, только Лиля тогда не согласилась. А согласилась на веселую игру добродушного Макса.

Смелое, хотя и слегка книжное, рыцарство Гумилева могло закончиться только рыцарскими же, придуманными стихами. Сказочное, сочиненное Волошиным приключение манило реальным обретением внутри себя, внутри самой Лили Дмитриевой, ощущения некой собственной принадлежности к высокому... Однако же — обманулась. Такою игрушечною принадлежностью к вымышленному высокому заболела не она, но — сам Сергей Константинович Маковский³, редактор молодого петербургского литературного журнала «Аполлон», пришедшего на смену поскукневшим московским — «Весы» и «Золотое руно». Получив по почте густо надушенные, — Макс тогда очень переживал, что они с Лилечкой весьма переборщили, обрызгивая набело переписанную рукопись ее стихов духами из нескольких пузырьков сразу, — так, вот, получив по почте письмо от никому не известной Черубины де Габриак, стал даже еще более аристократичен и элегантен, чем был. Не она приобщалась к высокому миру. Но он, Маковский, приобщался к нему через нее. Будто паспорт получал на новое, определенное ему свыше жительство. Он тотчас же напечатал Черубину и принялся обегать все театры Санкт-Петербурга, неутомимо лорнируя ложи, в поисках таинственной аристократки.

— Ах, Максимилиан Александрович! — вскрикивал Маковский, поймав однажды Волошину посередине Невского. — Вы даже представить себе не можете, какое чудо эти странные стихи...

Волошин поглубже надвигал шляпу на свои смеющиеся глаза... Ему очень хотелось поскорее уйти, чтобы не выдать себя, не сорвать, не испортить им же самим придуманную игру; он сам напросился быть редактором и цензором стихов Лили Дмитриевой, ведь не Лиля же породила Черубину, но толстенький и веселый Макс запустил ее в будуары и салоны Санкт-Петербурга. Однако уйти не удавалось. Маковский, подпрыгивая на одном месте и вертя пуговицу на волошинском жилете, тоненько продолжал восторгаться:

¹ Гумилев Николай Степанович (1886—1921). Русский поэт. Последователь символистов. Влияние предшественников особенно заметно в образах его поэзии, часто астральных, космических. Расстрелян большевиками.

² Волошин Максимилиан Александрович (1877—1932). Русский поэт. Испытал влияние любимых им французских поэтов Анри де Ренье, Реми де Гурмона, Барбе Д'Оревилли и Вилье де Лиль-Адана. Хозяин знаменитого дома в Коктебеле (Крым) — пристанища многих поэтов, писателей, художников.

³ Маковский Сергей Константинович (1877—1949). Русский поэт. Автор мемуаров.

— Я всегда вам говорил, что вы слишком мало обращаете внимания на светских женщин. Посмотрите, какие одна из них прислала мне тонкие стихи. Такие сотрудники для «Аполлона» необходимы!

Тогда, не зная, как остановить восторг Сергея Константиновича, Макс оторвал от своего жилета измученную пуговицу и уложил ее в восторженно летающую ладонь Сергея Константиновича. Тот в изумлении уставился на нее, не понимая, что может она означать и откуда она здесь взялась, правда, говорить перестал.

Воспользовавшись паузой, Волошин приподнял шляпу, прощаясь, и быстренько свернул в переулок...

Но, вот, точно так же могли и здесь, в Ташкенте, столкнуться этими днями ее нынче любимый Юлиан и он, прежде любимый Воленька, Воленька Васильев, муж.

Это потом, много позже, после той петербургской истории с Черубиной де Габриаак, все станут думать, что Коленька Гумилев и Макс Волошин стрелялись из-за Черубины. Будто бы Гумилев бы оскорблен придуманным розыгрышем. Отнюдь... Просто совпало ее саморазоблачение с настойчивым, даже с настырным предложением руки и сердца от влюбленного Коленьки. Она молчала, а он бегал по редакциям и всем рассказывал, как однажды давным-давно, в Коктебеле, и Волошин тому свидетель, у него с Лиленькой возник бурный роман, которому естественно сегодня следует дать достойное завершение, — обвенчаться. Они с нею тогда и читали стихи, и купались в понтийских волнах, и загорали, будто бы греческие совершенные боги...

Макс же оказался оскорблен подобными рассказами Гумилева. Не потому, что подобного не было. Всякие, приезжавшие к нему в Коктебель, тотчас начинали читать стихи, купаться в понтийских волнах, загорать и делаться совершенными, как греческие боги... Просто он был достаточно дружен и с Волею Васильевым, женихом который сам, увы, никак не мог поучаствовать в явно назревавшем оскорбительном для Лили Дмитриевой деле. Воля Васильев служил тогда вольноопределяющимся, в нижнем чине, под Петербургом и у него, ну, никак не получалось самому приехать в город, чтобы поговорить с Гумилевым.

Некоторое время Макс Волошин молчаливо терпел.

Но когда Гумилев однажды через мелкого какого-то поэта, обманом зазвав Лилю в комнату со свидетелями, во всеуслышание рассказал про то, в каких одеяниях купались, загорали и читали стихи те греческие боги и когда Лиля, заплакав, неубедительно сказала, что он лжет, Макс не вытерпел...

Тем же днем он домчался до места, где стояла часть Воли Васильева, и, напором всего своего крупного тела испросив у него разрешения, — вряд ли Воля настоящему понял — что произошло? — умчался обратно: вызывать болтливого Гумилева на дуэль.

«Я тогда примеряла маску Черубины де Габриаак, — подумала Елизавета Ивановна. — Благородный Макс — маску разгневанной чести, но какую же примерял несчастный Коленька Гумилев? Влюбленного?.. Добивающегося моей руки, человека? Бог весть...»

Макс рассказывал ей, что имя Елизаветы Ивановны в день вызова ни разу не прозвучало. Зато Макс по несколько раз повторял слова Иннокентия Федоровича Головина, невзначай оказавшегося свидетелем, — Макс не выбирал ситуацию...

Когда Волошин подошел к Гумилеву и с размаху ударил того по щеке, Иннокентий Федорович философски заметил:

— А ведь и здесь прав был Достоевский... Звук пощечины действительно мокрый.

Один только Воля Васильев не надевал маски. И от этого был достаточно быстро разлюблен Елизаветой Ивановной, — он уже и тогда стал для нее сегодняшним человеком, по-обычному повернутым к ней голой спиной с коричневыми, густо насаженными конопушками.

Глава третья

Без корсета

Господи! Но ведь сегодня же среда... Среда! И она, — в который раз! — трагически опаздывает. Нет, ее не станут ругать, если она придет отмечаться на час или на два позже. В ГПУ свой график, к которому никому никогда по-настоящему не приспособиться, — важно лишь быть «от» и «до». Но в приемной, но в длинном темно-зеленом, пахнущем чернилами коридоре, длинно протянутом от входной двери до полукруглого — в решеточке — окошечка, куда она должна будет протянуть свой паспорт и разные мелкие сопутствующие бумажки, ей может достаться самая последняя очередь из таких же, как она, испуганных, равнодушных, озлобленных, будто скрепками прищипленных к паспортам и бумажкам, терпеливо ожидающих людей. Ей может не хватить длинных скамеек вдоль стен, она не сможет сидеть. И оттого, что ей придется часы отстоять, спиной опираясь на темно-зеленый холод измурзанных стен, — несколько дней, последующих за этим, она станет болеть.

Но ведь днями же приезжает ее Юлиан...

Ей никогда до этого не было так плохо, как стало здесь, в Ташкенте. Прихрамывала Лиля всю жизнь, с самого детства. Она тащила эту свою хромоту из-за туберкулеза костей почти с самого дня своего несчастного рождения. Она была прикована к ней и волокла ее за собой, как каторжанин, прикованный к своей тачке. Из-за нее она всегда считала себя уродом.

Ей иногда казалось, что и все стихи, написанные за всю ее — Лили Дмитриевой — жизнь, не публикуют как раз потому, что знают — какая она уродина, если ее увидеть.

Черубина насмешливо пряталась под обложку яркого «Аполлона», в изящном оформлении Е.Лансере, лишь только Лиля начинала подходить к безжалостному серебряному стеклу.

Ведь и стихи — это как зеркало. А какой она могла отразиться в них? Такою, какой отражалась в зеркале настоящем? Стоя перед ним, как есть. Без поддерживающего корсета. Перекошенной. Одна рука длиннее другой. Одна нога в полузгибе колена, другая — вытянутая в напряженную струнку, будто худенький солдат на плацу. Хромоножка из Достоевского. Вечно мерзнувший Квазимодо, только что без горба на спине. Зато с маленькой, ни для чего не нужною грудью, просвечивающей голубыми прожилками через синюшную кожу, тотчас нервно покрывающуюся пупырышками, лишь только она взглядывала на себя через леденяще-зеркальное отражение стекла.

Всю жизнь это было ее тело, и она постепенно сжилась с ним. И другие тоже, наверно, сживались. Ведь не стали же пугающим зеркалом в те дни, в Коктебеле, ни чересчур внимательные, художничающие глаза благодушного Макса, ни слишком откровенные, приятно поглаживающие — Коленьки Гумилева. Ни даже соленые и теплые глаза Черного моря, освобождающего от всех петербургских холодных условностей, в которые взглядывалась она и которые взглядывались в нее, счастливую тогда своим свободным освобождением — Лилю, тоже не стали...

Здесь, в Ташкенте, ее тело взялось тревожно и надоедливо болеть. Болеть постоянно. Болеть не частями, но — все разом и сразу. Болеть не в одном одиноком каком-то месте, но — и там, и здесь, и повсюду... И там, где одна нога в полузгибе, а другая — вытянутая в струнку, будто худенький солдат на плацу. И там, где, устав от постоянной своей перекошенности, вытянулся надстроенными друг над дружкой торчащими косточками, пунктиром перечеркивающий спину ее позвоночник. И там, где под просвечивающими голубыми прожилками заметно пульсировало и нервно билось ее сердце.

— Я завтра буду кататься на островах, — позвонила однажды Черубина истомленному в тайне незнакомства Маковскому.

— Но, подскажите, как я узнаю вас? — взмолился он тогда.

— Сердце подскажет, — смеясь, отвечала она, вешая черную телефонную трубку и крутящейся ручкой давая «отбой».

Следующим днем его голос в телефонной трубке тешился тонким торжеством:

— Я узнал вас! Вы были в черном бархате и проехали мимо меня на звенящем автомобиле...

Черубина смеялась:

— Я никогда не езжу на автомобилях, а только на лошадях.

Звенящий автомобиль для Лили был потом у Ленинградского ГПУ.

Тогда, после ареста в 1927 году, ее не убили сразу. Ее убивали медленно, убивали, как оказалось, сейчас... И сделать такое оказалось куда как просто — следовало лишь перегнуть сначала подследственную, затем и осужденную Елизавету Васильеву обычным этапом на Урал. И перегнули. И она, хромя, как смогла, но все-таки тогда выдержала, все-таки добралась. Оттуда же, из Екатеринбурга, — месяц тюремной физической пытки и голода, — своим ходом сюда, в ссыльный Ташкент, след в след за другими многими; зато, вот, теперь...

Темно-зеленые липкие стены приемной ташкентского ГПУ. Среда. Окошечко за решеткой. Чернильный запах, змеисто струящийся отовсюду. Половицы, до самого дерева истертые ежедневно шаркающими по ним ногами. И — прихрамывающими — ее.

«В пустыне знойной нет дорог... Последний бой был здесь проигран... Как будто желтой шкурой тигра покрыт трепещущий Восток. Но кровь текла... И Джин Проклятый забрызгал кровью весь песок — и стала шкура полосатой».

Возможно, главное и исключительное достижение свершившейся социалистической революции — великое количество повсюду змеящихся живых очередей. Из сидящих вот здесь, на не уступленных для нее деревянных скамейках вдоль стен. Из одиноко моющих свои маленькие окна китайцев и из всяких других, сосланных, горемычно оторванных от реальности и переброшенных невесть куда и невесть зачем. Освобожденный труд лишал возможности работать.

«Чужеземного дерева плот, по реке ты плыви без страха. И увидишь: Небесная Пряха целый год Пастуха к себе ждет. Только реку Дракон стережет, лишь единожды в год среди звезд птичьи крылья сплетают мост».

— Васильева... — вытянулась рука из замкнутого и зарешеченного пространства. — Возьмите паспорт. Не забывайте отмечаться. Следующий...

Глава четвертая

Последняя из дома терпимости

Телеграмму о приезде Юлиана она нашла подсунутой под дверь. Завтра... Елизавета Ивановна посмотрела на тикающие часы. Завтра они увидятся — ее Всеволод и ее Юлиан. Завтра начнутся крики и не дай бог револьверные поползновения. Этого было не нужно, это было смешно в сочетании с днями учрежденческих чисток и регулярных отмечаний по средам в окошечке ГПУ.

Впрочем, это было смешно уже и тогда, в дни запозднившейся осени 1909 года, когда два дующихся друг на друга петербургских литератора, — в тот момент больше думающих о чистоте своих штиблет, нежели о предстоящем смертоубийстве, — пародией на великое противостояние чести и бесчестия, оскальзываясь на мокрых и грязных листьях, выстроились друг против друга на той же самой пушкинской Черной речке.

Монашески длинные — до плеч — волосы Макса Волошина слиплись под сеющим дождливую крупу ветром; Волошин тогда решил, что приличнее стреляться вовсе без шляпы. Нос Николая Гумилева был красен от холода и тоже мокр; как раз на его самый кончик падали капли с тряпичного козырька летней фуражки.

Пятнадцать шагов, отмеренных по скользким же кочкам, не внушали доверия точностью расстояния.

Два мокрых длинноствольных пистолета, едва ли не те самые, из которых здесь уже однажды стрелялись, были мокры, как нос Николая Степановича, и недружно пальнули...

У Волошина пистолет дал осечку, Гумилев промахнулся.

Обтерев нос мокрой фуражкой, Гумилев дружески предложил Максимилиану Александровичу стрельнуть еще раз. Тот горделиво согласился — ему тоже очень хотелось услышать, как бухнет в его руках настоящее военное оружие, и ему понравилось, как черною и крикливою тучей, от страха тоже густо стреляющей вниз поносным дождем, взвихриваются с веток оружие галки. Максимилиан Александрович боялся лишь одного — по неумению стрелять — все-таки попасть в своего противника, опять по-лермонтовски стоящего с каплею на носу.

Промахнулся.

Но нужное эхо произошло.

«А в Макса попасть было легче, — вдруг подумала Елизавета Ивановна, и, хотя вздрогнула, ей стало смешно. — Макс толще Николеньки».

Подумав о толстом Максе, Елизавета Ивановна вспомнила и о необходимости бежать на базар. В обычные дни ее Всеволод был ей помощник: в ценах тотчас же разобрался, даром что питерский, в деньгах не скупился, но и поторговаться умел, естественно, не для денежной экономии, но для собственного инженерного удовольствия, а также — для установления всемирного интернационального пролетарского контакта с местным населением.

Но завтрашний день не встраивался в интернациональную очередь стремящихся к пролетарскому единению, любящих друг друга граждан.

Завтрашний день мог закончиться местною Черною речкой — кровопролитием где-нибудь возле Салара. Поэтому, суетливо схватив кошелку, Елизавета Ивановна постаралась забыть про досадные боли, иначе ей было бы даже трудно выйти из флигелька, и пошла на базар, совершенно еще не решив, что в таких случаях следует покупать.

Зудящие пчелы стукались друг о дружку, кружась над мешочками с тмином, перцем, зирой и барбарисом. Черный виноград, как ей показалось, величиною с коровьи глаза, нежился крупными гроздьями, покрываясь от невостребованного томления матовой патиной блаженного умирания. Зеленый — просвечивал соком, пока еще несостоявшегося, белого вина.

Этого винограда она и взяла. Потом подбавила немного гроздей черного...

«Он любит такой, — подумала она и тут же обмерла от догадки, пришедшей сразу же вослед этой странной мысли. — Он — это кто?»

Виноград любил Воля.

Дальше она уже не обдумывала того, что стала делать. Она брала все подряд. Бегая между рядов, она нахватывала то того, то другого, набивая кошелку всем, на что хватало немногих денег. Сейчас она не была Черубиной, как не была и Лилей Дмитриевой, невестою Воли. Сейчас она оставалась только лишь Елизаветой Васильевой, завтра встречающей любимого человека. А какая из этих частей ее души была в ней частицею настоящей, она никогда не знала. Может, даже и каждая являлася маской души какой-то другой, еще никогда и ни перед кем не явленной...

Возле самого выхода торговали семечками. С гимназических времен она презирала их, за их привязчивость, их неотвратимое умение придавать тупость любому лицу, плюющемуся мокрою шелухой. В этом и тогда она уже была Черубиной де Габриак, еще не нося несуществующего имени. После октябрьской смены власти она их возненавидела окончательно. Буквально все, пробегающие и идущие мимо нее, вдруг единым разом стали обладать тем самым, ненавидимым ею общим лицом. И шелуха выстелила Невский проспект царственного Санкт-Петербурга скользким пощелкивающим ковром. Так пощелкивали под босыми ногами мелкие ракушки на камушках в Коктебеле.

Но сейчас здесь все совсем не походило на Коктебель, и она не была уже Черубиной... Семечки смогли бы, наверное, ее успокоить, утишить расхолодившееся сердце, притупить взнузданные нервы. И — с усмешкою подумала она о себе —

придать и ей тоже то самое общее выражение лица, которое сейчас для нее было единственно возможным.

— Неча пул, опа¹? — спросила она у тоненькой женщины в парандже, на корточках примостившейся над своим пузатым мешочком у самого входа.

— А сколько не жалко... — неожиданно весело и совсем так же, как отвечали ей когда-то на российских рынках, ответили из-под непросвечивающей паранджи.

— Вы говорите по-русски? — совсем уже глупую фразой удивилась Елизавета Ивановна.

— Отчего же не говорить? — в свою очередь, удивился голос под паранджой. — Я ведь самарская...

«Вот и эта... — подумала Елизавета Ивановна. — Вот и эта тоже не дома. И на ней тоже маска — эта странная паранджа».

Странная уже даже здесь, в Азии. Странная после того, как уже даже и местные узбеки вольно ходят по улицам со своими сказочно красивыми — тысяча и одна ночь — открытыми лицами. И уже выветрился резкий запах паленого конского волоса. И уже давным-давно выметен пепел с каменной площади Старого города, где освобожденные — Бог весть от чего — женщины Востока недавно демонстративно жгли свои серые мешки, сдернутые с черных и седых голов, бросая их в европейские костры азиатского худжума².

— Да, но...

— Так будете брать или что...

— Послушайте, — опять неожиданно для себя самой сказала Елизавета Ивановна, — а вы не смогли бы мне помочь?

«Чем она мне может помочь? И для чего мне нужна ее помощь?» — быстро подумалось Елизавете Ивановне, еще и не успевшей закончить собственную фразу.

— Отчего же, коли смогу...

— Сможете, сможете... — обрадовалась Елизавета Ивановна. — Ко мне завтра гость приезжает. А я... Вот, еще и нога...

— Муж приезжает?

— Да нет, просто знакомый...

— Значит, жених...

— Что вы, я давно замужем...

— Тогда ясно, лучше дальше не спрашивать...

— Вы не так поняли, — покраснела Елизавета Ивановна, мгновенно позавидовав тому, что это не она сейчас скрыта под паранджой, под эту древнюю маской, но — незнакомая ей тоненькая женщина. — А впрочем...

— То-то и оно... — назидательно донеслось из-под паранджи. — Да вы не смущайтесь, я не из болтливых. Сама таюсь какое уж время.

— Так вы, — испугалась Елизавета Ивановна, — тоже... из ссыльных?

Женщина весело рассмеялась:

— Я ссыльная сама по себе. Еще до ваших, до большевиков...

Елизавета Ивановна хотела сказать, что они... что большевики, вовсе даже и не ее, что вовсе даже наоборот, однако конечно же промолчала.

— Ну так что? Будете брать?

— Не знаю... Но вы не ответили мне на вопрос? — вдруг опять неожиданно для самой себя повторила Елизавета Ивановна.

— Это — чтобы помочь? Так ведь всякое время — денег стоит...

— Да? — искренне удивилась Елизавета Ивановна. Так искренне, что голос под паранджой опять рассмеялся.

— Вот и выходит, что вы никогда за деньги ни с кем не спали. Да как же без денег да не по времени? Без денег, да на одной любви, сразу истреплешься...

— Да? — удивленно приподняв свои желтоватые, почти что уже совсем выцветшие бровки, очень тихо произнесла Елизавета Ивановна.

¹ — Неча пул, опа? (узб.) — Сколько это стоит, сестра?

² Худжум — наступление (узб.). Послереволюционное движение в Средней Азии, направленное на раскрепощение женщин Востока.

— Ну, вот что, — решительно донеслось из-под паранджи, — вижу, что — точно — оставь тебя одну, так ты и с любовником не способна будешь время провести. Тебя, как говоришь, звать?

— Лиза... То есть — Елизавета Ивановна, — поправились Елизавета Ивановна, вспомнив, что она же еще прежде была и Черубиной де Габриак. А стала бы Черубина, вот так, на заплыванной шелухой прибазарной улице разговаривать невесту с кем? — Елизавета Ивановна Васильева. Я — поэтесса, то есть — стихи пишу...

— Я стихи тоже когда-то пела. Много. Теперь, правда, забыла уже... Такой, вот, стих знаешь: «Маргариточка цветочек пышно в поле расцвела, и сама того не знала, что сводила всех с ума... Маргарита, пой и веселися, Маргарита, смейся и резвися, Маргарита, бойся ты любви!..»

— Вас звать Маргарита?

— Да что с тобой говорить! Лучше дело приказывай... Договаривай уж, когда начала. Ну, а звать меня — Стешей. Степанидой, если по-твоему...

— Знаете, Стеша... Степанида...

— ...пусть будет Петровна...

— Знаете, Степанида Петровна, мне бы там салаты немного нарезать, мясо сварить... Может, еще рыбу пожарить... Я сама, как-то не очень.

— Господи, — усмехнулись под паранджой. — А бабою называешься. Да тебе, Елизавета Ивановна, при твоей хромоте, только бы на салатах и выезжать!

— Не надо так... — обиделась Елизавета Ивановна и опять покраснела.

— Тогда — пошли, — мгновенно набросив на мешочек с непроданными семечками веревочную солдатскую петельку и так же мгновенно ее затянув, поднялась с корточек тоненькая. Такую солдатскую петельку однажды уже затягивал на ее глазах ее Воля Васильев, ее жених, уходящий от нее вольноопределяющимся.

«Мхом ступени мои поросли, и тоскливо кричит обезьяна; тот, кто был из моей земли, — он покинул меня слишком рано. След горячий его каравана заметен золотым песком. Он уехал туда, где мой дом».

Затянутый легкий мешочек теперь несла она, Елизавета Ивановна. Степанида легко волокла кошелку, набитую базарным разнообразием.

— Отсюда ближе, — попробовала было подсказать ей свою дорогу Елизавета Ивановна, но не смогла. Похоже, Стеша взяла власть в свои руки так же твердо, как взяли ее большевики.

— Там не пойдем. Не люблю.

— Отчего? Ведь действительно ближе.

Улица от базара до сквера Революции, еще недавно — Константиновского, сокращала дорогу едва ли не в два раза и была малолюдней: здесь на нее, смешно прихрамывающую, оглядывались почти что совсем мало.

— Не люблю, я сказала.

— Ну, ладно... — согласилась Елизавета Ивановна, вздохнув.

Но, помолчав немного, Степанида вдруг пробурчала из-под своей паранджи:

— Чего уж. Идем по твоей. Я ведь и не подумала, что тебе тяжче идти...

— Да, нет. Ничего... Спасибо. Я много хожу. Привыкла, — привычно не огорчившись на очередное упоминание о ее хромоте, сказала Елизавета Ивановна. — Только ведь по этой-то улице действительно ближе.

— Да знаю я эту улицу. Работала тут. Отсюда меня и муж откупил. Теперь даже ходить по ней не велит.

— Как это — откупил? Деньгами?

— Немножко деньгами. А больше — словами всякими. Заговорил меня всю... Вот тот дом видишь? Где конторы теперь... Там и прежде еще кабинеты были. Только другие совсем. Каждой девке по кабинету. Как сейчас у начальника. Принимают клиентуру, вот, как теперь принимают. Одно только наоборот — не они тебе в кабинет разные справки-бумажки тащат, а ты им сама, даже если не спрашивают, показать норовишь. Врачи нам их каждую неделю продляли. Веселая жизнь. Маргарита, пой и веселись, Маргарита, смейся и резвися, Маргарита, бойся ты любви!..

— Вы хотите сказать, что это... что здесь был дом терпимости?

— Ну, да. Публичный.

Елизавета Ивановна вдруг все, как ей показалось, поняв, резко остановилась. Перекачнулась с той ноги, что подлинней, на ту, что короче, сказала:

— Теперь я, кажется, поняла, отчего это вы до сих пор паранджу эту носите...

— Дура! — пресекла ее Степанида. — Думаешь, у меня там, под паранджой, нос от сифилиса вовнутрь провалился? Оттого и прячусь? Дура! Сказано же было тебе, нас каждую неделю на осмотр гнали. Без справки на работу никак не выйти. Такое чистое заведение, может, еще только в Петербурге и было. Ну, и в Москве, может...

— Так отчего... — Елизавета Ивановна не договорила.

— Говорю же — муж. Еще тогда даже не муж, а обычный, как все, посетитель, клиент. Долго он ко мне приходил. Каждую ночь, аж из Старого города. Он у меня из здешних, из местных узбеков. Придет, деньги заплатит, а не делает ничего. Сидит и смотрит. Сидит и смотрит. Я сначала смущалась, потому что не привыкла деньги бесплатно для себя брать. А потом — свыклась. При нем, не боясь, спать стала. Днем я спать никогда не могу. А так — в спокойную ночь, это когда при нем, разденусь и по-человечески сплю. Даже потолстела тогда, потому что работы нет, а один ночной отдых.

— Еще того лучше, теперь я тем более не понимаю. Ну, а паранджа-то зачем?

— Так меня же весь город знает. То есть — знал... — поправилась Степанида. — А какому мужику понравится, когда красоту его бабы другой мужик знает? Вот он меня и спрягал от всех. Закрыл. Только для себя и оставил. Я в одной книжке карнавал видела — там все в масках, ну, прямо, как я... Должно быть, развратно до этого-то, до карнавала, всем городом жили. Вот и попрятались друг от дружки¹.

И она засмеялась.

Глава пятая

Чачван — всего лишь сетка из конских волос

— Ты вот здесь и живешь? — удивилась Степанида, лишь только они прошли мимо китайца, невозмутимо, с коротенькой трубкой, обжигающей нос, сидящего на перевернутом старом ведре подле своих — наконец до блеска отмытых — стекол окна.

— Здесь я умираю, — как всегда неожиданно для себя самой произнесла Елизавета Ивановна.

— Да-а, — протянула Степанида. — Не житье.

Она оглянулась:

— Никто сюда не войдет? Я бы скинула сейчас сетку-то эту...

— Муж на работе, — Елизавета Ивановна подумала про Юлиана, — а он...

— Ну, да... Завтра.

— Завтра, — согласно кивнула Елизавета Ивановна.

— Тогда командуй, — уже не глухо, не из-под сетки, отброшенной назад, за голову, не из-под сухой и душной своей паранджи произнесла Степанида, открывая лицо.

Лицо оказалось старым и некрасивым. Черные, безжалостно насурьмленные брови были похожи на графитовый карандаш, жирным потом приклеенный к белесому лбу. Тонкая, еще более тонкая и прозрачная, чем у нее самой, кожа нетугими складками обкладывала — заметно опрокинутый к затылку — напудренный лоб. Мелькнула даже грешная мысль: может, не оттого, что все ее знали, закрыл это лицо ее муж, но оттого, что стеснялся?

— Подожди, не бросай... Дай я померяю...

— А разве ты никогда такой не носила?

¹ Документальная история, случившаяся после революции в Ташкенте. Со слов одного из первых узбекских кинорежиссеров Наби Ганиева упоминается также в книге Виктора Витковица «Круги жизни». Повесть в письмах. Изд. «Молодая гвардия». Москва. 1983 г.

— Нет, — сказала Елизавета Ивановна, и ей показалось, что она соврала.

«Воспоминаний злых страна... Каким мучительным пожаром здесь плоть земли опалена? Скажи, какая власть дана твоим обугленным чинарам? — «Здесь под землей черный ад, отсюда я приду назад».

— Чачван, — встряхивая и расправляя перед собой паранджу, равнодушно произнесла Степанида. — Всего лишь сетка из конских волос.

— Я думала, что изнутри ничего не видно...

— Видно, видно... — усмехнулась Степанида. — Сделано ведь, чтобы не мир от себя прятать, а чтобы себя от мира.

— Как это...

— Что?

— Как это ты так... красиво говоришь?

— А наслушалась. Неужто не знаешь, что всякий, кто с тобой спать норовит, сначала всякие слова вспоминает, которые красивые, даже из книжек разных. Только потом, уже утром, не помнит об них. А мы, вот, дуры, все помним. Тебе разве не говорили?

Елизавета Ивановна задумалась. Пожалуй, что — говорили. Коленька Гумилев, Макс Волошин да и Воля... Когда-то. Теперь — спиной в веснушках. Вспомнила еще, как звонил ей Маковский. Вернее, она сама позвонила ему. Еще вернее, не она сама, не Лиля Дмитриева, а Черубина.

— Вы знаете, — обрадовался он, — я умею определять судьбу и характер человека по его почерку. Ваш — удивителен! Хотите, расскажу о вас все, что узнал по вашему?

Черубина, быть может, и не захотела, но захотела она, Лиля. Переведя дыхание, согласно кивнула, как будто бы можно было этот кивок разглядеть при помощи телефонной трубки. Но Маковский словно действительно увидел.

— Ваш отец, конечно, француз. Из Южной Франции. Мать — русская. Но она воспитывалась в монастыре в Толедо. Она любила носить белоснежные кружева в сочетании с чем-либо черным... Вы же — немного наоборот. Вам нравится черная отделка на белом шелку...

Это был какой-то бред, обман, наваждение: в одном и том же журнале выходили стихи одного и того же поэта, а единства в них словно не существовало. В одних Маковский видел черную отделку на белом шелку, в других — ее, наверно, такую, какой она сама себя видела перед зеркалом. И еще совершенно неизвестно — в моменты, когда говорили перед нею красивые слова даже и из книжек разных, то кому говорили их? Ей ли, Лилечке Дмитриевой или все же графине Черубине де Габриак? И Николай, и Макс. Впрочем, только не Воля ее...

Вообще же честнее всего признаться, что это она сама себе всегда их говорила, не помня, стараясь не помнить про отражение в зеркале, но понимая что-то еще, что-то еще...

А почерк... Стихи Черубины переписывал один пьяный писец из Мариинки. За гривенник.

«Лилия в это время жила на одиннадцать с полтиной в месяц, которые получала как преподавательница пригготовительного класса»¹.

Глава шестая

Дверь за черной клеенкой

— Ну, вот. Спешу домой. Не знаю, как стану тебе говорить, что надобно мне уезжать. А у нас, слава богу, — гости. И я рад. И я теперь знаю, что тебе не так будет скучно, когда я опять уеду... — ворвавшийся в комнату Всеволод торопливо вытаски-

¹ Волошин М.А. «Рассказ о Черубине де Габриак».

вал свои немногие вещи из раскрытого шкапа, сдергивал их со спинки стула и бросал в раскрытый свой, еще дачный, плетеный чемоданчик.

— Воля, это не гости. Это Степанида Петровна. Она пришла мне немножко помочь.

— Да-да... Помочь... Понимаю... Ты не видела мой помазок?

— Есть будешь? — поняв, что Всеволод недоволен, но совершенно не зная, что сказать, чем оправдаться — и, главное, — за что? — сухо произнесла Елизавета Ивановна, впрочем, в глубине души понимая, что все-таки за что-то ей следует оправдаться. За что-то, что еще не произошло, но что может произойти завтра. За что-то, что произойдет не при нем, не при Всеволоде, но без него, следовательно, как будто даже и тайно, и потому и стыдно, и грешно.

— Ты ему бутербродов-то заверни, — подсказала вдруг Степанида, первой поняв, что на вопрос Лизаветы ее этот муж вряд ли ответит.

— Вот это — хорошо, вот за это спасибо, — словно бы даже обрадовался Всеволод. — С собой заберу. А то в дороге... Никогда не знаешь, будешь есть или голодным уснешь.

«Нет больше журавля! Он улетел за другом, сомкнулось Небо кругом, под ним такая плоская Земля! О, почему вернуться мне нельзя туда, домой, куда ушел ты, а следом за тобой журавль желтый».

— Ты далеко? — зашуршав газетами, оборачивающими приготовленное, опять попробовала спросить Елизавета Ивановна.

— Я-то? Я... Нет, недалеко. Денька на два в Джизак. Мы на машине, от управления. Представляешь, всего одна машина, а для командировки не пожалели. Ну, не скучай, я скоро...

Улыбнувшись, Всеволод поцеловал ее в лоб и осторожно прикрыл за собой обитую черной клеенкою дверь.

— Как покойницу... — произнесла Степанида.

— Что? — не поняла Елизавета Ивановна.

— Как покойницу, говорю. В лоб поцеловал.

— Ты забыла надеть это, — сказала тогда Елизавета Ивановна, чтобы тоже сказать неприятное. — И он тебя видел.

— Ну, не тогда же... — равнодушно отмахнулась Степанида. — Говори теперь, с чего начинать.

И добавила:

— Закрывать-то надо от того, кого знаешь, да кто тебя знает. А так-то, зазря, так-то зачем?

— Действительно, — гордо потянулась всею спиной Елизавета Ивановна. Но и вопреки вновь появившейся этой гордости поморщилась от прежней боли.

— Действительно, — совсем неслышно подтвердила графиня Черубина де Габриак.

Глава седьмая

Синьцзяньский диалект

От вокзала Юлиан Константинович Шуцкий поехал на извозчике. Он неторопливо мечтал рассмотреть новый для него азиатский город, но поднятая колесами пыль была столь обильна, что мечтания, — не подтвердившие, но и не опровергшие сами себя из-за невозможности осуществиться в этакой пыли, — остались лежать нераспечатанно, будто непереуевенный им китайский иероглиф.

Юлиан Константинович Шуцкий считался многообещающим филологом-востоковедом, переводчиком и знатоком Китая. Таких, как он, было еще немного, и это огорчало и пугало московских и ленинградских руководящих работников, поскольку отсутствие китаеведов и знатоков древнего языка великой закрепощенной императором страны могло притормозить ход истории, затруднив всемирное понимание про-

летариатом целей друг друга. И потому, естественно, — отдаляло всеобщую мировую пролетарскую революцию, но вполне реально приближало арест, суд и высылку, если таких, как он, в ближайшее время не станет больше...

Когда Елизавета Дмитриева учила свои старофранцузский со староиспанским, применять их для революции никто не собирался...

Почти всю дорогу проехав с зажмуренными от пыли глазами, Юлиан Константинович, доехав до ворот дворика, где во флигеле жила Елизавета Ивановна, с кожаной подушкой сиденья сполз весьма осторожно и только уже стоя на земле быстрым и резким движением встряхнулся всем телом. Так — от загривка и до хвоста — встряхиваются собаки, только что не от пыли, а от воды. Первое впечатление от Ташкента было душным. Но когда в очень низком — распахнутом почти что в самый двор — окне он увидел ее, то чуть успокоился.

— Ну, вот, — сказал Юлиан Константинович. — Я и приехал...

И он развел руками.

— Какой же ты стал... Пыльный.

— Это все ваша пыль, не моя...

— Наша, наша! — рассмеялась Елизавета Ивановна, и ей, так же как только что ему, стало легче.

«На пороге гость крылатый: строгий облик, меч и латы... Под землю — змей — источает смрад и пламя... Вниз с открытыми глазами за крылатыми шагами вниз иди смелей».

— Ну, так что... Встречай, декабристка... — вытирая руки вафельным полотенцем, точно такое ему давали в поезде, произнес Юлиан Константинович. — Здесь ты и живешь... Понятно. Теперь рассказывай...

— Я? — удивилась Елизавета Ивановна. — Нет уж, рассказывай ты. У тебя — новости. А у меня — ничего.

— Как это — ничего? — ища глазами, куда бы это положить мокрое полотенце, сказал Юлиан Константинович. — Такой стол накрыла, а говоришь — ничего...

— Это мне помогли, — улыбнулась она.

— По-нят-но... — многозначительно прищурился Юлиан Константинович, протянув полотенце Елизавете Ивановне. — Следовательно, можно садиться?

— Можно, можно, — засмеялась она, и ей сразу же стало грустно.

— Стихи пишешь?

— Я же тебе посылала...

— Ну, да. Ну, да. Помню. Я сейчас не про те... Я про новые. Что-нибудь новое есть?

— Нет, — сказала она и тоже присела к накрытому столу.

— Не помню, я дарил тебе свою «Антологию»?

— Нет, — сказала она. И сказала правду, хотя «Антологию» она знала. «Антология китайской лирики VII—IX веков по Рождеству Христову», вышедшая еще в 1923 году во «Всемирной литературе», стояла на ее этажерке, и она помнила ее наизусть, выучив еще до издания — редактируя и дружески помогая ему ее составлять. Но только купила она ее себе сама, уже здесь, в Ташкенте, случайно увидев в небольшой книжной лавке на Алайском базаре.

— Тогда напхни, — сказал он. — Я тебе подарю. У меня есть с собой экземпляр.

— Спасибо, — сказала Елизавета Ивановна. — Напхни. Ты все еще любишь свой Китай?

— Кроме него, у меня больше ничего нет, — заметил он и взглянул на Елизавету Ивановну, не подняв головы, исподлобья.

— Тогда тебе повезло, — произнесла она, отворачиваясь. — У нас во дворе живет настоящий китаец. Мне почему-то кажется, что его тоже сюда сослали.

— И он тоже, как ты, служил в библиотеке своей Академии Наук, и он тоже, как ты, руководил каким-нибудь своим антропософским обществом, и его тоже, как тебя, сослали за это в азиатскую Тмутаракань. А еще говоришь, что стихи перестала писать.

— Перестань! Как ты можешь, вот так? Ты, который всю свою жизнь занят

Востоком? Если бы я была на твоём месте, я бы каждый год приезжала сюда, чтобы все это увидеть.

— Что — все? — усмехнулся он.

— Ну, все, все... Минареты, чинары, медресе...

Юлиан Константинович не ответил. Он поднялся из-за стола, слегка потянулся и подошел к окну.

— Какой смешной мальчишка, — заметил он, помолчав.

— Да, — согласилась она.

— И — китаец... Сидит, курит...

— Да, — снова согласилась она. — Это он и есть. А то, что я не пишу стихов, я тебе про это не говорила.

И они опять замолчали.

— Я их просто тебе не посылала...

— Да, — теперь сказал он. — У меня их много. А у твоего китайца неглупый вид.

Он, действительно, вполне бы мог быть каким-нибудь сосланным философом. Каким-нибудь Ли Сян-цзы... Интересно, о чем он думает?

— Он думает обо мне, — тотчас ответила Елизавета Ивановна.

Юлиан Константинович с удивлением обернулся.

— Да-да... А я — о нем. Мне теперь кажется, что я и он — это один и тот же человек. Что он так же все чувствует и понимает, как понимаю я. Что он несчастен точно так же, как я. Что ему здесь совершенно не с кем поговорить, как не с кем и мне... Что он, наверное, пишет стихи, как пишу их я, но никому не показывает, потому что всегда и всех боится.

— Ты пишешь стихи? — опять с удивлением посмотрел на нее Юлиан Константинович.

— А разве я тебе говорила, что я их не пишу? — опять повторила она.

— Впрочем, да — верно. Я получал... Тогда знаешь что, — подойдя к ней и положив свою руку ей на плечо, вдруг сказал Юлиан Константинович. — Если так, то ты могла бы писать стихи теперь уже и под его именем.

— Зачем? — спросила она почти шепотом.

— Ну, как — зачем? Если ваши образы совпадают, это вовсе не значит, что китаец становится европейцем. А, вот, наоборот — да... Всякий русский способен надеть чужую шкуру, не сняв свою. Поди, догадайся, кто он на самом деле... А в нашей поэзии чужая одежда куда заметнее, чем своя. Спрос на нее всегда больше. Ты же сама была Черубиной. И ты ведь хочешь еще что-то сделать?

— ...особенно, когда не дают...

— Вот-вот! Так будь китайцем.

— Но я не знаю, как его звать, — тихо, стараясь не потревожить ладонь Юлиана на своем плече, просто так, чтобы только что-то сказать, сказала Елизавета Ивановна и щекою прижалась к его ладони.

Юлиан не заметил.

— А кто такой Ли Сян-цзы? — вдруг вспомнив себя и отстраняясь, спросила Елизавета Ивановна.

— Кто? А-а-а... Ли Сян-цзы — философ, поэт... Ты же сама говорила. Скажем так, философ, живущий в маленьком домике под грушевым деревом.

Ветер хлопнул узенькою створкой плохо вымытого окна в комнате ее флигеля. Стукнув о раму, створка скрипко поползла обратно.

«На столе сине-зеленый букет перьев павлиньих... Может быть, я останусь на много, на много лет здесь, в пустыне... «Если ты наступил на иней, значит, близок и крепкий лед»¹... Что должно прийти, то придет!»

— Ли Сян-цзы, Ли Сян-цзы... — повторила вслух. — Маленькие колокольчики, колокольцы, колокола. Красиво... А все-таки почему я до сих пор не знаю, как зовут и того, со двора?

— Да зачем тебе надо? Стоит ли портить поэтический образ приметам жизни? Ссылной и пыльной. Как у тебя...

¹ Цитата из китайского поэта. (Прим. Ч.)

Юлиан засмеялся.

— Мы одно и то же, — опять повторила Елизавета Ивановна.

— О, Господи! — сдернув ладонь с ее плеча и воздев обе руки над собой, торопливо заговорил он. — Ты, окончившая гимназию с медалью и еще Императорский педагогический институт, ты, облазившая все библиотеки Парижа, Сорбонны, — как ты не понимаешь, что есть герой и есть автор. И, не понимая, — всегда все путаешь. И в Петербурге путала, и в Ташкенте путаешь. Не Черубина писала твои стихи. Это ты их писала! Ты! Тебе и хвала, и слава. Дмитриевой тире — Васильевой... Да и я ведь не к Черубине ехал, к тебе... А, впрочем, сейчас я узнаю, как зовут твоего китаецца. Пойду, поговорю. Вот мне и еще одна практика в языке...

— Ты хочешь сказать, что я никакая не Черубина...

— Что? — переспросил Юлиан Константинович.

— ...что я всего лишь надела ее на себя, как надевают платье?

— Что? — снова переспросил Юлиан уже от самых дверей, обернувшись.

— ...и что теперь я смогу натянуть на себя и эту китайскую маску, оставаясь самой собою?

— Ты пока ставь чай, я скоро, — скрипнув досками пола и прошуршав черною клеенкой двери, сказал Юлиан. — Только виноград не убирай. Он в вашей Азии чудесный...

«Черной гроздью винограда стало сердце, вот оно! Эту гроздь мне выжать надо, чтоб из чаши, полной яда, сделать доброе вино? Сердце выжатое плачет, почему нельзя иначе?»

Виноград любил Воля. И сейчас он, наверное, приревновал бы Юлиана к этому винограду...

Лиля сидела за накрытым столом спиной к окну. Ветер по-прежнему гонял створку то туда, то обратно. Пахло пылью. И от каждого, даже небольшого, удара с давным-давно покрашенной рамы чешуйками голубой рыбы облетала пересохшая старая краска. Лиля не видела этого, но как будто бы слышала, когда ветер вместе с невидимой пылью заносил в ее комнату еще и невнятные проборматывания Юлиана, говорящего с ее китаеццем.

— Знаешь что? — через несколько минут задумчиво произнес Юлиан, возвратившись и усаживаясь напротив. — Похоже, все мои знания ни к черту не годятся. Я почти ничего не понял из его слов. Боюсь, что и он из моих тоже. Понимаешь, я говорю так, как говорят в Пекине или в Шанхае. А у него очень странный диалект, весьма странный. Я ничего не понял... Скорее всего, он из Синьцзяна. Именно, именно из Синьцзяна...

— Ты останешься ночевать у меня?

— Что? — спросил Юлиан.

«Пустыни горький океан... Слова в душе оцепенели... Идет к неведомой мне цели сквозь пыльный, солнечный туман, как серый жемчуг, караван... Что может быть прекрасней линий верблюдов, странников пустыни?»

— Что? — переспросил Юлиан.

Глава восьмая

Венецианский карнавал

«Секретно. Срочно. ГПУ Туркеспублики

14 августа 1928 г. № 5093/с

Препровождаем при сем копию служебной записки агента наружного наблюдения за ссыльнопоселенкой Васильевой Е.И., проживающей по адресу: Ташкент, Ново-Городская часть, Коларов переулок, дом 9, во флигеле.

Предлагаем обратить особое внимание на упомянутые контакты, а также, по принятию необходимого решения, немедленно дать милиции следующее задание: в ближайшее время провести выборочную проверку помещения на месте проживания

гражданки Васильевой Е.И., забрать все дела, документы и книги, могущие оказать помощь при ведении необходимого дознания о происходивших контактах с упомянутыми в служебной записке лицами, и объявить гражданке Васильевой Е.И. под подписку о дальнейшей нежелательности их.

Об исполнении — донести.

Вр. исп. об. начальника оперативного отдела /Малышев/».

* * *

«Начальнику секретного отдела ОГПУ

Служебная записка.

Во исполнение Вашего указания о необходимости скрытого наружного наблюдения за ссыльнопоселенкой гражданкой Васильевой Елизаветой Ивановной, родившейся 31 марта 1887 года в Петербурге, из бывших дворян, прошедшей по делу о нелегальном петербургском антропософском обществе, где она являлась одним из руководителей и по нелегальным делам которого неоднократно посещала Финляндию, Швейцарию, а также Германию, в связи с чем была арестована, судима и выслана в Туркестанский край, проживающей ныне по адресу: Ташкент, Ново-Городская часть, Коларов переулок, дом 9, во флигеле, имею необходимость донести следующее:

гражданка Васильева Елизавета Ивановна, до ареста и высылки служащая Библиотеки Академии Наук, ныне проживающая по адресу: город Ташкент, Ново-Городская часть, Коларов переулок, дом 9, во флигеле, с последнего времени вновь ведет активную организационную работу по установлению связей и контактов с различными лицами, проживающими как в Туркестане, так и за его пределами. В частности, установлено, что ею получена телеграмма из города Ленинграда от некоего гражданина Шуцкого Ю.К., ученого-китаиста¹, и ранее неоднократно предпринимавшего попытки установления контактов с некоторыми заграничными эмиссарами, в которой он предупреждал Васильеву Е.И. о своем скором посещении Туркестанского края, что и произошло. Данная телеграмма мною лично была передана гражданину Васильеву В.Н., на данный момент тоже проживающему в Туркестане, мужу вышеозначенной гражданки Васильевой Е.И. с целью недопущения подобных контактов. Однако гражданин Васильев В.Н., очевидно, уже находился в курсе предполагаемого посещения гражданином Шуцким Туркестанского края и, в частности, ссыльнопоселенки Васильевой Е.И., поскольку им не было предпринято никаких действий семейного характера, а сам он скоропалительно отбыл в незапланированную командировку в город Джизак. Подобное необъяснимое действие может предполагать и выполнение некоей разведывательной работы, поскольку, имея профессию инженера-мелиоратора, гражданин Васильев В.Н. обладает возможностью посещения самых отдаленных мест Туркестанского края для проведения различного рода регоносцировки с возможностью передачи полученных им материалов научного и разведывательного характера за границу Социалистической Республики.

Далее: прибывший в Ташкент гражданин Шуцкий Ю.К. о чем-то активно пытался договориться с гражданкой Васильевой Е.И. и, по-видимому, по получению от нее соответствующих инструкций, отбыл в Восточный Туркестан, в район Синьцзяна, где находится и до сих пор, возможно, подготавливая их организованный уход за границу, чему доказательство примеряние² скрывающей лицо паранджи гражданкою Васильевой Е.И., производимое накануне, а также вступление³ в контакт с представителями

¹ Шуцкий Юлиан Константинович. Филолог-востоковед, переводчик. Профессор. Прославился фундаментальными работами по Востоку. Особенно исследованиями о китайской классической «Книге перемен». Е.И. Васильева посвятила ему множество стихотворений. См.: журнал «Русская литература» № 4, 1988 г., а также упомянутые Владимиром Глоцером в сборнике «Петербургское востоковедение» / «St Petersburg Journal of Oriental Studies», выпуск 9, СПб 1997 г.: «И вот опять придет суббота...» — осень 1922 г.; «Ты сам мне вырезал крестик...» — июль 1924 г.; «Ты сказал, что наша любовь — вереск...» — август 1924 г. (Прим. авт.)

² Так в документе. (Прим. авт.)

³ Так в документе. (Прим. авт.)

местного населения, возможно, с целью изыскания проводника для подхода к охраняемой зоне и пересечению государственной границы.

Агент наружного наблюдения /Желтый/.

г.Ташкент

12 августа 1928 года.

Добавление: прибывший из Ленинграда в Ташкент гражданин Шуцкий Ю.К., очевидно, уже имеет установленные связи с неким мною не установленным лицом — Ли Сян-цзы, с которым настойчиво предлагал установить контакт и гражданке Васильевой Е.И., возможно, с вышеназванными целями.

Агент наружного наблюдения /Желтый/.

Пометка секретаря: «исправленному верить».

Резолюция в левом верхнем углу служебной записки: «К.! Принять к сведению».

* * *

«Вся комнатка купается в луне, везде луна, и только четко, четко тень груши черная на голубой стене, и черная железная решетка в серебряном окне... Такую же луну видала я во сне, иль, может быть, теперь все снится мне?»

Глава девятая

Из книги философских стихов Ли Сян-цзы «Домик под Грушевым Деревом»

* * *

Домик под грушей...
Домик в чужой стране.
Даже в глубоком сне
Сердце свое послушай:
Там обо мне!
Звездами затканый вечер —
Время невидимой встречи.

* * *

Покрыто сердце пылью страха.
Оно, как серые листья...
Но подожди до темноты:
Взметнется в небо fuga Баха, —
Очнешься и увидишь ты,
Что это он весь страх твой вытер
И наверху зажег Юпитер.

* * *

Не навеки душа ослепла —
Золотые цветы огня
Расцветают под грудой пепла
Для тебя и для меня,
Потому что такое пламя
И его погасить нельзя.

* * *

Здесь всюду мчался белый конь
Молниеносного героя,
И среди пыли, вихря зноя
Звучат рога его погонь.
И, как запекшийся огонь,
Стал цвет земли темно-лиловым.
О, странник, к битве будь готовым.

* * *

За домами, в глухом переулке,
Так изогнуты ветви ив,
Как волна на гребне застыв,
Как резьба на моей шкатулке...
Одиноки мои прогулки:
Молча взял уезжающий друг
Ветку ивы из помнящих рук¹.

Глава десятая

Часовня «Всех скорбящих Радость»

Теперь она уже не вскакивала и не подбегала к окну так безоглядно и ожидающе, как подбегала и выглядывала недолгое время тому назад.

И так происходило совершенно не потому, что на нее со своего перевернутого ведра равнодушно, невозмутимо — и не видя — смотрел одинокий и несчастный, как она, желтый китаец. Внешне он был невидим для нее никогда. Она переживала, как бы — переощущала его только внутренне, так, как переживала и переощущала в самой себе собственное одиночество, а это — другое.

И так происходило совершенно не потому, что вдруг испугалась и застыдилась самой себя, прорисованной открытым беспомощным телом в облупленной раме распахнутого окна перед постоянно прыгающим возле нее мальчишкой.

Теперь, просыпаясь, она лежала в постели, пытаясь обрести внутри себя осмысленность дальнейшего существования, осмысленность предстоящего дня, даже самой минуты подъема и вхождения в этот день, ничего для нее теперь не представляющий.

— Цир-цир! — вызывающе вскрикивал подпрыгивающий и заглядывающий в полумрак ее жизни мальчишка.

Но, только не торопясь и равнодушно теперь одевшись, она подходила к окну и смотрела на кричавшего так странно, что он тотчас же сбежал за крестовую драпку ободранного дома и там исчезал среди жужжания золотых мух и мутных запахов общественной помойки, где лучше всего росла вечно мокрая трава, пружинила земля под ногами, и можно было надергать для себя из-под мусорного хлама целую гору бесполезных вещей, более веселых, чем костистое растрепанное привидение в раме окна.

Частым обрамлением Черубины де Габриак служила красная тяжесть театральных лож бенуара, окантованная золотолиственным размашистым рококо. Черубина появлялась в них очень легко, чтобы остаться все-таки невидимой для суетящегося в поисках ее Маковского. Маковский на всякой премьере балета, выбрав самую красивую из сидящих в ложах бенуара дам, уверял всех и саму Лилю, что наконец-то он видел сегодня истинную Черубину. Лилия, смеясь, только по его намекам, сама сразу же определяла предмет его театрального восторга и двумя-тремя точными словами уничтожала красавицу, естественно и сразу побеждая в заочном соперничестве с ней.

«На веере — китайская сосна... Прозрачное сердце, как лед. Здесь только чужая страна, здесь даже сосна не растет. И птиц я слезу перелет: то тянутся гуси на север. Дрожит мой опущенный веер...»

Всеволод уже давным-давно уехал домой, в Петербург, заскочив из Джизака только на пару дней, окончательно собраться.

Юлиан был где-то рядом, на той же самой, на ссыльной для нее земле, но оказывался так же недоступен даже для простого, ободряющего ее разговора, как и в

¹ Китайский обычай: при разлуке давать ветвь ивы. (Прим. Ч.)

первый день ее приезда, — тогда даже собственную ладонь у ее щеки он не заметил... Впрочем, может, и заметил, но тотчас забыл, переувлеченный размышлениями о Китае, китайце и непонятном для него синьцзянском диалекте, пониманию которого он теперь посвятил все оставшееся время, исчезнув в стороне Восточного Туркестана.

«Китайский лиловый платочек — знаки твоей страны. Узор из серебряных точек и ветка сосны. Я при слабом свете луны узор на платке разберу... И слезы со щек сотру».

Так, лежа, она однажды пропустила опасную для себя среду, но отчего-то никто не пришел, не поинтересовался, не забрал ее за тюремную решетку, как сделал это в прошлом году в Петербурге звенящий автомобиль. Все произошло так, будто бы теперь сидящие в зарешеченном автомобиле знали, что она, хоть и не отметилась у них, в ГПУ, но уже отметилась на земле, а такое — выше.

Оба они уехали так, как уже однажды уезжала она. И — теперь она понимала — оба вызвали у нее точно такое же ощущение пустоты, как — она теперь знала и это — вызвал однажды отъезд Черубины де Габриак из Санкт-Петербурга в Париж. Как же умолял ее тогда Маковский разрешить прийти на вокзал — проводить, увидеть. Лиля бы не выдержала, кивнула. Черубина же сделала полкивка: дала согласие приехать на вокзал любому из друзей Сергея Константиновича, но ни ему самому. Позже, вот, как сейчас в Ташкенте, Лиля, наоборот, не захочет друзей, но только любимых, которые хотя как будто и придут на вокзал прощания, но не поймут этого и станут смотреть на нее глазами временных друзей, торопясь уйти. Впрочем, может, просто не почувствовав, что теперь ей отъезжать не на две недели в Париж за шляпками, как отъезжала Черубина де Габриак, но в страну тьмы и света, света и тьмы, где не существует некрасоты костистых и хромящих тел, а только законченность и совершенство низменной землею не измятого творения. Но собственники удерживают собственность, не видя и не ощущая ее. Их взгляд — всегда на приобретение новой. Собственники не верят, что никогда не обладали хоть чем-нибудь. А только руки их всегда оказывались и оказываются пусты.

Черубина тоже предчувствовала конец своей жизни.

По воскресеньям она посещала католический костел и исповедовалась у отца Бенедикта. Тот склонял ее уйти в монастырь, и Маковский был в ужасе, что земное умирание Черубины однажды осуществится. И Лиля тоже стала этого бояться. И она тоже облегченно вздохнет, когда на очередном заседании петербургской Поэтической академии в Обществе ревнителей русского стиха вдруг побледневшего Маковского срочно вызовут к телефонному аппарату, по которому дворецкий Черубины де Габриак бесстрастно сообщит:

— Кризис миновал. Графиня Черубина де Габриак жить будет.

Умирала Елизавета Васильева. Она теперь совсем перестала подниматься и распахивать в сквозняковый ветер шелушащуюся раму окна. Однажды пришла Степанида. Вымыла пол, перевернула и искупала ее саму, еще раз вымыла пол, но постель не переменила — было нечем.

Маковский носился по Петербургу и подкупом всяких мелких людей у разбросанных дач на Каменноостровском отыскивал следы ее возвращения из ниоткуда. Наконец и опять как будто нашел.

Какой-то дворецкий, получив двадцать пять рублей, побожился, что та, которую разыскивают все богатые господа, — внучка их графини Нирод. Их две у нее: одна нынче вроде в Германии, вторая как раз возвратилась, только он позабыл, как ее звать.

— Черубина? — встрепенулся Сергей Константинович.

— Черубина! Так! Вот-вот — Черубина... — радостно согласился старик-дворецкий.

Елизавета Ивановна испугалась. По несколько раз в день, наконец обнаруженная Маковским, Черубина заходила к ней в комнату, и Елизавете Ивановне становилось стыдно, что постель не мененая и вокруг нее нестерпимо душно. Тогда она звала своего китайца, он тотчас приходил, садился возле ее кровати на перевернутое ведро, которое приносил с собою, и тихонько курил, отгоняя петербургского призрака.

Поезд отходил. У Елизаветы Ивановны не оказалось билета в Париж, куда уехали все, но она все равно побежала на вокзал, чтобы выпросить его у Черубины, а

только из-за своей хромоты конечно же опоздала. На тех путях, с которых десять минут назад отошел поезд во Францию, уже стоял совершенно другой, и из его красных теплушек горохом рассыпались по деревянному перрону китайские солдаты-интернационалисты, приехавшие делать мировую революцию. Юлиан вслушивался в их чирикающие голоса и что-то постоянно записывал в книжечку.

Ли Сян-цзы среди приехавших не было. Ли Сян-цзы преданно сидел с ней рядом, терпеливо согревая в своих маленьких желтых — совсем цыплячьих — ладонях круглое зеркальце, когда-то подаренное гимназистке Лиле Дмитриевой мамой на день ее ангела.

Голубая ростовская финишь обрамляла пока еще теплое стекло, быть может, единственное, что не выщербилось днями ее неудавшейся жизни. Мама не вспомнила, что как раз такое стекло следует приложить к губам умершего, чтобы оно осталось холодным, без земного дыхания.

То есть однажды и тонкие губы Лили уже не смогли поцеловать любимое мамино зеркальное стекло. Однако стекло, вынутое из рук китайца, само поцеловало давным-давно посиневшие и потресканные губы. И осталось долгожданно холодным¹.

Елизавету Ивановну Васильеву отпевали в маленькой часовенке «Всех скорбящих Радость». В двух шагах от старого кладбищенского храма, ставленного в Ташкенте во имя святого благоверного князя Александра Невского. А ей, наверное, очень хотелось, чтобы ее отпевали в этом самом Невском, где в самом начале не полюбившего людей двадцатого века уже отпевали один великий талант — Веру Федоровну Комиссаржевскую². Но в Невском теперь властвовали живоцерковники-обновленцы, она же не хотела допускать в себе никаких перемен. Ведь вот и ее Черубина никак не могла быть православною, но сделалась католичкой — единственная возможность допустить маленький духовный театр, не потревожив внутри себя дух мирен.

Подвиги ее на земле в борьбе с миром, плотию и дьяволом закончились.

Венчик со священными изображениями, положенный на холодный девичий лоб умершей Лили Дмитриевой, шевелило ветром, и все вокруг беспокоились о нем, думая про себя — не сдует ли его на скользкую желтую землю...

Так думал и китаец, оставленный ею на земле в одиночестве, и женщина под черною паранджой, на которую взглядывали не меньше, чем на шевелящийся венчик, крестящуюся скрытно, задвинутою под сетку чачвана невидимою рукою. Так думали и совсем почти ничего и никогда не знающие об усопших кладбищенские калеки и старухи, живущие поминальною милостынею от живых. Старухам и калекам могло бы повезти больше, если бы здесь, на старом Боткинском кладбище Ташкента, отпели бы и неизвестного им Волю Васильева и неизвестного же какого-то Юлиана Шуцкого. Но не повезло. Этим никто не отпел, за них не помолился и не помянул белым и сладким рисом с изюмом, новыми, раздаваемыми в память носовыми платками, мелкими многочисленными копеечными монетками и редкими рублями. Воля растворился в одинаковых днях, а Юлиана Шуцкого расстреляли, как и положено, в самом конце тридцатых.

Отпев в церкви Александра Невского, актрису Веру Комиссаржевскую увезли хоронить в Санкт-Петербург.

Отпетую рядом Елизавету Васильеву, бывшую неизвестную поэтессу Лилечку Дмитриеву, оставили лежать здесь, на старом Боткинском.

Неизвестная могила неизвестной поэтессы среди других неизвестных могил.

«...И сон один припомнился мне вдруг: я бабочкой летала над цветами; я помню ясно: был зеленый луг, и чашечки цветов горели, словно пламя. Смотрю теперь на мир открытыми глазами, но, может быть, сама я стала сном для бабочки, летящей над цветком?»³

Курящий трубку ушел после отпевания последним.

— Вот, ведь и такие тоже-то веруют, — сказала кладбищенская старуха и решила перекреститься, но, не выбрав куда лучше — на Невского или на «Всех скорбящих Радость», перекрестилась совсем просто так.

¹ Елизавета Ивановна Васильева (Елизавета Дмитриева) умерла 5 декабря 1928 года.

² Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910). Талантливейшая русская актриса. Умерла в Ташкенте, во время гастролей от оспы.

³ Образ из китайской поэзии. (Прим. Ли Сян-цзы)

Василий Голованов

Эпоха рок-н-ролла

Утри пот (I)

Василию Соловьеву

«Открыли... что молодость и творческая пора нашей культуры прошли, что наступили ее старость и сумерки; и этим обстоятельством, которое вдруг все почувствовали, а многие резко сформулировали, люди стали объяснять множество устрашающих знамений времени: унылую механизацию жизни, глубокий упадок нравственности, безверие народов, фальшь искусства. Зазвучала, как в одной чудесной китайской сказке, «музыка гибели», долгогремющий органнй бас, раздавалась она десятки лет, разложением входила в школы, журналы, академии, тоской и душевной болезнью — в большинство художников и обличителей современности, которых еще стоило принимать всерьез, бушевала диким и дилетантским перепроизводством во всех искусствах...»

Дружище! Может быть, самым неожиданным образом эта цитата из Гессе (или другая, из позднего Блока) поможет нам определиться с тем, о чем, собственно, ведем мы речь. Ведь ты говоришь — и значит, желаешь быть услышанным. И книга твоя¹ — тоже отголосок споров, событий и последствий, начало имеющих далеко за пределами наших дней и даже нашего века. Блок констатирует «крушение гуманизма» в 1919 году, странным, на первый взгляд, образом ссылаясь на глухоту, «немузыкальность» современной ему европейской культуры, оставленность ее «духом музыки». Мы доверяем безусловному слуху Блока-поэта, но в том, что он пишет, вольны подозревать своего рода поэтическую метафору.

Блока понять непросто; особенно его главную мысль, с прекрасной ясностью и акцентуацией выраженную, — о том, что между «цивилизацией» и духом музыки идет борьба, и нигде эта борьба не принимала столь жестоких и извращенных форм, как в Европе... Но то, о чем ведем мы речь, непросто для понимания вообще; я и сам не пойму, есть ли это призыв к смирению или призыв к мятежу, которые в равной степени суть вместилища духа музыки. Но, во всяком случае, в моих словах звучит глубочайшее презрение к современности, когда дух музыки вновь оставил нас... Понимаешь ли ты меня? Я надеюсь, что, по крайней мере, несколько человек еще должны меня понять. Музыка умерла — несмотря на то что «музыка» звучит 24 часа в сутки на разных каналах ТВ и радио, в каждом баре, магазине, в каждом поезде и даже в репродукторах, развешенных в тихих парковых уголках... В городах сотни тысяч людей ходят в наушниках, неустанно промывая себе мозги набором мелодий, отобранных по собственному предпочтению или подсказанных мобильником, — но замечал ли ты, что у них неподвижные, *каменные* лица, музыка не пьянит их, и их глаза

Голованов Василий Ярославович — прозаик, публицист, постоянный автор «Дружбы народов». Публикации в «ДН»: «Остров» (№ 5—6, 1997), «Стрелок и Беглец» (№ 6, 1998), «Три опыта прочтения "Фелицы"» (№ 4, 2006), «Кровавая чаша. Персидский поход Разина» (№ 11, 2007), «Эпоха Антропоцена» (№ 10—11, 2009).

¹ В.Соловьев-Спаский. «Всадники без головы», СПб, «Скифия», 2003.

не выражают ничего — ни радости, ни любви, ни даже ненависти и окаянщины, которой переполнены песни одной из последних культовых групп, «Nirvana». И вполне может статься, что Керт Кобейн так надрывно воет из глубины своей сучьей смерти, именно потому, что знает: обращается к глухим...

Кажется, ситуация требует прояснения. Что это за «дух музыки», о котором я говорю? Мы имеем дело с чем-то весьма приблизительно поддающимся словесному определению, и я нисколько не сомневаюсь, что все, что нам удастся сказать, будет лишь намеком на разгадку. Но этот намек ощущал и Ницше, когда, подступаясь к «рождению трагедии», вслушивался в звуки неведомой ему музыки Эллады. Его чувствовал Хосе-Ортега-и-Гассет, когда, пытаясь осмыслить *кризис культуры* в «Musicalia», опять-таки начинает говорить о музыке: ибо ничто так полно, как музыка, не выражает дух эпохи — даже и в том случае, если, по видимости, противится ему. Статья испанского философа написана в 1921 году, но (сегодня, во всяком случае) кажется, что он предвидел весьма отдаленные горизонты, за которыми поднималась волна рок-н-ролла: «Если можно сказать, что [современное] искусство спасает человека, то только в том смысле, что спасает его от серьезной жизни и пробуждает в нем мальчишество. Символом искусства опять становится волшебная флейта Пана, которая заставляет козлят плясать на опушке леса».

Флейта Пана, заметь. Нам еще повстречается она, так же как и «Jumpin' At The Woodside»¹, от которых совсем недалеко до взрывчатых аккордов «Jumpin' Jack Flash»², одной из тех вещей, которыми была озвучена эпоха рок-н-ролла.

Нам повезло с тобою: мы пережили время, когда в музыке сфокусировалось все: вопрос «зачем жить?» и ответ — как; сама музыка была новым языком, новой религией, новым бытием; казалось, ею возвещено начало новой эры. На Западе эпоха рок-н-ролла пришлась на 60-е — середину 70-х годов и сопровождалась массовыми социальными движениями, бунтами, интенсивными религиозными и психоделическими поисками и, наконец, крушением старой Америки — солидного государства сталинского типа.

У нас все случилось со сдвигом ровно в десять лет и дало примерно те же результаты: «отзвучавшая цивилизация» (Блок), несмотря на все находящиеся в ее распоряжении средства пропаганды, технику, право, не смогла ничего противопоставить «духу музыки», внезапно вырвавшемуся на свободу через некоторое количество людей, которых можно всех счесть по пальцам...

«...Музыка эта — дикий хор, нестройный вопль для цивилизованного слуха. Она почти невыносима для многих из нас, и сейчас далеко не покажется смешным, если она для многих из нас и смертельна», — писал Блок в 1919 году. Каким слухом надо было обладать, чтобы не относиться ни к красным, ни к белым, а говорить только о музыке: «слушайте музыку революции». Музыка той революции действительно оказалась для многих смертельна. Выстрелы, вой ветра в вымерших городах, хриплое бормотание «двенадцати»... Эпоха рок-н-ролла тоже была революцией: без винтовок, без пулеметов. Твоя книга об этом. И она замечательна. Но когда она будет, наконец, издана — она станет уже историей, или историей истории, ибо эпоха рок-н-ролла закончилась. Истощился порыв, рожденный этой музыкой, — по мере того, как она смела на пути все преграды, которые ей мешали. Герои рок-н-ролла частью мертвы, частью ушли на покой, частью ищут корысти или сочувствия, бесполезно звеня ветеранскими медалями. Пока «дух музыки», бушующая, сметал ветхие стены, вокруг возводились новые: мир изменился, но совершенно неожиданно стал туг на ухо. Поэтому настоящее время — следующее за эпохой рок-н-ролла, когда музыка стала вездесущей, а слушание ее превратилось в одну из навязчивых маний «потребляющего человечества», — на самом деле является одной из самых немзыкальных эпох в человеческой истории...

¹ «Прыжки на лесной опушке» — джазовая композиция Каунта Бейси, написанная в конце 20-х годов XX века.

² «Вспышка (огня) Джек-Попрыгун» — название вещи «Роллинг Стоунз», написанной в 1968 году. «Jumpin', Jack» — это один из видов огня, используемых в фейерверках. Главный герой, появляющийся перед публикой подобно вспышке этого огня, торжествует победу над силами тьмы и смерти, которые довели над ним до тех пор.

Утри пот (II)

«...Все хоть сколько-нибудь ценное на земле было создано горсткой избранных вопреки ее величеству публике, в отчаянной борьбе с тупой и злобной толпой...»

Хосе Ортега-и-Гассет, «Musicalia».

Дружище, я прочитал твой «Рок-н-рольный бэнд» и преклоняюсь перед тобой, но, хоть ты меня режь, не разделяю твоего оптимизма и потому не согласен с тобой в главном. В начале своей истории рок-н-ролл представляет собою не цех, где слаженно и трудолюбиво работают мастера всемирной гильдии музыкантов. Сначала это какие-то темные подвалы или запущенные квартиры с парой стульев, кроватью и магнитофоном, утвержденным в центре мироздания, похожие на алхимические лаборатории, где производятся невиданные, кощунственные опыты со звуком... Джими Хендрикс, «мальчишка с глазами, излучающими свет звезд». В 1964-м ему было девятнадцать. Шляпа, потертый пиджак, шапка курчавых волос, гитара. Он играл в Нью-Йорке в Стенли-баре на Авеню-Б, а спал на улице — несколько часов перед рассветом. Однажды заштатный пианист Майк Эфроп зазвал его поиграть к себе домой. Получился бэнд: гитара, ф-но, саксофон, ударные — который часами, ночи напролет скоблил один и тот же аккорд, обстачивая его со всех сторон, пока в какой-то миг аккорд не начинал сиять, как острое клинка... Потом часть этих записей Майк продал итальянской фирме «Джокер», которая еще в семидесятые занималась собирательством такого вот рода раритетов. Вышла пластинка, на одной стороне которой записана... назовем это импровизацией... под названием «Утри пот I», а на второй «Утри пот II», представляющая из себя монотонное скрежетание, разделенное на две части, видимо, только по техническим причинам. Похоже на раскачивание большого зуба. Но знаешь, что это было на самом деле? Заточка оружия для грядущего мятежа...

Мятеж. Из серых предместий, из подвалов и гаражей выступает неведомое воинство. Над зеленым полем гремят громopodobные раскаты, и герои рок-н-ролла, подобно героям эпоса, творят новый мир во всем блеске своей нежданной славы, в фантастических одеяниях, в излишествах пиров и любви, простительных только героям...

Да. Да, ты прав, это всего лишь горстка раздолбаев, несколько придурков и гениев, недоучившихся в колледжах, куда определили их благоразумные родители: но что поделаешь, если именно им, варварам цивилизованного мира, суждено было услышать и воплотить в звуки музыку нового времени, музыку спасения и музыку гибели? Они вдохнули жизнь в культуру, превратив ее в поле боя; они не дали цивилизации захиреть, вызвав ее на единоборство; они подарили людям энергию — энергию радости и анархической свободы, — почему даже сейчас, когда рок-н-ролл давно перестал быть чем-то большим, чем просто музыка, молодым ничего не остается, как вновь и вновь открывать для себя кумиров своих родителей — «Beatles», «Doors» или «Sex Pistols», потому что они до сих пор остаются генераторами силы.

В чем черпать энергию? Вот главный вопрос для человеческого сообщества. В строительстве пирамид или готических соборов? В открытиях и освоении неизвестных доселе пространств? В следовании за Христом — узкой дорожкой подвига — или выбитой тысячами копыт дорогой крестовых походов? В войнах и кровавых жертвоприношениях? В поисках Рая? Вечности? Благополучия?

Бунт разразился в тот момент, когда возник термин «общество потребления», в момент относительного благополучия и стабильности, когда ненависть на планете была сбалансирована равновесием сил двух противостоящих друг другу политических гигантов, а маховик отлаженной после войны промышленности стал производить блага жизни в количествах угрожающих и даже пугающих людей, привыкших поновлять поношенную одежду и передавать в наследство от бабушек внукам фарфоровые сервизы. Бунт в какой-то мере и был направлен против благополучия этого нового общества, которое требовало и нового стандарта жизни в обмен на свои немислимые блага...

Он был неожиданным и распространялся, как пожар. «...В какой-то краткий миг показалось, что рок-н-ролл наследует землю...» — написал Дэвид Дэлтон, вспоминая 1968 год. Этот перифраз слов из Нагорной проповеди более чем симптоматичен¹. Но разве музыка не была кротким оружием по сравнению с водородной бомбой, напалмом, пластиковыми минами, идеологическими диверсиями против «внешних врагов», внутренней изысканной жестокостью западных демократий и грубой солдатчиной коммунизма? Была. Но, действительно, в какой-то миг показалось, что именно музыка победит государства и армию, упразднит полицию и суды, сделает ненужной мертвую чопорность угасающих религий, каким-то чудесным образом изменит ситуацию неподвижности, нелюбви и несвободы, в которой оказался современный «свободный» человек, и вернет ему полноту бытия на лоне природы... На развалинах разрушенных городов...

Разумеется, лишь по сравнению с боеголовками рок-н-ролл был кроток, на самом-то деле он был расплавленной магмой варварства, хлынувшей вдруг из-под коры закосневших в настороженности и древних обидах цивилизаций; как всякое варварство, он таил в себе опасность, и цели его были по-варварски грандиозны: взять штурмом старую культуру, переставшую быть убежищем человека, взять так, как варвары взяли Рим, остановить мировую историю с ее войнами и «реальной политикой», заменив ее фантастическим и ужасающим по своему размаху карнавалом, в котором «последние станут первыми» (рефрен Дилана) и в единой вакхической пляске соединятся все племена и народы, населяющие землю...

То, что решающим оружием этого бунта стала музыка, делает ситуацию уникальной. Бунт был символическим. Но значит ли это, что он не был реальным? Достаточно вспомнить историю креста, чтобы понять, во что обходятся человечеству новые символы. Поэтому на поле боя рок-н-ролла остались не символически, а вполне реально погибшие герои...

Я вспоминаю кладбище Пер-Лашез в Париже. Время: осень 1997-го. Несколько негров с воздуходушными машинами (напоминающими пылесос, подвешенный за спиной на рюкзачных лямках) сдувают с Главного Проспекта осыпавшиеся за ночь листья вековых платанов, осеняющих этот город мертвых. Туристы. Постоянно протекающий через кладбище поток людей, который, миновав входные ворота, почти целиком поворачивает направо, к участку № 6, и направляется... да, к могиле Джима Моррисона². Удивительно именно это целенаправленное движение, как будто не здесь же похоронены Эдит Пиаф и Сара Бернар, Аполлинер и Бальзак, наполеоновские маршалы Мюрат и Массена, цвет французского масонства, ополченцы, защищавшие Париж в 1870-м, коммунары, великие ученые и спириты³... Худосочные немчики напрямик тянутся к могиле Моррисона, вокруг которой все надгробия в радиусе двадцати метров сплошь исписаны и искорябаны автографами, признаниями любви на разных языках и проклятиями миру, как будто на могиле музыканта взорвалась какая-то специальная мелкоосколочная бомба. Прежде на ней стоял его бюст, но бюст отломали, изуродовали, куда-то унесли... Было над чем задуматься осенью 97-го: он умер столько же лет назад, сколько прожил, а люди все идут и идут, и надписи на окружающих могильных плитах, наслаиваясь друг на друга, образовывали какой-то фантастический текст, предвещающий конец и призывающий к разрушению, вопиющий об одиночестве и умоляющий о понимании... Сейчас все поприбраннее, наслоения надписей безжалостно стерты пескоструйными машинами, но тогда, в 97-м, могила Моррисона, несомненно, была алтарем и жертвенником какой-то странной религии, которая никак иначе не может быть названа, как религией рок-н-ролла⁴.

¹ «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» — так передают Евангелия слова Христа.

² Лидер американской группы «Doors», умер в Париже в 1971 году в возрасте 26 лет.

³ И тем не менее три культовые могилы надежно засвидетельствованы надписями в кладбищенском туалете: «Jim Morrison», «Oscar Wild forever» и «Viva Nestor Makhno!».

⁴ Если мы поразмыслим над названиями нескольких песенок («Confessin, the Blues» — «Исповедуя блюз») или групп вроде «Alexis Corner New Church» («Новая Церковь Алексиса Корнера»), то нам совершенно очевидной станет попытка рок-н-роллеров занять вакантные места, оставшиеся после «гибели богов» в начале XX века. Это им удалось, но ненадолго: претендентов оказалось слишком много, они ссорились и потакали своим слабостям, подобно богам Олимпа, чем быстро дискредитировали себя. Некоторую силу сохранили лишь те из них, кому посчастливилось вовремя умереть.

В то время стоило быть *только* внимательным, чтобы тоже самое обнаружить у себя под боком: в Москве и в Питере были дворы, представляющие из себя подлинные катакомбы, стены которых были сплошь покрыты священными именами и символами рок-н-ролла — «пацификами», символами анархии (заглавная, иногда похожая на звезду буква «А», вписанная в круг) или олигофреническими рожицами ONIXa, знака кислотников. «Боги» Олимпа — «Битлз», отдельно Джон Леннон, Гребенщиков, обозначаемый аббревиатурой БГ, «Алиса», ГрОБ («Гражданская Оборона») и, конечно, «Кино» и Виктор Цой, культ которого мощно простерся от Тихого океана до Балтики. На «стене Цоя» в Москве до сих пор, кажется, не исчезает надпись: «Наша вера — рок, наши молитвы — песни, наш бог — Виктор Цой».

Вот максима, достойная пристальнейшего интереса.

Я не исключаю того, что Цой — бог. Ибо кто знает, какими они были, молодые боги, в час своего явления людям на ранней заре истории? Он был силен, бесстрашен и молод. И близок каждому, как Иисус Христос. Никто не знает ни его отца, ни матери. Как будто сам собой возник он из темного хаоса Петербурга в угольной черноте котельной. Одиноким юноша, швыряющий антрацит в топку с клубящимися в ней языками огня. Он один. И гитара. И пачка сигарет — символ независимости мальчика, осмелившегося идти по жизни своим путем.

Он сказал слово любви, он назвал мертвое мертвым, а живое — живым. Когда ему нечего стало больше сказать, он погиб. Его бесчисленные поклонники бесконечное число раз копируют его. Но сколь бы ни была хороша копия, оригиналом она не станет. Не каждому по силам сделать из своей жизни оригинал. Поэтому надписи на стене вызывают к Цою о воскресении. Но что бы он стал делать сейчас, если б воскрес? It is the question.

Смерть...

Смерть часто спасает человека от неверного шага, не дает сделать лишнего. Видео позволило поближе разглядеть Моррисона. Знаешь, что я тебе скажу? Это был хрупкий демон. Он мог бы и сломаться, когда закончилась его эпоха. Но смерть выручила его. Он приехал в Париж, где в точном соответствии со словом и духом одной из своих лучших вещей шел от одного виски-бара к другому и однажды, не приняв во внимание хрупкость поверхности эйфории, которая держала его, и умер от сердечного приступа¹. Нет-нет, в его смерти не было ничего героического. Зато ничего, что шло бы вразрез с той странной, прекрасной и беспутной жизнью, которую он вел, он тоже не совершил — и потому остался символом. Символом Человеческого Существа, каждым своим поступком противостоящим Убийственной Целесообразности, Рационализму и Технологичности современной жизни... Вот почему так долго не иссякал поток стремящихся к его могиле, и вот почему на могильных плитах они клялись разрушить тот мир, который пришиб его и, по-видимому, собирался пришибить и их (что подтверждает нынешняя добропорядочная чистота могилы). Угрозу такого рода молодые остро ощущают на пороге взрослости...

Глядя на обывателей — прекрасных обывателей Парижа, обывателей всего мира, которые сидят в парижских кафе и пьют вино (прекрасное вино), — невозможно сказать, почему они не чувствуют той трагедии бытия, которую чувствовал он. Он — как Гамлет, доведенный почти до безумия сплетением злодейства, корысти и всеобщего обмана. Мог ли Гамлет смириться, отступить, сделать вид, что ничего не знает или не понимает? Ну, разумеется, нет. Вот и Моррисон — не мог так вот просто сидеть за столиком и пить прекрасное вино. У пророка есть свои обязательства перед аудиторией. Он просто честно выполнил их и, предначертав конец себе и миру², вышел из игры тогда, когда правила его игры перестали действовать. Это произошло ведь как раз на рубеже 70-х, когда рок-музыка из просто бизнеса стала превращаться в Большой Бизнес; когда и идеология хиппи, и бунтарство, и все-что-ты-хочешь стало Большим Бизнесом и каждый известный музыкант тоже становился частью Бизнеса.

¹ Однажды он прибавил к алкогольному коктейлю героин — и все тут же обвалилось.

² «The End» — одна из программных вещей Моррисона, ставшая музыкальной метафорой фильма Ф.Ф.Кополы «Апокалипсис наших дней». Тема Апокалипсиса и Армагеддона — эсхатологической битвы на исходе времен — исподволь вкрадывается в наш текст, но с этим ничего не поделаешь...

У него могло быть свое место в этом Бизнесе, например, место экстравагантных хулиганов, как у «Роллинг Стоунз», которое оплачивалось очень высоко. Или место утонченных интеллектуалов звука, как у «Кинг Кримсон». Но если ты не желал во всем этом участвовать, ты автоматически выбывал из игры. Ну, вот, может, он и выбыл. Тогда многие выбыли. Что такое для музыканта смерть, можно понять, представив себе обратное: что Моррисон, например, не умер, а продолжал жить и записываться, как записывались «Doors» без него, как записывались «Deer Purple» и другие группы, уже не несущие никакого *послания*, хотя бы даже послания о собственной гибели (как Кобейн). Пожалуй, это было бы очень разумно и по-взрослому, и ничего в этом страшного не было бы. Написать песенки, собрать в альбом, прокатить его в турне по миру и, высадившись на каникулы в Париже или где-нибудь еще, пить вино (прекрасное вино), но... В этом не было бы драмы, и такая музыка очень скоро стала бы просто никому не нужна, потому что — ну, какая музыка без драмы? В ней нет энергии. Даже попса раздувает свои кошачьи страсти до уровня вселенской катастрофы... Нельзя без драмы...

Характерно, что Большой Бизнес, который всегда является агентом толпы, адаптирует практически все. Он адаптировал к толпе Моррисона и нажился на нем мертвом гораздо круче, чем на живом. С Кобейном, который просто в глаза каждому репортеру или менеджеру, пришедшему с очередным предложением, орал «ненавижу!» — произошло то же самое. И самое смешное, что так было всегда: «Вагнеру не смогли простить его великих творений до тех пор, пока не нашли способ истолковать их по-своему» (это Блок, прежде уже мною цитированный). А сегодня «Роллинг Стоунз», которых когда-то запрещали к трансляции по радио, выходят в популярной симфонической версии¹ (аналогично — «Битлз», Стинг и другие звезды), в которой их музыка доведена до последней степени сладости и неузнаваемости. И люди, услышав их музыку в адаптированном «десертном» исполнении, никогда не будут знать, что в ней, собственно говоря, *такого*, откуда был этот дикий восторг и эта неистовая энергия? Потому что музыка мятежа — это не то же самое, что музыкальная тартинка с джемом.

Я вообще не совсем понимаю, как Хендрикс мог бы быть подан на десерт? Как рок может быть фоном, просто-музыкой? В общем, большинство творений эпохи рок-н-ролла трудно поддаются адаптации. Музыка фона, бесконечный поток монотонных звуков, неотвязных, как маниакально-депрессивный психоз — техно, — родилась, когда пепел на полях сражений рок-н-ролла уже остыл. Весь мир купился на простые гармонии, безликие гигабайты звуков и компьютерные ритмы. Но мы сейчас говорим не о пластиковом мире одноразового использования, в котором живет большинство человечества, а о давнишней, теперь уже почти позабытой эпохе, которой, однако, нам довелось стать свидетелями. Думаю, ты согласишься, что ничего неблагозвучнее, чем завывания «Grand Funk» на их первом «живьем» записанном альбоме, трудно себе представить, и, тем не менее, это была *настоящая* музыка, это был рок-н-ролл высшей пробы, и все, что они сделали кроме этого, — мура, недостойная даже упоминания. Но по-настоящему-то нужно было *быть* на этом концерте. Нет! Надо было *играть* его! Вот тогда бы музыка наполнила тебя, как молния! Рок-н-ролл требует участия и своеобразной присяги. Ты не просто слушатель бесконечных «тыц»-«тыц» в наушниках. Ты должен выглядеть и жить, как рокер. Rock and Roll Soul — это душа бунтаря. Блюзовая душа... За этим — нескладная жизнь, неудобье, жизнь впроголодь, бутылка виски, сделка с дьяволом, попытка услышать Господа, взрыв «надстройки», культ спонтанности, наркотики, анархия и отвага последнего боя перед неотступной гибелью... Рок-н-роллер редко читает книги, но оперирует теми же понятиями и балансирует на той же тонкой, как бритва, грани между добром и злом, что и большая часть опальных мыслителей и еретиков, пытаясь составить свое представление о мире и очертить внутри него свое пространство. И на безумие мира он может ответить собственным безумством, отречься от разума, провозгласить первенство инстинкта, вышибить себе и ближнему мозги звуком или травой...

Рок-н-ролл опасен, как все настоящее, — вот чего теперешние непробиваемые потребители музыки не могут понять, в то время как раньше понимал каждый секретарь комсомольского бюро.

¹ Речь не идет, однако, об оригинальном диске «Symphonic Music of the Rolling Stones» (1994) — это прекрасная и полная тонкого юмора вещь.

Опасен, как опасно безумие. Надо зафиксировать это пограничье безумия и рок-н-ролла. Ведь если честно, рок-н-ролл — это безумство, транс, камлание, улет — все, что угодно, только не благочинный разум. Это бунт против разума, против радио, против рациональности. Самые выдающиеся люди в этой музыке (Хендрикс, «Лед Зеппелин», «Флойд», Патти Смит) просто взрывали себе мозги кислотой, что позволяло им написать несколько совершенно неправдоподобных, небывалых даже в самой этой музыке вещей. Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон, Брайан Джонс, Джон Бонэм¹. Все, кто пошли этой дорожкой улета до конца, погибли. Не обязательно при этом красиво. Сверкающий алмаз «Флойда» — Сид Барретт — очень быстро раскрошился под воздействием кислоты и уже в самом начале фантастической карьеры группы мог производить уже не музыку, а только шум. А к концу он вел растительную жизнь толстого идиота, прикованного к телевизору, и ничем не походил на того огненного ангела, который, собственно, и приоткрыл товарищам вход в *параллельную реальность звуков*. Но главное — все, именно все, что было в создано в этой музыке лучшего, было создано в максимальном приближении к зоне смертельного риска. По счастливому стечению обстоятельств смерть не прибрала никого из «Битлз», обошла Мика Джаггера и Кейта Ричардса (ведущий дуэт «Роллинг Стоунз»), Тома Уэйтса, Нила Янга, Боба Дилана, Иэна Андерсона — они ведь тоже были первопроходцами и заслужили смерть. Остальным, кто идет «по стопам», она не грозит. Остальные, как правило, просто пере-певают, пере-игрывают, доводят до уровня общих мест то, что первопроходцами было найдено с риском для жизни.

Я предлагал тебе для перевода «Наречие любви» — один из важнейших текстов эпохи рок-н-ролла, противо-евангелие, вложенное в конверт пластинки Патти Смит «Радио Эфиопия». Ты отказался. Жаль. Слишком многое делается ясным из него: даже то, почему эпоха рок-н-ролла сменилась эпохой «Красных бригад»...

Попытка написать сакральный текст у Патти Смит заканчивается воззванием к ангелам ада, а слова любви звучат, как безумный и неистовый речитатив шамана; но ты ведь чувствуешь жуткую правду этих слов? «Искусство есть ад» (Блок). Но с тех пор, как Блоком были написаны эти слова, жизнь стала настолько бесчеловечнее...

Насколько?

Я не знаю ответа на этот вопрос. Но этот вопль ненависти — возможно, один из самых искренних звуков, издаваемых человеком в мире голимого бизнеса и всех тех превращений нравов и судеб, которая сопутствует голимому бизнесу. Поэтизировать это смог только великий Феллини («Джинджер и Фред»).

Здесь я упираюсь во что-то, чего и сам как следует не пойму... Я не согласен с тем, что ненависть и неистовство — это выход, чем бы они ни оправдывались. Может быть, чтобы настроить сердце на музыку любви, нужно быть проще и мужественнее? Эпоха рок-н-ролла прошла. И вряд ли повторится еще раз. Те, кто сегодня продолжают работать под брендом рок-н-ролла, — как правило, просто удачные коммерсанты. Меня же, как ты знаешь, интересует дух. Возможно, дух новой музыки — не бунт, а «изобретательство». Соответственно, меняется и антураж: зеленые поля сражений сменяются замкнутым пространством лаборатории. Музыкант — уже не «капитан Африка», поднимающий в прорыв сенегальские батальоны, а маг-виртуоз, колдующий над прочтением (для узкого круга публики) сложнейших музыкальных ассоциаций. В этом смысле необычайно характерна последняя программа великого перкуссиониста Владимира Тарасова: «Думая о Хлебникове». Итак, не бунт — а «изобретательство»?

Жду твоих соображений.

¹ Джими Хендрикс — великий рок-гитарист, лидер группы «Experience» (ум. 1970); Дженис Джоплин — выдающаяся американская исполнительница рок-музыки (ум. 1970); Брайан Джонс — экс-гитарист группы «Роллинг Стоунз» (ум. 1969); Джон Бонэм — барабанщик группы «Лед Зеппелин» (ум. 1980).

Утри пот (III)

«Те, кто придут после нас, не будут иметь с нами ничего общего, они даже чувствовать будут по-другому.

И им придется создавать свой собственный оригинальный саунд».

Джим Моррисон, 1968.

Василий, твой текст, который ты посчитал достойной формой отклика на то, что я писал тебе до сих пор, застал меня в самое неподходящее время, в самом неподходящем, надо сказать, настроении. Я только приехал с Енисея от Миши Тарковского, приехал бодрым, здоровым каким-то, полным сил — а тут твой перевод из книги Грэя Маркуса «Блюз...», который сразу обмакнул меня мордой в... Как бы поделикатнее выразиться? Призрак, Вася, бродит по Европе. Впрочем, и по Америке. И по России тоже. Призрак сатанизма. Я, заметь, спокоен. Я в своем спокойствии захожу столь далеко, что отсылаю тебя к... Да, к работе Мартина Хайдеггера «Европейский нигилизм», где все объяснено про все, объяснено даже больше, чем способен понять нормальный человек, и про сатанизм, разумеется, тоже, и про эпитаф, который на первый взгляд кажется таким бесспорным... История Роберта Джонсона¹ замечательна. Но Боже мой, *как я не хочу* всего этого! Не хочу, первым делом, *умствования*... Вот я силюсь, пишу что-то про эпоху рок-н-ролла, про то, что рок-революция 60—70-х годов — это было нечто совершенно отличное от того, что стало называться рок-музыкой в 80-е годы и уж, тем более, ничего общего не имеющего с той музыкой, которая на слуху сейчас, в начале 2000-х, и все это верно и неверно одновременно, но только все эти размышления, они, понимаешь, постыдны. Кстати, об эпитафе: Моррисон думал, что революция духа, поднятого волной рок-н-ролла, будет перманентной, он понимал, что ему *лично* отведен лишь краткий *миг* в сотворении нового сознания из нового звука, но он был, тем не менее, убежден, что молодые — они придут и дальше, еще дальше продвинут начатое дело... Я тоже так думал. Пока не понял, что ждать нечего. По крайней мере движения в том же тембре, в том же смысловом и звуковом ключе, в той же гамме всех цветов радуги...

Вообще, работа над рок-н-рольной темой привела меня в какое-то очень возбужденное и смутное состояние, которое сменилось желанием почитать хорошую философскую и даже религиозную литературу; и вспомнились затем лица старообрядцев на Енисее... Конечно, с точки зрения этих людей все, о чем мы размышляем, не имеет никакого оправдания. Это в городе оправдано: бунт, разрушение. А людьми, неразрывно еще связанными с традицией, и с традицией религиозной, тем более, не только вся эта музыка, но и рассуждения о ней должны восприниматься как зло в чистом виде. В рок-н-ролле и лиц-то таких нет, как в «христианстве». Люблю историю про панка из Сан-Франциско, который «обратился», заглянув в православную иконную лавку и увидев образ Христа: «У человека не может быть такого лица!» Становится очевидно на любом (особенно современном) рок-концерте, что вся эта музыка развелась и стала возможной только в больших городах, где люди живут скученно, в отрыве от всего живого, ведут стандартизированный образ жизни, в общем-то почти лишенный индивидуальных поступков. Им *скучно*, батенька, смертельно *скучно*, а звуковое переживание рок-н-рольного типа оно настолько офигительно по своей мощи, что люди просто не могут от него отказаться. И жрут все подряд. Приедет в Москву «Uriah Heep» — сожрут «Uriah Heep». «Nazareth» — оттянутся на «Назарете». «Машина времени» тоже сойдет, даже Алена Апина какая-нибудь. Потому что современный рок-н-ролл — он вообще во многом превратился в благотворительную раздачу супа, то есть эмоций, толпе худосочных городских обсосов, которые сами себя «завести» не могут.

¹ Американский блюзмен, родился в 1911 году, убит в 1938-м. По легенде, за свой талант музыканта отдал душу дьяволу.

И это так объяснимо в век «одномерных людей»! Объяснимо, как простое разделение труда...

В музыке рок-н-роллеры сделали одно очень важное открытие. Они открыли принцип несентиментального подхода, грубого взлома. Когда симфонический оркестр окатывает тебя волнами звука, он делает это с известной долей деликатности, даже если потом примется растаскивать тебя на куски; когда Жанна Бичевская или старый Джон Ли Хукер поют под гитару, они люди, и ищут, прежде всего, человеческого сопереживания. Здесь не то. Здесь при помощи электричества звуки грубо взламывают твой череп, врываются в подкорку и рвутся в самый низ, туда, где в человеческом мозгу свернут мозг крокодила, управляющий простейшими двигательными функциями. Бас, барабаны, вспышки света — все долбит прямо по гипоталамусу, и молодые щенки воют и визжат так, как будто уже наступил сезон случки.

В моих словах нет ни малейшего чистоплюйства, хотя сейчас вот, сочиняя тебе письмо, я выяснил для себя, что ни на один концерт приезжавших к нам кумиров нашей молодости я не ходил. Даже на «Флойд». Почему-то это оказалось не нужно. Только когда приехали «Роллинг Стоунз», я нарушил правило. И при первом же аккорде я заорал так, что у сидящих рядом кровь застыла в жилах. Но они-то пришли развлекаться, а я ждал этого момента тридцать лет. А когда был на Енисее, все время напевал: «если ты, чувак, индеец, ты найдешь себе оттяг...» дяди Феди Чистякова¹. Замечательная вещь. Но если в рок-н-ролле есть высокий кайф — то это, конечно, кайф творения.

Я в ничтожной мере ощутил это, записав в двадцать четыре года собственный магнитофонный альбом, что тогда, в 80-е, было принято, и сам чувствовал себя рок-музыкантом во время работы над этим альбомом. И никогда ни прежде, ни потом, мне не казалось, что я так близок к истине — и так близок к гибели. Это был величайший эмоциональный подъем, который, конечно, был чреват катастрофой. Я взлетел, не умея летать. Катастрофа потом разразилась: невозможностью принимать очень многое из того, что я прежде считал необходимым принимать в своей жизни и, вместе с тем, невозможностью ничего изменить. Последовал нервный срыв, который последовательно уничтожал мне пути к отступлению — думаю теперь, что в этом смысле он был необходим и даже запрограммирован. Два десятка песен, одна ложка эликсира свободы — и, как в сказке, — невозможность вернуться назад. Мне кажется, я шел в этот срыв, как в атаку. В Москве 1984 года рок-н-ролл был крайним видом духовной терапии, необходимой для «взрыва» мозгов, не желающих с юности обрести склеротически-завершенный вид. В музыке необычайно ясно было чувство подлинности, прорыва к неизвестности, игры вне правил, *правды* собственного голоса, собственного звучания, которое потом исчезло куда-то... Именно поэтому совершенно невозможно понять рок-н-ролл «извне». Как говорил А.В.Михайлов, главное, что надлежит понять в культуре, — это то, как она сама себя истолковывает, самоистолкование. И если необходимо протащить рок-н-ролл через суд Хайдеггера или Хосе-Ортеги-и-Гассета, или Блока, то этой процедуре необходимо противопоставить хотя бы подборку цитат, слов, сказанных самими музыкантами о своей жизни и о своей музыке. А вообще, надо просто идти и делать это. Играть рок-н-ролл. Ибо, несмотря на все скандалы, окружающие эпоху рок-н-ролла и ее героев, речь шла, конечно, и прежде всего, о творении новой Музыки. И помимо павших героев эпоха эта оставила после себя несколько драгоценных слитков настоящей музыки; можно даже не соглашаться с этим, но ничего, ровным счетом ничего, с этим не поделаешь.

Я бы не стал об этом говорить, если бы лично не предпринял несколько попыток отступить и избавиться от музыки, которую любил в юности. Все они оказались неудачны. Я чувствовал в этой музыке угрозу для себя, невозможность примириться с миром вокруг. Мне бы хотелось войти в какую-нибудь более укромную, более спокойную музыку, настроиться на колокольные звоны, на звуки джаза наконец. Отчасти это удалось, но я только невероятно расширил диапазон своего *слушания* (мировосприятия?). Я раздаривал старые пластинки... Но в конце концов понял, что без рок-н-ролла все равно ничего в моей жизни не получится, и я смирился с тем, что люблю это.

Возможно, исповедь такого рода и не нужна. Но до сих пор ее не было. Никто

¹ Лидер питерской группы «Ноль».

еще по-настоящему не сознался, чем является для него эта музыка. Как она влияла на него и продолжает влиять, даже несмотря на то, что почти все из прежнего багажа пристрастий стало ненужным и давно уже не горячит кровь тот набор типовых аккордов, которым ее пытаются вскипятить... Но я по-прежнему люблю несколько вещей: Лу Рида, Тома Уэйтса, «Лед Зеппелин», «Jethro Tull»... Ну, и «Стоунз», конечно, способны оживить меня, подобно живой воде, и поднять даже дохлого, раскатившись вещичкой типа «Brown Sugar», представляющей из себя гимн темной и даже грязной страсти, или «Jumpin' Jack Flash». Это — прекрасная блюзовая тема, вспышка фейерверка, расцветающая на самом темном дне отчаяния. Песни эти просты, грубоваты, может быть, пошловаты на чужой слух. Однако этот грубый мужской юмор и пиратский оптимизм вошли в мою плоть и кровь. Временами я хотел бы от них избавиться, повыдергать эти гвозди. Но мне кажется, что они заколочены крепко, до гроба...

Помню как с Мишей Тарковским на Енисее мы три дня сбивали и сплавляли по реке плот дров. И когда пригнали плот и трактором выдернули его из воды, то вбежали в избу, врубили «Битлз» и стали плясать от радости. Так что рок-н-ролл — он сам себя утверждает. Через молодость, через движение, через танцы. Иногда утверждает себя даже против желания его опровергнуть. Сам хочешь опровергнуть — а ничего не получается. И смешным делается собственное желание быть таким разумным, таким *положительным*. Смирившись же, понимаешь, что лучшую музыку в рок-н-ролле, как и любую Музыку вообще, делали люди, которыми невозможно не восхищаться. Хотя чаще всего именно они кажутся обывателям совершенно пропащими психами. И те начинают выдумывать истории о пактах с сатаной, которые музыканты якобы заключили, подобно несчастному Фаусту. Всемирному союзу потребителей совершенно ведь непонятно, почему искусство есть Ад и почему некоторые пассажи Хендрикса звучат так, будто он накручивает собственные жилы на гитарные колки. Вот то, что он ниггер и наркоман, — это понятно¹. И сатана, как образ, понятен. Рок-н-роллеров всегда подозревали в чем-то таком, и мне не раз приходилось слышать от наших православных батюшек очень почему-то распространенную в России легенду о том, что если прослушивать пластинки «Битлз» наоборот, то в них будут слышны звуки черной мессы. Я возражал, настаивая на том, что и Библию читать наоборот — кощунство, да, кроме того, не существует в мире проигрывателя (а уж тем более современного плеера), способного крутить музыку наоборот. Потом я узнал, что один прецедент все же был: давным-давно два экстравагантных студента Литинститута, перепаяв «плюс» на «минус» и наоборот, запустили-таки в обратную сторону какой-то старенький проигрыватель, не преследуя никаких эзотерических целей, а стремясь только сделать неузнаваемым надоевшее им звучание советских эстрадных пластинок, которыми полна была квартира, которую они снимали. Когда хозяин выгнал их за неуплату, он был примерно наказан. Включив проигрыватель, бедняга услышал совершенно невообразимые звуки, от которых натурально сошел с ума. К счастью, в современном плеере так просто проводки не перепаяешь.

В действительности же легенда о «Битлз» объясняется совсем по-другому: о том, что на их пластинках зашифрованы некие сатанинские послания, заявил Чарли Мэнсон, глава одной из американских сект, которая в августе 1969-го совершила в Лос-Анджелесе несколько жестоких убийств. После ареста Мэнсон показал, что *приказ* убивать он получил из сообщений, *зашифрованных* на «Белом альбоме» «Битлз». Отвечают ли музыканты за бредовые идеи сумасшедшего? Не в большей, видимо, степени, чем за то, что они родились в эпоху глобальных коммуникаций, когда несколько парней, играющих на гитарах что-то вроде *obladi-oblada*, становятся известными во всем мире, как боги, и богатыми, как короли...

Не-ет. Если бы мне суждено было написать в жизни коротенькую, но настоящую дьяволиаду, я начал бы свой рассказ в мирном духе Честертона или Конан Дойла:

¹ Сегодняшнему слушателю уловить бунтарский дух «эпохи рок-н-ролла» тем более сложно, что поменялись буквально все смысловые координаты: рок сегодня это, в общем, не образ жизни, а товар. Стильная одежда, дорогие билеты на концерты, мотоциклы, компакты, офигительные звуковоспроизводящие системы, постеры, книги... Величину «звезды» определяет денежный успех: вот почему стало возможным величие таких музыкальных пустышек, как Майкл Джексон или Мадонна.

«...Едва часы в аббатстве пробили полдень и миссис Мэри Хэллетт приготовилась выйти в сад, чтобы распорядиться, наконец, насчет мальв, на дорожке послышались скорые шаги, и в проеме двери появился человек. Миссис Хэллетт смотрела на него против солнца и потому не могла достоверно различить черты его лица. Он показался ей молодым. Золотистые волосы были, пожалуй, слишком длинны. Чтобы не вызвать естественного удивления. Но голос был приятен:

— Если не ошибаюсь, миссис... этот дом, Котчфорд-Фарм... продается?

Она жестом пригасила его сделать несколько шагов к окну, чтобы солнечный свет осветил его. Лицо было нервно, таких лиц не бывало в Гартфилде, и только сейчас она поняла, что пришедший выглядит то ли чрезмерно усталым, то ли преждевременно состарившимся...

— Мистер?

По узким губам приезжего пробежало подобие улыбки, и в голубых глазах сверкнула электрическая искра:

— *Брайан Джонс...*¹

Заканчивалось бы все, конечно, в Альтамонте, США, где «Стоунз» давали концерт под открытым небом; первый концерт, когда заигрывание с мелким бесом вдруг обернулось грозной рожей дьявола.

Если бы группа не исполняла в Альтамонте песню «Sympathy for the Devil»; если бы появившаяся вскоре после этого безумного концерта пластинка не называлась «Let it Bleed»²...

Нет-нет, расследование обстоятельств происшедшего выявило бы столько совпадений, кажущихся случайными только на первый взгляд, что... Да-с, пришлось бы признать, что нечистый здесь высунулся в полный рост, после того, как его так долго выкликали, да, пожалуй, он же и утащил на тот свет столь странного мистера Джонса...

Знаюки говорят, что мать его была преподавателем игры на фортепьяно и что с детства он пел в церковном хоре. Утверждают также, что в юности он изъездил всю Европу с джазовыми и блюзовыми оркестриками, которые стали наезжать из Штатов, и научился исполнять блюз так, как это делают черные. Он потерял равновесие, потерпев юношеское поражение в любви; пытаясь восстановить его, он встречал и бросал сотни женщин, ни одну из которых так и не смог полюбить, хотя спал со всеми, иногда даже не с одной за ночь. По всему свету он оставил детей, таких же неприкаянных, как он сам; впрочем, некоторые девушки приписывали ему отцовство, пытаясь этим снискать его расположение. Говорят о его цинизме, о его аристократизме, ранимости и изысканности...

После смерти, которая поджидала его, когда он вышел из состава стремительно набирающих мировую славу «Роллинг Стоунз», он должен был бы, по логике вещей, забыться. Но он не забылся. Он остался бессменным участником группы, которую создал и которая исторгла его... Потому что он был Музыкант.

И как любой Музыкант, он получил свои дары от Бога: играл на всех видах гитар, на ситаре, на всех ударных, на вибратоне, на саксофоне (вместе с «Битлз» соло в «Baby, you're a rich man»), на арфе, на органе... Он был одержим музыкой — и друзья всегда видели в этом опасность для него. Он путешествовал по миру, коллекционируя звуки: звуки священных барабанов Цейлона, звуки марокканских флейт и труб... После его смерти «Стоунз» выпустили пластинку «Brian Jones presents the Pipers of Pan of Jajouka»³ и впоследствии именно ему посвятили несколько своих неожиданных музыкальных проб. Сам он, покинув группу, собирался вроде бы начать совместный проект с Джоном Ленноном — и в этом случае мы получили бы, конечно, один из самых фантастических коллективов в истории рок-музыки. Но он не успел стать никем другим, кроме как укатившимся в сторону «камнем».

Я думаю, ему бывало страшно в жизни, но никогда не бывало скучно. А если ты

¹ Брайан Джонс, основатель группы «Роллинг Стоунз», при загадочных обстоятельствах утонул в бассейне Котчфорд-Фарм 3 июля 1969 года в возрасте 27 лет.

² «Пусть льет кровь» (1969).

³ «Брайан Джонс представляет трубы Пана из Джаджуки» (1971) — вот она и прозвучала, «Флейта Пана»! Вторично марокканскую находку Брайана «Стоунз» мастерски использовали в 1989 году на альбоме «Steel Wheels».

хочешь знать мое мнение, дружище Василий, то *скука* и есть самое страшное зло современного мира. Зло, которое действительно когда-нибудь его погубит. И я готов простить Брайану Джонсу и Роберту Джонсону что угодно только за то, что они оставили такие мифы о себе и столько Музыки. Впрочем, кто я такой, чтобы прощать? Я думаю, что Господь отличит своих блудных детей за одно только то, что им в Господнем мире не было непереносимо *сучно*. Им было весело: на самом-то деле, они были благодарными детьми.

Отсылаю тебе сделанный Витей Коганом перевод из Тома Вулфа, приятеля небезызвестного Кена Кизи, который в истории рок-н-ролла прославился не столько своим романом¹, сколько автобусом, раскрашенным, как бабочка, на котором с толпой дружков он приехал на рок-фестиваль в Монтерей. Воспоминания о Кизи еще раз возвращают нас в эпоху рок-н-ролла и позволяют составить представление о характере развлечений тех бескорыстных лет...

Кстати, заметь, что все попытки литературно описать фантастический мир рок-н-ролла оказались сравнительно или совершенно неудачны. Кортасар написал замечательную новеллу «Преследователь», которая могла бы быть посвящена Хендриксу, но, как ни крути, в действительности в ней речь идет о Чарли Паркере, «Птице», человеке из мира джаза. Сам подход к действительности в рок-н-ролле и в литературе настолько различен, что с трудом удастся совместить их. Все романы, которые с большей или меньшей степенью условности можно было бы назвать «рок-н-ролльными», — забыты². Только в начале 2000-х рок-н-ролльный принцип неожиданно восторжествовал в поэзии: как и рок-н-ролл, она оказалась нацеленной прямо на подorkу. И главной «пробивной силой» мужской поэзии (в меньшей степени — женской) становятся низкие энергии, мат. Любимый мною поэт Андрей Родионов «взламывает» сознание публики именно такими жесткими, очень тяжелыми и грубыми ударами, от которых она и приходит в восторг, не замечая «тонких смыслов» его поэзии. Так же и рок-музыка взламывает хранилище первобытных сил, глубоко замурованое в душе современного человека. Разумеется, по мере того, как слово переставало быть словом, у рок-н-ролла не могли не появиться братья по разуму в литературной среде (поэтому-то Кизи и приперся на своем автобусе с толпой дружков в Монтерей, поэтому тусовался с Фрэнком Заппой и с «роллингами» Уильям Берроуз). Но в целом «послание» рок-н-ролла формулируется на вне-словесном уровне. Кейт Ричардс это предельно честно выразил в названии альбома «Talk is shear» («Разговоры — ерунда», 1988). Кейт замечательно выразился и в другой раз: «Больше рок-н-ролла, меньше слов!». Так же и Гребенщиков: «Рок-н-ролл это — хватай бабу и вперед!» Року часто свойственно косноязычие; и если, к примеру, почитать дневники Хендрикса, то, на удивление, в них не найдешь ровным счетом ничего замечательного. Все, что он должен был сделать, он сделал на сцене. Есть еще, конечно, пробы пера Джона Леннона, о которых я не стану говорить, чтобы никого не обидеть, есть трагическая и стоическая фигура Генри Роллинза, поэта, выступающего на сцене в обличье панка и вынужденного вкладывать книжечки своих стихов в конверты своих компактв³. Лучшее, что было написано о рок-н-ролле тех времен, когда людям еще казалось, что не сегодня-завтра из моря воссияет какое-то новое солнце, — это «Правдивая книга» Фрэнка Заппы, но ничего подобного невозможно, конечно, написать, находясь *вне* бэнда. А горы биографий, лучше или хуже прослеживающих жизнь того или другого бэнда от самого начала до самого конца, — это, конечно, продукт современного книжного рынка, не имеющий к эпохе рок-н-ролла никакого касательства.

Всю нынешнюю весну и начало лета я потратил на то, что записывал голоса птиц — при помощи направленного микрофона, который я докупил к своей кинокамере: в общем, в листе птиц почти не видно, но как они поют — слышно хорошо. Это моя давняя фантазия — записать птиц, а потом пустить по их следу музыкантов, чтобы в результате появилась совместно сыгранная птицами и людьми сюита. В июле — я

¹ «Над гнездом кукушки», по которому потом был снят культовый фильм с Джеком Николсоном в главной роли.

² Например, роман А.Славоросова «Рок-н-ролл».

³ Книги поэта Андрея Родионова (когда-то начинавшего свой путь бас-гитаристом рок-группы) обратным образом выходят с вложенным компакт-диском, на котором «живое» исполнение стихов сопровождается тяжелым тактом rhythm-&-bass секции.

писал тебе — я услышал Владимира Тарасова (ударные, перкуссия), и меня поразило, как он работает со звуком: ему равно подчиняются и каскады грохота и тихий шорох, производимый смычком виолончели, которым он касается ребра тарелки... Он — гениальный изобретатель. Я рассказал ему о «птичьей» идее и скопировал свои фильмы, чтобы он мог подумать над тем, как это озвучить с помощью ударных. Да! Я врубился: ничего, кроме ударных, не надо. Не надо и жесткого ритма — пульс хаоса сложнее. Это не отречение от рок-н-ролла — просто попытка соткать музыкальную реальность, которая не была бы столь жестка... Все-таки от эпохи рок-н-ролла нас отделяет уже четыре десятка лет — и нет смысла делать вид, что сознание музыки не изменилось за это время так же, как сознание физики, и хотя современные экспериментирующие музыканты употребляют те же психоделики, что и музыканты эпохи рок-н-ролла, творческие задачи у них принципиально иные. Сварные музыкальные металлоконструкции 60—70-х, «квадраты» и риффы интересуют сегодня, повторюсь, лишь музыкантов, сделавших «рок» бизнесом. Творческая задача неизменно усложнилась: озвучка хаоса, тонких, вибрирующих музыкальных полей, соответствующих «тонким» проявлениям духа, природы, жизнесферы...

Утри пот (IV)

М-р Брайан Джонс почти безвыездно прожил в Гартфилде, среди лесов восточной Англии, возможно, самый счастливый и уж, во всяком случае, самый спокойный месяц своей взрослой жизни, неожиданно обнаружив в бывшей хозяйке приобретенного им дома именно то, что так давно искал: материнскую заботу и ту особую нежность, на которую способны оказываются женщины, внезапно потерявшие взрослых сыновей (а несчастье такого рода как раз и случилось с миссис Мэри Хэллетт до появления в Гартфилде Брайана). Если бы мы писали роман, нам пришлось бы уделить несколько прочувствованных страниц той радости, которую испытывала мать-Мэри¹, наблюдая, как постепенно приходит в себя ее молодой друг, бежавший из «безумия Лондона» конца 60-х совершенной развалиной, пугающего вида молодым стариком, едва не доведенным до самоубийства своими похождениями, арестами, лечением у психиатра и «реабилитационным стационаром»...

Увы, эта идиллия была недолгой. Может быть, безумный Лондон был все же слишком близко. Безумие вообще ближе, чем кажется (и ты это знаешь, друг). Во всяком случае, после резкого и недвусмысленного объяснения с Фрэнком Торогудом, распорядившимся его делами, Брайан был найден мертвым в бассейне купленной им виллы: одни видят в этом прямое последствие разговора, другие соглашаются с полицейской версией несчастного случая.

Когда мистер Джонс-отец узнал о смерти сына, он попросил сжечь все его личные вещи, которые только удастся обнаружить, — так, словно речь шла не о вещах его ребенка, а об останках некоего исчадия ада, таящих в себе коварный и всепроникающий тлен... Вещей, кстати, осталось немного. Некоторые из них — подарки Брайана — миссис Хэллетт сохранила до сих пор. Она охотно рассказывает о нем — в отличие от родителей, которые словно поклялись не проронить о нем ни слова. Поистине странные вещи случаются в этих добропорядочных английских семьях! Конфликт поколений вдруг превращается в смертельную схватку и... Ау, дедушка Фрейд!

¹ «Mother Mary comes to me...» Французский журналист Г.Мартэн замечает, что в это же самое время другая немолодая леди по имени Мэри, явившись во сне Полу Маккартни, стала героиней позднего гимна «Битлз» — «Let it be». Очевидно, — пишет он, — что Пол-«битл» и Брайан-«стоун» одновременно, хотя и независимо друг от друга, искали в этих материнских образах опоры в тот момент, когда их группы разваливались, а путешествия в мир наркотиков грозили обернуться адским самоубийственным дрейфом. Тихий Гартфилд, в котором отходил от безумия Брайан, когда-то был резиденцией Вильгельма Завоевателя, и именно здесь писатель А.А.Милн написал своего «Винни-Пуха». Говорят, что, хлебнув спиртного, Брайан нередко представлял себе, что разбивает солнечные часы, под которыми, по преданию, были погребены неопубликованные рукописи Милна. Хотел ли он таким образом вернуться в детство?

Брайан Джонс, друг, — хорошее кольцо. Своею смертью он свяжет тему не хуже, чем связал ею величайшую в истории рок-н-ролла группу — «Роллинг Стоунз». По сути, все уже сказано. По крайней мере, названо. Может быть, стоит пробежаться по теме легким арпеджио, чтобы вспомнить предреченную «музыку гибели» и ту битву с демонами или с самой смертью, в которую Джими Хендрикс превратил свой последний концерт в Беркли, а также «первое поколение чертенят, чувствующих себя защищенными от всех горестей и катастроф», и «ангелов ада», которые, вырвавшись из апокрифа Патти Смит¹, так грубо и *навсамоделе* явили себя в Альтамонте, а заодно уж и прозрачного доктора, психоделические *мили* и, наконец, того, кому несчастный Роберт Джонсон отчаянно заложил свою душу...

Да, друг, говоря о рок-н-ролле, разговора о дьяволе не избежать, даже если мы захотим малодушно уйти от этого. Ибо если беснование «Sex Pistols» на сцене в наш посмодернистский век еще можно счесть... ну, оригинальной манерой исполнения, то с такими семантическими конструкциями, как «Their Satanic Majesties Request» и «Sympathy for the Devil»², придется все же как-то считаться. То есть пытаться понять, что, собственно, имелось в виду? И что значит в нашей культуре, с ее ярко выраженным дуализмом (Бог-дьявол), манифестирование, обращение к силам, определенно ассоциирующимся со злом?

Не помню кем и по какому поводу было сказано, что всякое явление культуры может быть осмыслено только в отчетливо-христианском контексте. Это было бы совершенно верно, если бы еще такой контекст существовал: по сути все западное общество уже давно живет за пределами христианского времени... Рок знаменует собой эпоху брожения и относительности (во всем), когда прежние незыблемые ориентиры (скажем, государство, патриотизм) утеряны или низвергнуты; рок помогает их низвержению. Такое впечатление, что дело происходит в эпоху поздней античности, когда христианство переживалось, как непрерывное брожение умов, исповедание разных толков каждой религиозной общиной, когда оно еще не отстоялось в своей мысли, когда все богопознание по Новому Завету Христа происходило на интуитивном уровне, а сами новозаветные книги не были еще написаны, выверены, отредактированы — существовали пока еще только прото-евангелия, которых к тому же было гораздо больше, чем в Библии, и они представляли из себя свод текстов гораздо более противоречивый, чем представляют собой четыре евангелия и предания теперь...

И кто же дьявол в этой схеме? Не будем только делать схоластических выводов; честнее будет, если мы прямо отправимся по его следам...

Летом 1967-го Брайан Джонс побывал в Монтерее (Калифорния), где занималась Эпоха Больших Фестивалей: музыка из подвалов и клубов выплеснулась на зеленый простор, и звуки ее были так же неслыханны, как невиданны были люди, внимавшие им. Пуританская Америка кончилась. Монтерей наводнили хиппи, проповедники неизвестных религий, продавцы марихуаны, авантюристы и искатели приключений вроде Кена Кизи, длинноволосые дикари, поборники сексуальной свободы и иные персонажи, которых не так-то просто определить. Время Фестивалей было первой карнавальной эпохой в истории человечества³: да-да, ряженые вторглись в историю, серьезную историю серьезных политиков, историю ЦРУ и КГБ — и изменили ее ход... Конечно, вьетнамская война закончилась не потому, что хиппи в Чикаго вставляли гвоздики в направленные на них дула автоматов, — но после этого в самой

¹ Текст к пластинке Патти Смит «Radio Ethiopia», написанный в стиле апокрифического евангелия или нового откровения.

² «Их сатанинские величества повелевают» — название психоделического (1967) альбома «Роллинг Стоунз»; «Симпатия к дьяволу» — программная вещь со следующего их альбома, «Банкет нищих» (1968).

³ «Прежде было жестче: революция — так революция, война — так война, конкиста — так конкиста, со всеми ужасами насилия, геноцида, реками крови...» Карнавальная революция, несомненно — качество нового мира, в котором виртуальность уравнена в правах с реальностью. В 60-е была первая, а вторую мы сами пережили совсем недавно: ибо несомненно «карнавальными» были все «бархатные» и «оранжевые» революции, которыми было отмечено крушение мирового коммунизма. Падение режима Чаушеску в Румынии было ознаменовано переданной по радио песенкой «Don't worry, be happy...»

Америке уже не осталось патриотов вьетнамской войны. И кризис Франции де Голля созревал не в Латинском квартале Парижа — но именно захват студентами Сорбонны в мае 1968-го ознаменовал конец очередной республики. Черные флаги анархии на фронте университета, несколько перевернутых машин, подожженное министерство, столкновение многотысячных толп молодежи с полицией, газ, водометные пушки — и при этом ни одного трупа. Девушки в красном. Девушки в черном. И надо всем этим — музыка, музыка. музыка... Вспышка огней, Капитан Чудо, товарищ Че, Мао Цзэдун, Мишель Бакунин и сам Сатана — все это карнавальные герои, призванные покончить со скукой серьезного мира, мира холодной войны и атомной бомбы; мира затаенных страхов, которые парализуют человеческую волю. Страха исчезнуть без следа, как в Хиросиме; страха потерять работу и статус; страха быть застуканным в постели с любовницей...

Весть об освобождении шла вместе с музыкой. Чем больше было музыки, тем дерзостнее были попытки разорвать связи с отчим миром. Джордж Харрисон летом 1967-го тоже побывал в Калифорнии, но уехал оттуда несколько перепуганный американским равнинным размахом того, что в Европе носило более цивилизованный и камерный характер: опытов с наркотиками, «возвращением в природу» или попыток испытать в прохладном англиканском моральном климате те восторги земной любви, о которых рассказывали вчерашним протестантам древние скульптуры на фронте индийского храма в Кальджурахо.

Напротив, Брайан Джонс чувствовал себя в Монтерее совершенно в своей тарелке среди двухсот тысяч поклонников рок-музыки. Есть фотография, на которой он заснят вместе с Хендриксом: они идут... нет, они величественно шествуют среди непосвященных — два героя, два рыцаря карнавала, в ослепительном блеске немислимых доспехов: Брайан одет в светлый средневековый кафтан, Джими — в гусарский мундир времен войны Севера и Юга...

Вернувшись в Лондон, Брайан настоял, чтобы «Стоунз» сделали альбом в той новой «психоделической» стилистике, которая родилась, не без помощи ЛСД и кислотных проповедей доктора Тимоти Лири, на Западе Америки и постепенно проникала в Европу (обосновавшись во Франции, со звуками интенсивно экспериментировали «Pink Floyd» и «Soft Mashine»). «Стоунз» приняли вызов и впервые в своей жизни заперлись в студии. Так через несколько месяцев появился альбом «Их сатанинские величества...»

Занимая в обширнейшей дискографии «Стоунз» незаметное место на отшибе, альбом этот сыграл поистине роковую роль в судьбе группы. Уже в начале работы над ним от группы отказался менеджер Эндью Олдэм, которого испугали музыкальные изыски, вдохновлявшие Брайана. «Это был некоммерческий альбом... — объяснял он потом. — Меня интересуют мелодии... А здесь песни не были даже написаны заранее. Они сидели по десять часов в студии, отыскивая подходящий гитарный рифф... Это безумие...»

Смена менеджера не спасла пластинку от неуспеха. Лишь лет тридцать спустя критики стали писать о ней как об «одной из самых живописных фресок в психоделической музыке», но тогда, в 67-м, она совершенно потерялась в тени вышедшего на полтора месяца раньше битловского «Сержанта...». «Стоунз» сделали несколько вялых попыток защищать свое детище. «Нам не двадцать лет, — заявил, например, двадцатичетырехлетний Джаггер. — Надоело прыгать по сцене...» Однако быстро стало ясно, что на этой музыкальной волне группе не удержаться.

Словно опомнившись, «Стоунз» дают два бешеных концерта в Уэмбли и в Париже и приступают к работе над «Банкетом нищих», все песни которого написаны в очень жесткой ритм-энд-блюзовой манере. Это, однако, совершенно расхолодило Брайана Джонса, который понял, что отныне и навсегда он утратил в группе ведущую роль. «Брайан постоянно опаздывал на сеансы записи, — вспоминал работавший в то время с «Роллингами» клавишник Ники Хопкинс. — Он садился в своем углу, положив гитару на колени, но, когда его просили сыграть, он начинал плакать, как ребенок. Он не мог вытащить из себя ни одной ноты. Он не служил больше ни делу, ни другим, ни себе...»

Был случай, когда Брайан Джонс пришел в студию с цветком, но без гитары...

По-видимому, честолюбию Брайана не льстило даже то, что во время записи «Банкета...» группу снимал знаменитый Жан-Люк Годар, чутко уловивший в козырной

вещи альбома — «Sympathy for the Devil» — явное созвучие с нервным пульсом современности¹. Действительно, на диске были записаны две вещи, о которых уместно сказать особо. «Street Fighting Man» («Уличный боец») — несомненно, отголосок парижского мая. Эта вещь была категорически запрещена к радиотрансляции, например, в Чикаго, как «брутальная музыка, способная вызвать беспорядки на улицах» (что, однако, не уберегло Чикаго от «беспорядков» в августе).

Вторая — «Sympathy for the Devil», с мощным ф-но Ники Хопкинса и тяжело пульсирующей бас-гитарой: навеки прославленная фильмом Годара сатанинская декларация «Стоунз». Один из биографов группы выразительно характеризует ее: «Речь идет отныне о вполне реальных вещах, об утверждении симпатии «Стоунз» ко всему, что призвано разрушить привычный порядок вещей. «Симпатия к дьяволу» открыто заявляет: таково мое обязательство, послушайте, а дальше поступайте, как хотите...»

Вот вроде бы друг, мы и ухватили за хвост нечистого... Но кто же дьявол? Неужели кто-то из этих пяти, в одеждах магов и пиратов запечатленных на конверте «Их сатанинских величеств...»? Звезды, Луна, Сатурн, дворец восточного владыки, бутафорские горы из кисеи, Джон Леннон и Джордж Харрисон, арабские всадники, иллюзионисты, три грации Босха, дама с Горностаем Рафаэля, индийские красавицы, бабочки, менялы, попугаи — обертка, в которую заключена вся эта нежная музыка, и сама музыка — это и есть, по-твоему, зло? Да полно, друг, к чему нам такое ханжество? Мы все еще в царстве карнавала. И дьявола мы ухватили за хвост, да он — ряженный. Во всяком случае, к настоящему дьяволу он имеет не большее отношение, чем «The Band War»² имела отношение к тем войнам, где проливалась человеческая кровь другими людьми, вроде бы никак не замешанными в чертовщине, но зато имеющими прямое касательство к поистине адским изобретениям человеческого ума: танкам, пластиковым минам, напалму... Мы привыкли, что революции нужны солдаты и бронепоезда; но точно так же революцию могут вершить музыка, поэзия, карнавальное действа. Все попытки перевести на язык классовой борьбы парижские события потерпели крах именно потому, что сами эти события, «политические» по видимости, — тоже не что иное, как карнавал. Карнавал, направленный против того стандарта жизни, который навязывает человеку индустриальная цивилизация, лишая его многомерности: несомненно, эпоха рок-н-ролла напрямую связана с экзистенциалистским бунтом — только не в литературе, а в колоссальных декорациях современных городов и концертных площадок³. Поэтому в карнавальном кружении и должен был появиться дьявол — как последний аргумент, как козырная карта, как секретное оружие.

А реальное зло — оно началось потом, когда умер Брайан Джонс и случился Альтамонт.

Может быть, все и обошлось бы, если... О, эти таинственные «если»! В декабре 1968-го компания Би-би-си сняла потрясающее шоу, придуманное «Стоунз», которое было и остается одним из самых замечательных творений эпохи рок-н-ролла: называлось все это «Rolling Stones Rock n roll Circus» («Рок-н-ролльный цирк «Роллинг Стоунз») и объединило на цирковой арене в фантастическом костюмированном шоу «Jethro Tull» и Эрика Клэптона, Джона Леннона и Йоко Оно, Митч Митчелла (барабанщика Джими Хендрикса), «The Who», «Стоунз» и, помимо этого, клоунов, акробатов, пожирателей огня, тигров и одного кенгуру. Совместное трио Эрика Клэптона, Кейта Ричардса и Митч Митчелла, которое сегодня трудно себе даже вообразить, было «вживую» записано телевизионщиками. И все-таки передача была запре-

¹ Фильм Годара «Один плюс один» представляет собой поэтическое и политическое эссе, посвященное разрушению гармонии миропорядка; признаки гармонии (по крайней мере музыкальной) можно отыскать лишь в музыкальных пробах музыкантов, репетирующих в студии песенку о Сатане...

² «Битва групп» или «Рок-война» — знаменитый фестиваль в Нью-Джерси в июле 1967-го.

³ «Экзистенциалистское наследие» сказывается хотя бы в том, что одна из культовых групп эпохи рок-н-ролла, «Steppenwolf», выбрала имя по названию ранней повести Г.Гессе «Степной волк» (1927), что, кстати, делает все более явными для нас тайные нити, связующие 20-е годы с 60-ми.

цена — возможно из-за того, что «Стоунз» опять сыграли свою «Симпатию к дьяволу»; только в 1995 году, почти тридцать лет спустя, песни, прозвучавшие в «Цирке», появились на компактe.

Если бы передача появилась на ТВ, то это, возможно, расшевелило бы Брайана и ослабило бы навязчивую идею Мика Джаггера снять о группе фильм.

Этого не произошло. 9 июня 1969-го Брайан Джонс заявил, что покидает группу. Меньше чем через месяц его уже не было в живых.

Состоявшееся 5 июля выступление «Стоунз» в лондонском Гайд-парке превратилось в грандиозные поминки по Брайану Джонсу и продемонстрировало, кстати, ту странную и грозную силу, которую накопил бэнд. Эндрю Кинг, ответственный за площадку перед сценой (охраняемой лондонскими «ангелами ада», одетыми в потертые мундиры вермахта и тяжелые фашистские каски)¹, признавался, что в какой-то момент ощутил себя совершенно беспомощным на выгороженном пятачке, заполненном журналистами, возлюбленными музыкантов и особо приближенными тусовщиками. «Я залез на осветительную мачту и со страхом увидел огромную толпу в 250 000 человек...» «Сонный Лондон», выставивший четверть миллиона ополченцев рок-н-ролла, внезапно обнаружил в себе угрозу. Но «Роллинг Стоунз» решили не отступать перед опасностью, которая в свое время ужаснула «Битлз» и привела их сначала к отказу от концертов, а потом к развалу. Этой опасностью была толпа. «Стоунз» решили, что справятся с этим. И действительно, в Гайд-парке Джаггер лишь один раз прикрикнул на расшумевшуюся публику — когда он зачитывал несколько строк из «Адониса» Шелли в память о Брайане: «Он не умер, он только уснул...»

Конечно же на концерте ударным номером был новый хит — «Sympathy for the Devil», при исполнении которого по сцене неуклюже передвигался похожий на черта человек: это был вымазанный белой глиной негр со спутанными волосами и чреслами, обмотанными кудрявым мочалом. Публика в это время гремела погремушками и консервными банками, обрадованная просьбой Джаггера, опубликованной в газете «Мелодий мейкер», — усилить ритмическую поступь «Стоунз». В тот день все это страннейшим образом сопрялось: «ангелы ада» и «дети цветов», африканский колдун-черт и стихи Шелли и бабочки, в конце этого странного поэтического вторжения воспарившие над сценой и над фашистскими касками городских неврастеников с мрачными наклонностями, — правда, из 3000 бабочек к этому времени большая часть погибла: никто не догадался проделать дырочки для доступа воздуха в коробках, где они были заключены...

Пока «Стоунз» в Англии медленно вставляли на крыло после целого года сплошных неудач, в Новом Свете состоялся самый большой из Больших Фестивалей — Вудсток². На свежескошенном зеленом поле в 150 километрах от Нью-Йорка собралось 400 000 человек. Поистине, Вудсток был действием «библейского масштаба»: современникам не на шутку казалось, что здесь рождается новое поколение, исповедующее мир и любовь... За два дня фестиваля не произошло никаких эксцессов: три человека естественным образом умерли, а двое — родились, и их матери, подобно деве Марии, рожали хоть и не в хлеву, но на поле молочной фермы...

«Стоунз», опоздав на этот праздник жизни, решили отыграть свое осенью: 26 октября началось их американское турне, которое происходило с возрастающим и поистине грандиозным успехом. Казалось, они приехали для того, чтобы сделать карнавал непрерывным и продлить очередное «цветочное лето». Но вышло так, что они приехали, чтобы возвестить о зиме.

Они держались великолепно. Никогда прежде не удавалось им достигнуть на концертах такого слаженного и мощного звучания, никогда прежде их сцена не пре-

¹ «Hell,s Angels» — международная организация рокеров, для которой характерен культ силы — в 60-е «ангелы» нередко приглашались разными группами в качестве секьюрити. Кто угодно — только не полиция!

² В нем приняли участие замечательные музыканты того времени: Джими Хендрикс, Джоан Баэз, Боб Дилан, Рави Шанкар, Джо Кокер, Карлос Сантана, Дженис Джоплин, «The Who», «Ten Years After», «Creedence», «Greatest Full Dead», «Jefferson Airplane», «Кросби, Стиллз, Нэш и Янг» и другие.

вращалась в настоящий театр: Мик выступал в черном трико с серебряным поясом и красным знаком в виде подковы на груди. Ошеломленные газеты сдуру писали, что он «походит на принца темного царства, на ангелоподобного демона». К тому же сбылась давняя мечта Мика: на протяжении всего турне киногруппа братьев Мейсл следила за каждым их шагом...

На заключительном шоу в нью-йоркском «Медисон-сквер-гарден» Мик сказал, что «Роллинг Стоунз» доказали свое право называться самой великой группой рок-н-ролла, и объявил, что для того, чтобы отблагодарить всех, кто помог им подняться, роллинги хотят завершить гастрольный тур грандиозным бесплатным концертом.

Организовать его должен был Сэм Катлер — который сделал концерт в Гайд-Парке, но ему, в свою очередь помогали два молодых американских продюсера, которые «сделали» Вудсток. Втроем они облетели окрестности Сан-Франциско и нашли живописное местечко километрах в 50 от Беркли. В последний момент по политическим причинам, о которых слишком долго рассказывать, власти запретили проведение концерта на облюбованном месте, и организаторам в течение одного дня пришлось искать новое, которым и стал Альтамонт.

Сцена монтировалась в течение ночи рядом с автополигоном, известным под названием «Бац-дорожка для смертельного дерби» (здесь устраивались гонки подержанных машин, которые не прекращались до тех пор, пока из десятка несущихся, разваливающихся на ходу и непрерывно бьющих друг друга автомобилей не оставался один победитель). Все это, вкуче с дикой взвинченностью журналистов, киношников и музыкантов, вынужденных в последний момент менять все свои планы, — сразу бросило на этот роковой день — 6 декабря 1969 года — какой-то нервный, нехороший отсвет. К тому же по совету музыкантов из «Grateful Dead» роллинги согласились пригласить в качестве охраны сан-францисских «ангелов ада», поверив заверениям, что заморачиваться на их счет не стоит, «с ними все работают и всегда все проходило отлично». Но «ангелы ада» из Фриско отнюдь не напоминали своих худосочных лондонских собратьев, хотя и не рядились в форму вермахта. Затянутые, как в доспехи, в черную кожу, вооруженные бильярдными киями, беспощадные, как спецназовцы, и, вдобавок, как следует подогретые кактусовой водкой, «охранники», кажется, внушали ужас самим музыкантам.

Было прохладно. Место было скверное. Сцена низкая. В трехсоттысячной толпе (это зафиксировано кинокамерой) немало было совершенно удолбанных и ничего уже не соображавших людей. Карлос Сантана, который открыл концерт в Альтамонте, сразу зачуял в воздухе недоброе: «Когда я спускался со сцены, я сразу заметил парня с ножом. Он во что бы то ни стало хотел драться. Не важно с кем: он хотел драться». Во время выступления «Jefferson Airplane» толпа полезла на сцену, и «ангелы», расшвыряв прорвавшихся, принялись так жестоко избивать поверженных наземь, что на глазах солистки, Грейс, показались слезы: «Перестаньте драться! — закричала она. — Разве это необходимо? Надо, чтобы все чуточку поостыли...» Но никто не хотел остывать. Новый натиск толпы... Грейс отступает за ударную установку, барабанщик стойчески отбивает ритм, пытаясь загипнотизировать толпу, и в такт ему Грейс вкрадчиво шепчет в ухо этого гигантского, ворочающегося в декабрьских сумерках зверя: «Easy, easy...» («Тише... Тише...»).

В это время на вертолете прибывают «Стоунз». Едва Мик спрыгивает на землю, ослепительно улыбаясь поклонникам, как некто ударом кулака в лицо едва не сбивает его с ног. Неизвестного оттаскивают. «Я ненавижу тебя, ублюдок, ненавижу...» — хрипит он. Злосчастный день! Он весь переполнен ненавистью... И если до этого момента фильм о гастролях «Роллинг Стоунз» в Америке напоминает обычный рекламный ролик, то теперь он превращается в беспощадный, полный драматизма документ. Каждый, кто посмотрит «Gimme Shelter», невольно окажется в эпицентре ужаса, который слишком ощутим даже теперь. Увидит растерянных «Стоунз», оказавшихся в пятачке света перед трехсоттысячной толпой. Они сыграли «Sympathy for the Devil» и начали играть «Under my Thumb», когда вдруг из тьмы выскочил этот негр с пистолетом... Для чего ему был пистолет? Чтобы стрелять в Джаггера? Чтобы убить эту тварь, химеру, этого «ангелоподобного демона»? Или просто — убить, чтобы обрести ту мировую известность, о которой мечтал убийца Леннона? Мы никогда не узнаем. Один из охранников, бросившись на это хрупкое, хоть и вооруженное существо, мгновенно смял его и вонзил в него нож...

«...Все, что было достигнуто в Вудстоке, погибло от одного удара ножом...»

Так скажи мне, друг, откуда вырвался дьявол?

И где он был — на сцене, в музыке, в толпе, в стечении случайных (случайных?) обстоятельств? Или в законах рынка, которые заставляли музыкантов рваться к успеху *любой ценой*? Или в том, что была зима, ранние сумерки, скверное сочетание звезд на небе?

Большинство современников, потрясенных случившимся в Альтамонте, не виныло за это «Стоунз». Говорили о перетряхивании первоначального сценария, о низкой сцене, об ошибке с «ангелами»... Из музыкантов только Дэвид Кросби позволил себе моральное суждение: «Я не сказал им ни слова, когда увидел, чем все обернулось. Но я убежден, что они не поняли, что они совершили; я уверен, что никогда не поймут, почему их считают снобами. Я не люблю их. Я думаю, у них совершенно преувеличенное значение о собственной значимости...»

Похоже на правду, друг: где-то тут и зарыта вся чертовщина. Фестиваль, похоже, нужен был «Стоунз» *любой ценой*, чтобы завершить грандиозными эпическими картинами прославляющий их фильм, который они планировали выпустить на экраны *раньше*, чем фильм о Вудстоке. Выходит, они хотели быть *первыми в мире* — а это известная дорожка, на которой встречный прохожий, внезапно улыбнувшись, многим-многим раскидывал руки для дружеского объятия: «Рад вас видеть! Полагаю, вы меня помните?» И только когда эти многие-многие, часто такие же растерянные и подавленные, как «Стоунз» после Альтамонты, тщетно пытаюсь вспомнить, как зовут встречного, высвободившись из его крепких объятий, вдруг замечали вместо генеральского ботфорты или лакированного ботинка раздвоенное копыто, отороченное рыжей шерстью... Черт! Ну, да ладно: чего теперь-то уж, когда дело сделано... Черт — так Черт. Бизнес — так Бизнес. Очень, очень скоро, уже в начале 70-х, в мире шоу-бизнеса «Стоунз» действительно стали брендом № 1. Может быть, это было и не совсем то, о чем они мечтали, но тут уж ничего не поделаешь — Сатана врет, как черт, плетет свои кольца, и если в игре с ним выпал «чет», не стоит пытаться переиграть его и ставить на «нечет».

Я специально посмотрел фильмы о Вудстоке и об Альтамонте, чтобы составить мнение об этих фестивалях и понять, какое впечатление произвели они на современников. Конечно, впечатления эти потрясающе различны. Фильм о Вудстоке с самого начала окрашен эмоционально очень положительно (молодые ребята, трактор, скошенная трава...). Почему становится адом Альтамонт, непонятно. Но он становится адом с самого начала. Голая земля вместо зеленой долины, пожухлая трава, автострада на заднем плане, участок разбитой дороги для «смертельного дерби»... Странная окраска всего, тускловатый зимний свет. Толпа в черном. Присутствие рокеров с запада (все поголовно в толстых кожаных куртках): они сидят на автобусах, их колонна на мотоциклах довольно бесцеремонно пробивается к сцене... Они не имеют (тогда уже) ничего общего с хиппи и хиппующими обывателями, это посланцы *нового*, очень жестокого мира.

Люди стекались в Альтамонт так же, как на Вудстокский фестиваль. Ехали на машинах сплошным потоком, шли пешком по дорогам и прямо по полям, несли детей на плечах... Пускали мыльные пузыри, несли воздушные шары, красные знамена... Но почему-то там, перед сценой, половина из них упиалась и уторчалась настолько, что уже не соображала, что к чему...

Ни одна революция не достигала своих целей, и карнавальная революция — не исключение. Чем шире становилась аудитория рок-н-ролла, тем она становилась пассивнее. Может, дело и в том, что была зима — в Альтамонте как-то все замерзло: не было уже равноправных участников праздника, была огромная толпа, которая пришла *ловить кайф* и *пожирать эмоции*...

Оператор поймал несколько прекрасных кадров человеческой природы: вот лицо командира «ангелов», который смотрит на Джаггера с нескрываемой ненавистью, как бы не понимая, как вот это хрупкое, кривляющееся на сцене существо оказалось во много раз удачливее и богаче его; вот сладострастное лицо девушки, которую просто прет от музыки; а эта совершенно обдолбана, раздевается, ломится к сцене, покачивая тяжелыми грудями; Кейт Ричардс что-то кричит толпе, «Стоунз» замолкают, мелькают встревоженные лица организаторов концерта: «или вы сейчас же прекратите это побоище, или они вообще не будут играть...»

О том, что в Вудстоке все было далеко не так благополучно, как показано в кино,

говорит только огромное количество грязи, которое оставили после себя люди на зеленом, частью уже вытоптанном поле. Грязь могла бы и не войти в этот фильм. Тогда он получился бы совсем розовым; но что-то заставило режиссера все-таки включить эту грязь. Возможно, Альтамонт был близок; возможно, и фильм о Вудстоке можно было бы снять как *страшный* фильм. Но такой задачи не было. Это был фильм о начале рок-н-рольной эры, он был полон оптимизма и потому главным клипом фильма стали голые детишки, играющие с ударной установкой, когда музыканты куда-то ушли. Вот будущее. Вот завет: любовь, цветы и музыка. Фильм о Вудстоке был снят просто: камера была включена в тот момент, когда наступил Рай. И сняты люди в Раю. Люди без греха. И музыка Рая. А как снимался Альтамонт, я не понимаю. Потому что предвидеть, что все это действие — которое и красиво даже, и завлекательно, и на первых порах не вызывает особых опасений — очень плохо закончится, было ведь невозможно. Ну, невозможно было предвидеть, что *те же люди*, люди Рая, которые были в Вудстоке, в Альтамонте передерутся, будут лезть на сцену и падать вниз с разбитыми в кровь головами... А впечатление такое, что оператор по минутам знал, что произойдет. И все это снято. И безумная толпа, и судороги ее ненависти, драки, убийство, прекращение концерта, и отлет на вертолете группы... Наконец: как будто уцелевшие после какой-то невиданной катастрофы, в черноте, по мокрому, в луче голубоватого прожектора полю бредут врозь растерявшиеся кучки людей...

Вот такое сильное действие оказывает фильм. Он гораздо более глубокую правду говорит, чем была потом высказана. Если серьезно, то он говорит о том, что эпоха рок-н-ролла кончилась. Ибо новый мир, рожденный новой музыкой, оказывался ничуть не лучше старого...

Может показаться странным, но, когда в 1994 году решено было провести ретро-концерт в честь двадцатипятилетия вудстокского фестиваля, Мик Джаггер язвительно заметил: «Те музыканты, которые решили вновь выступать в Вудстоке, должны были бы помнить, что лучше не возвращаться на место преступления». Что имелось в виду? Какое преступление было совершено? Или это — обычное ворчание человека, которому судьба вместо Вудстока «подарила» Альтамонт?

Возможно, как честный бизнесмен, Мик посчитал преступлением попытку сыграть на ностальгических чувствах тех, кто поверил в рок-н-рольную революцию. Потому что Вудсток *в конце концов* оказался фестивалем несбывшихся надежд и несостоявшейся справедливости (для поколения, которое участвовало в нем). Дилан, который пел о том, что «времена меняются», не пришел на похороны своего друга и братка Фила Окса, спившегося от тоски. Он хотел быть честным и показать, что братства больше нет. И времена действительно изменились. И братства больше нет. И ничего не осталось. Вот в чем штука. А так красивенько все было...¹

Когда случился Альтамонт, я учился во втором классе. С тех пор прошло очень много лет. Рок-н-ролл излился, подобно вулканической лаве и застыл в хорошо известных каждому любителю формах. Вся эпоха рок-н-ролла продолжалась от силы лет десять, но детонация, произведенная ею, затронула сознание последующих поколений и, смею думать, в каком-то смысле влияет на наше сознание до сих пор. Конечно, для большинства рок стал просто развлечением, одной из тех безопасных музык человечества, которая, год от года совершенствуясь внутри себя, никогда уже, однако, не поднимет целое поколение на штурм старого мира. Лишь для немногих «изобретателей» эпоха рок-н-ролла сохраняет свое значение, как одна из коллективных попыток людей совершить экзистенциальный прорыв, расширить сознание. И я бы сказал, что это была удавшаяся попытка: это выяснилось полвека спустя, когда стало возможным беспристрастно судить о результатах. Она *очень изменила* сознание человечества, необыкновенно раскрепостив его: она смела границы государств и рас, всесторонне изменила культуру, по-новому поставила проблему человеческой свободы (вырвав этот аспект бытия из рук государства и вернув его каждому отдель-

¹ Опять же, подчеркну, все выглядит так только для ветеранов эпохи рок-н-ролла. Из дальней перспективы картина совсем иная: рок-н-рольная революция была подлинным «взрывом» сознания, которое подготовило его переход в новый век. Издалека *проигравших* нет. Есть только *погибшие*. Или умершие собственной смертью.

ному человеку), вернула людям интерес к религии, возродила транссовые практики и употребление психоактивных веществ в магических целях; она увидела многие проблемы человека и человечества *как бы из будущего*, хотя масштаб этих проблем не мог быть верно определен. Наконец, она продемонстрировала, каким мощным преобразующим сознание инструментом может быть музыка. Поэтому новому поколению предстоит еще и еще расширять *музыкальное сознание* до границ, которых я своим *старым уже умом* провидеть не могу.

Я сказал, что эпоха рок-н-ролла была первой карнавальной революцией в истории человечества. Но забыл добавить, что, возможно, последней. Казалось бы, «открытое» сознание времен пост-рок-н-рольной революции уже не будет знать помех в решении рутинных проблем человечества и в «продвижении» вперед всех наук и искусств. Да-да, в развитие того и другого уже инвестированы деньги (о, эти инвестиции!), но, думается, наш век в своей зрелой фазе будет веком решения очень серьезных «глобальных» проблем и связанной с их решением практической, часто очень грязной работой (надо в прямом смысле слова «очистить» Землю; построить чистую энергетику; накормить поколения, рожденные «демографическим взрывом»; решить проблему ресурсов и потребления — оно не может уже оставаться бесконтрольным). Речь идет в конечном счете о *новой парадигме мышления*. Вполне может случиться, что пришедшему веку будет не до культурных инвестиций — очень уж жесткие проблемы стоят перед нами уже сейчас, или уже вчера... И надо срочно что-то с ними делать... Но опять-таки, без драйва, без своеобразной героики, без некоего *гимна* невозможно никакое серьезное изменение — как в сознании, так и вне его...

Я все же доскажу свою историю. Пожизненные комедианты, «Роллинг Стоунз», кажется, никогда не переставали тосковать по тем временам бури и натиска, которые из нашего далека, когда потребление гигабайт музыки стало приватным и безопасным делом, кажутся столь грубыми и опасными. Временам, когда музыку слушали *вживую*. Им баснословно повезло: они остались важной частью мирового шоу-бизнеса, они (в этом видится парадокс) в своем качестве карнавальных «бунтарей» стали частью американского истеблишмента и — вместе с «Битлз» — «мирового сознания». Они не только на несколько десятков лет пережили своих ровесников, бэнды которых развалились уже к концу 70-х, выпустив десяток альбомов, но до весьма почтенного возраста сохранили способность к творению. Разумеется, дело не обошлось без кризисов молчания и откровенно слабых альбомов, но когда в 1997 году, через 33 года после их первой пластинки, вышел *прекрасный* альбом «Bridges to Babylon», все, кто хоть что-нибудь понимает в музыке, были потрясены...

Они не изъездили из концертных программ «Sympathy for the Devil», но едва ли не самой прочувствованной из когда-либо написанных ими вещей стал маленький госпел «I don't want to talk about Jesus, I just wanna see his Face...»¹.

Нет, грехов им не замолить, просто узнав дьявола не понаслышке, комедианты кое-что знают и о Боге. Секрет долгожительства «Стоунз» можно усматривать в чем угодно. Но сдается мне, что именно трагедия, которая случилась с ними на взлете и связала их общностью судьбы и общностью ответа за то, что произошло. Куда они уйдут один от другого? Как смогут они отдать долг Брайану Джонсу за его ненаписанную музыку? Как ответят перед другими за то, что лежит у них на совести? Только оставаясь вместе, они выплачивают проценты. Поэтому они не соврали, пообещав встретить третье тысячелетие грандиозным рок-шоу: кому как не им, пережившим все драмы и радости эпохи рок-н-ролла, представлять за рок перед новым временем? Буквально некому...

Не так давно в Париже я зашел в большой магазин музыки на площади Бастилии и сразу направился к стенду с новинками. Новинок не было. Были какие-то компиляции, перепевки другими проверенных хитов «Битлз», «Стоунз» или «Лед Зеппелин», сборники «неизданного», римейки, но свежего — ничего. Поколение рок-н-ролла исчерпало себя. Я порылся на полочке под литерой «R» и нашел диск: «Мир (планета) Роллинг Стоунз». Проект Тима Райса. Типа, как поют их в Африке, во Франции, в

¹ «Я не хочу говорить об Иисусе; хотел бы только увидеть его лицо» — строчка из песни «Just wanna see his Face» с пластинки «Exile on main Street» (1972).

Бразилии или в Японии. Но это не записи того, как поют их реальные бразильцы, а проект, где вокалистом через песню выступает бывший подпевщик «Стоунз» Бернар Фауэлл, на барабанах во всех песнях стучит незаменимый для узнавания поступи группы едва ли не семидесятилетний Чали Уоттс, кое-где вторгается гитара Ронни Вуда или гармоника Мика Джаггера. То есть это какая-то очень странная вещь: с одной стороны, исполняется музыка «Стоунз», сами они принимают участие в записи каждой песни. Т.е. присутствуют — уже не как группа, а в виде пыли, что ли. Таким образом не совсем понятно: «Роллинги» есть или их уже нет? И в какой степени они есть (нет)? В виде пыли в более чем сомнительном по таланту проекте Райса? Я понял, что стал свидетелем трагедии старости моих любимых музыкантов. Давным-давно, когда вышла симфоническая версия некоторых хитов «Стоунз» («Symphonic Music...» 1994 года) я, как старый фанат, попытался наметать еще джазовый вариант прочтения некоторых вещей: «Стоунз в джазе». Тот же Чарли Уоттс, музыкант, несомненно, джазового склада, мог бы вытащить такой проект, но заболел и в результате так и не сделал. И так появился некий парень с саксофоном, по имени Тим Райс, и получилось — хуже не бывает: какая-то отвратительная, международно-гламурная, разноязыко-гламурная музыка, ничего общего не имеющая с жесткой, четкой, выверенной до ноты музыкой реальных «Стоунз». На следующий день, прослушав все, я выкинул диск в помойку. Почему они соглашаются участвовать в подобных вещах? Не знаю. Старость. Я все больше думаю на эту тему. Когда практически все сказал, а жить еще надо. Когда на самом деле все сделал — а убираться вон из списков «общества» — нельзя, да и невозможно. Ну вот, они и присутствуют в виде «пыли». Я бы на их месте отточил бы за оставшиеся им пять-десять лет еще десяток новых вещей и, выпустив последний несравненный альбом, ушел бы, овеянный грозной и прекрасной славой. Ни на что не размениваясь... Или что делать? Да ничего не делать. Возделывать свой сад. «Лучше ничего не делать, чем пытаться что-либо заполнить». Это именно по такому случаю сказано.

Скоро похоронные процессии с участием президентов, королей масс-медиа и принцев крови завершат шествование рок-н-ролла в лабиринтах культуры.

Ничего не останется.

Только музыка.

Как от Моцарта...

Моби Дик, как тема блюза

Слушатели музыки «Led Zeppelin», без сомнения, помнят тему «Moby Dick» со второй стороны второго альбома, которая выделяется среди прочих блюзовых арпеджио, получивших на пластинке самостоятельный статус, во-первых, некоторой особой хлосткостью музыкальной фразы, которая невольно вызывает в душе представление о высвобождении энергии больших масс материи (если б не название, вполне можно было бы вообразить нечто вулканическое или метеорологическое), а во-вторых, виртуозным, хотя и довольно бессмысленным соло на ударных Джона Бонэма, которым «Led Zeppelin» отдали дань традиции начала 70-х, когда барабанщик каждой группы если не на альбоме, то на концерте старался сделать сольный номер.

Название «Моби Дик», под которым вписана в альбом эта вещь, кажется совершенно произвольным и даже случайным. Убежден, что Фрейд отстаивал бы противоположную точку зрения и доказал, что оговорка такого рода невозможна и название «Моби Дик» абсолютно предопределено неотвратимым напором традиции, которая за ним стоит. Ибо, какими бы стопроцентными англичанами ни были «Led Zeppelin», в каждом англичанине, раз уж он играет блюз, есть двойник — американская душа, а значит — Герман Мелвилл и его роман о Белом ките, тяжелой лопастью хвоста которого и хлещет бас-гитара на втором «LZ».

Обратившись же, что и надо сделать сразу по прослушивании «Моби Дика», к первоисточнику, каждый, без сомнения, будет поражен мощной и чистой энергией свободы, которой дышит каждая строка романа; он будет поражен также блюзовыми интонациями (если подразумевать под блюзом спокойную самоиронию и необремененность делами мира), которые настолько явственны, что делается воистину удивитель-

тельно, что текст такого рода, текст, целые абзацы и главы которого есть блюз наивысшей пробы, написан в 1851 году и не нуждается ни в каком омоложении. И если слушатель «Моби Дика», ставший читателем «Моби Дика», окажется захваченным стихией романа, пафосом романа, символикой, загадками и длиннотами романа (косяк сердцевинных глав, которые на первый взгляд дробят роман так же нецелесообразно, как барабаны Джона Бонэма дробят зеппелиновскую вещь), то, конечно, странным для него будет уже не то, почему «LZ» назвали именем белого кита одну из вещей на втором альбоме, а то, почему они написали всего одну вещь подобного рода.

И этот вопрос нельзя оставить без ответа.

«Всякий раз, когда я замечаю угрюмые складки в углах своего рта; всякий раз, когда в душе у меня воцаряется промозглый, дождливый ноябрь; всякий раз, как я ловлю себя на том, что начал останавливаться перед вывесками гробовщиков и пристраиваться в хвосте каждой похоронной процессии... я понимаю, что мне пора отправляться в плавание, и как можно скорее».

Ты спрашивал, что такое блюз? Вот это и есть блюз, приятель.

Можно было бы поговорить о философии блюза, если бы блюз хотя бы чуть-чуть нуждался в философском обосновании; но он не нуждается даже в определении свободы, которую исповедует. И, пожалуй, это важнее всего — в блюзе есть что-то, что все время ускользает от нотной записи blue notes, что невозможно поймать и нанизать на булавки научных дефиниций. Блюз можно сыграть на саксофоне, на фоне или на гитаре, блюз можно спеть или прожить — что лучше всего; можно даже попробовать показать к а к э т о — сесть в поезд in blue, проститься с любимой in blue — но определить нельзя.

«Твой ход, так ходи, а придет смерть, так помирай, но не бросай карты!» — вот что такое блюз. Это сказал Мелвилл в 1851 году, и лучше, пожалуй, не скажешь.

Увы, в наш век и блюз является, чаще всего, одной из многочисленных имитаций. Может быть, даже имитацией блюза. Поэтому-то и стали возможны ничтожные снобистские разговоры о блюзовом саунде, блюзовом вокале и т. п., вплоть до того, каким должен быть блюзовый интерьер бара или кафе. Наверное, все это имеет отношение к блюзу. Но не больше, чем разговоры о том, в какие ботинки обрядить покойного и где устроить поминки, имеют отношение к жившему когда-то человеку. Все это чушь, приятель. Тот человек любил смотреть на луну, на море. И то, что он испытывал, — это и был блюз. А остальное не имеет касательства к делу.

«Есть такие предметы, разобраться в которых можно только принявшись за дело с методической беспорядочностью», — писал Мелвилл. Вероятно, один из таких предметов — человеческая жизнь, и надо сказать, что сам Мелвилл разобрался в ней в полном согласии со своим методом. Он прожил удивительную жизнь, неудача которой — верная отметина избранников судьбы, великих художников и пророков.

Мелвилл родился в состоятельной американской семье, но отец его разорился и умер. С пятнадцати лет мальчик не имел более возможности посещать школу. В двадцать — поступил матросом на корабль и проплавал с перерывами пять лет. Плавал на торговых судах и на китобойцах, принимал участие в бунте, высаженный на берег, жил среди дикарей Полинезии, пока, наконец, не устроился на американский военный корабль и не вернулся в Бостон. Первые его рассказы об островах южных морей, где он побывал за полвека до Гогена (так же надеясь обрести там потерянный рай и так же, не обнаружив рая, вынужденный создать его — только не с помощью красок, а с помощью слов), появились одновременно с выходом в Европе «Манифеста коммунистической партии». Здесь, пожалуй что, символ: Америка, бывшая колония Европы, стремительно строила свои смыслы и свою мифологию, главной фигурой которой стала личность — выпавшая из класса, а может быть, ни к какому классу никогда не принадлежавшая; природный человек, дикарь, «белый дикарь» — как Уитмен — превыше всего ценящий свою первозданную чистоту и свободу и только в ней видящий возможность для человеческого и вселенского братства. Вот правда Нового света. Революция и надменный байронизм ей одинаково чужды.

Всего за несколько лет Америка — до этого просто «варварская провинция, освещенная газом» — осознала свой дух, свое пространство, миссию своей силы. Одна за другой (как базовые пластинки рок-музыки в конце 60-х — начале 70-х годов) появляются книги, вместе составляющие грандиозный не политический, но поэти-

ческий манифест: «Листья травы» Уитмена, «Алая буква» Хоуторна, «Уолден» Торо и «Моби Дик» Мелвилла.

В год, когда «Моби Дик» увидел свет (1851), Фуко при помощи своего знаменитого маятника, висящего ныне в Исаакиевском соборе, наглядно доказал факт вращения земли. В США еще не отменено рабство. Золотая лихорадка еще трясет Калифорнию, куда предприимчивый Леви Стросс партия за партией стал отправлять свои неизносимые штаны. Началась (и с примерной жестокостью будет продолжаться тридцать лет) индейская война.

В литературе Европы в это время тон задают французы: Флобер, Бальзак, Гюго, Доде. Бодлер издал «Цветы зла», — вещь, безусловно, программную, но вполне еще невинную для того, чтобы угадать в ней грозный симптом скорого сифилитического распада старой культуры. Русская литература в Европе представлена переведенными на несколько языков «Записками охотника» Тургенева. Ее звездный час еще не настал. Сама Россия на распутье. Еще не продана Аляска, еще с востока русские пытаются дотянуться до Калифорнии... 1841. Гоголь — в самой сердцевине совершенно символического в истории русской культуры религиозного кризиса. В 1851-м Толстой — на Кавказе, в армии, ничего еще им не написано, кроме первых набросков; Достоевский — в солдатах, в ссылке после петрашевского дела, написаны «Белые ночи» и «Неточка Незванова».

Клубок российских проблем еще не затянулся, антиномии русской культуры еще не выстроилось, еще не родился русский миф, который оказался, в конце концов, мифом о русской революции. Почему в России и с музыкой все обстоит не так, как в Америке.

Если бы в США не было Уитмена (через которого дикими соками Нового Света вскормлены все американские поэты, включая Джима Моррисона и Патти Смит), а во Франции — трагической фигуры Гогена — французского «дикаря», великого художника и непонятого, как и все пророки, пророка — в XIX веке рядом с Мелвиллом трудно было бы поставить кого-нибудь.

Ибо никто с такой ясной очевидностью не противопоставил себя всем условностям общества, его законам, его суевериям, его святая святых — гуманизму со всеми его идеологическими и социальными институтами — и не во имя «зла», не ради нигилистического ниспровержения, а просто потому, что все это чуждо и скучно лирическому герою писателя — единственному человеку в полноте своей свободы.

В этом смысле книга Мелвилла — в той же степени американская, в какой — написанная изгоем цивилизации потребления, а значит, и Америки тоже. Это вызов единственному благоразумию и расчетливой добропорядочности общества, из которой герой добровольно исторгает себя. Серая пустыня моря роднее ему, чем это общество. Это ли не вызов?

Впрочем, все вызывающе в романе «Моби Дик». Да и роман ли это?! — вправе воскликнуть читатель. По объему-то это роман, но где законы жанра, где игра, где интрига?! Зачем нам читать десятки страниц про содержимое трюмов, фленширные лопаты, клеванты и салотопки, знакомиться с головорезами-гарпунщиками, корабельными плотниками и кузнецами, прошлое которых черно, как ночь? А сам этот корабль, с гробом, болтающимся за кормой вместо спасательного буйа, зловеще инкрустированный китовой костью, рыскающий по морям не по здоровой логике промысла, а по дьявольскому своеволию капитана, гонящегося за белым китом; корабль с командой из отборной сволочи, гордость которой составляют три варвара — громадный негр, индеец с акульими зубами и татуированный, фиолетового оттенка каннибал с острова Коковоко — закадычный друг автора — что это, как не чудовищный вызов морали, вере, американскому здравому смыслу, да и всякому здравому смыслу вообще?!

Читатель прав. Книга Мелвилла только с виду похожа на роман, но в действительности глубоко несуразна, как несуразна сама жизнь. Это и есть книга жизни, открытая всем ветрам, всем голосам и событиям, и никаким жанровым рамкам не соответствующая.

Вероятно, что мастер литературы (например, Борхес) мог бы попробовать уложить драгоценную историю Мелвилла — историю роковой погони безумного капитана за Моби Диком, китом мраморной белизны, который в его воспаленном сознании становится воплощением зла, — страниц в двадцать. Но Мелвилл создает для своей

жемчужины ковчежец в 800 страниц с лишком и при этом ведет дело так, что первый, весьма расплывчатый намек на то, что воды Океана скрывают кита, неумолимого как судьба, которого команде отправляющегося в промысловый рейс судна и предстоит преследовать, мы получаем лишь в 19-й главе, на 163-й странице русского издания. Подтверждение его существования и само имя Моби Дик из уст самого капитана мы вновь слышим в 36-й главе, когда опьяненные блеском прибитого к мачте золотого дублона матросы легкомысленно клянутся покончить с ним.

После чего белый кашалот со свернутой челюстью, или Моби Дик, все время, как призрак, терзающий воображение читателя зловещими слухами о себе, снова появляется как снежная гора из вод Тихого океана лишь в 133-й главе, чтобы оправдать все ужасы, которые говорились о нем, и в трех главах покончить и с книгой, и с кораблем, и со всеми населяющими его персонажами.

Конечно, это не роман в современном значении этого слова — слишком уж чудовищна эта постройка архитектурно, слишком многое в ней начато, но не dokonчено. Но об этой книге бесполезно судить, примеривая к ней жалкие соображения издателя бестселлеров. Это Книга. Возможно, книга, сознательно задуманная как неудача. «Самое дорогое желание мое, — признавался Мелвилл, — писать книги, о которых говорили бы, что они не удалась». Вот, пожалуй что, мысль, над которой стоило бы подумать. Книга, обреченная на неуспех и к тому же, несмотря на свой гигантский объем, незавершенная! Сам автор признает это: «Упаси меня Бог довести что-нибудь до конца! Вся эта книга — не более чем проект, вернее, даже набросок проекта».

Пытаясь вникнуть в эту парадоксальную логику, мы натолкнемся еще на множество мыслей, достойных того, чтобы их хорошенько обдумать, и среди них та, что наши ошибки — возможно, единственная подлинность, которую нам дарит жизнь.

Имей мужество, проживи свою жизнь непутево, и тогда, быть может, ты поймешь, что такое книга и что такое блюз.

Читатель, мы должны понять друг друга, и при этом без промедления. Я не собираюсь никому морочить голову и всякому оставляю право судить меня по всей строгости собственных представлений. Но черт меня побери, если «Ковровый саквояж» написан не Мелвиллом и если это не великолепная блюзовая тема: «Я запихнул пару сорочек / в свой старый ковровый саквояж / и отправился в путь к мысу Горн, / в просторы Тихого океана...»

Чуть-чуть терпения — и мы вернемся к отправной точке нашего повествования, которой, как помнится, был «Моби Дик» со второго LZ. Однако мы не выйдем к ней, если пропустим некоторые обязательные опыты, необходимые для алхимического превращения текста в музыку.

Современные исследователи Мелвилла, которые имели возможность прочитать его книгу внимательнее, чем первые читатели, подвергшие ее дружной обструкции, имели, вероятно, свои веские основания назвать ее «противо-Библией», имея в виду грандиозность замысла и символическое его раскрытие. Во всяком случае, совершенно очевидна попытка Мелвилла написать противоверсию притчи о Блудном сыне, раскрыть собственное ее понимание.

Смысл в том, что, накуролесив и набедствовавшись, тот возвращается в дом к отцу (или к Отцу — в данном случае все равно — он воплощает строгую ценностную иерархию), где, принятый со всею радостью, он даже вызывает зависть своего младшего брата, живущего по родительским заветам. Блудный сын Мелвилла не куролесил, не расточал фамильных богатств, он и блудный-то, видимо, только в силу одиночества и своей непричастности к роевой жизни рода. И он никуда не возвращается, вот в чем дело. Не хочет обратно в дом, где все устроено так чинно, но где, как тень, будет преследовать его зависть младшего брата. У него своя правда и свой Бог, к которому ему не нужно возвращаться, потому что Бог этот с ним. Блудному сыну ведома истина, недостижимая благочестивым бытием, он многое видел, многое испытал. Вопрос: захотят ли его слушать. Не будет ли этот рассказ соблазном, увлекающим слабых к гибели вне стен отчего дома?

Рассказ Блудного сына, решившего поведать добропорядочному семейству о своей правде, — это и есть роман Мелвилла. Откровенность Блудного сына о своих прекрасных и безнадежных, как жизнь, странствиях — это и есть блюз.

«...Теперь ты знаешь, Балкингтон? Ты начинаешь различать проблески смертоносной непереносимой истины, той истины, что всякая глубокая, серьезная мысль есть всего лишь бесстрашная попытка нашей души держаться открытого моря независимости, в то время как все свирепые ветры земли и неба стремятся выбросить ее на предательский рабский берег.

Но лишь в бескрайнем водном просторе пребывает высочайшая истина, безбрежная, нескончаемая, как Бог, и потому лучше погибнуть в ревущей бесконечности, чем быть с позором вышвырнутым на берег, пусть даже он сулит спасение».

С таким условием Блудный сын Мелвилла уходит прочь от отчего дома, чтобы уже не вернуться в него никогда.

И мир, открывающийся ему, выстраивается совсем на других основах, чем патриархальный мир родного гнезда. В ряду парных понятий, образующих молекулярную решетку западной культуры, Мелвилл упрямо выбирает те, что на Востоке соответствуют знаку «инь», олицетворяющему смутное женское начало, и отторгает те, что соответствуют принципу патриархальности. Он противопоставляет стихию порядку — в пользу стихии; чувство разуму — в пользу чувства; дикость — цивилизации; духовный поиск — труду и накопительству; множественность истин — одной непререкаемой Истине.

Мир Блудного сына творится из хаоса, и в него, вопреки расписанию часослова, свободно врываются порывы непогоды, плеск волн, скрип снастей. И Мелвилл, подчиняясь стихиям, загромождает роман звуками, знаками, иероглифами, иноязычными словами — словно нарочно для того, чтобы превратить свой текст в непроходимые дебри — красота которых лишь обостряет чувство опасности, а то и неподдельного ужаса перед тем, что скрыто под их покровом, — или в океан, где все мгновенно, все зыбко, и ни одна форма не успевает застыть прежде, чем не превратится в другую. Для постижения всего этого одного разума недостаточно, необходимы более тонкие чувства, чтобы услышать в этих шумах текст помимо текста, уловить содержание помимо слов (в чем, собственно, и состоял замысел Мелвилла), как это бывает в музыке.

О! Здесь-то мы и подходим вплотную к тому, почему «Моби Дик» с неизбежностью должен был получить свое музыкальное воплощение; и получить его, с наибольшей вероятностью, в музыке, открытой стихиям, какой и является рок.

Теперь, имея в виду такое скопище смыслов, которое мы едва имели время обозреть, прежде чем они ударятся в стороны, как стадо встревоженных кашалотов, мы обязаны четко ответить на вопрос — почему «Лед Зеппелин» написали столь частную, столь одноплановую вещь, когда перед ними, по видимости, открывались столь безграничные возможности? В самом деле, чуть-чуть воображения — и перед нами явятся десятки возможных «Моби Диков».

Достаточно взять книгу и пробежать ее оглавление, чтобы перед нами проступили неясные еще контуры великолепного альбома (не существующего в реальности, но вполне могущего существовать), на котором вещь за вещь все явственнее звучит тоска по морю и все отчетливее проступают голоса его посланцев — звуки портового города, потрескивание камина в холодной гостинице, разговоры матросов. Нечто подобное вполне представимо у Тома Уэйтса:

1) Очертания проступают. 2) Ковровый саквояж. 3) Гостиница «Китовый фонтан». 4) Лоскутное одеяло. 5) Завтрак. 6) Улица. 7) Часовня. 8) Кафедра проповедника. 9) Проповедь. 10) Закадычный друг.

С таким же успехом, но с большей вероятностью сорваться в грозные звуки, полные левиафанизма, но не имеющие самостоятельного смысла, можно воспользоваться главами финала, хотя надо понять, что, заходя в одну и ту же книгу с разных сторон, мы никак не получим д в у х о д н а к о в ы х альбомов, и если в первом из составленных нами только еще предчувствуется ветер с моря, то во втором — море тяжело бьется в ритме сердца, который вот-вот будет оборван сокрушительным ударом китового лба:

1) Полночь на мачте — гром и молнии. 2) Мушкет. 3) Стрелка. 4) Лаг и линь. 5) Спасательный буй. 6) На палубе. 7) «Пекод» встречает «Рахиль». 8) В каюте. 9) Шляпа. 10) Симфония. 11) Погоня (части 1, 2, 3).

Каждый волен составить собственный альбом из глав романа и строить предположения относительно его музыкальной стилистики; любопытно, однако, будет убе-

даться в том, что, сколько бы мы ни прилаживали, например, трэш и рэп к творению Мелвилла, он упорно будет отторгать их, никакой порядок глав не может быть ими озвучен; зато вполне можно представить себе развернутую музыкальную трилогию вроде той, на которую однажды отважились Эмерсон, Лейк и Палмер.

Однако, какой бы великолепной возможностью ни казался каждый из этих трех альбомов, ясно, что трилогия должна быть завершена, достаточно не а м е к а на такую возможность; из всех трех альбомов строго-настроено следовало бы запретить делать более одного, да и при этом особенно поостеречься финальной части, которую труднее всего прочесть с суровой простотой.

Так что «Лед Зеппелин» в какой-то мере оказались правы, воспользовавшись самым малым из всего богатства этой книги. Пожалуй что, в своем «Моби Дике» им по крайней мере удалось выразить нечто, связанное с округлостью и покатостью кита (подобно тому, как выражает эти свойства датское название кита — hval) и продемонстрировать, что раскатывание (walw-ian) этой чудовищной массы высвобождает клубящиеся вихри стихийной энергии.

Может быть, большего и не стоило делать, хотя я с удовольствием послушал бы в исполнении «Led Zeppelin» версию «Лоскутного одеяла» или «Отварной рыбы». Однако более подробное прочтение романа, боюсь, было бы монотонным и, при небрежении, еще и слишком литературным. А это — уже явное сползание и чудовищный соблазн XIX века, соблазн «Могучей кучки» и Вагнера, соблазн оперы. И уж если действительно надо вообразить себе нечто ужасающее, то достаточно представить полную иллюстрацию романа в какой-нибудь симфонической тетралогии наподобие «Кольца Нибелунгов» Вагнера, но сработанную по канонам нового века в виде бродвейского мюзикла или неумолимого, как шизофрения, авангардного выродка. Вот это был бы монстр пострашнее белого кита!

Может быть, смутно чувствуя такую возможность, «Led Zeppelin» поступили так же, как китобой, не склонные к напрасному самопожертвованию:

«Табань! — вскричал старший помощник капитана, когда, обернувшись, он увидел над самым носом шлюпки широко разинутую пасть кашалота... — Табань, кому жизнь дорога!»

И они написали блюз на 4:25.

Тем же, кто склонен к симфонизму и хочет почувствовать «Моби Дика» во всем многообразии звуков — от завывания зимнего ветра на улицах Нантакета до скрипа разделочных талей и ударов молота по наикрепчайшей стали предназначенного белому киту гарпуна, сваренного из гвоздей, которыми подковывают скаковых лошадей, — могу посоветовать лишь одно: читать книгу. Ибо лишь в ней действительно, может быть, поровну музыки и слов.

Как и всякий истинный мифотворец, Мелвилл, всецело прожил свой миф. Написав великую книгу, которая стала его величайшим достижением и величайшей неудачей (отчасти задев самолюбие публики, а отчасти — оставшись совершенно непонятой, она закрыла ему дорогу к какому-либо подобию писательского преуспевания), он вынужден был стоически, без надежды снова войти в моду, работать, одновременно служа инспектором № 41 в нью-йоркском порту. Все его последующие прозаические опыты провалились, не принесли успеха и стихи (за исключением небольшого сборника «Картины войны»). Последняя книжечка стихов была издана тиражом 25 экземпляров.

В год смерти Мелвилла (1891) Поль Гоген уехал из Франции в Полинезию. Это кажется символичным: когда умирает пророк, должен найтись кто-то, кто согласится принять дар его пророчества и разделить его судьбу.

Судьба! Сорок лет неудач, почти без просвета. Одно дело было — декларировать неудачу как принцип, другое — изжить ее самому, больше того, разделить ее с семьей, с близкими. Для этого нужно было большое мужество и большая сила: знать о масштабах своего дарования, чувствовать себя не только современником, но и собеседником самых читаемых авторов эпохи — и стойко нести свою неудачливость. Такое под силу, пожалуй, только Блудному сыну, одиноко пробивающему свой путь. Эта сила, способная противостоять реальности, добывается горьким опытом.

Однако что проку говорить о реальности, когда фильмы Голливуда для большинства обитателей современных городов куда реальнее, острее, содержательнее, чем собственная повседневная жизнь! В эпоху поставангарда как-то смешно говорить о

реальности! Но вот что я тебе скажу, приятель: представь, что у тебя вырубилось электричество. И больше нет видео и стерео, нет теленовостей и телесериалов — ничего из того, что заменяет тебе поступок. Представь это, и ты почувствуешь привкус реальности. А если поступок станет неотвратимым и ты вынужден будешь избрать судьбу Блудного сына, не слишком пугайся того, что тебе придется узнать. Ты убедишься в реальности Бога, и не мое дело знать, какой стороной он повернется к тебе.

«...Я знаю тебя теперь, о ясный дух, и я знаю теперь, что истинное поклонение тебе — это вызов. Ни к любви, ни к почитанию не будешь ты милостив, и даже за ненависть ты можешь только убить; и все убиты... Я признаю твою безмолвную, неумолимую мощь, но до последнего дыхания моей бедственной жизни я буду оспаривать ее тираническую, навязанную мне власть надо мною...» Эти слова, вырывающиеся из уст безумного капитана Ахава, дают нам повод еще раз задуматься над загадкой великой книги. Почему-то считается, что Моби Дик есть воплощение зла и орудие зла, слепо уничтожающее человека. Но Моби Дик убивает лишь тех, кто осмеливается поднять на него руку. Вызов тем и хорош, что провоцирует реальность быть и ошутимее, и беспощаднее. И, отвечая на вызов Ахава, Моби Дик восстает из вод, как посланец Бога, открывающегося гордецу в своей неумолимости.

Ахав погибает, спаленный своим безумием, но выживает Блудный сын, который не противопоставляет себя Богу и не преклоняется перед ним — он лишь догадывается о нем. «Моби Дик» действительно сравним с Библией в том смысле, что это священная книга. Книга о Боге или о непостижимости Бога. Повсюду видит одинокий отблески божественного света и молнии божественного гнева — но не осмеливается судить о Боге в целом. Довольно и того, что по этим отблескам он может судить о реальности сущего и безусловной своей подчиненности общему ходу вещей.

Кажется, размышления о Боге и человеческой свободе в рамках божественной свободы до конца жизни волновали Мелвилла. Догадка о Боге терзала его. Возможно, ему хотелось верить в справедливость, во что-то похожее на воздаяние. Хотя, как Блудный сын, он не мог не знать, что каждому и так дано по его мере, и недостойно просить о большем.

В этом смысле интересны стихи Мелвилла и особенно один повторяющийся в них мотив отсутствия кого-то, кто должен занимать заглавное место — во главе колонны или во главе стола. Тот, кого нет, угадывается по отсутствию, пустота слишком зияющая, чтобы не быть заполненной...

Впрочем, это уже не тема блюза, а тема баллады, которую тоже просто представить себе у «Лед Зеппелин» — правда, не на втором, а на четвертом альбоме, или на «Houses of the Holy»:

Ночной поход

Знамена свернуты, кларнеты немые,
Так армия уходит в ночь;
Сияют копья и блещут шлемы,
Мерцанье в темноте.

В тиши глубокой солдат потоки,
Развернут строй в порядке строгом,
Всю затопляя собой долину —
Вождя не видно.

В дрожащей дали затерян след его,
Гласят легенды: он шагает в одиночестве,
Но чутко внемлет его заветам
Сияющее воинство¹.

¹ Перевод Г.Гриневой.

Константин Фрумкин

Политкорректность — это судьба

«Свой принцип взаимодействия культур я бы рискнул сформулировать так: народы должны общаться через посредство своих рационализированных элит и прагматизированных периферий, а соприкосновение национальных тел, их культурных ядер желательно свести к минимуму. Любовь культур может быть только платонической: слишком тесное сближение тел обращает ее в отвращение. Главные трудности межкультурного общения возникают тогда, когда в соприкосновение вступают массы...» — пишет Александр Мелихов в статье «Конфликт культур», опубликованной в нынешнем году в № 2 нашего журнала. Заметка Константина Фрумкина — отклик на эту публикацию.

Одна из смешных ошибок, какую можно допустить при рассуждениях о межнациональных отношениях и диалоге религий, заключается в том, чтобы противопоставлять «имперский» и «либеральный» подходы. Впрочем, не стоит упрекать кого бы то ни было в неточном употреблении терминов — значения обоих слов достаточно расплывчатые. При желании «имперский» подход можно отождествить с агрессивным национализмом, с подавлением побежденных народов господствующей нацией, элементы этого можно найти в практике реально существовавших империй — однако в современной российской публицистике под имперскостью понимают нечто другое.

Об имперском подходе сегодня говорят только те, кто употребляет слова «империя» и «имперский» с неизменно позитивными коннотациями, а потому и имперский подход — это, по мысли современных публицистов и политических мыслителей, есть тончайшее искусство удерживать разные народы в одной державе, умение сдерживать национализм одних и амбиции других, не наступать на любимые мозоли, не раздражать национальную гордость, обеспечивать хотя бы внешнее равноправие и увлекать общими лозунгами, не входящими в противоречие с национальной и любой другой идентичностью. Если здесь есть отличие от той политики, которую проводят такие столкнувшиеся с многонациональностью западные государства, как США или Франция, — то отличия оказываются скорее техническими, чем принципиальными. Во всех случаях речь шла об обеспечении мирного сосуществования народов в многонациональном государстве — и цель диктует соответствующие средства, вплоть до пресловутой политкорректности и мультикультурализма. Нам ли, помнящим советскую дружбу народов, удивляться мультикультурализму как какому-то новшеству?

В сущности, интеллектуалам можно не заботиться о «политкорректности» российской власти (с одной оговоркой, о которой ниже). И советская, и российская власть всегда были исключительно сбалансированными в национальном вопросе — в отличие от многочисленных групп интеллектуальных радикалов, постоянно толкающих ее под руку. Правда, и тут бывают отступления от «средней линии» — вроде введения основ православной культуры в школах, но это скорее исключение. Наша

Фрумкин Константин Григорьевич — философ, культуролог. Публикации в «ДН»: «Усталость нации» (№ 4, 1996), «Парадоксы традиционализма. По следам одной дискуссии» (№ 2, 1998), «Традиционалисты: портрет на фоне текстов» (№ 6, 2002).

власть часто проявляет удивительную отсталость в вопросах экономической политики, чрезмерную агрессивность риторики в политике внешней — но имперскому взгляду на отношения народов и даже азам политкорректности ее учить не надо.

Почему? Потому что эти подходы вырабатывались нашими политическими элитами в рамках решения жизненно важной и тяжелейшей задачи удержания власти. Этот подход оправдал себя на практике. Современная российская власть готова идти по пути политкорректности до той степени, до какой последняя может развиваться, не задействуя механизмы демократии, гражданского общества и независимого суда — того, чего в России нет. Тут, конечно, возникают многочисленные проблемы — но эти проблемы не связаны именно с нарушением баланса в пользу той или иной нации. Если сегодня власти закрывают глаза на убийство таджика скинхедами — то завтра они закроют глаза на убийство русских чеченцами. В итоге либералы упрекают власти в потворничестве скинхедам, в то время как националисты убивают ее из-за тайного сговора милиции с кавказцами.

Впрочем, вопрос об «обучении у США» может возникнуть у нас не только в рамках вопроса об «обучении демократии», но и в специфической сфере межнационального диалога. Причина эта заключается в том, что США несколько дольше шли по пути реагирования на проблемы, которые мы стали замечать лишь недавно. Речь идет о проблеме экстерриториального сосуществования разных наций.

Советская национальная политика базировалась прежде всего на симулировании суверенитета или автономии отдельных национально-территориальных формирований. С народами, разделенными по разным территориям, надо признать, иметь дело гораздо проще. Но миграционные потоки растут. Пожелание замечательного писателя А.Мелихова — «соприкосновение национальных тел, их культурных ядер желательно свести к минимуму» — не имеет никакого отношения к реальности, а самое главное, не подлежит регуляции. Мы не властны замкнуться, мы не властны отменить такие явления, как миграция, международное сотрудничество, межнациональные браки, прогресс средств транспорта и коммуникации, интернационализация элит и т.д. и т.п. Вопрос заключается лишь в том, будем ли мы готовиться к ожидающему нас будущему или будем его пассивно дожидаться.

В определенном смысле мы обречены на «политкорректность». Последняя стала в нашем обществе объектом шуток. Между тем политкорректность не является ни мечтой идеалиста, ни системой порожденных прекраснодоушием пожеланий — это политический принцип, организующий отношения внутри реального общества, в первую очередь американского. Как всякий реальный политический принцип, он не является идеальным, как всякий слепо проводимый принцип, он порождает непредвидимые негативные последствия, но он работает. Он в той или иной степени решает существующие проблемы, и среди представимых решений этих проблем он кажется наилучшим (особенно если сравнивать с такими решениями, как поголовное уничтожение раздражающих меньшинств).

Нам не стоило свысока относиться к американцам и считать их дураками — и не потому, что у них больше интеллектуальных ресурсов (что, кстати, правда), а потому, что свои решения — в частности, политкорректность — они выстрадали, они вводили их посреди страдающего от проблем общества и обкатывали на практике. Политкорректность — дитя практики, а не теории, чего не понимают в нашем не знающем политкорректности Интернете. Американцы выработали политику политкорректности после многочисленных расовых беспорядков, переходящих едва ли не в гражданскую войну, после активной политической борьбы меньшинств, после работы с порожденной этнической и расовой дискриминацией криминальной обстановкой, после разнообразных судебных процессов, после обобщения страданий меньшинств, проведенного писателями, психологами и социологами. Огрубляя, политкорректность терпят ради мелочи — профилактики гражданской войны.

Вопрос лишь в том, дойдем ли мы до «политкорректности» в рамках обучения или введем ее, потирая бока и хороня убитых после очередного национального конфликта. Но, в общем, волноваться о ней нечего — ибо именно конфликты и являются лучшими учителями диалога.

Первая в истории Европы формула религиозной терпимости — «чья власть, того

и вера» — была выработана после Тридцатилетней войны, войны ужасающей, опустошительной, в ходе которой коалиции протестантов и католиков убедились, что не могут уничтожить друг друга.

Прочный мир есть плод войны — если только понимать под миром не вообще отсутствие войны, а систему отношений, позволяющую предотвращать войны или, по крайней мере, снижать вероятность их развязывания. Точно так же медицина, лекарства и иммунитет есть производные болезней, а не здоровья. Можно учиться на чужих ошибках, можно — с кровью — на своих, но мы все же не такие идиоты, чтобы не учиться вообще. Можно выработать свою формулу политкорректности — но это нюансы. Кстати, и американская не плохая.

В заключение хотелось бы остановиться на важном тезисе А.Мелихова: диалог народов и религий затруднен тем, что для всякой общности именно ее собственный миф является самым ценным и ни на какие уступки в вопросе осмысления мифов она идти не готова. Пусть так, но о какой общности идет речь? Почему обязательно о национальной? Мы что, к другим не принадлежим? Всякий современный человек имеет множество разнообразных и часто конфликтующих идентичностей — для многих национальная и религиозная не являются определяющими. Как гражданин Российской Федерации... однако как армянин... и в то же время как муж грузинки... но как юрист... хотя и честный человек... бывший физик... интеллигент... сторонник Махатмы Ганди... житель Краснодара... горячо поддерживаю... и эмигрирую. В рамках любой общности можно соорудать себе мифы — а нашим поведением чаще все-таки руководят житейские интересы, деньги, выживание, а также просто инерция, повторение одной и той же последовательности действий.

Влияние идеологических факторов не надо преуменьшать, но не надо и преувеличивать. Опыт показывает, что представляющееся убийственным разрушение национального мифа хотя и неприятно, но переносимо, недаром многие эмигранты живут в условиях амбивалентной или сильно подорванной национальной идентичности. В условиях синтетической, космополитической культуры современного мегаполиса говорить о национальных культурах вообще трудно — во всяком случае в старом смысле. Современная русская культура предполагает французского повара в японском ресторане, гамбургеры, предпочтение голливудских фильмов отечественным, воспоминания о совместном отдыхе в Турции и использование дешевой рабочей силы молдаван и таджиков.

Но еще важнее другое — именно потому, что наши мифы психологически необходимы, они регенерируются, они могут перестраиваться под реальность — а реальность предполагает контакты с иными народами и конфессиями. Не всегда такая перестройка происходит легко — но она не может не происходить. Всех таджиков не переубиваешь — скинхедов не хватит. Если неприятного тебе партнера по коммуналке невозможно ни уничтожить, ни выключить, как радио, — с ним приходится смиряться. Идеологически — его приходится включать в свою картину мира. Войной занимаются правительства, а простым жителям остается мир. Улица и рынок учатся политкорректности раньше политических структур — и хотя погромы и гражданские войны представляют собой реальную опасность, они занимают ничтожную часть исторического существования всякой нации. Облик жизни куется в мирное время — и в условиях наступающей скученности населения это становится все более верным.

Александр Джумаев

Исчезающий город как знак и мироощущение в культуре Центральной Азии

В этом городе, где постепенно
все становится пеплом и тленом,
я, как море, впитался в песок
и давно уже умер, наверно.

Сабит Мадалиев. Окликнула душу печаль. Рубаи.

Казалось бы, все наоборот: все больше и ярче сверкает вокруг, все новые и новые зеленовато-голубые купола — символ «новой национальной эстетики» — то там, то тут вступают в соперничество с неповторимо голубым небом Города. Но нет от того радости, не замечают поэт и его почитатели этих красот, а видят пепел и тлен. Как не замечают «новых красот» многие поэты и художники, да и «рядовые граждане» в других городах бывшего Советского Союза — в Алма-Ате, Ашхабаде, Баку, Ереване, Москве, Петербурге, Казани... Несколько отстают Бишкек, Душанбе... Но и тут, и там энергично стучат топоры большой «всенародной стройки», щедро оплачиваемой из скромных бюджетов новообразованных государств, кредитов западных банков и из карманов разжиревших на взятках, коррупции и нефте- (нарко-, хлопко-, гранто- и др.) долларах новых «энергичных людей» (В.Шукшин). Новые роскошные дворцы, резиденции, особняки, казино, рестораны, элитные жилые дома и другие «доходные места» в странах с обнищавшим населением, которому теперь сполна дозволено утешиться в замечательных и самобытных национальных обрядах и молельных домах. Разрушить старое и построить новое. Строят везде: в центре и на окраинах, в природоохранных зонах и исторически значимой городской среде, по соседству с древними памятниками и вместо них... Быстрее вложить в то, что приносит доход, пока не рухнул доллар, не пристрелили конкуренты, не начались стихийные бедствия... Стахановцы отдыхают. Какой там пятилетку в три года! А за один не слабо? И это, пожалуй, одна из немногих вещей, которая — не игра. Действительно, где уж тут играть, дело нешуточное.

Можно ли это в общем-то хорошо известное и ставшее обыденно-банальным явление связать с некоторыми событиями в современном художественном творчестве нашего Центрально-Азиатского региона? Конечно, не напрямую, но все это как-то влияет на современную художественную культуру. Хотя такая связь может и не осознаваться и даже отвергаться людьми творчества, тем более в жестких, предложенных выше, определениях. Теперь все кажется намного сложнее, многозначней, тоньше, что ли. Действительно, ведь некоторые из тех же «строителей-разрушителей» иной раз сгоряча готовы и поддержать немножко культуру.

Как бы там ни было, но раньше других, по-видимому, осознали неотвратимость и необратимость наступающих изменений «ферганцы» — поэты «ферганской поэти-

ческой школы». Они переместили Фергану (и в особенности ее исчезновение) в свое особое состояние, мироощущение. «Фергана как состояние» — так стали называть это явление некоторые литературоведы и искусствоведы (см., например, статью Галины Ермошиной «Фергана как состояние», опубликованную в журнале «Дружба народов», 2001, № 12). В Фергане все еще передают слова одного из лидеров школы, поэта и прозаика, якобы сказавшего об одном из недавно разрушенных городских архитектурных памятников: «Вот теперь-то он точно сохранится навсегда» (или что-то в этом роде, за точность цитаты не ручаюсь).

Одновременно с «ферганцами» стали оплакивать рухнувший Город представители так называемой «ташкентской школы поэтов», поэты и прозаики Евгений Абдуллаев, Санджар Янышев, Вадим Муратханов и другие. Параллельно появлялись и другие тексты на эту тему (о публицистических материалах можно и не говорить — их просто уйма). И набралось их, таким образом, уже немало.

Вот два из них, прозаические. Смеею предположить, что они выразительно представляют достаточно большое число аналогичных, менее известных и ярких. И не только прозаических, но и поэтических, музыкальных, кинематографических и прочих, созданных за последнее десятилетие.

Санджар Янышев («Ташкент как зеркало меня неверного...» из книги «Город, которого нет»): «...Ведь и Город ушел, уходит, но древесная скрепа глубоко пустила корни, так глубоко, что и убитый центральный парк имени Горького, земля которого отдана под дворец городской управы, за одну ночь перенесенный сюда на волосатой спине Джинна, — парк этот, где был настоящий маленький самолет, и карусель на пруду, и красный песок на дорожках, по которым 30 лет назад Феликс Маркович прогуливал Дмитрия Феликсовича, и меня — уже после ухода Дедули — моя мама... Сад этот продолжает шелестеть своей кроной над поверхностью присыпанной платановыми листьями воды — как ни в чем не бывало».

Дина Рубина (роман «На солнечной стороне улицы»): «"Ты не была еще на Алайском? — спросил меня голос двоюродного брата. — Обязательно сходи. Ты обалдеешь! Дирекция сдала всю территорию немецким фирмам, и те грандиозно все перестроили"».

Нет, я туда не пошла. Это была единственная возможность сохранить Алайский базар таким, каким он был и должен пребывать вовеки — с мастером Хикматом, ремонтирующим старую посуду, с одноногим пьяницей, научившим ворона Илью Ивановича вытаскивать желаящим судьбу из корзинки, с чистильщиком обуви айсором Кокнаром и со старухой, разложившей на газете гребешки, пуговицы и старые открытки, — пока мой экипаж, запряженный четверкой безумных лошадей, не перевернется окончательно».

Стоит пояснить, что парк имени Горького, или точнее, по-народному, «Парк Горького» — символ народного парка советского времени. Такие парки были обустроены в ряде городов СССР, и главный среди них — в Москве, Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Примечательно, что в Ташкенте парк Горького не был переименован (как некоторые другие культурные и художественные объекты советского времени), а просто закрыт (ликвидирован) как парк вообще. При поколениях живых свидетелей его счастливой жизни. Акт ликвидации приобрел некое символически-сакральное значение, как ритуал принесения в жертву целого поколения или даже некой «исторической общности».

А совсем уж недавно (в ноябре 2009 г.) был ликвидирован и расположенный по соседству с парком Горького ташкентский сквер (в советское время — Сквер Революции, а в годы независимости — Сквер Амира Тимура) — одно из самых примечательных историко-культурных мест города. Здесь был применен «метод» тотальной перепланировки и реконструкции территории с полной вырубкой всех вековых деревьев, в основном чинар.

Ясно, что дело не только в новых пристрастиях — в архитектурных изменениях, перепланировках, перестройках, переименованиях и т.п. Что-то серьезное и неотвратимое происходит вокруг с огромной разрушительно-созидательной энергией. Тексты Санджара Янышева и Дины Рубиной об исчезающем Ташкенте лучше иных культурологических и искусствоведческих изысканий говорят об этом. Речь идет о

фронтальном и фатальном изменении культуры. Точнее, той ее части, которую еще сохраняют в себе поколения живущих в возрасте от 30 и старше. Их эпоха уходит, или точнее — «их эпоху уходят», а вместе с ней и культуру, уходят при жизни живых поколений. Культуру многонациональных и многоязычных городов, «южного вавилонства» (по выражению Дины Рубиной о Ташкенте), безалаберных и неустроенных, с точки зрения средневропейского бытостроительства и мелкотравчато-товарного буржуазного образа жизни. Городов со своими потаенными нишами для первородных форм ютящейся жизни (Андрей Платонов), формами человеческого общения и общения, скромными потребностями.

Новый культурный слом состоялся. С ним вместе образовалась новая радикальная прерывность в движении и передаче ценностей и знаний, произошло крушение «устаревшей» системы ценностей. Смешными и наивными выглядят теперь проблемы и дискуссии периода 70—80-х годов прошлого века, времени перестройки о сохранении памятников культуры и исторической застройки городов, призывы к общественной экспертизе и проведению референдумов, встречи интеллигенции с градоначальниками и их подчиненными, их душевные беседы о городской культуре и прочие «интеллигентские штучки», за которые так долго и истово бился кумир советской интеллигенции Дмитрий Сергеевич Лихачев. А вторила ему культурная интеллигенция на всех окраинах империи, по всей стране. Это не означает, конечно, что наследие Д.С.Лихачева забыто. Напротив, оно как никогда ранее изучается и издается в России, о нем много говорят и пишут, в особенности в Петербурге. Но это как бы — параллельный процесс, не имеющий отношения к деятельности «переустроителей» жизни.

«Из сосуда времени вырвались шайтаны смятения...»

Сказано было одним средневековым среднеазиатским историком. И добавить здесь нечего, и лучше сказать, пожалуй, нельзя. Все, что можно перестроить, будет перестроено, и притом с невероятной разрушительной энергией. Так, может, и не стоит сожалеть? Гибель одного — пища для другого. Каждое приходящее поколение как-то оставляет свой след, попутно освобождая «строительную площадку» от «мусора» предыдущих накоплений. А тем более нынешнее поколение — оно особенное, оно как будто бы новое, но большей частью состоит из старых закаленных партийцев и криминальных паханов, сколотивших первоначальные капиталы еще в так называемый «период застоя». Для большинства из них уходящее ничего не значит и не вызывает никаких позитивных эмоций или ассоциаций (если, конечно, не приносит прибыли). Разве что вызывает отвращение, связанное с «проклятым тоталитарным прошлым», когда для них все же выставлялись какие-то рогатки-преграды, сдерживавшие инстинкты безграничной «животной души» (по понятиям средневековой мусульманской этики). Теперь они вырвались на волю, дорвались, легализовались.

«Единственная возможность сохранить... пока экипаж не перевернется окончательно» — это, как теперь очевидно, означает перевести разрушаемое в недоступную для разрушителей зону художественного сознания, в эмоционально окрашенную художественную память, в художественные образы, фактически — в другое измерение, в некое виртуальное состояние. Виртуально восстановить разорванное культурное пространство, сохранить знаки и приметы уходящей культуры. Ностальгически сблизить расстояния и вынужденно покинутые места, удаленные друг от друга центры культуры. С тем чтобы вновь вернуть это в новом художественно организованном качестве в социум разрушенного и перестроенного культурного пространства. И, слава Аллаху, есть люди, способные осуществить подобный перевод.

Возможно, здесь мы видим нечто действительно общее, что в какой-то степени и в каком-то объеме объединяет культуры бывших советских республик Средней Азии и Казахстана, различные виды и жанры искусства. Может быть, явление это не столь уж и заметное на фоне мощного наступления этно-национального фактора. Но и в нем есть свои собственные примеры национально-утонченной интерпретации темы,

разнообразие эстетических пристрастий. Дина Рубина и Дилором Сайдаминова, Шамшад Абдуллаев и Хамид Исмаилов, Санджар Янышев, Евгений Абдуллаев, Сабит Мадалиев... В многоликом творческом процессе обозначенная нами тема занимает у каждого лишь какой-то определенный объем. Знакомство с ней приводит к парадоксальному выводу: разрушение ожидаемо как скрытый художественный импульс. Или, по крайней мере, — к выводу о двойственности в отношении разрушения: оно ужасно, но ожидаемо как желаемое состояние художественной души, дающее возможность дистанцироваться от происходящего, «потеряться», сохраниться и укрепиться в своем собственном ценностном мире или в культурном мире своего поколения.

Не так ли было и раньше, в другие времена? Обратимся к спонтанно обнаруженным примерам в нашей давней и недавней истории. Пусть это будут поиски утраченной гармонии в идеализированном прошлом.

«Пока сама судьба не извлечет что-нибудь из-за завесы»

Да, все это уже было, причем много раз. Разрушение и исчезновение города — очень давняя и «хорошо разработанная» тема. Еще задолго до них («ферганцев», «ташкентцев») расставались со своими городами и скорбели о том многие поколения просвещенных людей. Герат начала XVI века. Передел и распад прежних государственно-политических образований привел к распаду единого культурного пространства. Для людей творческих профессий, для просвещенной прослойки общества это было время сложного выбора: остаться в мире уходящей культуры и исчезнуть вместе с ним, покинуть пределы страны, в частности ее столицы Герата (отправившись в Индию, Османскую Турцию, другие страны и города), перейти на службу новой власти — к сефевидам в Иран (в центры — Табриз, Казвин, Исфахан и др.) либо к кочевым узбекам в Мавераннахр (в основном — в Бухару). Трагедийность этой ситуации — распад гератского культурного сообщества — ярко описана современниками происходившего. Один из свидетелей, историк Зайн ад-Дин Васифи, пространно, в художественной форме, с многочисленными поэтическими вставками описал в своем сочинении «Удивительные события» («Бадаи' ал-вакаи'») момент расставания людей культуры и искусства, прибывших из Герата к берегам Амударьи. Вот лишь один небольшой фрагмент из этого документального и высокохудожественного текста: «На берегу реки Джейхун [Амударьи. — А.Дж.] рыдания, плачи и стоны достигали зенита небосвода, [так что] ты сказал бы, настал День воскресения из мертвых. **Каждый из совершенных людей принимался читать стихи, соответствующие моменту, сопровождая их рыданиями** [выделено мной. — А.Дж.].../ На берегу реки они обнимали друг друга, и каждый отправлялся в свою сторону».

Тут же приведены стихи, созданные экспромтом, среди которых и одно замечательное рубаи:

Мы собрались в одном месте, как Плеяды,
И, как ожерелье из драгоценных камней, были связаны друг с другом.
Внезапно судьба порвала нить того ожерелья
И забросила каждый камень в какой-нибудь угол мира.

Действительно, мы видим, что и тогда, расставаясь со своими городами, люди облекали свои переживания в художественную форму. Для времени мусульманского средневековья такое состояние было очень знакомым и хорошо осознаваемым, оно было «частью» культивируемого состояния «неверности эпохи», «неверного и переходящего мира» и т.п., воспетых в бесчисленных строках поэзии едва ли не каждым из персоязычных и тюркоязычных поэтов. Это своего рода «средневековая виртуальность» — погружение в состояние и пребывание в нем. Эта «средневековая виртуальность» составляла некогда форму существования многих искусств, в особенности классического музыкального искусства мусульманского мира — макамата, искусства состояний и созерцаний.

История культуры — это сочетание в разных пропорциях «пребывания в состоянии и созерцании» и рациональной прагматичности, постепенное и неуклонное сужение способности созерцания, завершившееся ее сокрушительным поражением

в XX веке. Один из хранителей созерцательного мироощущения, «последний дервиш эпохи», старейший ташкентский искусствовед Рафаил Хадиевич Такташ как-то в один из морозных январских дней 2008 г., незадолго до своего ухода, рассказал мне очень короткую, но удивительную историю. Он сам был ее участником. Однажды вдвоем с известным ташкентским художником А.Н.Волковым они отправились на базар и попали в тюбетеечный ряд. Вдруг Волков увидел очень яркий экземпляр тюбетейки и эмоционально воскликнул: «Смотри, смотри, да это же Врубель!!!». На что продавец тюбетеек невозмутимо заметил: «Не рубль, а три рубля стоит».

Изначально по-разному относятся к производимым разрушениям-созиданиям «поэты» и «властители» (власть вообще), уходящее и приходящее поколения, разные типы личностей (прагматичный и художественный). «Дервишество» по нашим временам — это и форма спонтанно организованного отчаяния и отчуждения «поэтического индивида» от государства, «рыночного общества», от всех и вся. Но в крупных масштабах дервишество даже удобно государствам, оно проповедует довольствование малым и непритязательность, терпение и уважение к страданию. Радуйся тому, что имеешь. Конечно, если власти предержавшие осознают эти различия и признают право на их существование.

Кто не знает легенды об Амуре Тимуре и поэте Хафизе Ширази. Вот уже шесть веков повторяют и распевают эти слова, и каждый мальчишка в Бухаре продекламирует вам это первое двустишие наизусть. Сказал Хафиз (в переводе Константина Липскерова):

Дам тюрчанке из Ширази Самарканд, а если надо —
Бухару! А в благодарность жажду родинки и взгляда.

Что имел в виду поэт, какие города он предлагал выменять на благосклонность красавицы? И какие города не хотел отдавать Амир Тимур? Похоже, у каждого были свои, разные города и их образы, хотя и обозначенные одинаковыми названиями. Но, беспощадный для всего остального мира, завоеватель Тимур не посмел наказать поэта, признав за ним особое право на «художественное обладание» городом. Не по такому ли праву «виртуального обладания» задолго до него другой великий поэт, Омар Хайям, сказал даже, что «все китайское царство стоит глотка вина» (Як джуръаи май мамлакати Чин арзад)? (Переводчик рубаи Владимир Державин решил, видимо, усилить эффект этой строки и сказал, что оно «не стоит глотка вина»). Забавно представить, что могло бы произойти, будь написаны эти строки в нынешние времена «всеобщей грамотности и толерантности». Не исключено, что посыпались бы дипломатические ноты, ответные выпады в печати, их могли бы даже использовать в неких политических играх и прочая, прочая.

Тифлис и Баку в начале XX века, Самарканд, и тоже в XX веке... Да мало ли их было? «Ах, флора там все та же, да фауна не та...» — пел в наше время Булат Окуджава о своем потерянном Арбате. «Мы живем, под собою не чуя страны» — написал до него Осип Мандельштам... и жестоко поплатился.

Города могли меняться вместе с исходом населения или части его, как это случилось потом с Гератом, ставшим провинциальным заштатным городишкой. Либо — постепенно, по мере ухода поколений, но чаще все же при их жизни. Но все равно кто-то оставался, кто все припомнит и переведет в художественную ткань, сохранит свое мироощущение.

Профессиональный археолог и историк Михаил Евгеньевич Массон, начиная в молодые годы в Самарканде свою научную карьеру, не без восторга сообщает о том, как удалось еще в 1919 году, сохраняя памятник (!), «очистить» площадь перед Регистаном. И он, наверное, по-своему прав. Тогда «при Областном комиссариате народного образования была организована просуществовавшая некоторое время комиссия по охране памятников старины под председательством художника А.К.Татевосьяна (ныне заслуженного деятеля искусств УзССР). Ей удалось добиться приказа о сносе всех лавок, которые отгораживали Регистан от главной улицы и кое-где вплотную примыкали к памятникам, оказывая вредное влияние на самые здания и портя общий вид прекрасного архитектурного ансамбля. И Регистан действительно был очищен от посторонней застройки частными лавчонками и торговыми балаганами, несмотря на неудачные попытки их владельцев спасти положение взятками в виде мешочков с золотыми монетами царского чекана, от которых по непонятным

торгашеской психологии причинам отказывались все члены комиссии по охране памятников».

Но уже чуть позже, в начале 1930-х, другой человек, художник И.А.Жданко, открывает для себя «первозданный Регистан», не подозревая о произведенных изменениях. А повторив поездку через десятилетия, в начале 1980-х, с сожалением и грустью отметит невозполнимые утраты («По Средней Азии»). «Средняя Азия... Узбекистан... Удивительно прозрачный воздух и охватывающий сразу необъяснимый аромат цветущих роз, смешанный с дымком жарящегося мяса, хлопкового масла и каких-то травок; солнце, глина и поражающие контрасты света и тени.

А в предвечернем небе тончайшие переходы зеленовато-голубоватого в теплые тающие тона и мгновенное погружение в темноту... Все эти чувства, с первых шагов моих на этой земле в 1934 году, остаются неизменными и до дня сегодняшнего, но время разительно меняет все.

Я хожу и ищу на асфальте следы того домика, в котором мы жили тогда в Самарканде всей семьей, рядом с Рухабодом, мавзолеем XIV века. Он был окружен прекрасным садом. Теперь кругом пустота, безлюдье. Стараюсь определить места, откуда были написаны пейзажи, висящие на стенах моей комнаты в Москве. Все незнаваемо.

Вспоминаю охоту на дикобраза и фазанов в одичалых виноградниках, очарование женских фигур в выцветших национальных одеждах, стариков на ишаках, которых теперь не пускают в город, базар с верблюдами и пыль на дорогах, не покрытых асфальтом.

Но вот Самарканд 1984 года: на площади Регистана огромное здание музея искусств, построены комфортабельные гостиницы для туристов, непрерывный поток машин, все заасфальтировано, все реставрировано. Потрачено много средств на восстановление памятников архитектуры, но исчезает обаяние подлинности, исторической правды, труднее переключиться на эпоху создания величайших шедевров зодчества.

Каким-то образом остался почти нетронутым один из лучших памятников архитектуры Шах-и-Зинда. Конечно, жизнь идет вперед, не останавливаясь, но слишком много потерь».

Действительно, потерь много, теперь вот уже не узнать и Шах-и-Зинда, исчезло и «огромное здание музея искусств», не говоря уж о многом другом...

Но все же остаются те, кто помнит, как было, и хранит его, и переносит на холсты и в тексты. Остается Ферганское поэтическое сообщество, возникшее как рафинированно эстетизированная реакция на узел пассионарного сплетения в определенном географическом историко-культурном пространстве. К последнему приковано внимание разных мировых специалистов-экспертов, особых кризисных групп, центров, обществ, неумоимо наблюдающих («мониторящих»), массирующих и анализирующих эту потенциально опасную «горячую точку мира». Их вдохновение почти сродни поэтическому (но только с другим знаком, с другой энергией) или даже эротическому («хоть бы что-нибудь поскорее случилось, о боже»; «а я предупреждал об этом неоднократно еще пять лет назад»). От них мы все время что-то узнаем. Благодаря им прямо или косвенно транслируется по миру ферганское мироощущение грядущей катастрофы. Я не пытаюсь принизить политическую значимость проводимой «центрами» работы, но лишь хочу показать их сущностное отличие от Ферганской поэтической школы и ее почитателей.

У Ферганского поэтического сообщества все иначе: оно широко распылило идеи поэтического сопереживания и сострадания Ферганы и Фергане на огромном пространстве и транслирует это ощущение как средоточие гармонии и умиротворения, взаимопонимания и уважения. А до них были и другие из их породы. Гениальная ферганская сюита «Лола» ташкентского композитора Алексея Козловского, в особенности ее вторая часть — «Ночи в садах Ферганы», переносит нас в утонченную гармонию природы и человека. Поэтическая Фергана — среда обитания «ферганцев», именем которых, кажется, можно было бы обозначить и более широкий круг явлений, и более значительный круг людей, не только привязанных к Фергане как к географическому пункту. Наверное, когда-нибудь так и произойдет. Остается надеяться и нам, как когда-то бухарскому историку XIX века Мирзе Абдал'азиму Сами: «...пока сама судьба не извлечет что-нибудь из-за завесы»...

Илья Фаликов

Прозапростихи

Три этюда

От автора. Читатели ДН уже встречали (2002, № 9) мою публикацию с тем же заголовком. Могу лишь повторить, что я все время дописываю книжку «Прозапростихи» (2000). Эти три этюда — продолжение того же.

Образ и подобье воссоздать

Вместо некролога

Его прах положили в могилу тещи, староверки по имени Феврония. Перед погребением прошла недолгая панихида, на входе в переделкинское кладбище. Звучали привычные слова: «великий», «последний из племени» и проч. О стихотворении «Коммунисты, вперед!» было сказано:

— Это христианские стихи!

Похоронные эпитеты всегда преувеличены. В двусмысленно-знаменитом стихотворении вряд ли отыщется след Писания. Но оратор, так сказавший, был в чем-то прав, как ни странно. Произошло понятное смещение звука, наложение позднего пласта межировского творчества на его ранний путь.

У раннего Межирова пафос противоположного свойства: «Монашеской молитве я не верю, / Не верю ни на грош монастырю. // Когда над храмом с грохотом теснится / И зажигает молнии гроза, / Я вижу не иконы, а бойницы / И амбразуры, а не образа». Это написано очень давно, не менее полувека тому, отрицание молитвы стоит на том образе мира, который вломился в сознание вчерашнего солдата. Вломился и никуда не ушел уже до конца. Тем не менее уже ранний Межиров поет нечто явно не присущее воину Красной Армии: «Вечный пастырь бесконечных стад / Пояснит у смертного одра: / Если люди на земле грустят — / Это потому, что жизнь щедра».

Самое частотное слово у Межирова — «война». Постепенно с ним стало соперничать «вина» (своя). Рифма простейшая, но советскому менталитету крайне чуждая.

Эта глухая, неизлечимая вина должна иметь свою причину. Проще всего — у поэта — ее найти в измене призванию. «Когда же окончательно уйду, / Останется одно стихотворенье». Он имеет в виду как раз «Коммунисты, вперед!». Однако существует уточнение: «У других была судьба другая / И другие взгляды на войну, / Никого за это не ругая, / Лишь себя виню, виню, виню». Между прочим, это концовка стихотворения о ...мытье посуды. «Я тебе рассказывать не буду, / Почему в иные времена / Мыл на кухне разную посуду...» и так далее. Посуда и война? Что между ними общего? Ничего, кроме способа стихомышления. Оба понятия нагружены смыслами, не отвечающими самим себе. Если упростить, посуда — быт, война — доминанта бытия. «Страх перед мытьем посуды / Женские сердца гнетет».

В таком миропонимании от вины не уйти.

В чем же она, эта вина? Во-первых: «Я виноват в слезах моей любимой, / Не искупить вину постом и схимой, — / Необходимо расплатиться за / Проплаканные досуха глаза». Во-вторых и в основном: «В чем-то, люди, / И я виноват. // А точнее сказать, я один виноват перед всеми. / В чем? Да в том, что, со всеми в единой системе, / Долго жил. Но ни с этими не был, ни с теми...» Речь о гордыне. Так? Не совсем. Тут больше отщепенства, самоустранения, одиночества, которое гонит по свету. Но просматривается и люфт для самооправдания. Гордыня покрывается гор-

дыней. Его «виноват» часто звучит как «невиноват». Это очень по-русски. Как у Есенина: «За все, в чем был и не был виноват».

Он ценил Есенина за «строку из крови, а не из чернил». Определенный вид народничества присущ Межирову и в его стихах, обращенных к другому песенному собрату: «Все тоскую по земле, по Бокову, / По его измученному лбу...», и в таких строках: «Никитина стихи прочтите мне, / Стихи Ивана Саввича о поле». Причастность к русскому народу невозможна без приятия его православности. Но: «Вы, хамы, обезглавившие Храмы / Своей же собственной страны, / Вступили в общество охраны / Великорусской старины».

В стихах Межирова с определенной порой валом валит библейская лексика, речевая архаика вперемежку с просторечием, ветхозаветные персонажи, евангельские отголоски.

«— Се человек, возомнивший себя... — / вы сказали, / Как будто бы я намерен / сжечь Сандуновский храм». У этих строк есть вариант: «— И человек. / Его надо убить, — / вы сказали. / Как будто себя за Бога / я, как Иисус, выдаю...»

Обыкновенная речка по имени Синяя вызывает внезапное сравнение: «Холодна, как в Иордани, / Эта синяя вода».

В стихах о биллиардисте («Игрок») возникает следующее: «Игра игрой. Черт с ней. / Я уловил случайно, / Что игры пострашней / Всегда вершились тайно. // И что бильярдный стол / Тому, кто ненароком / Об Иове прочел / В раздумье одиноком».

У манекенши по имени Баранаскойте «струя ветхозаветной крови / Через сердце движется с трудом».

Ощущая постаренье, «когда мне исполнилось сорок четыре», он проникается некоторым умилением перед убожеством советского общепита: «Я полюбил / эти / панелью дешевой / обитые стены, / Эту очередь в кассу, / подносы / и скудное это меню. / — Блаженны, — / я повторял, — / блаженны, / блаженны, / блаженны... — / Нищенству этого духа / вовеки не изменю».

Пожалуй, у него преобладает Ветхий завет. Адам, Ева, Иов, Исаяя, Илья, Иаков, Моисей. Но и Мария, Христос, Иуда. Последний — чуть не чаще всего. «Никогда никуда не отбегу, / Если даже в грехах обвиня, / Ты ославишь меня, как Иуду, / И без крова оставишь меня». Это обращение к Москве, городу, который «Третьим Римом назвался».

Отбыть ему пришлось. В глухой подоплеке отъезда — вина не метафизическая, а вот именно физическая, связанная с ДТП: полуночник, сбитый межировской машиной, погиб. В перевернутом виде осуществилось пророчество: «Я умру под колесами жизни своей кочевой».

Межиров монотематичен на грани маниакальности. Правда, тему войны можно назвать темой как таковой — лишь условно. Это больше, чем тема, это жизнь, судьба. То же самое — вина. Когда-то Мандельштам сутью поэта (Ф.Сологуба) назвал «сознание своей поэтической правоты». Независимо от Мандельштама Блок, характеризуюя одного стихотворца (Дм.Цензора), высказался так: «слишком велико у него сознание собственной правоты». Межиров, по-видимому, ближе к блоковскому пониманию предмета. Его рефлексия направлена на себя. Он пишет стихотворение «Всего опасней полужанья...», где говорится: «Они ведут себя как судьи, / Они гудут, как провода, / А на поверку — в них, по сути, / Всего лишь полуправота».

Все это проблематика 60—70-х годов прошлого века. Межиров — интеллигент той поры, пребывающий в «полупутьях» полужанний. Он знал небывало много, особенно стихов, читал жадно и ненасытимо, К.Леонтьев и В.Розанов — те писатели, раритеты которых он дарил людям, достойным того. Он слишком хорошо знал среду, в которой обретался. Ей-то и адресованы его самые яростные (само)инвективы. «Пародия на старые салоны / Пришла в почти что старые дома, / И густо поразвесили иконы / Почти что византийского письма...» Далее: «Я их вскормил. Они меня вскормили. / Но я виновен, ибо я первой...» Далее: «Радели о Христе. Однако вскоре / Перуна Иисусу предпочли, / И, с четырьмя Евангелиями в споре, / До Индии додумались почти. // А смысл единый этого раденья, / Сулящий только свару и возню, / В звериной жажде самоутверждения, / В которой прежде всех себя виню. // Кто увлечен арийством, кто шаманством, — / Кто в том, кто в этом прозревает суть, / Лишь только б развязаться с христианством / И два тысячелетия зачеркнуть».

Как видим, та проблематика отнюдь не устарела. Напротив, обрела новое дыхание. Межировская риторика продолжается, сегодня свежа, как вчера: «Как допустить, что плоть Его оттуда / И что Псалтирю протянул Давид / Оттуда...»

Оттуда — с «родины Христа». Межиров обличает не сплошь неославянофилов, в рядах его оппонентов фигурирует, скажем, и та особа, что «В другом салоне и в

другой гостиной, / Вприпляс рыдала, — глаз не отвести, / Зовущая Цветаеву Мариной, / Почти в опале и почти в чести». Однако сам стих выводит его на вопросы крови, происхождения, межнационального противостояния-двуединства. «Ну что теперь поделаешь?.. Судьба.../ И время спать, умерить беспокойство, / На несколько часов стереть со лба / Отметину двоякого изгойства. / О двух народах сон, о двух изгоях, / Печатью мессианства в свой черед / Опасно заклеименные, из коих / Клейма ни тот, ни этот не сотрет».

Два мессианских народа. Узнаются Достоевский, Леонтьев, Розанов, Солженицын. Все это ныне жевано-пережевано, а тогда было сказано впервые в русских стихах. Прочитываемая вещь в первой публикации называлась «Проза в стихах», потом — «Бормотуха». Его последняя советская книга (1991) так и называлась: «Бормотуха». Имеется в виду прежде всего собственный язык. То есть образ мыслей. Затрудненный синтаксис, поэтическое косноязычие почти преднамеренны. И тем не менее вопреки всему — беспощадно точное указание на то, что произошло с жизнью его духа. «Опять разверзлись небеса — и ныне / Легко потерю перенес опять / По той одной-единственной причине, / Что духом нищ и нечего терять».

У Межирова было и другое — короткое — стихотворение «Проза в стихах» и книга, так же поименованная, за которую он получил Госпремию СССР. «Выпал глагол, / И не услышать Исаяю, / Как я пришел / К этому крайнему краю?» Пришел он прямым путем — от Ходасевича: «С той поры люблю я, Brenta, / Прозу в жизни и в стихах». Или — опять же Ходасевич: «И, каждый стих гоня сквозь прозу, / Вывихивая каждую строку, / Привил-таки классическую розу / К советскому дичку».

Ходасевичевская самохарактеристика — ключ к Межирову. Он работал, «Между войной и миром — грубо, в целом — / Духовную налаживая связь». Его библейская ономастика на равных пополняется именами Гете, Канта, Свифта, Ван Дер-Роэ, Корбюзье, Зощенко, Андрея Платонова, Ницше, Григория Сковороды, Сартра — множеством знаков классической розы. Будда и Магомет — здесь же.

Он превосходно переводил, подолгу жывал в Грузии, стал там своим. Чуть ли не так же он врос в тысячелетние слои библейского текста. Это факт протестиической переимчивости человека-артиста. В корпус собственных стихов он включает переводы из Ираклия Абашидзе «Голос Руставели у стен Крестового монастыря» и «Голос Руставели в белой келье». «Зачем / богоотступничество / мне / В вину вменяют / И грозят расплатой, / Когда на свете / о моей вине / Ты ведаешь один, / Мой Бог распятый?»

Язык, на котором он думает, в равной мере принадлежит мимолетящей секунде истории и той глине и пыли, из которой сотворен человек. В стихах о подмосковном шалмане, где внезапно погас свет по причине аварии на электростанции, вследствие чего «три свечи буфетчица зажгла», поэт прибегает к молитве, некогда пренебрегаемой: «Господи! Продли минуты эти, / не отринь от чада благодать, / разреши ему при малом свете / Образ и Подобию воссоздать».

Граница между Лебяжьим переулком, то есть страной, где он родился, и Святой Землей, где он оказался по несчастью, оказалась «непреодолимой». «Стену плача / обнять не смогу, / даже и прислониться / К ней лицом / на одно, на единственное мгновенье, / Даже просто войти / в раскаленную тень / от ее холодящей тени». Там выяснилось: «Не сподоблен богу служить, / не избранник...» Бог написан со строчной.

С прописной он пишет имя другого бога, цитируя «предпоследнюю строку» Розанова: «— Над эпохами глухими, / Вопреки посту и схиме, / Веет Эрос — / Над войной, / Революцией и смутой, / Над раздетой и разутой, / Голодающей страной».

Стихотворение называлось «Розанов. Сергиев Посад. 1918», а в сентябре 2009-го его прах, перелетевший через Атлантический океан, положили в могилу староверки Февронии. Он называл себя лицедеем. Финита ля комедия. Божественная? Не очень. Он любил Данта. «В Прекрасную Овчарню не дано / Вернуться из отлучки. И не надо».

Нехватка себя

Осенью я посетил — впервые — памятник Осипу Манделштаму на ул. Забелина, историка. Он был чуть не весь размалеван подростковыми граффити, на другой стороне улицы под монастырской стеной возле своего костыля влежку дрех бомж,

другой божм бухнулся на соседнюю с моей скамейку и, насчет живого голубя на бронзовой голове Осипа, бросил:

— Он думает, что он здесь главный.

Мы со спутницей поднялись уходить. Сосед вроде как смутился:

— Это кто? Поэт?

Блаженны нищие духом.

Перекрестные радуги русской истории и сиротского скитальчества стоят над головой поэта. Эта голова задрана и очень напоминает голову памятника, сделанного во Владивостоке скульптором Валерием Ненаживиным более двадцати лет назад.

Воронежский памятник Мандельштаму поставлен тоже, как и московский, в 2008 году, и там — та же голова. Отдает гоголиадой. Одна и та же голова летит по всей стране.

Ненаживинский Мандельштам стоит во весь рост, в эковских отрепьях, смотрит вверх, и его лихорадочный взгляд остался на потолке бывшего лагерного лазарета, в котором размещается мастерская скульптора. Сперва этот монумент поставили на проспекте Столетия Владивостока, там, где были овраги, куда сбрасывали лагерных мертвяков. Пришли громилы с ломом, изувечили, отхватили руки и нос, скульптор отлил новую фигуру, поменяв железобетон на чугун. Было найдено новое место, более укромное. Между прочим, на территории *коммерческого* вуза. Очень подходит поэту. Но и здесь его дважды обливали белой краской.

Жизнь поэта продолжается в присущем ему иррациональном духе.

Все это имеет прямое отношение к предмету нашего разговора — к стихам поэта. В первом томе¹ есть разночтения сравнительно с прежними текстами, порой принципиальные. Составлена книга А.Г.Мецем академически добротнo, предисловие академика В.В.Иванова, по стилистике и содержанию характерно шестидесятилетнее.

Мандельштама всегда читаешь новыми глазами. Сейчас вот что актуально: как движется поэт на переломе времен. «И меня срезает время, / Как скосило твой каблук». Начало 20-х — сплошной поиск, усиленный способ самообновления, оглядка на классику и современников. Он выходит на поэтику диссонанса, поскольку «пишущих машин простая сонатина — лишь тень сонат могучих тех». Гармонической Вселенной нет, поэтика уходит в себя, читатель потерян — с кем говорить?

Ахматова исключительно не права, сказав, что Осип не имеет ни предшественников, ни родственников в поэзии.

В 1922-м в русской поэзии произошла череда огромных событий. Выход книг — пастернаковской «Сестры моей — жизни», мандельштамовской «Tristia», ахматовской «Anno Domini» — и уход Хлебникова. После «Tristia» нужен был новый шаг. Мандельштам обретает себя в новом стихе. Ему снится «заумный сон». Он высоко ставит Хлебникова, тоже бездомного человека и поэта якобы без очевидно исходных корней. В 23-м году появляется «Нашедший подкову», вещь, захватывающая колоссальные пласты истории — от Пиндара, Овидия, Катулла, однако в результате, как представляется, по стиху, по метафорике («Земля гудит метафорой») и по духу — это стилистический реквием по Хлебникову, по свежему следу хлебниковского ухода. «То, что я сейчас говорю, говорю не я, / А вырыто из земли, подобно зернам окаменелой пшеницы». В концовке — продуманный и уточненный самоповтор: «Время срезает меня, как монету, / И мне уж не хватает меня самого».

Нехватка себя самого — не то же, что нехватка (отсутствие) воздуха. Блок задохнулся. Похоже, именно вслед ему (1921) Мандельштам выдыхает: «Нельзя дышать, и твердь кишит червями, / И ни одна звезда не говорит, / Но, видит Бог, есть музыка над нами...» Лермонтовская звезда тут не случайна: Блок в свое время издал том лично пережитого Лермонтова. Воздуха нет, но есть музыка. У Мандельштама оставалось резервное дыхание, переходящее в воровство («ворованный воздух»).

Тогда же, в 23-м, им вновь окликнут Лермонтов — в естественной связке с Пастернаком, посвятившим Лермонтову «Сестру мою — жизнь». Стоит вслушаться-вглядеться в «Грифельную оду» — звучит откровенный Пастернак на лермонтовской почве: «Звезда с звездой — могучий стык, / Кремнистый путь из старой песни, / Кремня и воздуха язык, / Кремень с водой, с подковой перстень...» Это резкое краесогласие «песни — перстень» прямо указывает на тогдашний пастернаковский (хлебниковский, маяковский, цветаевский, новобрюсовский) способ рифмовки, не

¹ *Осип Мандельштам*. Полное собрание сочинений и писем. В трех томах. Том первый. Стихотворения. — М.: Прогресс-Плеяда, 2009.

говоря уж о сквозной проаллитерированности всего стихового потока. Акмеисты так не говорили. Мандельштамовский стих идет влево, в непосредственной близости к футуристам. Четырехстопный ямб «Грифельной оды» кажется увертюрой к пастернаковской «Высокой болезни», опубликованной (в ранней редакции) годом позже.

В 30-м — после пятилетки молчания — вдруг — эхо Андрея Белого: в армянских стихах Мандельштама. Доведение андреевской ритмопрозы до состояния стиха. То, что было у Белого в его прозе эпическим отголоском лирического стиха, Мандельштам перевел в ранг несомненной, самой что ни на есть чистой поэзии.

И опять — Лермонтов, в стихах про Александра Герцовича (1931): вариация на тему «В минуту жизни трудную», прямой отсыл к «одной молитве чудной» — «Одну сонату вечную / играл он наизусть...».

Словом, «Лермонтов, мучитель наш». Более того. Есенин. Мандельштам ценил не только стих «Не расстреливал несчастных по темницам». Сама есенинская мелодика и, условно говоря, есенинская флора плюс есенинский жест воспроизведены в такой вещи, как «На меня нацелилась груша да черемуха...». Это уже 1937 (!), в начале которого опять и опять — Лермонтов, в «Стихах о неизвестном солдате».

Когда-то Белинский скрупулезно и резонно просчитал языковые неправильности и оплошки Боратынского. Пафос критика — таков: поэт замечательный, но уже-де вчерашний день. Боратынский выглядит прямым Блоком, которому из зала кричали: ты — мертвец. Блок охотно соглашался. У Мандельштама можно обнаружить невиданное словцо «полусонок», что означает родительный падеж от существительного «полусны». Или: «Я рожден в ночь с второго на третье / Января в девяносто одном...» Разумеется, надо говорить «в девяносто первом». В общем, пища для обличителей «русскоязычности» имеет место.

Вернемся к голове. В 1944-м при перезахоронении Блока перенесли со Смоленского кладбища на Литераторские мостки — лишь череп поэта. Его нес молодой ученый, пальцем выковыривая из глазниц грязь. Блок провидел это чуть иначе: «В тени дворцовой галереи, / Чуть озаренная луной, / Таясь, проходит Саломея / С моей кровавой головой». В могиле Блока лежит лишь его голова. Вот что происходит с поэтами. С их головами. У Лермонтова: «Я знал, что голова, любимая тобою, / С твоей груди на плаху перейдет». У Мандельштама: «И сознание свое затоваривая / Полуобморочным бытием, / Я ль без выбора пью это варево, / Свою голову ем под огнем?»

Мандельштам и есть постмодернист в прямом смысле: дело происходит после модернизма начала XX века. Слухи о его герметичности все-таки преувеличены.

Обаяние *vers.* Обаяние

Страшная вещь обаяние. Есть тип обаятельных поэтов. Здесь чемпион — Есенин. Ходасевич — почти отвратен. Есенин сам себе опротивел, пока не заговорил поверх обаяния.

Сценическое обаяние как бантик к стихам. Вывешивается улыбка и не снимается, о чем бы ни пели. На Арбате недавно появился стоячий трамвай-кабачок с невообразимым количеством бардовских лиц на фасаде. Оторопь берет. Море обаяния.

Больше всего Сухареву грозило обаяние.

В замечательной статье «Введение в субъективную бардистику» Сухарев и сам дает определение первоначальной поры авторской песни: «обаяние дилетантизма». Но «на том обаянии нельзя держаться долго». В посвящении А. Дулову он слегка посмеивается: «обаятельный бард». Есть у него и актер «обаяшка-братишка».

Не верю в истинность стадных переживаний стихов. Это всегда нечто другое. Шальная сила музыки мутит мозги. Поэзия тут ни при чем. Читатель-собеседник поэта точно такой же одиночка, как и поэт. Девичьи истерики на битловских концертах — факт эротики, а не поэтики с фонетикой. Словосочетание «русский шансон» столь же изысканно, как «шашлык-хауз».

Иные вещи Сухарева написаны заведомо в жанре песни: куплет + припев, рефрен и проч. Однако Сухарев поэт больше разговора, чем песни как таковой. Каким-то образом разговор переходит в песню. Каким образом? За счет искусства интонировки, враждебного интонационной инерции. У него не бывает так, чтоб автор завелся на одной ноте, и его не остановить. Он может оборвать себя на «фа» или на «соль», тут же начав с «до». Задаться вопросом, когда все вроде бы и так ясно. Если же занесло, сплхвывается, снизить лексику, включить иронию (она всегда тут как тут) или резко оборвать речь. Причем сюжет — линейный или пунктирный — доводится до конца.

Пафос не исключается.

Надо не забывать: каких бы высоких авторов ни читали в его семье, в детстве, сам-то он вырос на тридцатые–сороковые на фоне соответствующих песен и стихов. Слуцкий, Самойлов или Межиров — такие, какими они стали, — тогда лишь начинали, и то за кулисами. Про любовь свистал и щелкал Щипачев. Пейзаж был чуть не лирической дерзостью. Сквозь дозированную грусть хлестало незакатное солнце.

Такому положению вещей надо было что-то противопоставить. Начинаящий Сухарев органичен в смысле советскости, ничем экстравагантным отличаться не дерзает, напротив — жаждет слиться с социумом. «Это я там в народе стою». Однако поколение раскрепощается, уходит в вольницу — в странствия по стране, в «песни собственных кровей», в поцелуи на сеновале, в тепло семьи, в науку наконец.

Персонажем и адресатом становится студент. Это особое свойство романтизма 60-х. Традиция, заложенная еще в надсоновские времена, а то и раньше: в некрасовские.

Как известно, на некрасовских похоронах произошел мгновенный диспут на тему, кто выше: Пушкин или Некрасов. Спор бесконечно продолжался. Эстрадная фронда сосуществовала с тихим уходом в некоторую аполитичность. Общественная позиция высказывалась на уровне реплик: «Дела у нас такие: / То нары, то аврал». Что было на этом пути? Горы и море — важнейшие символы. «Знаю сам, почему я не спился, / Как отечества добрая треть: / Я люблю, понимаете, с пирса / В это сизое море смотреть».

Став академиком, он остается на позициях студента: саркастических оплеух удостоивается не раз научное сообщество в лице профессуры и Академии наук. Доктор наук пишет «Старинный студенческий романс», фривольную вещицу.

Авторская песня — задушевно-полемиический вариант евтушенковского Стадиона. В плане экстенсива. Страна была охвачена то общим воодушевлением, то всеобщим разочарованием, во все это были вовлечены миллионы поющих голосов. Стоящих слов было, может быть, и много — осталось немного. Стихи Сухарева — из тех, что остались.

Дело в стихах. В качестве слова. Единственно приемлемая вещь — обаяние качества.

У Сухарева — очень упорядоченный мир внутри нехорошей вселенной. «Стихотворец — миротворец, / Мира стройного творец». Гармонический поэт наиболее уязвим в условиях катастрофы. Мандельштам в дикое время окликал Батюшкова как последнюю надежду, как бы закрыв глаза на батюшковский итог: стих о Мельхиседеке. Который изрек про человека, рабом рождающегося и рабом умирающего: «Страдал, рыдал, терпел, исчез». Мироздание зашаталось в наши дни, и все, что этому содействует — в частности, деятельность андеграунда, — вызывает в Сухареве ярость неприятия. В молодости он сказал так: «А что тебе судьба? / Была бы в жилах ярость...» Явный отсыл к Багрицкому: «Так бейся по жилам, / Кидайся в края, / Бездомная молодость, / Ярость моя». Романтические корни налицо. Но лучше цитировать целиком: «А что тебе судьба? / Была бы в жилах ярость, / Да на земле изба, / Да камбала в кутце, / Да пенсия под старость, / Да духовой в конце». Программа-максимум, равная программе-минимум. Откуда она? От войны. Мы победили. Вот откуда. Человек способен победить зверя, мир — устоять. Точно так же рождались гармонические поэты Батюшков и молодой Пушкин. Под эгидой победоносной державы. У Сухарева вполне мог бы появиться сей стих: «А дева русская Гаральда презирает». Разумеется, по-своему интонированная. Но вряд ли Сухарев слишком часто заглядывал в Батюшкова. Поэтическое родословие — дело темное.

Сухарев ничего не завершает, он просто работает в системе тех жизненных и поэтических ценностей. Именно — в системе. Именно — ценностей. Он там все знает и все умеет. Работа без риска? Как сказать. Главный риск — быть собой, а когда это происходит довольно долго — более полувека, — поэт рискует захлебнуться самоповторами как минимум.

Еще не было музыки Никитина или Берковского к сухаревским текстам, а песня уже была. *Нам поручена работа, мы смолим бока у бота, после баньки брык и баиньки, лови меня постель, чудо-Люда кормит всех.* Это поток ранних сухаревских строк вперемешку, льющихся как единая мелодия.

Это прозвучит странно, но дар Сухарева — дар стихийный. По его слову — «естественный дар». Версификационный профессионализм — почти оболочка, на самом деле это природная постановка голоса. Его самые ранние стихи по существу написаны на том же уровне, что и самые последние. Под уровнем подразумевается безупречность письма. Не то чтобы у него нет слабых вещей, это было бы неесте-

ственно, но практически все написано хорошо, когда не блестяще. Это обстоятельство создает трудности в прослеживании его эволюции. К тому же и основное содержание его поэзии неизменно. Жизнь поэта в стране, которую он любит.

Он называет себя профессионалом лишь в нейробиологии, а себя-поэта видит на обочине литпроцесса (из нашей личной переписки).

Разумеется, опыт выводит его на виртуозное владение стихом. Расширяется арсенал средств, постигается глубина отечественного слова, определяется свое понимание поэзии и ее центральных фигур, но в основе всего этого — она, природа, стихия дара.

В стихах об отце, заведомо далеких от задач сугубо стиховых, явлен высший пилотаж стихотворства: «Ему назначил сорок первый год / Заместо валидола — миномет / Восьмидесятидвухмиллиметровый» (курсив мой. — И.Ф.) Высококласный по естественности перенос в сплошную арифметическую строку из одного слова с одним ударением на пять стоп.

Говорить о его стихах лучше в связке с его рассуждениями о поэзии.

Определенно мелодический Сухарев — фанат (скажем так, а можно и так: апологет, адепт, сторонник и так далее) решительно антимелодического Слуцкого. «К поэту С. имею интерес». Он пишет (1987, напечатано в 2003) эссе «Скрытопись Бориса Слуцкого». Это стиховедческая экспертиза музыканта на материале сложного звукового материала, предъявленного угловатым Слуцким. «Ковыляющий полет» стиха; поэтика, равная этике; непервостепенность метафоры; оперирование корнями слов; роль гласных; поэзия как игра в слова. Слуцкий прячет изощренность.

Отклик на смерть Межирова (Иерусалимский журнал, № 30) — единственный голос, отвечающий горестному событию. Это закономерно. Его благодарность учителям носит базовый, творческий смысл, на который мало кто способен в наши дни. Его анализ межировской мелодики еще раз подтверждает широту слуха, данного поэту несколько иного звучания: легкого, летящего поверх барьеров.

Он с блеском пародирует Левитанского на его поле (пародийном); сердечно окликает Старшинова его же, старшиновским, несколько тарасошевченковским, народно-говорным слогом; великолепно воспроизводит самойловский звук («Пестель, Поэт и Анна») в своем «Диалоге о рифме».

Поэзия Сухарева напрямую наследует прежде всего поэтам-фронтовикам, став, может быть, единственным и законченным явлением этого рода. Никто из рожденных в 30-х так определенно не сосредоточился на этой линии. Ни Кушнер, ни Мориц, ни Чухонцев, ни Рейн, ни Шкляревский, ни, скажем, даже Леонович, во многом разделяющий сухаревские предпочтения. В этом — поколенческом — народе он действительно стоит. И горой стоит за него. Стихи про Евтушенко (неназванного) «Когда его бранят» прежде всего благородны по жесту — и в 86-м, когда они написаны, требовалось мужество, чтобы бросить в лицо литературной кодле: «И мы учились — / рабски! / — у него! / Мы все на нем вскормились, лицемеры!»

...В моем доме выше этажом кто-то умер, кто-то вселился, на лестничной площадке образовалась горка выселенных книг, я там покопался и среди прочего наткнулся на Сухарева — «Ковчег» (1979) с теплой надписью. Автор тут бывал. Я не удивился: есть поэты, с которыми всю жизнь ходишь по одним кругам. В 70-м у меня случилась строчка «чья-то жизнь всегда висит на волоске», в 80-м Сухарев написал «За то, что жизнь висит на волоске», никто ни у кого ничего не украл, я обнаружил это только что.

Одна из моих давних поездок — между прочим, по Сибири — была окрашена Сухаревым: в красноярском книжном магазине я взял его книжку «Читая жизнь» (1984). Там было: «Вот поэты той войны, / Сорок первого сыны: / Пишут внятно и толково». Так думал не он один. Та поездка была важной для меня: я пытался отыскать могилы предков в деревне Солонцы под Красноярском, не нашел, но тут существенно сильно присутствие Сухарева в такой чисто личной затее. Я пишу об этом впервые, Д.А. этого не знает. Вот как это все бывает со стихами — внутренне, не на вынос, порой уходит в песок мимо памяти, но оказывается — тот песок никуда не высыпается. По слову Слуцкого: «Я строю на песке». По Сухареву: «Впредь наука: не строй на песке». Кто из них прав? Оба.

В 79-м он говорит: «А за нами — никого? / Поколенья — никакого? // Так, наверно, не бывает. / Ихней роты прибывает. / Кто-то нас перебивает — / Поприветствуем его». Он, как и многие, не знал, что тот «кто-то» сидел в кочегарке или сторожил автобазу. Время вывернуло не туда, «опаленные умы» поколения 56-го промахнулись в надежде на плюсовую историческую логику. Сыграло иное: отрицательная преемственность.

Сухарев — одно из немногих имен, оправдывающих наше разнородное шестидесятиничество. Придаться не к чему. Ни подневольного вранья, ни дули в кармане, ни уловок сообразительности, ни прочих ухищрений специфического менталитета. Было вот что: «А сглаживаю острые углы? / — Так этот грех простит литература».

Подтекст? А как же без него. Автор «Из Пиндемонта» завещал и эту традицию. Пушкинский сюртук, в котором он погиб, перешел к Далю — и не к нему одному. В него не влезешь, он именной, но неотменимый.

Из диалога Сухарева с Ю.Ряшенцевым о Ю.Киме: «Прямое лирическое высказывание всегда голгофа. <...> Потому и работаем в масках». Отточим в угловых скобках я заменил вопрос: «Разве у тебя не так?» Потому что Ряшенцев не ответил на этот вопрос. Конечно, голгофа. Но маски не выход и голгофы не отменяют. Да, собственно, и маски-то у Сухарева лично я не обнаружил. Вечный оптимист? Не думаю. И не вечный, и не совсем. Разве что — умение говорить не только от себя, подключая к своему разговору голоса предшественников и сверстников.

В упомянутой статье о бардистике Сухарев — сознательно разделяя взгляд М.Гаспарова на ту же проблему или сам по себе, вне какой-либо филологии, — говорит о насильственности реформы Третьяковского — Ломоносова. Мол, отмени реформаторы то, что по природе свойственно русскому языку и стиху, насадив чужеземную флору.

Интересное кино. Virtuoz силлаботоники вроде как еретик в ее пространстве. Но это не совсем так. Речь, собственно, о языковой прародине, о тех самых суффиксах-аффиксах, что делают русскую речь русской, о гигантских тонкостях смысла, отличающего, скажем, глагол «умолкла» от «приумолкла». В конечном счете — о победе языка над схемами заимствованных просодий. О таком их усвоении, которое дает непоколебимый результат.

Его нередкие верлибры (чаще — белый стих) — пожалуй, единственное, что можно считать попыткой выхода из традиции. Но, посвящая стихи Назыму Хикмету («Каждому положен свой Державин»; славно: Назым — сухаревский Державин), он указывает на отправную точку и этих своих опытов. Опытов, налитых опытом мировой поэзии, то есть традицией. К слову, Хикмет с его «Соломой волос» отозвался и в сухаревских стихах: «Видно, дело просто в цвете / Тех соломенных волос». Еще раз к слову: Слуцкий — из лучших переводчиков Хикмета, и это отдалось на молодом Бродском.

Так что записывать Сухарева в оппоненты традиции было бы смешно и абсурдно. Более того, он крайне чуток к тому, что возникает здесь и сейчас. Его реакция, напр., на явление Бориса Рыжего — закольцованная во времени картина поэзии, необходимая именно ему, радость узнавания поэтического потомства. Он верит в бессмысленность и бесплодность нашего безнадежного дела.

Сухареву претит славистический агитпроп. Извлечение из текущего стихотворства лишь того, что гоже западному уху. Позднесоветский андеграунд он считает полностью дутым. Выводя свой стих из хлебниковского источника, в авангардизме новейшей выпечки усматривает фальсификат. Между тем его квазифельетонные фантазии «Юрий Визбор навсегда» и «Все свои», уморительные и сердечные, генетически связаны не только с завиральным блеском Юрия Ковалева, но и с байками подобного рода Андрея Сергеева — про Слуцкого. Летучий стих Сухарева не чужд родства и с поэтикой Льва Лосева (у обоих есть фигура «профессора кислых щей», оба обыгрывают «Пироскаф» Боратынского и проч.). Дело не в андеграунде. Дело в человечности. В той человечности, которую он рассмотрел в правнучатом относительно своей генерации творчестве Рыжего.

Лосев, из посмертной публикации (Звезда, 2009, № 7): «Вы что, какой там к черту фестиваль! / Нас в русском языке от силы десять. / Какое дело нам, что станет шваль / кривлять язык и слугу куролесить». Так и Сухарев скажет.

Ясно одно: хлебниковско-цветаевские симпатии Сухарева, заявленные им уже в новые времена. Примаат звука. Протест против заведомо железного замысла в ущерб стихийному началу стиха. «Семантику выводим из поэтики», «фанатики фонетики» — формулы из «Диалога», стихотворения, отчетливо воссоздающего стих Леонида Мартынова, убежденного футуриста. Кажется, Сухарев чуть ли не один среди стихотворцев почтил его память стихами. «Говорили, что он нелюдим. / Сам-то знал он едва ли, / Как он нужен, как необходим, / Жил в каком-то подвале». Называл себя футуристом и Слуцкий. Все футуристическое (игровое, вне канона) в самом Сухареве разгулялось в самую последнюю пору — наш ответ Керзону-андеграунду.

Его юношеские привязанности настаивались на Блоке, Пастернаке, Гумилеве, Андрее Белом, Анненском, Эренбурге, Кочеткове, но поди поищи их след в его поэти-

ке — на поверхности не найдешь. Ушли вглубь? Очевиден, вероятно, лишь гумилевский экзотизм, ностальгически перенесенный на Среднюю Азию. Чего-чего, а предметности (= акмеистичности) у Сухарева хоть отбавляй. Но Сухарев — сейчас — вообще полагает, что вторая половина XX века в стихотворстве лучше первой. Точки полемического отталкивания тоже просматриваются. В 83-м он пишет сердитую вещь «Где оне?», по поводу Мандельштама: «Что поделать, я не той / Жив страницей...»

Стойкое неприятие Тютчева. «Кушнер рядышком шныряет». Сухарев и Кушнер — столь разные поэты, однако их мнение о Тютчеве совершенно одинаково. Отказ в русскости, немецкая холодность и т.п. Трагизм бытия, исполненного красоты, лазури, гроз и величия, можно ли отнести к немецкости тютчевского мировоззрения? Интересно, что Сухарев посвятил Кушнеру стихотворение «Где ветры» — о кладбище, о смерти. А написано оно в духе Слуцкого, которого Кушнер не очень-то и принимает. Единственно, туманным (сумбурным, малопонятным и т.п.) стихотворением Сухарева мне показалось «Не то, что мнится мне...», полемика с Тютчевым.

Все мировые войны заранее прожиты в таких стихах, как «Последний катаклизм» («Когда пробьет последний час природы...»). При очень давней, последней встрече на ходу с Н.Тряпкиным я услышал от него как раз эти стихи Тютчева, произнесенные в слезах полувосторга-полужаса. Сухарев высоко ценит Тряпкина. Народный источник — «Летела гагара» — оба использовали в своих стихах. Не исключено, что сухаревский «Океан» вольно или невольно вызван «Последним катаклизмом».

В поздних гекзаметрах Сухарева сказано: «Я бы отнес на базар черепки тонкостенного счастья. / Где там, — ищи мастеров!.. Сам, бедолага, потей». Видимо, все-таки есть возможность склеить разбитое? У входа в ад он останавливается, он туда не ходок. «Ум велик, но бытие на грани» — Сухарев близок к онтологическому трагизму, в стихах о ташкентском землетрясении 1966 года сказано: «Коль уходит стена от стены / На виду у всего перекрестка, / Значит, могут и даже должны / Разойтись полушария мозга. // Полушария мира в тот миг / В бедном мозге разъялись от взрыва, / И ташкентец к любимым приник, / Напоследок приник торопливо. // Крик стоял над планетой, а в ней, / В глубине, рокотало повторно. / Между тем становилось ясней, / Что трясение нерукотворно». Физиология с выходом на метафизику.

Но уже в следующей строфе: «Пыльный столб на руины осел, / И я слышал, смеялись в палатке, / Даже пели! Ведь шарик-то цел, / Отчего бы не петь, все в порядке».

Соперничество (невольное?) с сильно прозвучавшим тогда репортажем Вознесенского «Помогите Ташкенту!». И не только тут. Стихотворение «Тихань. Листья облетели...» заканчивается так: «Я — гойя» со сноской: «Аист (венг.)». Есть у него и «Две вариации на тему "Осень в Сигулде"». И этот аист, и эти вариации — прямая реакция на соответствующие вещи Вознесенского. Это вряд ли спор. Более того, это признание реальных безусловных поэтических фактов. На которые он отзывается по-своему.

Можно сказать и шире. Сухарева вполне устраивает современный ему ландшафт поэзии в лучших образцах. Многое у него вызывает восхищение и опять же свой отзыв. Неясно, кому он подражает в «Подражании» («Зачем ты уехала, Сюзин?»), зато здесь очевидно ненатужное изящество и стилизационное искусство. Не подражание, а скрытая стилизация, скрытая, но явная, если позволителен такой оксюморон. Та же самая скрытопись на свой лад. В «Ночных чтениях» — вариация на тему Межирова («Серпухов»), в «Песенке про художественную стрижку» слышен окуджавский «Пиджак», во «Дворе» — решительно Слуцкий, зафиксированный так: «И фактически, и фонетически, и хромосомно / Были разными мы. Но вращательный некий момент / Формовал нас, как глину, и ангелы нашего сонма, / Просыхая под солнцем, все больше являли цемент». Эти три вещи похожи на некий цикл вариаций, или рефлексий, к нему примыкают и некоторые другие стихи 1973—74 гг. Варьируя стилистические образцы, он вырабатывает синтетический стиль, контрапункт, неизбежно самостоятельный, «особенную манеру». Это приращение новизны к существующему статус-кво стихотворства без эстетических терактов и манифестаций.

Что касается дат, особняком стоит 1968-й, с переходом в ближайшие следующие годы. «На взятие Праги» не было опубликовано в срок. «Мы не рабы, не убежим — / Убудем. / Рабовладельческий режим / Уютен». После Праги у Сухарева возникает больше жестких строк и нот. «Паспортный контроль» 85-го года — то же прямое высказывание: «Страшны твои замкнутые лица, / Клацанье замка». В целом же он остается поэтом нюансов, приглушенной тревоги: «Двоится и тростник, озерный

злак. / Но треск какой-то в тростнике таится, / Какого-то разряда тайный знак. / Или разлада?»

У Сухарева нет особого интереса или тяготения к религии. В молодости, говоря о церковных колоколах, он делает упор на другую, концертную музыку: «Мы озираем божий храм / Без истовой натуги, / И важно льются в души нам / Прелюдии и фуги». Есть высказывания и порезче: «Не творил ли нас Господь навеселе? / Больно много он напутал на земле». С годами он становится осмотрительней: «Туч не слышно, и милостив бог» или прямоком обращается к небесному адресату: «Господи, позволь закрыть глаза / Без боязни в тот же миг увидеть / То, что вижу, лишь глаза закрою, — Господи, позволь передохнуть». Или: «Господи, продли минуты эти! — / Выдохну за Межировым вслед». Но не случайно у него появляется Европа в качестве «жены разлюбленного бога». Его раздражает псевдовера, плод моды и скуки, «праведная прорва иных скородумов, / которые так раззвонили гипотезу существования Бога, / Что срам, да и только».

Похоже, наиболее характерна для него в этой сфере вот эта, окольная речь: «За это спасибо не надо, / За это спасибо — кому?» Бог у Сухарева — бог, заложенный в слове *спасибо*. Под вопросом.

Авторская песня заслонила Сухарева-поэта. Петь — пожалуйста, с удовольствием споем, а вот читать — уже некогда. Зачем, если все уже ясно насчет «Поедем в Бухару»? А так ли уж ясно? Там ведь — в конце — далеко от мажора: «Не знаю, где умру...» Уж никак не экзотика. И к слову: здесь откликается мандельштамовское «Халды-балды! Поедем в Алма-Ату...», из «Четвертой прозы».

Совпадения и сходства лишь подтверждают разнообразные связи сухаревской поэтики, на вид простейшей, с полномасштабным контекстом отечественного стихотворства без разделения на мировоззренческие, территориальные и прочие сегменты.

Всерьез о нем писали редко. Но Окуджавскую премию ему дали по праву: после Булата — и при нем — почти никто так хорошо не писал именно стихов, имевших целью стать песней. Так образуется это пограничье: стих — песня, наука — поэзия. Он все делает очень хорошо. «Не мне ль удача выпала во всем?» Может быть, в этом его проблема? Вот провалился бы в нейробиологии, не запел бы его народ — глядишь, и муза его обрела бы другую судьбу. Но «бы» не считается, а другая судьба не равна лучшей.

В идеале — или в результате — поэт и есть твой провиденциальный собеседник. И не обязательно, чтобы поэт при этом пел под гитару. Достаточно ночного чтения толстой книжки¹, в которой отложена долгая жизнь, исполненная музыки, пылливости, искусных трудов, грусти, поздней рассерженности и, как это ни странно, доверия к перевернутому миру.

¹ Дмитрий Сухарев. Много чего. — М.: Время, 2008.

Захар Прилепин:

«Я люблю мир, где "Илиада" и "Одиссея"»

Беседу ведет Наталья Игрунова

Литературу «нулевых» все чаще обозначают двумя полюсами: Гришковец и Прилепин.

В этом противостоянии Гришковцу отводится функция апологета буржуазной нормы, а Прилепину — проповедника брутального мачизма и бунта. Как всегда, функция плоска и условна, но стереотип восприятия человека и писателя она передает.

Имя Захара Прилепина — автора двух отнюдь не развлекательных романов «Патологии» и «Санья» и нескольких сборников рассказов, эссе, интервью — на слуху у всех, кто еще считает необходимым время от времени прочитать какую-нибудь новую книжку. Это уже бренд. Сказать, что кто-то принимает Прилепина в его житейской и литературной ипостаси, кто-то нет, — ничего не сказать. Накал критических страстей заставляет вспомнить конец 80-х—начало 90-х. В ход идут все подручные средства — толкование псевдонима, внешность, подробности биографии, обвинения в плагиате, автопиааре и стремлении самоутвердиться, приобщившись к имени классика, обвинения в трусости и отказ в моральном праве писать о войне... Но все чаще книги Прилепина вызывают полемику по существу. И тоже жесткую и «комплексную»: форма—содержание—идейное наполнение. Очевидно, что там есть о чем думать и спорить. Назидательно заметим: равно как есть о чем задуматься по прочтении этих обсуждений и статей и самому писателю.

Последняя по времени его работа — биография Леонида Леонова для ЖЗЛ. Даже после того, как у Прилепина появился сборник интервью с писателями, — это шаг совершенно неожиданный. Книга на выходе. Судить о ней по фрагментам журнальных публикаций сложно. Делаешь стойку на новые факты или наблюдения, на скороговорку или стилистические огрехи... Но главное-то — куда все это вырулит, в какой сложится образ. И, конечно, любопытно, что это соприкосновение с большим — иным — писательским миром выявит в самом Захаре Прилепине.

Не случайно Прилепин приводит в книге цитату из Георгия Адамовича о Леониде Леонове, подчеркивая, что Адамович ставит планку максимально высокую: «Леонов, мне кажется, все-таки крупнее и значительнее как художник, чем Шолохов. В нем есть беспокойство, которое рождается только присутствием мысли. В нем есть "дрожжи". <...> Леонов способен написать сто или двести плохих и лживых страниц, но вдруг "взлетит" и в нескольких строках искупит все свои грехи». Оставим в стороне эпитеты, нам важны здесь критерии оценки и ключевое слово — «дрожжи». Кажется, именно наличие этих самых «дрожжей» и вызывает интерес к Леонову у Прилепина и к самому Прилепину — у его читателей.

С книги о Леониде Леонове и начался наш разговор.

— **Захар, вы пишете книги, в которых очевидно задействован ваш, личный реальный опыт. Жанр биографии — это работа с жизненным опытом другого человека, другого времени.**

— Отличие, я думаю, даже не во времени, не в атрибутах времени, а в количестве тех рецепторов, которые у того или иного человека, писателя наличествуют. Леонов воспринимал мир другими глазами, слышал другими ушами, чем вижу и слышу его я. И мне крайне интересно сравнивать, как он это видел и как я это вижу. Его ужас и его страсть сравнивать со своим ужасом и своей страстью. У нас разное восприятие жизни. Это помимо того, что он гениальный человек, а я ...начинающий литератор.

— **Ага, начинающий раскрученный литератор. Рецепторы смирения и скромности.**

— Алексей Максимович Горький однажды сказал это Леонову — а Горький понимал толк в писателях: я всего лишь обычный литератор, а вы — великий писатель.

— **А почему именно Леонов? Неожиданный выбор.**

— Ну да, для многих он неожиданный.

Дело было так. Где-то в середине 90-х годов я стал испытывать раздражение от совершенно очевидного дисбаланса в восприятии литературы XX века. Потому что воспринималась она исключительно через призму, прямо скажем, антисоветскую, через либеральную по большей части оптику. И огромный пласт литературы, на мой взгляд, сделанный замечательно и хорошо, из нашего восприятия просто выпал. И я тогда стал бродить по букинистам и скупать буквально подряд всю эту литературу, чтобы самому всерьез с ней ознакомиться и для себя решить — настолько ли это было сделано дурно, что об этом не стоит даже и вспоминать. Я купил тогда собрания сочинений Эренбурга, Всеволода Иванова, Константина Федина, и так далее, и так далее — тех писателей, которые оказались не то что на периферии — их имена исчезли из упоминаний в позитивном контексте, остались только в негативном.

— **Сколько вам тогда было лет?**

— Двадцать два-двадцать три-двадцать четыре.

— **Раньше это было не читано?**

— Читано в очень малой мере. В школе этого уже не проходили, в университете, где я учился на филфаке, это тоже уже не проходили или проходили бегло, и поэтому мне хотелось всерьез с этим познакомиться. Я упрямо читал это все подряд целыми собраниями сочинений. Купил собрание Леонова, прочитал первый том, второй, третий... И где-то в середине «Вора» понял, что имею дело с гениальным писателем.

— **«Соть» и «Вор» действительно настоящая литература.**

— Меня она накрыла. Я стал искать — кто же еще любит Леонова. Выяснилось, что таких людей не очень много. И одним из них оказался Дмитрий Быков, с которым я тогда еще не был знаком. Он тоже всерьез говорил, что это гениальный писатель. Все это у меня где-то в голове хранилось, а потом однажды Быков приехал в Нижний Новгород с поэтическим концертом, я его встретил, мы катались на моей машине по городу, выпивали на берегу Волги. А Быков как раз начал писать «Пастернака» для ЖЗЛ. И он говорит: «А давай ты "Леонова" напишешь для ЖЗЛ?» У меня еще был только первый роман «Патологии» написан, собственно, моя литературная история только начиналась. Я говорю: «Дим, да какой Леонов, прекрати!» Он: «Все, молчи». Набрал номер «Молодой гвардии»: «Вот тут есть такой Прилепин, молодой писатель талантливый, он будет "Леонова" писать». На Быкова все тогда магически как-то реагировали. Сказали — ну пускай попробует.

Потом Дима на год пропал, а я потихоньку начал писать. Написал «Санькю», получил премию, одну-другую-третью, и тут «Молодая гвардия» всерьез заинтересовалась: ты уже автор у нас известный, давай-ка напиши своего «Леонова».

Я занимался им долго, ни один свой роман я так долго не писал — четыре года.

— **А четыре года работы — это что? Чтение? Встречи? Архивы?**

— И архивы, и встречи... Понимаете, ведь Леоновская судьба...

— **...Он же человек совершенно закрытый.**

— Вот именно! Я, когда начал заниматься Леоновым, с ужасом обнаружил, что, скажем, биография Анны Ахматовой или Михаила Булгакова изучена буквально по минутам — достаточно зайти в интернет, и ты все получишь.

— **Это уже не просто подробно прописанные, устоявшиеся, это уже «лаковые» биографии. В театральной критике есть такой штамп: «Шекспир устал», «Чехов устал» — по поводу несчетного количества постановок. Конечно, все зависит от того, кто и ради чего берется ставить, но что-то в этом выражении все-таки есть. Существуют какие-то тексты, герои, писатели, которые уже донельзя затерты, заболтаны. Леонов — фигура противоречивая и так и не разгаданная.**

— Наташ, но всем казалось, что, наоборот, известно все. Про Леонова при его жизни выходило ежегодно две-три книги. В советском офицозе, из живых писателей он был — наряду с Шолоховым — самой главной фигурой. Советский писатель. Совпис. «Русский лес» издавался буквально каждый год.

— **А он и ассоциировался прежде всего с «Русским лесом».**

— И это, к несчастью для него, не самая лучшая ассоциация, потому что Леонов — это, конечно, не «Русский лес». Это куда более страшный, и неизведанный, и неразгаданный автор.

Начав заниматься его биографией, я понял, что ею вообще никто не занимался. Там такие пустоты! Если у Есенина или Цветаевой исследователи разбираются, где он или она были три дня, у Леонова есть лет по десять, где вообще не понятно, чем он занимался. Ну, в саду что-то растил. И что — больше ничего не делал? Ничего не понятно ни про характер, ни про взаимоотношения с властью, со Сталиным, с Есениным, с Булгаковым... Оказалось — со всеми встречался, со всеми были какие-то «романы», странные и страшные взаимоотношения.

В конце концов открылась совершенно чудовищная вещь. Я поехал в Архангельск, стал рыться в документах, и оказалось, что Леонов — маститый советский писатель — был белогвардейским офицером. Это мне просто крышу снесло.

— **В советских биографиях было: «в годы гражданской войны вступает в Красную Армию, участвует в боях на Южном фронте, работает в военной печати».**

— Я нашел документы.

— **Всегда думала, что это «мелкобуржуазное» прошлое его «зажимает».**

— Все гораздо страшнее и жутче. Он был белогвардейским прапорщиком в составе Северной армии, а отец у него был большой общественный деятель, издавал в Архангельске во время гражданской войны, когда там были так называемые союзники — англо-американско-французская эскадра, — абсолютно пробелогвардейскую, антибольшевистскую газету. Возглавлял Общество помощи Северному фронту. Они были влиты в элиту белогвардейского движения. Леонов имел возможность уехать в эмиграцию, не уехал — по собственной воле: не мыслил своей жизни без России никогда и позднее за это порицал Солженицына, который уехал из страны.

— **Солженицын-то не сам уехал — выслали.**

— А Леонов остался, еще не очень понимая, что ему предстоит пережить. Когда начались процессы 30-х годов, он вдруг понял, что у него над башкой висит меч, который в любую секунду может опуститься. Если кто-то вскроет подшивки газеты «Северное утро», которые отец его издавал, где Леонов-старший и Леонов-младший костерят большевиков на чем стоит свет. Кроме того — белый офицер. Все — смертный приговор.

— **А как удавалось скрывать?**

— Вот этого я не знаю. Периодически приходили запросы в Союз писателей: разберитесь с прошлым Леонида Леонова. Я залез в эти архивы — газеты сильно порезаны, антибольшевистские статьи Леонова из газет вырезаны. Мало того — есть архив Северного фронта. Там было четырнадцать полков. Архив леоновского полка отсутствует, он потерялся уже в советское время. Леонов сам в Архангельск больше никогда в жизни не ездил после 20-го года, но, я предполагаю, какие-то усилия он приложил для того, чтобы все это изъять...

А потом через эту трагедию его молодости и его личной судьбы по-другому стали читаться его произведения. У него через большинство текстов проходит белогвардеец, который живет в Стране Советов и скрывает свое прошлое. Это была такая

безумная игра — он в каждом тексте описывал самого себя со всей своей биографией. В советское время читали и думали, что это стопроцентно отрицательный герой, а есть положительные — коммунисты. На самом деле все не так. Сам он говорил — мои произведения семи-, восьмиэтажные, а все бродят по первому этажу. Там слой за слоем смываешь — и новый рисунок проступает. Эти книги, они не то что советские или антисоветские — они в каком-то смысле постмодернистские. Каждый леоновский текст — сад расходящихся тропок.

— Казалось бы, Леонов — писатель, совершенно на вас не похожий. Упрощая, спрямляя: у вас больше действия и психологии, у Леонова — философии. Почему такое притяжение?

— Отчасти это так. Тут можно два объяснения как минимум придумать. Я, как человек куда более эмоциональный, страстный и желающий тактильных соприкосновений с действительностью, ищу свои противоположности, какие-то вещи, которые мне даже чужды. Это одно объяснение. А есть еще иное: Леонов, конечно, и страстный, и безумный, и очень вещественно соприкасающийся с миром человек, мы напрасно считаем его таким художником-философом.

— Наверное, срabатывает стереотип «Русского леса» и «Пирамиды».

— Да, но на самом деле Леонов из романа в роман, из десятилетия в десятилетие побеждал, нивелировал в себе — писателя — все человеческое.

— Почему?

— В том числе, наверное, и биография на это повлияла — чтобы максимально замаскировать, спрятать, заложить камнями, кирпичной кладкой свое прошлое, свою истинную суть, чтобы никто не добрался. У меня же книга называется «Леонид Леонов: игра его была огромна». У него всю жизнь была огромная игра со своим прошлым. Периодически она была смертельно опасной. В 37-м году он пишет в газете «Правда» статью «Артиллеристы» — о сталинских артиллеристах — и неожиданно начинает достаточно подробно описывать, каким был быт белогвардейских артиллеристов. А он сам-то был артиллеристом. Зачем нужно это описывать — непонятно. В каком-то смысле это явка с повинной. Могут спросить: Леонид Максимович, а откуда такая осведомленность? Вы что, бомбили наши красные батареи, расстреливали красноармейскую конницу? А он взял и про это написал. При всем своем монументальном соцклассическом образе внутренне он был, конечно, большой забавник. Он без конца дергал смерть за ус, без конца затевал игры с судьбой.

— А он ведь верующий человек был.

— Это другая его игра — и в биографии я этого касаюсь. Леонова описывали как человека, создававшего эпос социалистического мужества и исповедовавшего идеалы гуманизма. Но это совершенно не так. Потому что Леонов — начиная с самых первых текстов и заканчивая «Пирамидой» — всю жизнь бился над разгадкой того, зачем, собственно, Бог создал человека. Зачем Бог создал — есть такое ужасное леоновское слово — «человечину». Потому что, по Леонову, эксперимент Бога с человеком не удался. Человек никуда не годен, человек изначально ветхое, глиняное, ни к чему не пригодное существо, которое опошло великий Божественный замысел. Он об этом писал все свои книги. Не про соцстроительство, не про стройки, не про русский лес... По сути, у Леонова был свой личный конфликт с Господом и с Господней волей.

— А по Прилепину как с этим дело обстоит?

— А Прилепин с этим вопросом еще разбирается. Я пока еще не Леонов, чтобы такие задачи перед собой ставить.

— А это вообще вопросы из вашего круга?

— Занимаясь Леоновым в течение десяти лет и четыре года описывая его, я, конечно, тоже стал об этом задумываться, но я еще не набрал такое количество ощущений и такого внутреннего трагизма в себе не чувствую, мне слишком хорошо, как глупому щенку, живется на белом свете, чтобы я мог всерьез про это говорить.

— Самая ваша леоновская книга — какая?

— «Дорога на океан». Роман, не прочитанный и не понятый и в советское время, и в постсоветское тоже не прочитанный и не понятый. Самая не моя — «Русский лес», самая моя — «Дорога на океан». Самая «для всех» конечно же «Evgenia Ivanovna».

Именно эту повесть нужно давать читать человеку, который только знакомится с Леоновым, это волшебная русская проза, одна из ее жемчужин. Кстати сказать, Леонова было бы любопытно экранизировать, потому что... Понимаете, вот в чем счастье в экранизации русской классики? Она дает возможность бесконечного количества интерпретаций текста. Вот как вы говорили в начале нашего разговора про Чехова и Шекспира. Прежде чем они «устали», их ставили бесконечно. Современные тексты экранизируются один раз, дальше — по дну уже скрежещешь, больше там уже искать нечего. А вот Чехова, или Тургенева, или Толстого, Достоевского можно экранизировать вечно. И в XX веке есть такой Шолохов, есть такой Леонов.

— **И только?**

— Ну, их всего пятеро, по-моему: Булгаков, Набоков, Шолохов, Леонов, Платонов. Мне кажется, что эти пять писателей будут спустя какое-то время равноценны той же самой пятерке Гоголь—Достоевский—Толстой—Тургенев—Чехов.

— **А среди советских писателей кто еще остался, по-вашему, непрочитанным?**

— Советская литература очень мало прочитана и несильно понята. Всеволод Иванов не очень хорошо прочитан и понят. Ранний — потом что-то с ним произошло и куда-то его восхитительный дар рассосался. Есть несколько вещей у Константина Федина отличных. У раннего Эренбурга и у Эренбурга «среднего» есть отличные романы. Если мы говорим о той литературе, которую принято называть собственно советской. Мы ее отмели, а там многие вещи были сделаны на замечательно высоком уровне.

— **Насколько я понимаю, высчитаете, что у литературы 70—80-х уровень уже не тот?**

— Это не совсем моя литература — это уже эстетика кухонь, потайного диссидентства. И, прямо скажем, высота трагизма, высота происходящего с человеком, с человечеством и со страной, планка ее поприпущена.

— **Шукшин, Абрамов, Астафьев для вас недостаточно трагичны?**

— Я люблю шукшинские романы, я люблю «Любавиных», особенно первую часть, люблю «Я пришел дать вам волю», потому что это время огромных тектонических сдвигов — революция, восстание Степана Разина. Я не люблю рассказы Шукшина, чудиков его не люблю. Все это юродство по большому счету мне физически неприятно. Я понимаю, что это замечательно хорошо сделано, что это может быть смешно, что это по-настоящему трагично, но я люблю мир, где «Илиада» и «Одиссея», где извержение вулканов происходит. У Леонова, у Шолохова это все происходит. Невозможно представить себе Шолохова, который после «Тихого Дона» и «Поднятой целины» будет описывать быт даже не казачества, а просто донских крестьян в 73-м году. На фиг это ему не нужно! Он такое видел, там такое происходило! Он и перестал заниматься литературой, потому что ему не за что уже было браться.

— **А трагизм — он только от обстоятельств?**

— Нет, конечно же трагедии, которые происходят в человеческой душе, они тоже могут быть и предельно высоки, и страшны. Этим и Распутин, и Астафьев занимались. Но мне по характеру ближе вот то — бурление человеческое, человеческое море, извержение вулкана.

— **В «Патологиях» отчетливо просматривается не только, скажем так, сюжетная «киносоставляющая», но и быковский (Василя Быкова) след, эстетическая традиция военной прозы.**

— Военная проза в советской России настолько хороша, что подобной прозы просто нет в мире. Я об этом более-менее ответственно говорю, потому что я перечитал все, что переводили, когда составлял год назад антологию военной прозы «Война/War». То, что было сделано в России, аналогов не имеет. Под этим базис классической литературы, конечно. А потом, Россия очень много воевала и чаще всего, назовем вещи своими именами, воевала хорошо — выходила победительницей.

Если прочитать «Усвятские шлемоносцы» Носова, или даже «Горячий снег» Бондарева, или какие-то вещи Астафьева, раннюю прозу Бакланова, никакой Ремарк рядом не должен стоять. Это литургии, оратории.

— **Высокая нота. Хотя по сути я с вами совершенно согласна. И еще бы добавила в ваш ряд Константина Воробьева и Василя Быкова.**

Итак, резюмируем: советская литература вами принимается.

— Не просто принимается — пропагандируется. Это одно из сокровищ, которые мы по широте своей душевной и в силу того, что у нас так много богатств, что мы можем какими-то благами легко распорядиться, вот в силу этого мы про нее забыли. Но если бы какая-нибудь западная страна, скажем Испания, или Португалия, или Греция, имела бы такую прозу, имела бы в запасниках Евгения Носова, Константина Воробьева, Бондарева, Бакланова или Бориса Васильева, она бы культивировала это с утра до вечера. А мы попереиздавали накануне 60-летия Победы и опять забыли.

— А что для вас значит советский опыт?

— Это опыт... как бы его определить... тут много слов надо... Небывалый... Чудовищный... Определивший историю человечества... Крайне важный, отрицать его совершенно невозможно. То, что от него отмахнулись, связано в том числе и со слабостью человеческой породы, которая пыталась на сломе эпохи каким-то образом выстроить свою судьбу, дать себе новое имя, испытать полноту ощущений, пиная то, что уже и так рассыпалось. Я не думаю, что борьба с советским строем, который уже исчез, демонстрировала наше мужество, нашу смелость и высоту наших побуждений. Мне в 91-м году было шестнадцать, и уже тогда, в юности, мне было глубоко неприятно это поругание если не святынь, то того, что определило историю нашего народа в XX веке.

— Люди старших поколений жестко делят свою жизнь на «до» и «после» развала Советского Союза. Вам было шестнадцать. Жизнь разломилась?

— У меня разломилась. И ощущения были очень болезненные. Было ощущение, что пляска бесов какая-то происходит. Открываешь газету и читаешь, что Зоя Космодемьянская — проститутка, заблудилась, пьяная, и ее немцы поймали, что Александр Матросов — зэк, что он просто поскользнулся и упал на амбразуру дота...

— А вы были мальчиком, читающим газеты?

— А тогда все читали! И «Огонек», и «Комсомольская правда», и много чего еще у меня до сих пор хранится на даче. Я иногда их листаю. И у меня и теперь легкая изморозь брезгливости пробегает по спине и по рукам. Я думаю, это в течение десяти лет продолжавшееся беснование аналогов в истории не имеет. Я, возможно, сейчас был бы более толерантен к русскому либерализму, если бы оно не прошло через меня в течение моей юности.

— И кнацболам пришли поэтому?

— Отчасти. Приход в радикальную политику состоялся, когда я начал заниматься журналистикой, близко общаться с политиками конца девяностых — начала нулевых годов.

— После Чечни?

— После, да. Но то, что я стал политически ангажированным, было связано не с Чечней, а с тем, что я стал близко общаться с этими людьми и их мотивы поведения мне стали тогда понятны. Идеи государственного строительства или сбережения народа им далеки настолько, что даже представить невозможно.

— А что движет такими людьми, как Лимонов?

— Для таких людей, как Лимонов, как минимум не существует интересов меркантильных. Лимонов один из немногих известных мне людей, которых нельзя купить, которым нечего предложить, один из тех людей, которые в своей жизни маниакально последовательны. Я его знаю уже давно, с 96-го года, и вижу, что этот человек, как писал Пастернак, «ни единой долькой не отступил от лица». Плохая строчка, но суть Лимонова она передает достаточно точно. А все иные люди, участвующие в политике, с легкостью меняют свои убеждения.

— Вы говорите о политической «верхушке», а...

— ...а просто люди — они усталые, они занимаются своими делами, они разуверившиеся, это тоже одно их главных «завоеваний» российского либерализма — то, что людей отучили всерьез доверяться хоть какой-нибудь идее, какому-нибудь слову, какому-нибудь лидеру.

— Трибунным речам и до 90-х не очень-то верили, но то, что вы говорите сейчас, важно: люди живут без идеи, их переключили на частную жизнь — и при этом мы удивляемся, что у нас нет гражданского общества.

— Бесконечная цепь разочарований заставила людей убедиться, что никакой правды нет и нас все равно обманут. Люди самоустранились из политики, бегут таких понятий, как гражданственность.

— **Вашим детям сколько сейчас?**

— Четыре, пять, одиннадцать.

— **Я это вот к чему спрашиваю. В прошлом году для юбилейного номера «Дружбы народов» мы с моей подругой, школьной учительницей из Белгорода, подготовили публикацию сочинений ее учеников: пяти-, шести- и семиклассники отвечают на вопрос «Что ты знаешь о Советском Союзе и причинах его распада?». Писали без подготовки, в классе. Это дети, которые родились после 91-го года. Большинство из них не знает вообще ничего. Версии распада СССР фантастические: от — в результате Октябрьской революции до — Ельцин распустил, чтобы не отдавать Курилы японцам.**

— Я видел эту публикацию.

— **Тем лучше. Так вот — допускаю, что можно не знать исторических реалий — в конце концов, они для них уже действительно почти что допотопные, не знать, скажем, сколько республик входило в СССР, но они же не знают ничего о том, как жили их родители, бабушки-дедушки. Значит, с ними просто об этом вообще не говорят. У вас старший ребенок — их ровесник. Вы с ним разговариваете об этих вещах?**

— Нет. Я думаю, это даже нормально. Мой старший, конечно, кое-что знает, просто в силу того, что много читает, в том числе и советскую литературу. Но не думаю, что в этом возрасте для них это важно. Я поговорю с ним года через три-четыре. Я не хочу переносить свою... ну как бы это сказать не пышно...

— **Свою систему взглядов?**

— Нет, муку свою. У них и так проблем полно, а я им еще притащу свои страдания о своей стране. Не хватало еще заразить его социальным негативизмом.

У меня была такая история с сыном. Когда я проводил года два назад в Нижнем «Марш несогласных», меня задерживали без конца, домой приходили. Это было в конце августа, а 1 сентября сын пошел на линейку и потом говорит маме, моей жене: сегодня к нам приехал губернатор на линейку, все ему хлопали, а я не стал. Такой ребеночий протест: у меня папа — хороший, он не может чего-то делать неправильно, почему его дергают... Он пока еще встраивается в мир. Когда он будет уже социально адаптирован, я обо всех этих вещах поговорю, и о Советском Союзе тоже. Я в свои тринадцать—четырнадцать лет уже знал всё — по крайней мере так, как мы все представляли свою историю в те времена. А вот сегодня мы ее никак не представляем. Никак не разберемся ни с тем, что такое монархия, ни с тем, что такое наше советское прошлое, ни с тем, что такое наше настоящее.

— **А есть сейчас идея, способная объединить общество?**

— Осталась, пожалуй, одна идея, на которой может подняться общество. Возможно, она не самая лучшая, возможно, она даже худшая, но ввиду того, что все идеологии XX века были подвергнуты обструкции, в том числе и социалистическая, и либерально-демократическая, осталась только одна идеология, которая может людей сплотить, — это идеология националистическая.

— **Скомпрометированная более всего. Мир уже прошел однажды через фашизм, Захар.**

— Фашизм был, но не надо весь и всякий национализм путать с фашизмом. Это крайняя степень, а крайняя степень есть у всего — и у любви к детям, и у любви к женщине, у страсти, у нежности, у всего есть крайности, которые могут привести к катастрофическим результатам. Фашизм — это одна идеология, а национализм — чувство почвы, чувство родства со своей родней, со своей землей и народом — это и есть то истинное и врожденное, что может людей сплотить. Другой вопрос, что вы совершенно правы и это может обернуться какими-то немислимыми катастрофами. И государство национальную карту пытается активно использовать, насаждая госпатриотизм, и даже эту, врожденную, несомую в кровотоке идеологию, опошляет. И в конце концов не остается ничего, ради чего мы могли бы, что называется, взяться за руки все вместе.

— **Давайте-ка опять немножко собьем пафос, а то после таких речей вам, видимо, всегда задают глубокомысленный вопрос о том, что для вас важнее — политика или литература.**

— (с издевательским наигрышем) Для меня главное — жизнь во всех ее проявлениях.

А если серьезно, Наташ, я бы бросил политику, если бы... Я и литературу тоже бы бросил. Сидел бы где-нибудь на берегу...

— **Вы что, ленивый человек?**

— Нет, ну как? — я с удовольствием ничего не делаю, но, если нужно, сажусь и начинаю работать.

— **Судя по СМИ, какая-то невероятная активность — помимо политики и собственно литературной работы — презентации, интервью, блоги, эфиры, ярмарки, премиальные жюри... Нравится «светиться»? Или это эффект публичности?**

— А когда я наблюдаю людей вокруг себя, мне кажется, что они совершенно нерационально используют свое время. Я часто про это слышу, наверно, уже почти как Дима Быков. Но я знаю, что если бы я хотел, то делал бы втрое больше. Я в основном-то брожу с друзьями, или с детьми, или с любимой женщиной и потребляю разные напитки.

— **У многих моих коллег, в том числе и у тех, кто с интересом встретил ваши романы, и у меня тоже в последнее время появилось как раз совершенно противоположное впечатление: суеты.**

— У меня?

— **Ну в самом деле — чуть ли не каждая опубликованная строчка сбивается в книжку. Моя «редакторская» рука все время тянется что-то поджать, убрать нестыковки, стиль почистить. Вас не тревожит то, что вы — вольно или невольно — становитесь «проектом»? Ни дня без строчки. В год по книжке.**

— Да нет, это моя собственная воля. Часто пишут, что вот Прилепин написал два романа, два сборника рассказов, а потом начинает издавать все подряд, мало того, издает не только то, что пишет сам, но и то, что читает, — имеются в виду антологии рассказов о войне и революции, которые я составил. Я думаю, что, находясь на каком-то уровне известности — а я, без кокетства, небезызвестный человек в писательском мире, — ты, что бы ни делал, всегда будешь не прав. Писал бы каждый год по роману, говорили бы — многостаночник. Если бы писал один роман в пять лет, говорили бы, что Прилепин исписался, ему нечего сказать. Как ты ни поступай, все равно будешь не прав.

Я вот сделал сборник интервью, мне за него совершенно не стыдно, он раскупился за две недели. Значит, людям это интересно, люди хотят про это читать. Допечатали тут же второй тираж. Я выпустил сборник эссе — тут же получил 600 писем с откликами. Мне очень много пишут писем. У меня пять почтовых ящиков, они каждый день полны. Люди свои судьбы рассказывают. Бабушки называют внуков моим именем.

— **Да ладно!**

— Офицеры пишут. Из провинции. Крестьянин какой-то нашел интернет в соседнем городке, написал письмо...

— **А хоть кому-нибудь отвечаете?**

— Я стараюсь почти всем отвечать — хоть два-три слова (*смеется*). Я мог бы еще два тома переписки издать своей. Не проблема. Поэтому мне за свои книжки не стыдно.

— **Любите, чтобы вокруг было много людей?**

— Люблю, и их всегда много. Все прошлое лето провел в окружении человек двадцати пяти — у меня есть дом в деревне на реке Керженец.

— **В вашей книжке интервью с писателями, которую вы упомянули, тоже многолюдно — три десятка человек. А она-то как возникла?**

— Я очень любопытно к людям. Была бы моя воля, сделал бы книжку интервью с людьми самых разных профессий — сел бы в машину с дальнобойщиком и поговорил, пришел к нянечке в детский сад...

— **А что мешает? Такая книжка вышла года три назад в Италии. Автор —**

прозаик из поколения «молодых каннибалов» Альдо Нове. Ему чуть за сорок. У нас его знают по сборнику рассказов «Супервубинда». Гиперреализм, чернуха и эпатаж. Недавно на сайте «Частный корреспондент» появился перевод примерно половины его новой книги — тех самых интервью. «Меня зовут Роберта, мне сорок лет, я получаю 250 евро в месяц...» Кстати, написал он ее по заказу коммунистической газеты. Герои — поколение, у которого нет будущего, первое поколение детей, которые живут хуже своих родителей. Новые бедные. Умные, думающие, работающие, активные, имеющие профессию, образованные. Дизайнер, учитель, рабочие, пастух... И проблемы, очень схожие с нашими сегодняшними: есть образование, но нет работы, цены на жилье не позволяют иметь собственной квартиры, родители-пенсионеры выручают, когда нет постоянного заработка, идеология сменилась рынком, приватизация обернулась безработицей, мучит осознание того, что их поколение живет, проедавая капиталы, накопленные в прошлом.

Книжка интервью с писателями, это, конечно, интересно...

— Ну, это то, что просто близко лежало, понимаете? Я с ними общаюсь, встречаюсь, мне не хотелось тратить это время впустую. В такой книге тоже есть свой смысл — большая часть этих писателей читателю неизвестна. Это не две тысячи четвертое интервью с Робски и Акуниным. Даже для меня каждый разговор был открытием. Это не лишняя работа. И эти люди, они тоже не совсем писатели, многие из них тоже работают черт знает где.

— И то, что вы задаете перекрестные вопросы, тоже интересно. И то, что ваши собеседники — очень разные люди и по возрасту, и по взглядам, и по опыту. Но подобные книги были, есть, и потом — все-таки эту внутривымышленный сюжет. Понимаете, Захар, по нынешним временам — это пирожное. А вот те итальянцы — это насущно, это хлеб.

— Я об этом тоже в последнее время думаю и обязательно этим займусь.

— Такое впечатление, что вы пытаетесь перепробовать в литературе все, что только можно.

— А мой идеал писателя — Алексей Николаевич Толстой, один из немногих писателей в России, который мог делать если не все, то очень многое, то, что не умеет никто: написать два великолепных фантастических романа, эпопею «Хождение по мукам», восхитительный исторический роман, детскую сказку... Это же чудесно, когда один человек все это умеет делать. И это конечно же для меня абсолютная мечта.

— А скоро ли появится обещанный «семейный» роман?

— Он не появится, наверно. В ближайшие годы не появится. У другого Толстого — у Льва Николаевича, конечно, есть ранний роман «Семейное счастье», который мало кто знает, но все-таки главный «семейный» роман, может быть, во всей мировой литературе — «Анна Каренина» — он написал почти в пятьдесят. Для «семейного» романа, если ты не Шолохов, нужен какой-то более серьезный набор опыта. Те открытия, которые я для себя в своей жизни совершаю в двадцать два года, они в двадцать семь оказываются недейственными. В двадцать семь лет совершаю — они опять оказываются недейственными, в тридцать три — еще одно, а в тридцать четыре — совершенно другое. Нужно каким-то образом себя умиротворить, устаканить, а потом уже разбираться с такими вещами. Пока же я реальность воспринимаю страстно, бурно, а это не те качества, которые для «семейной» книги пригодны.

— А для чего пригодны? Какая книжка пишется?

— Пишется одна злая социальная книжка.

— Роман?

— Да, роман. Там дети будут фигурировать, я надеюсь.

Валентин Курбатов

Глаза в глаза

Мы уже так загнали себя потребительской новизной, что и в книгах в первую очередь смотрим на дату изготовления — не истек ли срок годности? — и предпочитаем переживать новенькие чувства, свежие страсти и мысли последней метели. В результат сами делаемся скоропортящимися людьми. А «Избранное» на то и избранное, чтобы остановить бег дня и увидеть за чередой лет и движением жизни Господень замысел о себе, скрытую до времени логику дней и порядок развития мысли, которая в каждый данный момент кажется нам совершенной и окончательной. В доброе советское время избранное было вехой и полагалось поэту как «Знак почета» к пятидесятилетию и «Трудовое Красное знамя» к пенсии. Оно было прелюдией к собранию сочинений, издавалось строго и в аннотации предполагало к имени поэта непременно «известный».

«Другие дни — другие сны» — «избранные» появляются все реже. Поэт ищет новых книг и боится остановиться, чтобы не затоптали молодые ноги соревновательных друзей или не смыла новая поэтическая волна.

Русакова не затопчешь. Потому что он живет не временем, не поколением, хотя исправно отмечает десятилетия жизни (вот 40, вот 50, 60), дивясь, как мало они отличны. Разве бухгалтерией морщин да старением тела при ровной жадной новизне дня, где и усталость, и даже настойчивая мысль о смерти не отнимают внутренних сил, какого-то злого напора, с которым он живет. Сергей Чупринин, предваряя «Избранное», назовет свое

вступление «Всего полслова». И это не от лени и «экономии места», а от понимания, что больше, чем «полслова» о поэте не напишешь. Больше будет лишнее. Но эти «полслова», будут тяжелы, как камень, и горячи, как боль.

Я читаю поэта давно и любяще. И сто раз порывался написать, но всегда останавливался, смущаясь как раз малостью сказанного. А все потому, что это не частый в поэзии случай, когда при чтении душа растет в молчание, в долгую глубину. Русаков «в ширину» мало пишет, хотя есть у него и тень «обычного пути», естественное биографическое пространство, где будет горькое сиротское детство (эта «тема», как у всех сирот, не уходит во всю жизнь, как не уходила она с годами у Астафьева или композитора Гаврилина, как не уходит в Шкляревском):

Мне нужен род, чтоб я принадлежал.
Родства, родства!
Пристанища опоры!

Но будет и счастье — раз юность: «И губы прыгают — от счастья рассмеяться./ И восемнадцать лет, и жизнь не задалась./ И женщины идут, в глазах слегка двоятся./ и на мельканье икр не наглядеться всласть».

Про эти «биографические обычности» можно было написать и горько и высоко: как они мешаются в нем — ужас неизживаемой потери, какое-то непрерывно осязаемое внутреннее зияние (из книги в книгу, из возраста в возраст), и спасительное чудо жизни, нечаянная радость дня и тоже из возраста в возраст. И это все было бы только его, русаковское, тонкое, всегда щемящее, стыдливо мучительное и светлое. И можно было написать о его чувстве Родины — тоже от-

дельном и только его, где все тоже про-
низано острой личной печалью и любо-
вью, потому что история и Родина вырос-
ли из войны и беды:

Мы последние дети последней войны.
Нас уже не слышать, мы уже откричали,
Не жалейте, вы нам ничего не должны.
Да останутся с нами все наши печали!

Выросли из суворовского училища:

Я полжизни проспал на подушках с казенною
меткой.
Я родился в рубашке с начальственным
синим клеймом.
Песни пел на плацу, рисовал стенгазеты
с виньеткой.
Мылся в бане по средам и жил командирским
умом.

А это вводит Родину в кровь, потому
что Родина в сиротстве теперь одна твоя
мать, как Бог с годами станет отец. И тут
сиротский спрос грозен. И даже если он
оплатит империю, это будет не такой рас-
пространенный сегодня стариковский
патриотический вздох вослед, а острое
сознание утраты чего-то национально
единственного, необратимого, без чего
мы уже не смеем называться собой, по-
тому что утратили право преемства:

Я малой малостью на свете не владел,
Но жалко общности... Земли всегда хватало.
Переточилась нить, и близится предел
Единству языка и рыхлого металла.

Прощай империя. Я выучусь стареть.
Мне хватит кривизны московского ампира.
Но как же я любил твоих оркестров медь!
Как называл тебя: «Одна шестая мира!»

Нам всем хватит родной кривизны
ближнего мира, но все стыдно, что роди-
на ссохлась до маленькой буквы. Это бо-
лит в нем горько и неотступно: «Как уми-
рает отчая страна!/ В каком бесстыдстве,
нищенстве и блуде!/ Она была навеки мне
дана, /но источилась. Кончилась. Не бу-
дет». «Страна моя, я разлюбил тебя, ты
плоть моя, а я себе не нужен», потому что
это уж так у русского человека — он ну-
жен себе, пока она есть, пусть больная,
бедная, но есть, как плоть и сердце. А тут
то и больно, что «плоти» не стало —

ощупаешь себя, а тебя нет — «закончи-
лась страна, пространство завершилось».

Напиши я об этом — все это будет Ру-
саков и о Русакове. Но будто кто станет
шептать над ухом: «Не то! не то!» Все, что
«по горизонтали» — это и он, но не про
него. Его поле — молчание, простор, ко-
торый остается в сердце после стихот-
ворения и не ищет названия, словно сти-
хотворение перетекло в тебя, стало то-
бой. Не мыслью, а телом, воздухом, ког-
да довольно по прочтении вполне безлич-
ного «да-а», чтобы человек, прочитавший
стихотворение вместе с тобой, только
кивнул, соглашаясь, и вы на минуту по-
чувствовали страшное родство, братскую
близость, обнялись молчанием.

У него только одна книга называется
«Разговоры с Богом». Но, вчитавшись в
«Избранное», где представлены все посл-
едние книги, вдруг ясно увидишь, что в
этом-то и есть его «простая» тайна и су-
щество, его отдельность — что он ни с
кем больше в стихах и не говорил. Что все
его книги, когда еще и адресат не был
узнан, уже были с Ним и в Нем. И я прошу
прощения у автора и читателя, что пишу
Его с большой буквы, тогда как автор —
неизменно с малой, потому что я так при-
вык в церкви и душе. И потому, что мы в
разговоре имеем в виду одно Лицо, но
разную степень требовательности, бли-
зости и понимания. Внимательный чита-
тель, если не всех книг Русакова, то хоть
этого «Избранного», непременно догада-
ется, что Бог войдет в его тексты еще до
«Разговоров». И, догадавшись об этом,
вдруг увидит, что Он для поэта с малой
буквы именно потому, что за Ним реаль-
ный погибший отец и сыновья тоска по
нему, столь острая, что само это слово
перестанет иметь небесные и земные
границы и станет одно. И он будет спра-
шивать с небесного, как с земного, и с
земного, как с небесного, а тут в оттен-
ках никаких букв не хватит, поэтому уж
лучше писать с одной малой. А мне про-
сто привычнее с большой.

И больше ничего говорить не надо в
объяснение тихой прочной славы Руса-
кова, его высокой «неизвестности». Он
всегда один, не годится для «обойм», для
поэтических вечеров и семинаров, для
разговора о «течениях», для умствований
о постистории и постмодернизме, о по-
исках формы. И разве только явной и тай-
ной тенью везде будет рядом Учитель,

вечный собеседник, так очевидно неназванно слышимый и в первой части книги «Избранного» — «Длина дыханья» — проглядывающий сквозь каждую строку:

И бессмертья воздух поредельей
осторожно пальцы холодит...

...О, жизнь! Продлись хоть на длину дыханья:
Еще не кончен воздуха глоток!..

...Спасибо, жизнь: еще не в этот раз,
Еще безумье спрятано в кубышку.

Как у того, так часто, так горячо: «Малютка жизнь, дыши, /возьми мои последние гроши./ Не отпускай меня вниз головою / В пространство мировое, шаровое!» Узнаете? Тарковский! И тоже в каждой строке «перевоплощенные в слово», и благодарность, и ниточка на обрыве, и мужество, и незащищенность, что будет невольно отзываться и в поздних стихах Русакова:

Я помню в детстве все бежал куда-то...
Трава мне в рост и я бегу, бегу...

Хоть продолжай: «а все иду, иду, /сизу на лестнице в парадном греюсь.../ А мать пришла, рукою поманила — / и улетила...»

В последние годы Тарковский, как перед свиданием, будет все чаще приходить в стихи Русакова прямым воспоминанием: «А я любил его. Он вряд ли это знал. Я был тогда зажат и хмуро скрытен». И чуть позднее, уже соединив их со своей потерянной любовью в единстве ОНИ, где Он и Она (Арсений Тарковский и Людмила Копылова) с большой буквы, он поймет и причину их неотступности: «Это я говорю ИХ словами, не зная стыда, — / только лишь говорить, только бы дождь, / только б время».

И я тут не о прямом ученичестве говорю, а о параллельности поэтического одиночества, которое оба преодолевают «перевоплощением в слово». Положив их книги рядом, читая «вперекрест», можно увидеть, как Муза идет между ними, подавая каждому легкую сухую руку, и они в ее дыхании неожиданно касаются друга друга горькими, как степные травы, словами, и на минуту мелькнет в них такая сродность, что вздрогнешь — отец и сын.

Последние в небывалой простоте и согласии слова и смысла.

Вся терминология осыпается перед этой простотой, где никаких тонкостей, где все наружи и постижимо в пределах чтения. Но, как после удара колокола, звук уже ясен и прочитан, однако, вслушавшись, еще долго будешь ловить тонкое «н-нь» и покажется, что слышишь его и когда последний звук уже окончательно замер. Разговор — не молитва. Он — разговор. И такой живой, что скорее проходит по ведомству прозы. Когда-то Татьяна Глушкова чудно заметила: «не стих — дитя старинной русской прозы». И если бы понадобилось подтверждение этому, лучшего примера, чем Русаков, было бы не найти — так его стих покойно органичен, естественен («уже не писанье стихов, а просто дыханье словами»), так ясно чист, что и в голову не придет искать ассонансов, тонких сравнений, капризов ритма, игры и провокации. Это царственная простота беседы, исповеди, письма — самых интимных русских «жанров».

Помните у Пушкина: «Проза требует мыслей и мыслей» — и далее — смущающее поэтов прибавление, что поэзия «должна быть глуповата». А тут мысль является в латах поэзии, не закованной, а прямо рожденной в них, так что они и не «латы» никакие, а само послушное тело мысли, единственная форма ее дыхания. И вместе с тем прозаический ее тон покойно длителен и таинственно уходит дальше и глубже стиха («Я, господи, люблю весь этот нежный сор — /детали, пустяки, копеечные крохи./ Без этого стихи — что кузов без рессор, / и провисают строки»).

И тут начни цитировать, не остановишься, стихи сбегутся, как ревнивые дети и строки начнут притворять афоризмами:

Так хорошо и одиноко,
что хоть люби кого-нибудь...

...Нелепо клясться Родине в любви:
она своих и так, не глядя, знает...

...Мы, право, невеселая страна —
наверно, виноваты расстоянья...

...После плача все иначе:
Воздух чище, даль ясней.
После боли столько воли,
Что хоть вешайся на ней.

Словно и впрямь никакого труда — стих сам, сам стучит у порога — только пусти, «как будто он пришел издалека/ и просто занял место на бумаге». Просто «пришел и занял» — вот и говори тут, вот и толкуй, когда слово — вот оно перед тобой, открытое до донышка.

Да и то, кажется, еще смущает, что поэт при предельной открытости все-таки одновременно замкнут, по-детдомовски исподлобен, весь в себе. Ему довольно его мира — хватило бы времени себя понять. Тем более судьба не скупится на испытания, лишая его любимых людей с какой-то одушевленной настойчивостью. Он часто оглядывается на библейскую книгу Иова, но не притязает на это героическое величие, не хочет аллюзий досаждает на сопоставление, не сдается Божьему гневу, указывающему границы морю и время — утру, не хочет попадаться на высокие метафоры.

Я не знаю, как читают эти стихи «простые» церковные люди (если они читают светские книги), и не знаю, как читают батюшки. Боюсь, что только в испуге крестятся и заграждают слух, когда поэт после смерти любимой (еще и измученной всеми муками мира), не может удержать сердца и возвышает голос против Бога в прямом крике гнева. И я, признаться, цитирую это с трепетом и странной болью, зная, что оправдание такого цитирования только в братстве сострадания:

Опять на слабых поднимаешь руку?
Бесправных вызываешь на праведж?
Ты не ее — меня бери в науку
и на меня оттачивай свой нож.

...У, злобный бог, не отводи глаза!
Скажи — за что? За что, творец неправый?
Своих не бьют, их предавать нельзя —
я был твоей опорой и державой!..

...На земле твоей не хочу жить,
имя твое не хочу знать.
Буду псом на тебя вить,
сапогами тебя пинать...

... и я опять в подушку воем вою...
чего тебе, господь, не приведи!..

...докляну, довоплю, дохриплю:
«не прощаю тебя! Не прощаю!»
Ты же знал, как я горько люблю...
...Ты попомнишь меня. Обещаю...

И, не страшась повторения, почти в тех же словах (до выбора ли, до слов ли? — год за годом):

...У, страшный бог — верни, ты взял мое!
Я отыщу управу и на бога!
И я не лук — я, господи, копье!..
Ну, а теперь давай про носорога.

Не буду растолковывать последнего стиха — посмотрите книгу Иова. И вот при этом я смею думать, что это лучшая христианская книга последнего десятилетия, в которой Бог действительно Ты и Отец. Так сын кричит на него, как детдомовец при живом отце: как ты мог? Ты был у меня один и отнял лучшее! Словно второй раз осиротел — и опять шпана, «золотушный шкет», попрошайка.

Как тут взнялись бы все Фрейды и Юнги! А только хочется по-набоковски вытолкать их в шею и благословить этот доверчивый гнев, излившийся в горьких стихах, потому что поэт не знает иного языка и иного выражения гнева, и только в стихе его слезы, и есть очищение и спасение, а молчание могло разорвать сердце. Так, очевидно, в прежние годы на Руси голошение воплениц по старым северным селам снимало остроту смерти, преобразая утрату в утешение. И это было последнее, что Бог мог сделать для человека. И для своего трудного сына, послав ему спасительное слово («только слову я и плакал, и в женщине слово любил»)

Кажется, будь у поэта христианское детство, пусть просто дом и род, которые это христианство (даже и не думая о нем, а то и сосупая в атеизм) слышат памятью крови, он и при великой беде уткнулся бы в Евангелие, в детский часослов, в память защищенной тишины, которая давалась детством. Но ни дома, ни детства не было. И он пробивается к евангельскому свету через сопротивление разума, через завесы самовольно, собою меряющего мир ума, через несдержанность сердца, пока слезы не омоют это сердце до детского зрения, которое по складам прочитает «В начале было Слово». И внезапно услышит в своем малом, задыхающемся от горя и тоски слове проступание Того, первоначального, воскрешающего.

Как это там, в евангельском рассказе о сотнике: «Не ходи, Господи, скажи только слово и исцелит слуга мой». Будь у

всех нас правильное детство в дыхании истины, и нам довольно было в трудный час стать на колени и попросить об этом Слове, и смерти не было бы в помине. И, чем горячее срыв поэта и больше укор, тем он отчетливее слышит встречный шаг Того, Кого он корит, тем вернее видит поднятые на него глаза и чувствует, как светает его ослепший ум. И «разговор» исподволь умягчается, и являются иные ноты, и теплится заря взаимного понимания:

Так, боже, так! Учи меня смотреть.
Ссужай мне мир по малости, по крохе...

...Да, господи, не зря я, видно, в мире жил,
Раз ты мне разрешил такую силу зренья...

...Так и меня ты встретишь у ворот
И скажешь: «Сын, кто старое помянет...»
А я сожму слезами полный рот и...
Боже, боже, как нас небо манит!

...Простим прегрешенья друг друга:
ты мне, я тебе отпущу.
Ведь, господи, я от испуга
прилюдно тебя полощу.

От испуга. От испуга — и от детского желаня увидеть, встретиться напрямую. Тогда, кажется, восстановится какая-то главная, высшая, все оправдывающая и все объясняющая правда, и вернутся отец, детство, любимая, сама протекшая сквозь пальцы жизнь.

Да покажись же ты, господи, мне!
В сраме ли, славе, — лишь промельк лица!
Страшно мне, боже: я сын без отца.

И не раз, почти выманивая, вымогая, как о милостыне: «Подай хотя бы знак!» Как это искренне, нежно, по-детски — выше любого исповедного признания. Так вот, кажется, и вырвется, как у Мити Карамазова: «Пусть я проклят, пусть я низок и подл... пусть я иду всюду за чертом, но я все-таки Твой сын, Господи, и люблю Тебя, и ощущаю радость, без которой миру нельзя стоять и быть». И это по сути все та же, все длящаяся книга Иова, опять взрывающиеся жизнью страницы, когда потерявший все человек выходил судиться с Богом, надеялся «выиграть процесс» и отбивался от благополучных советчиков, которые шептали ему, что он терпит

за свои грехи и кощунства. Все тот же путь вслушивания, пока из собственной боли не проступит понимание милосердия и правды Того, Кому ты бросаешь вызов.

И едва еще даже не откроется, а только чуть забрезжит самый игольный укол света, едва сердце тронется навстречу этому свету, Иову вернется полнота жизни, дома, Любви. На что бухгалтеры разума немедленно выдвинут «встречный иск»: да, Ты вернул Иову и детей, и скот, и дом. Но это новые дети и стада. А те, те, отнятые Тобой, по-прежнему невозвратны. И, значит, правда не восторжествовала. Бедные, бедные измерители мира одним своим земным благополучием, как им сказать, что те ушли, чтобы вернуться новыми, словно посланные теми для вечней неостановимости жизни, где нет мертвых.

Последняя по времени книга Русакова будет зваться «Стихи Татьяне». В них нет-нет еще будет с любовью и болью, и будто с тайным извинением являться имя Людмилы Копыловой, чья смерть вызвала долгие, до сих пор не оконченные «Разговоры с Богом». Но все чаще поэт будет слышать, как одно имя сходится с другим, сходясь в один образ, как при наводке на резкость. И боль не уходит, а становится мудростью и долгими светом.

Стихи последних лет словно потяжелют, почти перестанут делиться на четверостишия («я соскучился по строке непрерывной, как речь идиота, чей захлеб говоренья, горячечный выброс слюны отражает процесс непрерывного миропознания»). Всякий разговор о «технологии» сделается почти неуместен, как химический анализ страдания. Когда-то В.Вейдле в книге «Умирание искусства» говорил, что «между воображением поэта и простого смертного различие только в могуществе, а не во внутреннем составе». Во всех долгих «разговорах» Русакова это согласие воображений так ясно, что мне «простому смертному» (благодарному читателю) остается только благодарно поклониться поэту, выговорившему за меня томительное чувство боли и смерти. Словно он, пережив все печали, узнал смерть, как сестру до глубокой сродности с ней, и за меня, и теперь с этим таинственным знанием пишет врачующий постскриптум жизни, каждой строкой объясняя — мир не страшен, ибо

постижим и может быть преображен любовью.

Ты все знаешь в его поэзии, ты узнаешь его стихотворение за версту, но при каждом чтении (хоть сто раз подряд почти) оно опять останавливает тебя чудом согласия между тем, как звучат слова, и тем, что они значат. Когда Рубцова спрашивали, как он пишет стихи, он без шутки отвечал: «Столбиком». Вот и тут — «столбиком»: так все внутри готово. Хоть извертись, не переменишь ни слова, как не переменишь явление жизни — его любимую осень, его утешные дожди, которые идут из стихотворения в стихотворение, чтобы ободрить его — как любящего брата — ответной любовью («Я, господи, умру, наверное. счастливым: ко мне придут дожди и встанут на дворе»), как ветры, кузнечики, тихие сады и проселочные дороги...

Темы останутся в последних стихах те же. Он по-прежнему не ищет «шири», не заботится о новизне сюжетов, не бегаёт за новой реальностью. Он слушает будний день души, её тихую рядовую ровную жизнь — то малое личное, с чем человек остаётся наедине, когда отойдет общее. Похоже, он не читает газет и не заглядывает в окошко телевизора, потому что происходящее там — только иллюзия жизни, переодевание пустяков. А человек в главном стоит перед домом, любовью, одиночеством и смертью. И перед Богом, перед Богом.

Поэт давно по себе узнал, что в воздухе рассудка, прямых счетов самовластного ума можно задохнуться, что жизнь глубже и таинственней легко дающегося объяснения. И читатель тоже уже давно понял, что он пишет Бога с малой литеры только из естественного чувства стыда, из нежелания подпевать суетливым сторонникам разрешенных больших букв, легиону любителей ходить строем сначала в одну сторону, а при команде «кругом!» — в другую. опытом долгой жизни он обрел цену мгновения, потому что видит его начала и концы, их сыновство у Бога. И тем, как он видит и как без всякой «литературы» умеет сказать об увиден-

ном, лучше всего доказывает, что вселенная и Бог с приличествующих букв не в отвлеченном умозрении, а вот в этом самом мгновении и в сердце поэта.

Чем мир пестрее и суетнее и чем нетерпеливее гонится за все новыми впечатлениями, тем поэт собраннее, тем его стих плотнее и мир в сердце целостнее. Его «разговор с Богом» неостановим, потому что его целомудренная вера не *совершилась*, не отвердела, и не усыпила его (как наших сплошь православных молодцов от поэзии), а каждый день *совершается* в вечном настоящем. И потому его голос единственен в ясной печали, в оставшемся от сиротства недоверии к внешности мира и в любви к сущему.

Вслушайтесь в это «Избранное», и увидите огромную, счастливую, горькую, невыносимую, прекрасную, каждый день открытую Богу жизнь. И поймете, почему писать о поэте так трудно и слово выходит косноязычно, как при рождении. У этой поэзии иные законы чтения — всегда наедине и непременно только всем нерасчетливым, не ищущим своего сердцем, — и тогда в тишине будет слышен и пульс твоей единственной жизни. Обнимаемся напоследок в его садах, кузнечиках и птицах.

Кто не видал меня — смотрите: я из ваших.
Мне жизнь моя не в рост, во мне слова болят.
Я тоже, как и вы, гостил в семействах пташких.
Но время от меня уже отводит взгляд.
А я с ним говорил, от нежности глупея,
и кожа на лице немела всякий раз.
И там, над головой цвела Кассиопея —
цветок пяти огней поверх гусиных трасс.
...Курлычут и плывут ночные караваны.
Душа не слышит их и в окна не глядит.
Где помнят — то не нас. Где ждут —

там мы не званы.

Молчание в полях, но будто медь гудит.
Крепчают холода, кузнечиков сжигая.
Сады стоят в луне, с расчесами теней.
И будто медь гудит.
И жизнь моя другая,
не знает, что я ваш и что вы тоже в ней.

Псков

Владимир Шпаков

Пока не перекрыли кран

Сергей Жадан — пожалуй, единственный современный украинский «письменник», пользующийся у российского читателя хоть каким-то успехом. Другие громкие (в границах читающей Украины) имена тоже возникают на нашем книжном рынке, но особой популярности эти писатели не получают. Кто нынче читает Юрия Андруховича? Оксану Забужко? Евгена Пашковского? Да, Андрея Куркова читают, но этот автор — этнический русский, пишет тоже на русском, и вообще его успех — это тема особого разговора.

Между тем Сергей Жадан своего российского читателя нашел, и свидетельство тому — очередная книжка, выпущенная питерским издательством «Амфора». Это издательство давно перестало экспериментировать с современной прозой и имеет четкую установку: издавать только то, что с гарантией купит посетитель книжного магазина.

Впрочем, если вчитаться в прозу Жадана, то внимание отечественного читателя окажется вполне объяснимым. Когда после прочтения видишь фамилии переводчиков в оглавлении, удивляешься: неужели эти тексты нуждаются в переводе?! Ну да, украинский язык — вполне самостоятельный, российские читатели плохо понимают написанное на «мове», и вроде бы требуется «перекладчик». Но разве в одном языке дело? В прекрасном будущем, наверное, появятся новые поколения украинских граждан (то есть, они уже появляются), для которых история их страны началась в Беловежской Пуще. Однако для поколения Сергея Жадана, родившегося в 1974 году, эта история началась гораздо раньше, совпав с точно такой же историей миллионов обитателей приснопамятного «совка». И, хотим мы того или нет, объединив нас, «рож-

денных в СССР». Эта общая история отпечаталась в наших мозгах и душах, породив общую, как принято нынче выражаться, ментальность. Ничего удивительного в том, что написанные в Харькове прозаические тексты воспринимаются так, будто действие происходит в Екатеринбурге или, к примеру, в Вологде.

Первый текст в книжке «Красный Элвис» именно такой. В рассказе под названием «Владелец лучшего клуба для геев» представлена живописная и колоритная картина того, как делается украинский (или, если угодно, русский) бизнес. Здесь царит местами веселый, местами грустный бардак, и правит бал абсолютная безбашенность персонажей, не лишенных, тем не менее, вполне симпатичных человеческих черт. «Хотелось как лучше, получилось как всегда», — эту бессмертную фразу вполне можно было бы поставить здесь в качестве эпиграфа.

Рассказ о том, как строили свой бизнес братья Лухуи (извините — такая вот фамилия!), Григорий и Савва, называется «Сорок вагонов узбекских наркотиков» и тоже вполне соответствует духу нашей эпохи. Бизнес братья осваивали специфический — ритуальные услуги, но самое «специфическое» — это стратегия и тактика его построения. Гомерический дилетантизм соседствует здесь с невиданной наглостью, а современная бизнес-мода мешается с заскорузлыми стереотипами жизни Страны Советов. Плюс к этому откровенная уголовщина, плюс пуповина родовых отношений, плюс (а как же!) безумное пьянство, в общем, нормальный коктейль рубежа тысячелетий, каковой представляла собой жизнь на постсоветском пространстве. Понятно, что бизнес у братьев прогорел, точнее сказать, не выгорел, но у нас ведь как? Главное не победа, главное — участие; иначе говоря: догоню — поимею, не догоню — согреюсь.

Собственно, какую историю ни возьми,

езде будет присутствовать пресловутый «нерв времени». Так что мы полностью согласны с приведенной в краткой аннотации характеристикой автора: «Сергей Жадан один из немногих ухватил нашу эпоху, точно тигра за хвост, увидел смешное в ее печалях и трагичное в ее радостях, описал ее уникальность». Это верно, ухватил, увидел и описал, сделал это по-настоящему художественно, а не как физиологический очеркист или унылый хронограф.

Тут самое время сказать о некоторых художественных особенностях стиля Сергея Жадана. Это, если можно так выразиться, «летающий» стиль, когда фраза летит, не останавливаясь и включая в себя описания, прямую речь, диалоги, мысли, и так далее. Иногда выделяются отдельные сцены, написанные более традиционно, но в основном это «полет», так что в сознание читателя внедряется, прежде всего, ритм, а уж за ним, как туловище за головой, пролезает смысл. Что важно: смысл тут всегда присутствует, при кажущейся несерьезности, ироничности, подчас глумливости интонации — это не игра, не подделка, не постмодернистский экзерсис, а вполне драматическая, кровоточащая проза.

Иногда, как представляется, автор забалтывается, вроде как сам попадает в плен своего летящего стиля и, найдя выигрышный прием, не может остановиться, не исчерпав находку до последней капли. Так, в одном из рассказов персонаж впрыгивает в первый вагон уходящего поезда, а затем проходит в свой, одиннадцатый вагон. Так вот этот проход сопровождается многостраничным описанием вагонных запахов, ну, типа лирическое отступление такое (хотя читать это отступление — тоже интересно). После подобных пассажей в душе остаются не столько сами детали или подробности, а некий гул, каковой порождает обычно чтение поэтических текстов. Что вообще-то не удивительно: Сергей Жадан, кроме прозы, пишет еще и стихи, причем очень сильные.

А еще следует отметить едва заметную, но таки акцентированную связь между рассказами первой части книжки под названием «Гимн демократической молодежи». По сути, это отдельные тексты, но некоторые персонажи отмечаются и там, и тут, в итоге чего из этих лоскутных

историй сшивается некое общее прозаическое полотно, получается своего рода роман в рассказах.

Во второй части, которая называется «Биг Мак», соединяющим элементом является уже сам герой-рассказчик. Место действия здесь тоже меняется: если первая часть представляет собой эпос постперестроечной Украины, то вторая часть — это эпос европейский, поскольку действие разворачивается главным образом в Европе, как правило, в городе Вене, а также в Германии, где автор, похоже, бывал не раз. Впрочем, европейский антураж никак не меняет ни стиль, ни взгляд, да и почему, скажите на милость, они должны меняться? В рассказанных тут историях Европа тоже предстает неким Абсурдианом, где алкоголики ходят в обнимку с дегенератами, и тоже нет счастья. И правды нет; зато есть отлаженная система жизни или просто «система», которая рассказчику ненавистна. Его буквально тошнит от «системы», и он при любой возможности норовит сбежать в общество маргиналов: «...я потом когда-нибудь поблагодарю небеса за то, что мне довелось общаться с таким количеством уродов и неудачников, я уверен, что никто другой не общался со столькими аутсайдерами, которые, если хорошенько подумать, и составляют соль нашего затраханного дотациями и дефолтом общества».

При этом следует подчеркнуть: описывая маргиналов (зачастую довольно неприглядных), автор в любой абсурдной и сниженной ситуации выявляет человеческое начало, выступает в роли адвоката своих персонажей. Он не сваливается в чернуху и смакование мерзостей, а напоминает о том, что перед вами — люди, ваши братья, пусть и стукнутые пыльным мешком, но все ж таки божьи создания. Этим Сергей Жадан напоминает и Венедикта Ерофеева, и Сергея Довлатова, и Кена Кизи, и Чарльза Буковски, хотя, конечно, сохраняет при этом собственную неповторимую интонацию, по счастью, удачно переданную «перекладчиками». Их тут целый коллектив: Игорь Сид, Анна Бражкина, Евгения Чуприна, Завен Баблоян, Андрей Пустогаров, всех их скопом и поздравим с удачей.

Третья часть книжки так и называется: «Красный Элвис». Почему Элвис? Потому что Жадан — человек своего поколе-

ния, он вырос на рок-н-ролле, как и все мы, рожденные в СССР в определенные годы, и имя короля рок-н-ролла — это опознавательный знак, слово из «эсперанто», из языка, объединившего тех, кто не желал быть поглощенным советской системой. Данный текст — тоже нож в спину «системе», правда, не советской, а постсоветской, это плевков в лицо ублюдочному капитализму, утвердившемуся на наших (и не только наших) просторах. Увы: никакого рая не построили ни мы, ни европейцы, ни американцы, мы построили очередную машину, которая нас непременно раздавит или, как говорит автор, перекроет нам кран, и мы просто задохнемся. Есть ли средства борьбы с системой? Не знаю. Но, пока не перекрыли кран, можно создать хотя бы литературный образ этого монстра, опознать его, а там, глядишь, и победить когда-нибудь...

Скажу честно: мне лично не хватает в

русской литературе такого автора, как Сергей Жадан. наших прозаиков (даже очень хороших) то в черную уносит, то в откровенную фантастику, то литературными играми они занимаются, то стиль начинают выделывать с тщанием балерины, которой нужно кровь из носу выкрутить три десятка фуэте. В итоге нередко получается лажа. А вот здесь и свобода чувствуется, и мастерство присутствует, и стиль блестящий, и ирония в наличии, и невидимые миру слезы проглядывают за этим всем.

А впрочем, я вполне могу отнести Жадана к «нашей» литературе, как бы ни протестовали в данном случае читатели и деятели культуры «незалежной» Украины. В прекрасном будущем наши литературы, наверное, разойдутся, но пока они движутся параллельными курсами, и мы вполне можем читать друг друга, опознавая то общее в биографии и культуре, что у нас (пока, во всяком случае) остается.

Елена Мовчан

Книга о вечных ценностях

В последнее время обострился интерес к историческим событиям, давним и недавним, к воспоминаниям современников о личностях неординарных, людях, сыгравших определенную роль в жизни страны и общества благодаря таланту, незаурядности их личности. К такого рода мемуаристике относится и книга «Между сердцем и временем» об Александре Иосифовиче Дейче, ученом-филологе, писателе, переводчике, историке театра, человеке поистине энциклопедических знаний — и просто удивительном, прекрасном человеке. Подобные сборники часто ограничиваются накоплением «портретных» деталей. В книге воспоминаний

Между сердцем и временем: Воспоминания об Александре Дейче. — Киев: Изд-во «Феникс», 2009.

об А.И. Дейче читатель также найдет много деталей живых и ярких, создающих зримый образ героя, но есть в ней и еще одно очень важное качество — на ее страницах прорисовывается образ эпохи. Александр Дейч прожил долгую жизнь, и книга воспоминаний о нем охватывает огромный временной пласт — практически весь XX век, да еще с отсылком в век XIX, когда в киевском доме отца юного Дейча, известного в городе профессора медицины, собирался весь цвет украинской интеллигенции, где бывала сама Леся Украинка. Четырнадцатилетним мальчиком Саша Дейч беседовал с Зигмундом Фрейдом, и отец психоанализа справлялся потом у отца Александра Иосифовича об «умном юноше».

Вот, к примеру, история, рассказанная Якобом Хелемским, — о том, как Ни-

колай Гумилев положительно откликнулся в «Аполлоне» на публикацию поэмы Оскара Уайльда «Сфинкс» в переводе Дейча. Сам Гумилев тоже перевел эту поэму, но, как он признается, — в отличие от молодого автора, с помощью подстрочника. Маститый поэт хвалит юного «соперника» как раз за верность оригиналу. И еще маленькая говорящая о профессиональных нравах того времени деталь: в тексте Гумилева имя Дейча написано правильно, а в подзаголовок вкралась опечатка, и Гумилев посылает в Киев извинительное письмо. Было это в 1912 году.

А вот история уже другого, советского периода, но тоже показательная для своего времени. Это 30-е годы. Украинского режиссера-новатора Леся Курбаса преследуют власти, ему грозит арест, он вынужден покинуть Украину, и его прячет у себя в театре в Москве Соломон Михоэлс. Об этом он расскажет Дейчу, который хорошо знал Курбаса по Киеву, расскажет и грустно пошутит, что он, Михоэлс, единственный еврей, которому выпало приютить и укрыть гонимого украинца. Спасти Курбаса Михоэлсу не удалось, но ГОСЕТ стал последним тайным пристанищем великого украинского режиссера.

Еще один штрих к портрету эпохи — в рассказе Александра Мацкина о работе Александра Дейча с Михаилом Кольцовым в «Огоньке», о том, как создавалась «Библиотека «Огонька», об издательстве Жургаз, руководимом тем же Кольцовым, о возникновении на его базе журналов «За рубежом», «За рулем» и других существующих до сих пор изданий, о том, как там же начала выходить серия ЖЗЛ и как, с благословения Горького, первой книгой, появившейся в этой серии, стала биография Генриха Гейне, написанная Дейчем. Это история российской журналистики советского периода.

Приметы времени проявляются не только в тексте как таковом, но и в тех фигурах умолчания, к которым вынуждены иногда прибегать авторы. Так, украинский филолог и переводчик Григорий Кочур рассказывает, как много значили для него статьи и книги Дейча. «Дейч-литератор, в особенности Дейч поэт-переводчик и историк литературы был моим спутником на протяжении не одного десятилетия лет, — пишет он. — Даже когда

настало такое время, что за литературой я мог следить только урывками и книги доставать стало гораздо труднее, чем в годы моего сельского детства, — и тогда кое-что случайно доходило до меня». Таким образом автор воспоминаний дает понять посвященным, что был репрессирован и провел долгие годы в ГУЛАГе. Воспоминания свои Кочур писал в 1979-80 гг. — и еще тогда писатель был вынужден прибегать к такой «конспирации».

В трудное время выпало жить Александру Дейчу. Те, кто в такие времена сумели сохранить высокие человеческие качества, кто стремился приносить пользу и делать добро, достойны восхищения и благодарности потомков. Александр Дейч был мудрым человеком, не рвался к высоким должностям, но его мнение всегда было авторитетным — благодаря высочайшей культуре, всеобъемлющим знаниям и фантастической работоспособности. Лесь Танюк, известный украинский режиссер, замечает: «Просматривая сегодня библиографию его работ, ловишь себя на мысли, что написать все это на протяжении одной человеческой жизни одному человеку не по силам, что под псевдонимом «Дейч» должен был скрываться целый коллектив авторов, среди которых имелись бы специалисты по немецкому, английскому и французскому искусству, поэты и эссеисты, драматурги и прозаики, переводчики и текстологи, издатели и редакторы, газетные репортеры и театральные критики, знатоки литератур народов мира...»

О вкладе Дейча в мировое литературоведение говорят многие авторы книги — и отечественные, и зарубежные. О глубине и одновременно увлекательности книг Дейча, посвященных Генриху Гейне, и о высоком качестве его переводов из немецкого поэта пишет, в частности, германист, писатель и переводчик Лев Гинзбург. Английский филолог Арчибальд Тейт рассказывает о том, как в театре Завадского в 30-х годах ставился «Ученик дьявола» Бернарда Шоу в переводе Дейча, заведовавшего литчастью театра. Французская журналистка Мари Белен, работавшая в те же годы с Дейчем в Москве во французской газете «Журналь де Моску», говорит о его интересе к Франции, глубоком знании ее культуры, истории, литературы. Он много писал о Франции, и последней книгой, вышедшей уже пос-

ле его смерти, стала биография замечательного французского актера времен Великой французской революции Франсуа-Жозефа Тальма. (В этом жанре он работал много и плодотворно, написав биографии Свифта, Шевченко, Леси Украинки...)

Сфера интересов Александра Дейча была чрезвычайно широка, но преобладали в ней две страсти: театр и литература. Им он посвятил две книги воспоминаний: «Голос памяти» — о людях театра, с которыми довелось встречаться, и «День нынешний и день минувший» — о литературной среде, о тех, с кем свела его судьба на ниве служения литературе. Но если в мемуарах самого А. Дейча, рассказывающих о его встречах и общении с людьми, игравшими значительную, а иногда и главенствующую роль в развитии культуры, автор отводит себе место наблюдателя и остается в тени, то книга воспоминаний о нем показывает читателю его место среди этих людей, и он предстает одним из значительных действующих лиц своей эпохи, оставившим глубокий след и в литературе, и в культуре, и в жизни.

И еще об одной стороне деятельности Александра Дейча, важнейшей и определяющей в его жизни — и общественной, и творческой, и личной — пишут все авторы книги «Между сердцем и временем»: он был настоящим полпредом дружбы народов в области культуры. В этих словах нет ни пафоса, ни преувеличения. Редактор отдела национальных литератур в издательстве «Художественная литература» (до того — ГИХЛ, Гослитиздат), постоянный, на протяжении многих лет автор журнала «Дружба народов», переводчик украинской литературы, автор многочисленных статей и книг о культурах бывших республик и просто большой друг деятелей этих культур — от Максима Рыльского и Айбека до молодых писателей из разных концов большой многонациональной страны.

Особой любовью Дейча была Украина — его родина. Ее культура пришла к нему с детства, с ней он провел юность, она сопровождала его на протяжении всей его жизни. Свидетельство тому — многочисленные книги и статьи об украинской литературе и театре, переводы из украинской поэзии и прозы, тесное общение с представителями украинской культуры. Он был добрым гением для молодых ук-

раинских писателей. Помогал им с публикациями в столице на русском языке, и это давало «пропуск» для публикаций у себя дома, где в те времена настороженно относились к молодым талантам, часто обвиняя их в формализме и прочих «изма». «С легкой руки Дейча» начинали свой путь в литературе, в частности, Иван Драч и Павло Мовчан — тоже авторы этой книги.

Александр Иосифович вообще был добрым гением. О его доброте и доброжелательности, о том, как легко и радостно он делал добро, пишут все без исключения мемуаристы. Кто-то из молодых приходил к нему со своими стихами, переводами или статьями — и навсегда становился его учеником, кому-то он помогал с публикациями, кому-то в доме Дейчей просто давали кров. Дейч пытался помогать и тем, кто пострадал от репрессий. Об этом пишут в своих мемуарах и Екатерина Лифшиц, вдова поэта Бенедикта Лифшица, и Григорий Кочур, и Светлана Князева, редактировавшая книгу репрессированного украинского поэта Миколы Зерова. Такие попытки были достаточно смелым шагом и не всегда увенчивались успехом (сборник стихотворений Зерова, полностью подготовленный к изданию, «пробить» так и не удалось), но иногда кое-чего все же удавалось добиться. И уж тогда радовались все, кого Дейч подключал к этому непростому делу. А поднимать людей на добрые дела он умел. Об этом свидетельствует и поэт Лев Озеров, называя Дейча «министерством использования энергии людей, заложенных в людях способностей». Александр Иосифович не только помогал талантам, но и стимулировал их, и потому все воспоминания, собранные в книге, исполнены любви и благодарности. Книга «Между сердцем и временем» составлена его вдовой — Евгенией Кузьминичной Дейч, благодаря огромной работе и сердечной помощи которой Александр Иосифович так много смог сделать (об этом тоже пишут все мемуаристы). Но опубликовать книгу удалось лишь двадцать лет спустя после того, как она была подготовлена. За эти два десятка лет очень многое в нашей стране и в нашей жизни изменилось, но книга нисколько не устарела. И не могла устареть, потому что книга эта — о вечных ценностях: о добре, любви, дружбе и творчестве.

Тихий. Стойкий. Усмешливый

Этнический самообраз белоруса в сказочном отражении

Рубрику ведет Лев Аннинский

«Быў ён хіцер, але прыкідваўся дурнем».

«Не той дурань, каго завуць дурнем, а той дурань, хто чужым розумам жыве».

Между двумя этими манифестациями народного духа столько же явной полемики, сколько и потаенной солидарности. Из сказки можно извлечь научно обоснованную содержательную истину, но и сама форма сказки (иносказание, «ложь с намеком», шелапутство с уроком) не менее важная истина, ибо она помогает удержать научность как иную форму той же истины, — надо только почувствовать переключку и терпеливо переводить высказанное с языка на язык.

Я основываюсь в этих заметках на замечательной книге минской исследовательницы фольклора Юлии Чернявской «Белорус: штрихи к автопортрету». Более ста ученых авторитетов (от Бахтина до Элиаде) перекликаются в ее тексте с искрометными народными сказками, около тысячи которых (записанных учеными) проанализированы в ее исследовании, — так что сама эта переключка становится (для меня во всяком случае) вариантом увлекательной диалектики.

Что такое ЭС? А это — «этнический самообраз», из которого я намерен извлечь то, что в мое время называлось «национальным духом» и «душой народа», а теперь...

А теперь это — «идентификация».

Зачем она появилась?

Затем, что XX век поставил под вопрос само бытие человека, сделав его «проблематичным»: «человек больше не знает, что он такое, но знает, что он этого не знает», — как сформулировал это шатание антрополог Макс Шелер на пути от феноменологии к метафизике.

Вот и понадобилось в неустойчивом мире обозначить что-то незыблемое (пусть подразумеваемое или подозреваемое). Что-то огражденное от глобальных поветрий и не разъедаемое рефлексией (которая непременно и постоянно все разъедает). Что-то самовоспроизводящееся и общепризнанное (хотя бы в масштабах народа, нации, этноса).

В переводе на ученый слэнг: идентичность есть нечто стабильное в меняющихся ситуациях — нечто по типу «ситуационное». Или: идентичность есть нечто, захватываемое этими меняющимися ситуациями, адаптирующее их ради самоощущения Целого в дробящемся Бытии, — нечто по типу «трансверсальное».

А сказка — это какой тип идентификации?

А откуда посмотреть.

«Упрощенно говоря; если народ рассказывает сказку «как свою», значит, она и является своей».

Это — если упрощенно.

А если усложненно, то по модной ныне в ученых кругах теореме Томаса: если люди определяют ситуацию как действительную, то она становится действительной по последствиям.

Среди последствий мы и обретаемся.

Хочется же чего-то «константного» в этом водовороте последствий, то есть в хаосе феноменов.

Вот я и говорю: есть нужда в понимании «народного характера» как зеркала души, неизменного (пока оно не расколочено). И это зеркало, как я привык думать (ненаучно для себя формулируя), работает только в системе других зеркал. То есть: народы смотрятся друг в друга как в зеркала (когда не смотрят в прорезь прицела). По-научному, это «необходимость «Они» для «Мы» (Б.Ф.Поршнев. Мы и Они как конституционный принцип психологической общности. Материалы съезда Общества психологов, 1999).

Иными словами: я вдумываюсь в ЭС белоруса, потому что это помогает мне понять ЭС русского, то есть понять мое «Я», привязанное, прикованное, намертво приживленное к «Мы» моего народа.

Ну, так к делу.

Тихость

«Люди заужды робяць ліхо другому ні за што, а так сабе»

«Тихий». Это первое, что замечают наблюдатели и исследователи в характере белоруса (вовсе не обязательно в положительном смысле, — предусмотрительно добавляет Ю.Чернявская).

Оставим в стороне положительность и отрицательность — они реализуются своим ходом. Вдумаемся в то, вокруг чего крутится это лихо и мерцает это благо. Каков герой сказок.

Тих. Немногословен. Застенчив. Сдержан. Замкнут. Держится неприметно. По возможности отходит в тень. Ничего демонстративного. Ошибаясь, осмысляет сделанное — лучше всего в одиночестве, и тоже тихо.

Скромнен. Умерен в требованиях. Стремится к минимальности. Залог самоуважения — разумная достаточность. Кажется флегматиком, не приемлет никакой импульсивной истерии.

Предпочитает середину. Привычный круг общения. Свое, традиционное, надежное. Как это и полагается в хозяйстве. Мир — хозяйство, раз навсегда заведенное Богом. Бог — тот же мужик, не гнушающийся крестьянской работой и обучающий этой работе других мужиков. Бог — свой брат. Он знает, что делает. Его надо слушать. Но тоже тихо.

Главное — найти свое место и держаться этого своего места в божьем и человеческом мире. Согласовывать святое и природное. Делать то, что должно, и смотреть, что будет. Не лезть на рожон. Быть, как все.

А если надо чего-то добиться? Если уж надо, то лучше всего окольным путем. Не колебля общего мироустройства. Добиваясь своего косвенно и как бы невзначай. Не нарушая порядка жизни, а разгадывая, расшифровывая этот порядок. Ибо зло заложено в основу жизни так же, как заложено туда добро; они постоянно меняются ролями; решать, кто виноват, кто прав, надо осторожно... окольно, — понимая, что люди причиняют друг другу зло не столько по «причине», сколько по стечению обстоятельств, попутно, окольно, так себе...

Попробуйте вписать этот белорусский принцип в нынешнюю реальность, или вообще — в историческую, человеческую, общемировую реальность. Куда определить (чуть не сказал: пристроить или еще хуже: приткнуть) описываемый нами ЭС? Может, в Америку? Где со времен Фронтيرا миллионы людей подымали друг друга и гнали вперед: «Встань и иди!» Или посмотреть ситуацию в старушке Европе с ее бесконечными революциями — вплоть до нынешних поколений, лучшие представители которых испытывают брезгливость к окольным путям и решениям, бредя доктринами «Прямого Действия»!

А взять Россию. И наш мгновенный вопрос по отношению к любому делу: «Кто виноват?» И после того, как нашли виноватого, — «Что делать?» (оба вопроса —

«проклятые»). Главное же — неизменная наша тяга к «соборности», к «коммунальности», к «коллективизму», ко всенародным мобилизациям и движениям масс. При всей близости белорусов к русским — «тишайший» полешанин в советское время оказывал неявное, но упрямое сопротивление лозунгам типа «Все в колхозы!» — он предпочитал оставаться в положении человека «тутэйшего», а вовсе не гражданина мира, с того или другого боку претендующего на его передел.

Тихий, терпеливый... А Великая Отечественная война? Ведь именно в «тихой» Беларуси гитлеровцам было оказано упорное, снизу идущее сопротивление! Как нигде! Притом сопротивление «инициативное» (Ю.Чернявская вовремя и весьма уместно напоминает здесь, что сама сущность «партизанства» инициативна). Так как же соединить воинский подвиг белорусов с их общепризнанным мирным характером, с их пресловутой «абыкавасцью»?

А дело в том, что «мирность» зиждется у белоруса на ощущении неизменно-прочного фундамента жизни. Можно терпеть своего Пана, можно собачиться со своей Бабой, можно смеяться над своим Попом или соперничать в жуликоватости с пришлым Солдатом (я перечисляю традиционные персонажи сказочных сюжетов), но если пришлые собираются уничтожить сам базис бытия, им не будет места не только в сказке, но и на реальной земле. Гитлеровские-то юберменши не на «постой» претендовали в Беларуси, а на тотальное уничтожение жизненного уклада! И получили горящую под ногами землю. И получили такого противника, традиционная «тихость» которого обнаружила под собой стальную твердость, тихую, непоколебимую стойкость.

Стойкость

«Прауду кажуць, што без ліха няма й добра»

Правда — в том, что лихо — неотъемлемая часть жизни. Более того: лихо — неотъемлемая сторона добра. Недоля — та же доля. Безоблачного счастья не бывает. Горе — в составе общего миростроения, и оно извечно.

Фатализм белоруса — не просто «интересное качество» его психики и не просто одно из самых освещенных в литературе, оно, по горьковатому каламбуру Ю.Чернявской, одно из самых освященных — и в сказках, и вообще в народном сознании.

Всякие попытки «переломить» судьбу бессмысленны или неудачны. «Мужик, живущий, как все, может достичь мира в себе и вокруг, но не способен изменить жизненную ситуацию как таковую».

Но он и не допустит изменения этой извечной ситуации. Он выстоит, вытерпит, выдержит все, — но порядка бытия не отдаст ни за какое эфемерное счастье, ибо «закономерно лишь выстраданное», а выстраданное — закономерно.

Стало быть, терпение безгранично? И страдание бесконечно? Да, так. И, значит, никакой разум от этой фатальной доли не спасет? Не спасет. И не надо. Для белоруса в разуме главное — опыт. А всякие рассказы, в том числе и в книгах (в том числе и в священных книгах!) — повод для усмешки. Поп молится, ксендз молится, раввин молится, а мужик — пашет да сеет, да мыкает свое горе-счастье.

Не разделить на доли эту долю-недолю. Не перевернуть с черного на белое. Русь, черная от пахоты, — она и есть Белая.

Значит, терпеть зло? Да. И косвенными, незаметными, окольными путями — переделывать его в добро. Не пытаясь уничтожить зло как таковое. Ибо попытка тотального уничтожения зла приносит зло еще худшее.

Так что пусть зло постепенно ослабевает, пожирая само себя. Творится оно «так себе» и исчезает «так себе». Надо только не мешать извечному порядку, в котором угадывается не столько Промысел Божий, сколько цикличность Божьего Хозяйства.

Отсюда — то невероятное историческое терпение белоруса, в которое то с восхищением, то с изумлением, а то и с досадой вглядываются все исследователи. Оно, можно сказать, уникально.

Как?! — мысленно возвращаюсь я под родные осины. — А русское долготерпение разве не вошло в легенды? А русский фатализм разве не стал темой великой литературы? Разве не написал об этом свой рассказ Лермонтов, и разве не присутствовал этот морок в его декоративных дуэлях, последняя из которых ударом пули завершила эти опыты?

Русский фатализм разве не увековечен в формуле: «русская рулетка»?

Именно: рулетка. Чет-нечет. Может, так вывернется, а может, эдак. И вывернется наизнанку — обязательно, не сейчас — так завтра.

Русское терпение копится, как заряд, готовый взорваться. А уж когда доходит до взрыва, до бунта, до последнего расчета, — святых выноси: все вразнос!

Русская стойкость фантастична, но она сказывается не в повседневном бытии, где в ходу лукавство и переменчивость, она, стойкость, выявляется на крайней черте, когда все стоит на карте, когда Гитлер стоит под Москвой, готовясь стереть ее с карты. Когда Наполеон в горящей Москве подписывает разрешение парижскому театру играть свои комедии. Когда Тохтамыш жжет Москву, думая аннулировать Куликовскую битву.

Русский фатализм огнем подбит. Русское долготерпение пружиной сжимается до точки, а распрямляясь, требует непременно всеобщего, неслыханного, всемирного счастья!

На таком запредельном фоне — чему прикажете хранить верность и на каком клочке земли испытывать стойкость?

Хранит — «тутэйший». А вселенски-одержимый бежит искать, где лучше. Поэтому и бегство в русском самосознании оборачивается то так, то эдак. Оно и у прочих народов бывает весьма неоднозначно... но чтобы не поминать такого древнего чемпиона по перебежкам, как Алкивиад (лучший ученик Сократа, между прочим), попробуем вычленить «предательство» из «бегства» на той дотатарской Руси, где князья вечно меняли столы, а воины князей. Или — когда центр устоялся — кем считать Андрея Курбского: предателем или бунтарем, разбудившим Герцена, который в свою очередь разбудил большевиков, а они объявили целью военное поражение своей страны? И кем был генерал Власов, возглавивший Русскую Освободительную Армию, — предателем или борцом за освобождение страны от сталинской диктатуры? Сейчас в ходу обе оценки, и Русская православная церковь за рубежом, кажется, уже признала генерала Власова мучеником...

Вот так: из предателей в мученики. Это по-нашему. То туда через рубеж, то сюда. Или все, или ничего. А если ничего — то все до основанья. А затем... А затем — все то же самое: копящаяся на дне многотерпеливой русской души зависть к соседу, ненависть к барину, мечта добраться до высшей власти... объявить себя царем, императором, Богом... но это для святых дураков от веры, а для деловых умников от демократии: если выбрали не нас, значит, все обман...

Что-то не могу я себе представить, чтобы белорус мечтал оказаться «на месте барина», то есть Пана. Да он скорее посмеется над таким своим желанием, а уж над Паном — само собой. Белорусский «дурэнь», нашедший неисчислимое богатство, не чаёт, как от него избавиться. Идет к ведунье. Та спрашивает: «Чего хочешь?» — «Ничего, бабка, все имею». — «Так чего ты, соколик, пришел, может, беда какая?» — «Беда, бабка, что беды нема»...

Какое чувство юмора надо иметь, чтобы вот так оборачивать неизбыток в усмешку, за которой — спокойная готовность вынести все, что ни налетит на тебя с любой стороны света?

Усмешливость

«Што чалавек без Бога? — Тфу! Да й толькі. Сягоднечы — гад, а заўтра — падло, от якога толькі нос верне...»

Только не думайте, что от этого «падла» сказочник воротит нос. То есть нос он, может, и воротит, но из общения не выпускает. Грешники, которых черти поджаривают, тоже ведь недаром сотворены. Как и сами черти. Бог дарит людям грехи, потому что добрый не хочет, чтобы сотворенное им досталось злодеям...

Вы можете с ходу разобраться в этом сказочном паноптикуме? С ходу — вряд ли. Но если вдуматься в грани приятия-неприятия и если оставить в стороне, в черноте небытия, за пределами ясных сюжетов ненависть (тем более ненависть явную и демонстративную), то в кругу «своих» все будет собрано воедино — через смех. Иногда язвительный, но чаще благодушный. Иногда в насмешку, но чаще — в усмешку. Потому что среди «своих» эта усмешка обращена белорусом и на самого себя тоже. А нужна она — в контактах и с «другими», и с «чужими» (Юлия Чернявская выстраивает тут четкую, научно выверенную иерархию) — нужна усмешка не столько для унижения «чужого», «другого» или «своего другого» (но и «чужого» — по-своему привычного в своем кругу), а для выявления своих же, прирожденных качеств. По контрасту.

Например, Разбойник (Злодзей по-белорусски). Он — из своих, то есть из крестьян. Но — лениватый, чудаковатый, «шалаповатый», не выдерживающий мужицкой работы и потому уходящий промышлять из Деревни в Лес. Так зачем он остается в мужицкой душе? Для контраста же! Злодзей — человек граничный, он маргинал. А Мужик — человек тутошний, он на своем месте. Тому нужна удача, везуха, фарт. А этому — труд и надежность. Злодзей вызывает у Мужика не страх, а скорее тайное сочувствие, и уж точно — усмешку. Ибо сплошь и рядом искатель удачи попадает впросак и остается ни с чем.

Ну, ладно, Злодзей все-таки злодей, с ним идет борьба. А Баба? Вот уж своя в доску! И всегда под боком: блажит, орет, скандалит. Оттеняет коренную, решающую для белоруса позитивную характеристику: «тихость».

Еще один вызывающий усмешку оппонент: Поп. Смысл усмешки: если не грешен — зачем столько молишься? Что оттеняет в характере белоруса этот богомолец, сотрясающий воздух в церкви (может быть, и Ксендз в костеле, разница невелика). Вроде бы и вера своя, а вот не согласен Мужик веровать напоказ — он веру в глубине души носит. В контраст и Попу, и Ксендзу.

Эти — более или менее «свои». Есть и «чужие», они тоже рядом.

Самый крайний случай несовместимости — Пан. Польская его прописка не несет этнической неприязни, это просто след пребывания Беларуси в составе Речи Посполитой. В чем смысл возникшей с тех пор психологической оппозиции? У Пана в характере — истерическая импульсивность, безосновательная гордыня, воспаленная экзальтация. И тоже — все напоказ. И вечное недовольство тем, что есть. И вечное стремление куда-то выщелкнуться, как-то выделиться.

А у белоруса? Надо еще раз перечислять?

Ну, хорошо, а Еврей чем его насмешил?

Тут уж насчет национальной принадлежности придется объясниться посерьезнее. Век Холокоста так вычернил еврейскую проблему, что как ее ни тронь — угодишь не в антисемиты, так в юдофилы. Поэтому вслед за Юлией Чернявской даю историческую справку.

Никогда Беларусь не была в числе стран, опасных погромами. В ходе Первой мировой войны это было настолько поразительно, что на Всебелорусском съезде еврейских общин в Минске в 1917 году белорусам была выражена особая за то признательность. Вторая мировая война подтвердила: в эти страшные годы белорусы спасали еврейские семьи; белорусов особенно много среди «праведников мира» (термин израильский).

Сейчас в Беларуси живет чуть не полтора десятка этнических групп и о вражде не слышать.

Так что отнесемся спокойно к следующей сказочной ситуации: Еврей, сидит и читает свою «бублию», целыми днями читает, не вставая, а Мужик смотрит и усмехается: вроде умный, а в крестьянской работе не смыслит ничего.

Еврей — книжник, он норовит прожить чужим умом, в сущности, он бездельник. А надо жить своим умом, своим опытом, своим трудом — делать своими руками свое реальное дело.

Если у кого возникнет соблазн истолковать эти сказки в том смысле, что белорусы не ценят науку и образованность, — пусть такой истолкователь поинтересуется статистикой. Белоруссия перед войной была по числу студентов на тысячу населе-

ния в первых строчках среди советских республик. И то, что после войны она стала в СССР «сборочным цехом», — тоже кое о чем говорит.

Тут подходим мы, наконец, к самому близкому и важному (для меня) сюжету белорусских сказок — к взаимоотношениям Мужика и Москаля.

А Москаль где?!

Выше я из «политкорректности» назвал этого оппонента Солдатом. Оно так и есть: персонаж этот возникает на горизонте белорусской Деревни именно как служивый, как посланец далекой военной силы. Правда, появляется он не в составе полка и не в сопровождении командира, и действует не по команде, а в одиночку, по своей инициативе — как странник. Однако демонстрирует запредельную ловкость и хватку — действия его просто фантастичны (ночует на голой земле, вбивает в небо гвоздь и вешает амуницию) — так что Мужика остается только усмехаться таким подвигам, хотя Мужик понимает, что перед ним сила, к которой надо отнестись с уважением.

То, что этот пришлый умелец зовется Москалем, — не более чем историческая зацепка, вроде того, что Пан — поляк, а Ученый бездельник — еврей. По происхождению Москаль может быть и белорусом, и украинцем, и русским, но если со времен Ливонской войны именно Московия мобилизует под свои стяги описываемое многоплеменное воинство, то имя Москаль — вполне законно.

А вот то, что Москаль вносит в жизнь белоруса, — это дело не вполне законное, то есть неожиданное, непривычное, и скорее «законное», то есть принесенное из-за границ и околиц.

Москаль — человек «ниоткуда». И потому он свободен, независим, ничем не связан. Его жизнь — «пучок вероятностей», включая невероятность. Его характер — соединение одиночества и мобильности, и порождает это сочетание такую бесшабашность, какая оседлому Мужика и не снится. А может, именно снится. Ибо Москаль пробуждает в тихом белорусе тайную тягу к неведомому, несбывшемуся, неиспытанному.

Но чтобы эта тяга реализовалась, надо встать и идти. Куда? Этот вопрос, может быть, и ответа не имеет. Но сам уход «тутэйшего» из его малого мира — ответ тому зову, который долетает до околицы из безграниц бесконечного мира. И отвечать приходится. Во все времена, не только в ходе очередной Северной войны, или русско-польской Смуты, или еще какого-никакого смешения языков. Дети разных народов сбиваются в общее воинство, в этом воинстве потомки дреговичей и кривичей приобретают новые черты характера, становясь вместе с потомками древлян и полян... кем? Москалями. Гражданами Российской Империи. Строителями коммунизма в Советском Союзе... Россиянами на руинах этой стройки... И носят в душах вирус всемирности, и мучаются над вопросом, на какую роль они в этом контексте могут претендовать: на роль граждан сверхдержавы или просто державы, на роль моста, мостика, мосточка — между берегами, на которых периодически стягиваются очередные сверхнациональные объединения.

Русская всеотзывчивость переключается с русской бесшабашностью, русская мечта прокладывает «дорогу на Океан», русская справедливость провисает между западным парламентаризмом и опоньским царством, русская рулетка сулит русскому фаталисту то ли геройскую гибель (гибель России, а то и всемирное светопредставление), то ли окончательное и полное счастье (где Россия конечно же вернет себе наконец-то любовь всего человечества).

А в Беларуси потомки тех же дреговичей, не ушедшие во всемирное странствие, а оставшиеся «тутэйшими», — отстраняются в тень от этих ветрищ и тихо ведут на своем клочке земли привычную жизнь, при которой и о смерти можно говорить с усмешкой.

«Памираць собраўся, а жита сей».

Summary

ALEXEJ USTIMENKO. Chinese Masks of Cherubina de Gabriak.

Cherubina de Gabriak Silver Age with its lovely mystifications The long short story by prosaist from Tashkent A.Ustimenko is about what has become *after*. Later on. In quite another age. And very very far from St-Petersburg incidentally renamed into Leningrad.

RADA POLISCHUK. Lapserdak out of Rags. Three pieces from a new book.

Lapserdak is a long-flap overcoat of Polish and Galician Jews, a frock-coat of some special cut. And what is a rag everybody of course knows. «Lapserdak out of rags» surely is a metaphor not void of smart paradox. As well as the Big History. Well, all our life somehow is a paradox. And the multitude of short stories this very Big History is made of also is a paradox. Sad, funny, human

SONA VAN. Earth Like Air.

Brilliant poetry of Sona Van, an Armenian poet living in the USA, is interesting and appealing not only for those knowing the Armenian language. In Russian translations made by another, Russian poet MARINA KUDIMOVA, her lyrics would be a revelation for our readers.

VASSILIJ GOLOVANOV. The Age of Rock-n-Roll.

«Rock-n-Roll was a molten magma of barbarity poured down from beneath the rank civilizations. As any barbarity it was fraught with danger and its purposes were barbariously imposing: to take by assault the old culture and to substitute it with a fantastic and appalling carnival in which ‘the last would become the first’ (by the word of Dilan) and all the tribes and peoples of the Earth would unite in one bacchanalia dance»

ZAKHAR PRILEPIN. «I Love the World where *Iliad* and *Odyssey*»

Zakhar Prilepin who was fighting in Chechnya in special forces, «natzbol» and one of the «brands» of the Russian literature of the 2000-s in his talk with Natalya Igrunova is meditating over the Soviet historical experience and literary heritage, over politics, faith and the all-national idea, over his work on the Biography of Leonid Leonov and the idea of his own new novel.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В 2010 г.

распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».

Ищите «ДН» в его каталогах.

Наш индекс 70250

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Сожалею, но редакция нашего журнала не имеет возможности рассматривать рукописи, приходящие электронной почтой.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Свидетельство о регистрации товарного знака № 288681

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12 мая 2005 г.

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.

Телефоны: главный редактор, заместитель главного редактора — 691-62-27, заместитель главного редактора (производственные вопросы) — 695-52-03, зав. редакцией — 691-62-27, отдел прозы — 691-85-10, отдел поэзии — 691-63-63, отдел публицистики — 691-05-09, отдел критики — 691-64-50, факс: 691-63-54.

E-mail: dn52@mail.ru, <http://magazines.russ.ru/druzhiba/>

Сдано в набор 20.01.10. Подписано в печать 19.02.10. Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 19,60. Усл.кр.-отт. 20,30. Уч.-изд. л. 22,05. Тираж 2000 экз. Заказ 411. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ОАО «Издательский дом "Красная звезда"». 123007, г. Москва, Хорошевское ш., 38. <http://www.redstarph.ru>